РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 2011

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Москва
2011

ББК 60.5
С 69

Серия
«Теория и история социологии»

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел социологии и социальной психологии

Кафедра общей социологии НИУ–ВШЭ

Редакционная коллегия:

Н.Е. Покровский – д-р социол. наук, главный редактор; *Д.В. Ефременко* – д-р полит. наук, зам. главного редактора; *А.Б. Гофман* – д-р социол. наук; *В.Г. Николаев* – канд. социол. наук; *О.А. Симонова* – канд. социол. наук; *Е.В. Якимова* – канд. филос. наук; *О.Н. Яницкий* – д-р филос. наук

Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН.
С 69 ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ–ВШЭ; Ред. и сост. Покровский Н.Е, Ефременко Д.В. – М., 2011. – 408 с. (Сер.: Теория и история социологии).
ISBN 978-5-248-00619-9

В статьях, обзорах и рефератах анализируются проблемы социальной теории и эмпирических социологических исследований. Среди основных тем – тенденции и перспективы развития социологии как научной дисциплины, социальная солидарность в условиях общественных трансформаций, социология возрастных групп.

Для социологов и философов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Sociological yearbook, 2011 / Ed. by N. Pokrovsky, D. Efremenko. – Moscow: INION: RAS: HSE, 2011.

In the articles, reviews and abstracts submitted to your attention under analysis are issues of social theory and those of empirical sociological studies. The contributions discuss the following issues: tendencies and perspectives of the development of sociology as a scientific discipline, social solidarity in the conditions of societal transitions, age groups sociology.

Intended for sociologists and philosophers, university lecturers, post- and undergraduate students.

ББК 60.5

ISBN 978-5-248-00619-9

© ИНИОН РАН, 2011
© Кафедра общей социологии НИУ–ВШЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Н.Е. Покровский. Хроника текущих событий: Предисловие
N.E. Pokrovsky. Chronicle of current events: Foreword..... 7

I. БИТВА ГИГАНТОВ:
ДЕБАТЫ О МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЦИОЛОГИИ:
От редакционной коллегии
Battle of giants:
Debate on international sociology:
Editorial

П. Штомпка. Еще одна социологическая утопия. (Перевод с англ.)
P. Sztompka. Another sociological utopia. (transl. from English) 11
М. Буравой. Последний позитивист. (Перевод с англ.)
M. Burawoy. The last positivist. (transl. from English) 27
П. Штомпка. Десять тезисов о статусе социологии в неравном мире. (Перевод с англ.)
P. Sztompka. Ten theses on the status of sociology in an unequal world. (transl. from English) 41
Н.Е. Покровский. «Пациент отказался от госпитализации», или в защиту социологии
N.E. Pokrovsky. «The patient refused hospitalization», or In defense of sociology 45

II. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Social solidarity as a problem of classical and contemporary sociology

Статьи и обзоры
Articles and reviews

Д.В. Ефременко. Многоликая солидарность
D.V. Efremenko. Many-faced solidarity 48

Л.М. Баскин. Вожаки в группах животных и человека
L.M. Baskin. Leaders in animal and human groups 52
Е.В. Якимова. Социальная солидарность в ракурсе западной социальной психологии. (Аналитический обзор)
E.V. Yakimova. Social solidarity from the perspective of Western social psychology. (Analytical review) 69
О.А. Симонова. Современная социология эмоций и проблема социальной солидарности: Основные направления исследований
O.A. Simonova. Contemporary sociology of emotions and the problem of social solidarity: Main fields of research 95
О.Н. Яницкий. Риск-солидарности в критической ситуации
O.N. Yanitsky. Risk-solidarities in a critical situation 143
О.А. Усачева. Формирование гражданских сетей солидарности в условиях экологической катастрофы
O.A. Usacheva. Formation of civic solidarity networks in the conditions of an ecocatastrophe 162

Ежегодное собрание Американской социологической ассоциации (г. Лас-Вегас, 19–23 августа 2011 г.), секция «Альтруизм, солидарность и мораль»
Annual meeting of the American sociological association (Las Vegas, August 19–23 2011), section «Altruism, morality and social solidarity»

А.Б. Гофман. Лас-Вегас как центр социологической мысли: Заметки российского участника ежегодного собрания Американской социологической ассоциации 2011 г.
A.B. Gofman. Las Vegas as a centre of sociological thought: Notes of a Russian participant of the Annual meeting of the American sociological association 173
Дж.Ч. Александер. Мораль как культурная система: О солидарности гражданской и негражданской
J.C. Alexander. Morality as a cultural system: On solidarity civil and uncivil 180
В. Джеффрис. Социология добра и концепция добродетели
V. Jeffries. The sociology of the good and the concept of virtue 186

Социологическая классика
Sociological classics

П.А. Сорокин. Роли сходства и несходства в социальной солидарности и антагонизме (глава 7 книги «Общество, культура и личность: Их структура и динамика: Система общей социологии»). (Перевод с англ.)
P.A. Sorokin. The roles of similarity and dissimilarity in social solidarity and antagonism (chapter 7 of the book «Society, culture and personality:

Their structure and dynamics: A system of general sociology») (transl. from English) 205

Рефераты
Summaries

Юл С. Солидарность и социальное сплочение в эпоху позднего модерна: К вопросу о социальном признании, справедливости и контекстуальном суждении
Juul S. Solidarity and social cohesion in late modernity: A question of recognition, justice and judgment in situation 226
Чэн Ч., Ма С.К. Взаимосвязь социальной солидарности и социальной гармонии в Гонконге
Cheung CH., Ma S.K. Coupling social solidarity and social harmony in Hong Kong 234

III. СОЦИОЛОГИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Sociology of age groups

Статьи
Articles

Е.Л. Омельченко. От сытых нулевых – к молчаливым десятым: Поколенческие уроки российской молодежи начала XXI в.
E.L. Omelchenko. From the fat 2000s to the silent 2010s: Generational lessons of the Russian youth of the beginning of the 21st century 243
М.А. Ядова. «Модернисты» и «традиционалисты» постсоветского поколения: Особенности индивидуальных биографий
M.A. Yadova. «Modernists» and «traditionalists» of the post-Soviet generation: Peculiarities of individual biographies 264
Я.В. Евсеева. Концепции успешного старения в социальной геронтологии
Y.V. Evseeva. Concepts of successful ageing in social gerontology 281

Рефераты
Summaries

Е.В. Якимова, Я.В. Евсеева. Социология детства в десяти странах: Результаты и перспективы. (Реферативный обзор спецвыпуска журнала «Current sociology»)
E.V. Yakimova, Y.V. Evseeva. Childhood sociology in ten countries: Outcomes and future directions: (Synoptic review of the Special issue of «Current sociology») 293
Блатерер Г. Меняющаяся семантика юности и взрослости
Blatterer H. The changing semantics of youth and adulthood 319
Социальные связи в пожилом возрасте. (Сводный реферат)
Social connectedness in old age (Summary) 327

Пожилые работники – ресурс общественного развития? (Сводный реферат)
Older workers – a resource of society development? (Summary) 337
Динель К. Обслуживание пожилых членов семьи в европейском сравнении: Перспективы европейской политики в отношении семейного попечения
Dienel C. Care for older family members in different European countries: Prospects for a European policy of family care 345

IV. СОЦИОЛОГИЯ ТЕХНИКИ
Sociology of technology

Статьи
Articles

В.Г. Горохов. Социология техники и социальная инженерия
V.G. Gorokhov. Sociology of technology and social engineering 353
Д.В. Ефременко, Я.В. Евсеева. Социология техники и проблема конвергенции технологий
D.V. Efremenko, Y.V. Evseeva. Sociology of technology and the problem of convergent technologies 374

Рефераты
Summaries

Актуальные направления развития социологии техники в Германии. (Сводный реферат)
Current trends in the development of the sociology of technology in Germany (Summary) 388
Пассот Я.-Х. Актанты, ассоциации, медиаторы: Как акторно-сетевая теория реинтерпретирует понятие социального
Passoth J.-H. Actants, associations, mediators: How the ANT reassembles the social 394
Аннотации статей и ключевые слова
Article abstracts and keywords 399
Сведения об авторах
About the authors 406

Н.Е. Покровский

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ: ПРЕДИСЛОВИЕ

В своем предыдущем выпуске «Социологический ежегодник» с элегической печалью отмечал, что в российской социологии не наблюдается явных изменений и в итоге «на всех фронтах без перемен». Но как тут не поверить в знаменья. Стоило публично объявить о пришествии умиротворенности, как в российской социологии грянула буря.

Возникла она словно ниоткуда. Еще в октябре 2010 г. Российское общество социологов (РОС) – национальное научное объединение социологов, работающее на всем географическом пространстве России и представляющее российских социологов в Международной социологической ассоциации, объявило о начале подготовки к IV Всероссийскому социологическому конгрессу в Уфе (Башкортостан). Дело это вполне рутинное.

По необходимости немного истории. Подобные конгрессы сочетают в себе немалую долю академической ритуалистики, отчасти помпезности, но на конгрессах есть и интересные научные сессии. Важны и личные встречи социологов. Короче, смотр рядов, подведение итогов и разговор о планах на будущее. Примечательно и еще одно, а именно присутствующее на конгрессе чувство единения – «мы, социологи, вместе», «у нас одна наука».

Весь вопрос, однако, состоял в том, что год от году российским социологам становилось все труднее садиться за один общий стол, будь то международные и внутренние конференции, совместные публикации и другие академические мероприятия. Нередко приходилось в основном говорить о погоде, дабы не создавать неудобства. В «Социологическом ежегоднике» (2010) уже отмечался тот факт, что в отечественной социологии обозначили себя три главных, но неравновесных во многих отношениях идейных лагеря. Первый из них связан с научной социологией, отвечающей международным исследовательским стандартам и подчеркивающей значимость объективной социологической экспертизы, по возможности независимой от каких бы то ни было иных институтов общества. Второй трансформационно возник из советского обществознания с его упором на апологетику, идеологизирующую роль социального знания и стремление

непременно превратить социологию в партисипаторную систему управления обществом. Наконец, третий лагерь – это всякого рода анклавные и субкультурные образования отечественных постмодернистов, прокладывающих свой «третий путь» и время от времени посылающих чуму «на оба ваших дома».

Эти водоразделы в российской социологии возникли не вчера. Но на протяжении последнего десятилетия они практически не приходили в боевое столкновение друг с другом, не считая нескольких важных эпизодов. В общем и целом между этими силами были поделены основные социологические факультеты и институты, журналы, конгрессы, конференции, издательства и пр. Одной из немногих площадок, на которой сохранялась видимость коммуникации между лагерями, продолжали оставаться всероссийские социологические конгрессы. Таким был по счету последний, III Всероссийский конгресс (октябрь 2008 г.). Он был формально единым для всей российской социологии, но фактически уже на нем после помпезного открытия и своеобразной по своей научной пестроте и уровню докладов пленарной сессии социологи разошлись по различным «квартирам», где представители каждого лагеря в основном и слушали друг друга.

И вот РОС в 2010 г. по традиции предлагает организовать очередной конгресс по старой проверенной схеме. А схема такая: собираемся вместе под одной крышей, всем будет дано слово, никто открыто ни с кем не воюет, а в научных сессиях дифференцируемся и диверсифицируемся по интересам и научным ориентациям. И все шло к тому, чтобы эту старую схему воспроизвести в очередной раз.

Но не тут-то было. В атмосфере полной секретности и без консультации с кем бы то ни было группа социологов, представленная тяжеловесами из числа директоров институтов и ректоров университетов, проводит постановление о том, что, мол, будет другой всероссийский конгресс, и не в Уфе, а в Москве в Колонном зале Дома союзов и с мощной поддержкой сверху. Естественно, на этот реприманд научная общественность отреагировала возмущенными письмам и петициями по самым различным адресам. Два конгресса, два всероссийских конгресса, проходящие в один и тот же год под одним и тем же названием – не абсурд ли это? Притом один, РОСовский, уже был объявлен давно и во всеуслышание, а другой, «съезд Колонного зала», провозглашен среди своих небольшой группой социологов.

На наших глазах разворачивается достаточно драматичная судьба социологии в нашем Отечестве. Сколько книг, статей и диссертаций написано о том, как в Советском Союзе социологию запрещали, уничтожали, а потом из пепла в мучениях возрождали. Теперь же мы воочию видим, как ту же социологию режут на части, в результате чего ее будущее становится непредсказуемым.

События на социологическом поле разворачиваются с немалой скоростью. На конец 2011 г. мы, так или иначе, имеем следующую картину.

Объявлены и готовятся на полных оборотах два всероссийских конгресса. Попытки их формального объединения в один конгресс с двумя последовательными частями (был такой вариант) не увенчались успехом. Готовят эти конгрессы два совершенно различных и не сообщающихся друг с другом программных комитета. В повестку дня конгрессов заложены принципиально различные формулировки и идейные составляющие. Более того, социологическое сообщества, некогда более или менее единое, теперь делится на тех, кто будет в Колонном зале, и тех, кто поедет в Уфу. Исключая аспирантов, стремящихся к паблисити и публикациям любой ценой и на любой конференции, размежевание среди социологов сохраняется. Поделились между собой и социологические факультеты – на тех, кто с «белыми», и тех, кто с «красными». Для пущей авторитетности своей интриги «социологи Колонного зала» вновь под покровом тайны и секретности организовали свою новую всероссийскую общественную социологическую организацию – Социологическую ассоциацию России (академическая) (САРа). Теперь уже у всех всего поровну: конгрессов, ассоциаций и всего остального.

Печальная история, надо сказать, с многочисленными последствиями. И вовсе не шуточными. Не исключается вариант, при котором через какое-то время российское общество однажды проснется без по-настоящему научной социологии, а лишь с какими-то фрагментами чего-то из прошлого и одной большой и неделимой социологией, управляющей обществом по велению свыше. Будем надеяться, этого не произойдет.

I. БИТВА ГИГАНТОВ: ДЕБАТЫ О МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЦИОЛОГИИ

От редакционной коллегии

Мощная полемика охватила в наши дни не только российскую социологию, но и социологию мировую. Кажется, настал роковой час выяснения отношений по ключевым вопросам того, откуда есть пошла социология и что с ней будет происходить в будущем. На этом проблемном поле скрестили свои шпаги лидеры современной социологии – Майкл Буравой и Петр Штомпка. Первый – ныне действующий президент Международной социологической ассоциации, другой – недавний президент той же ассоциации. Оба основали свои школы, каждый имеет в своем арсенале авторитетнейшие публикации, книги, учебники по социологии.

Итак, вопрос ставится ребром – «или-или». Или социология, по мысли М. Буравого, должна воспрять от летаргического сна последних десятилетий и, активно вторгаясь в жизнь социума во всех странах и весях, начать крестовый поход за объединение «индигенной» социологии стран «третьего мира» в борьбе за всеобщую, глобальную справедливость; либо социология, по убеждениям П. Штомпки, призвана максимально усилить свой научный и академический потенциал для поддержания международных эталонов прикладных исследований и теоретических интерпретаций, не делая при этом скидок на то, в каком регионе мира и кем эти исследования и интерпретации делаются.

Лозунг М. Буравого: «Социологи всех стран третьего мира, объединяйтесь!». Лозунг П. Штомпки: «Социологи, будьте прежде всего учеными, верными классической традиции в социальной науке».

Согласимся, примирить эти позиции, полемически обнаженные, достаточно трудно. Проблема при этом состоит в том, что в наши дни каждый социолог, хочет он того или нет, вынужден высказать свое мнение по этому ключевому вопросу, ибо на наших глазах и при нашем участии во многом решается судьба профессии.

П. Штомпка

ЕЩЕ ОДНА СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ УТОПИЯ[1]
(Перевод с англ.)

В этих двух томах собраны результаты конференции Международной социологической ассоциации (МСА), проведенной в 2008 г. в Тайбэе при содействии Тайваньской социологической ассоциации и Academia Sinica. Она была созвана по инициативе тогдашнего вице-президента МСА, а ныне президента МСА Майкла Буравого. На ней присутствовали 60 участников из 43 стран; в книгах собраны 53 статьи, представленные ими в ходе трехдневных заседаний.

Структура этой подборки поражает своей странностью для книг по социологии: единственный зримый ее критерий – географический. Мы видим части, озаглавленные «Латинская Америка», «Африка», «Западная Азия», «Азиатско-Тихоокеанский регион», «Западная, Северная и Южная Европа», «Восточная и Центральная Европа». Порядок глав внутри этих объемных частей выглядит совершенно произвольным и лишен всякого тематического упорядочения. Даже с точки зрения географии имеются некоторые странные упущения. В Западной Европе мы не обнаруживаем Германии, колыбели классической социологии, не находим Италии, Швеции и Норвегии. Еще более озадачивающим является опущение Северной Америки. И это странно для книги о «глобальной социологии», если иметь в виду несомненную силу социологии в Соединенных Штатах и Канаде. Да, есть американец Майкл Буравой, но он предлагает нашему вниманию лишь вводную редакторскую главу[2] и рассматривает трехстраничные «за-

[1] *Sztompka P.* Another sociological utopia // Contemporary sociology. – L., 2011. – Vol. 40, N 4. – P. 388–396. Рецензия на книгу: Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1–3. Опубликована в рубрике «Спор о международной социологии».

[2] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1. – P. 3–27.

ключительные размышления» Джен Мари Фриц, тоже американки[1], как представительные для американской социологии. Признание всех континентов за исключением Северной Америки наводит на мысль, что в мире существует межконтинентальная коалиция социологов, игнорирующих или отвергающих американскую социологию и развивающих альтернативные методы, понятия, модели и теории – не просто иные, но фундаментально лучшие. Возникает мысль о смене парадигмы, подлинной революции – если не в глобальном обществе, то уж, по крайней мере, в социологии.

Это впечатление целиком подтверждается содержанием почти тысячи страниц трудов конференции. Это самая широкая разработка и обобщение идеологии, которая на протяжении довольно долгого времени пропитывала Международную социологическую ассоциацию (МСА) и теперь обрела своего наиболее вдохновенного и убедительного поборника в лице Майкла Буравого. Эта идеология сводится к трем оценочным и нормативным суждениям. Во-первых, в мировой социологии доминирует западная (североамериканская и европейская, или, коротко, «евро-американская») социология, которая сама по себе плоха для дисциплины. Во-вторых, вне США и Европы есть какие-то альтернативные, корневые или «индигенные» социологии, которые очень ценны, но подавляются и целиком исключаются американско-европейской гегемонией. В-третьих, нормативный императив, вытекающий из этих двух утверждений, требует борьбы за глобальную социологию, которая защищала бы эгалитарное представительство многих социологий, действительно существующих в сегодняшнем мире, достижение сбалансированного единства и избавление от предполагаемых предвзятостей американских и европейских социологов.

Я противостоял этой идеологии в ходе многолетнего исполнения своих обязанностей на разных постах в МСА. Избираясь на пост президента МСА в 2002 г., я использовал политически очень некорректный лозунг «Мастерство, а не баланс» и, несмотря на это, был избран на 4-летний срок (2002–2006) на Всемирном конгрессе в Брисбене. В «Справочнике МСА по разным социологическим традициям» (ISA handbook of diverse sociological traditions, 2010) я настаивал на том, что есть и может быть только одна социология, изучающая множество социальных миров. Три тома, здесь мною рассматриваемые, дают мне возможность вступить в более аналитическую дискуссию и прояснить мою позицию. Рассмотрим каждое из трех вышеприведенных утверждений по очереди.

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Maukuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 3. – P. 279–282.

Плоха, потому что западная?

Неравенство в мире, фигурирующее в названии обсуждаемых книг, схватывается с помощью четырех противопоставлений, появляющихся в них снова и снова: «Север – Юг», «Запад – Восток», «развитые – недоразвитые» и «метрополис (центр) – периферия». Упреки в американском и европейском доминировании по каждой из этих осей воспроизводятся почти во всех статьях. Что касается экономических ресурсов, политического влияния, военной мощи, цивилизационного уровня, технической инновационности и культурного производства, то очевидно, что мир неравен и что во многих из этих областей Запад все еще доминирует (насколько долго это продлится – другой вопрос). Попытка смягчить вытекающие отсюда несправедливости и неравенства и эмансипировать те регионы или страны, которым отказано в процветании, свободе и других благах современности и которые от этого благоденствия отлучены, – дело благородное и в полной мере похвальное. Однако было бы мегаломанией считать, что это величественное гуманное чаяние может быть осуществлено социологами, представляющими собой по большей части «безвластную элиту».

Поэтому совершенно уместно, что эти книги скромнее: они о внутреннем неравенстве и доминировании в социологической дисциплине, трактуемых как отражение этих более фундаментальных разделений в нашем глобализированном обществе. Авторы вносят лепту вовсе не в социологию недоразвитости, а в поддисциплину, известную как социология социологии, которая иногда производит впечатление змеи, кусающей собственный хвост. Меня поражает, сколько интеллектуальных сил тратится на все эти «отчеты о тенденциях», повествующие о развитии социологии в разных странах и пестрящие названиями исследовательских учреждений, темами грантов, названиями экзотических журналов и именами неизвестных исследователей, которые никого не интересуют. Вот несколько экземпляров этого жанра в обсуждаемых томах: статьи Яноша Мухи о Восточной Европе[1], Мау-куэя Чанга и др. о Тайване[2], Фаада аль-Насера о Кувейте[3], Чарльза Крозерса о Новой Зеландии[4], Моконга Симона Мападименга о Южной Африке[5]. Между тем большинство статей, вошедших в эти книги, иного рода, и они вызывают еще более серьезные возражения.

Эти авторы превращают социологию социологии в идеологическое занятие, бесстыдно отказывающееся от описания и объяснения ради чисто

---

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 3. – P. 187–206.

[2] Ibid. – Vol. 2. – P. 158–191.

[3] Ibid. – Vol. 2. – P. 132–138.

[4] Ibid. – Vol. 2. – P. 228–243.

[5] Ibid. – Vol. 1. – P. 213–221.

идеологического, оценочного или нормативного языка. Изобретательность навешиваемых ярлыков поистине впечатляюща: академическая зависимость, интеллектуальный империализм, американский империализм, колонизация социологии, интеллектуальный колониализм, доминирование метрополии, метропольная теория, западная гегемония, северная гегемония, северная перспектива, замаскированная под универсализм, навязывание европейских понятий и теорий мейнстримовой американской и европейской социологией, исключение Юга, исключение Востока, доминирование английского языка, евроцентризм и даже «вестоксикация», подлинно новаторское добавление к сленгу антизападничества.

Подобный язык создает хаос и непонимание, когда используется экспрессивно – скорее для передачи эмоций, чем для прояснения значений. Чтобы внести сюда какой-то порядок, мы должны различить два уровня, на которых клеятся такие ярлыки: институциональный и интеллектуальный. Очевидно, что на уровне институтов, организаций и сообщества социологов «мы глубоко вплетены в глобальные неравенства, привязаны к неравному распределению материальных ресурсов (доходов, исследовательских фондов, преподавательских обязательств, условий труда), социального капитала (профессиональных сетей, покровительства) и культурного капитала (образовательных регалий, университетского престижа, языковых способностей, публикаций)»[1]. Как польский социолог, я был бы последним, кто стал бы отрицать такого рода неравенства; когда я впервые был гостевым профессором в Соединенных Штатах в начале 1980-х годов, мое американское жалованье было почти в 50 (да, 50) раз выше, чем я получал у себя дома. Одна из частных мер успеха посткоммунистической трансформации в моей стране состоит в том, что теперь я зарабатываю уже только в пять раз меньше, чем мои американские коллеги. Но во-первых, в социологии в этом отношении нет ничего специфического. Все отрасли науки, включая естественные и технические науки, неравно оснащены в разных частях мира; ускорители частиц, лаборатории, экспериментирующие с геномом человека, и радиотелескопы, через которые наблюдаются черные дыры, можно найти только в некоторых странах. И во-вторых, такие неравенства являются прямым результатом тех фундаментальных экономических, политических, военных и прочих различий между странами, которые были упомянуты выше. Можно мечтать о более справедливом распределении ресурсов в мире, но, как признает Саид Фарид Алатас, «мы, ученые, можем сделать не так уж много на структурном или материальном уровнях академической зависимости, поскольку не отвечаем ни за институты, ни за государство»[2]. Озабоченность эта законна,

[1] Слова Майкла Буравого. См.: Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1. – P. 6.

[2] Ibid. – Vol. 2. – P. 139.

мы можем жаловаться и клеймить ситуацию, но в большинстве случаев не в наших силах ее улучшить.

Но обвинения в гегемонии, империализме, колонизации и зависимости выражаются также на эпистемологическом уровне: в отношении содержания социологического знания (теорий, моделей) и характера социологических методов. Здесь мы подходим к сути вопроса и подлинно спорной области. Есть непреложная историческая истина, что социология, как и многие другие вещи, хорошие или плохие, родилась в Европе в XIX в. и была предложена как новая дисциплина бородатыми белыми мужчинами, по большей части еврейского происхождения, жившими в Германии, Франции и Британии. Затем, на рубеже XIX–XX вв., она пережила второе рождение в Соединенных Штатах. Европейские и американские корни сформировали канон, или, если угодно, парадигму дисциплины, которая показала себя весьма плодотворной, и в ней, с некоторыми коррективами и расширениями, мы до сих пор движемся. Именно эта интеллектуальная сила европейских и американских мастеров, а не их предположительные империалистические амбиции или академический маркетинг, привела к принятию этого канона во всех частях мира, куда ступила социология. Этот канон, конечно, внутренне плюралистичен, в нем есть конкурирующие модели, теории, методологические ориентации и исследовательские процедуры. Критическая оценка каждой из них нужна и приветствуется как центральное требование этоса науки. Такой смысл придается «критической социологии» в четырехчленной типологии Майкла Буравого, включающей наряду с ней «профессиональную социологию», «прикладную социологию» и «публичную социологию»[1]. Увы, в обозреваемой книге мы не находим и следов «критической социологии», никаких содержательных аргументов в отношении той или иной теории, того или иного метода. Более того, мы не находим там следов и других трех «социологий». Вместо этого мы находим всплеск дискурса, который я бы назвал «идеологической социологией», и даже Буравой, вероятно, не принял бы его как пятый тип «социологии».

Многие авторы, внесшие в книгу свою лепту, видимо, верят, что уже в силу того, что мейнстримовые социологические методы и теории были предложены и развиты в каноне Европы и Соединенных Штатов, этом ядре капитализма и империализма, они отмечены этим грехом происхождения, а их экспансия на другие континенты произошла «на дулах винтовок», как насаждение и узурпация, параллельно колониализму или по крайней мере неоколониализму. Наверное, в этом аргументе было бы рациональное зерно, если бы он относился к христианской религии и на-

[1] Слова Майкла Буравого. См.: Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1. – P. 15–24. См. также ранние формулировки «публичной социологии: *Burawoy M.* For public sociology // British j. of sociology. – L., 2005. – Vol. 56, N 2. – P. 259–294.

сильственному обращению. Но социология, по крайней мере в какой-то степени, есть наука, а не религия; это поиск истины, а не декларация веры; она пытается находить регулярности, механизмы, способы функционирования и изменения в социальной жизни. Умудренные уроками антипозитивистского поворота, мы все же не сможем отрицать, что в какой-то мере, на каком-то уровне социология схожа с естественными науками. Оскорбителен ли для кого-то в Эквадоре, Бангладеш или на Тайване тот факт, что квантовая физика родилась в Копенгагене, Гейдельберге или Беркли или что человеческий геном был реконструирован в Калифорнии? Сомневается ли кто-нибудь в том, что гравитация работает в Африке, несмотря на тот факт, что она была открыта в Британии? Зачем в социологии заменять универсализм науки крайним релятивизмом? При этом конкретные эмпирические обстоятельства социальной жизни в разных частях мира различны, так же как и в разных «социальных мирах», имеющихся внутри каждого континента, региона или страны. Однако регулярности и механизмы человеческого поведения, межличностных отношений, образования групп, установления правил, осуществления власти и возникновения неравенств – одинаковы, универсальны. Клод Леви-Стросс отправился в амазонские джунгли в поисках экзотических различий, а нашел, как он сам признает в «Печальных тропиках» (Levi-Strauss, 1959), просто человека. При всех своих слабостях и лакунах, канон социологического знания говорит нам важные вещи о людях, мужчинах и женщинах, и неважно, живут ли они в Париже, Дакаре, Кито или Киото.

Лучше, потому что индигенная?

Разумеется, социальное знание, как и любое знание, несовершенно, предварительно и приблизительно. Прогресс в социологии, как и в любой другой науке, – это непрекращающийся процесс накопления наблюдений, понятий, гипотез, моделей и теорий. Нет никаких причин для того, чтобы фонд социологического понимания и инструментарий социологического ремесла обогащались только в традиционных европейских или американских центрах, западных университетах или исследовательских институтах. Новые прозрения, интуиции, точки зрения, подходы могут проистекать из опыта множества незападных обществ. И они действительно из него поступают, ибо сегодня социология практикуется более чем в 140 странах. Лепты, приходящие из таких источников, расширяют и дополняют существующее знание и методологический арсенал. Многие социологи из так называемого «второго» или «третьего» мира (или, как принято говорить в МСА, из стран категорий «B» и «C»), проникают в нормальные каналы заметности, существующие в нашей дисциплине: конгрессы, конференции, журналы, издательства, преподавательские назначения. Они более чем приветствуются, и не из-за того, откуда они прибывают, а в силу того, что они приносят с собой подлинные социологические вкусности. Я бы назвал это «слабой программой глобальной социологии». И я бы первым

вознес хвалу, если бы авторы обсуждаемых книг делали то же самое, что делают другие, а иногда и они сами, например, в журналах МСА: «International sociology», «Current sociology», серии международной социологии издательства «Sage», а также на других академических платформах, широко доступных социологическому сообществу. А именно: если бы они сообщали об интересных эмпирических исследованиях, теоретических открытиях и методологических изобретениях, внося тем самым лепту в кладезь социологической мудрости. Или если бы они, пользуясь социологическими инструментами, встретили с открытым забралом список насущных социальных проблем, оглашенный на открытии Тайбэйской конференции нобелевским лауреатом по химии Ли Юаньцзэ: это демографический взрыв, истощение природных ресурсов, разрушение окружающей среды, изменение климата, цивилизационные болезни, разрыв между богатыми и бедными, неграмотность, безработица, неустойчивое развитие[1]. Многие социологи, и далеко не только европейские и американские, вносят вклад в диагноз, объяснение и рекомендации по таким и схожим проблемам.

Но большинство авторов обсуждаемых томов не вносят этого вклада, хотя многие из них известны важными социологическими исследованиями, сделанными с помощью инструментов «мейнстримовой социологии» в Индии, Бразилии, Южной Африке, Израиле и других странах за пределами хулимого Запада. Вместо содержательных вкладов мы имеем несколько десятков идеологических манифестов, проповедующих какую-то эфемерную «альтернативную социологию», или «корневые социологии», призванные скорее заменить, чем дополнить подавляющий империалистический канон. Все они распевают радикальную, революционную песню под дирижерскую палочку Буравого. Они выдвигают то, что я назвал бы «сильной программой глобальной социологии». Один из ее поборников постулирует: «Незападные традиции знания и культурные практики должны считаться потенциальными источниками социально-научных теорий и понятий, призванных уменьшить академическую зависимость от мировых социально-научных держав» (С.Ф. Алатас)[2]. Да и сам гуру прочерчивает революционный путь: «Вызов универсализму западной социологии – двухступенчатый проект: он должен сначала показать, что они не отражают опыт подчиненных населений, а затем продемонстрировать, что есть альтернативные теории, игнорировавшиеся и подавлявшиеся метропольной социологией» (М. Буравой)[3].

Что касается первого шага в этом проекте, то вынужден признать: я просто не понимаю, о чем, собственно, идет речь. Разве недавняя книга

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1. – P. 28–34.

[2] Ibid. – Vol. 2. – P. 139.

[3] Ibid. – Vol. 1. – P. 11.

лорда (*страшно сказать*) Энтони Гидденса о глобальном потеплении (Giddens, 2009) не отражает опыт Бангладеш или Сейшельских островов, которым угрожает повышение уровня Мирового океана? Разве теория стигматизации Эрвинга Гоффмана нерелевантна для понимания остатков кастовой системы в Индии? Разве изучение бедности и бездомности в Варшаве, столице Польши, Чикаго или Париже не отражает опыт бедных и бездомных людей, где бы им ни довелось жить? Социологическое исследование, пока оно достойно зваться наукой, отражает универсальные трудности, социальные проблемы, человеческую озабоченность, давая обобщенное знание для диагноза, объяснения, предсказания и возможного их устранения там, где они проявляются. Таким образом, я не вижу в первом шаге Буравого никакого смысла. Может быть, это просто идеологическая риторика и революционный пыл?

Однако самая суть дела заключена во втором шаге: нахождении «альтернативных теорий» в противовес «метропольной социологии». С тех пор как Акинсоло Акивово призвал к «индигенной африканской социологии» (Akiwowo, 1986), я был озадачен такими заявлениями и искал возможные примеры этих альтернативных, индигенных социологий. Акивово таких примеров не дал, а поскольку он основывает свои выводы в области социологии знания на эмпирических свидетельствах африканской устной поэзии, то указывает он вовсе не на альтернативную социологию, а на новые оригинальные данные, которые поддерживают (или, может быть, подрывают) «мейнстримовую» социологию знания Маркса и Манхейма. Это вписывается в «слабую программу», которую я принимаю, но при этом я продолжаю поиск примеров «сильной программы», т.е. подлинных альтернатив. Как усердный подписчик журнала «International sociology», я надеялся найти что-то там. Но чаще всего я находил обычные социологические методы (обследования, анкетный опрос, кейс-стади, контент-анализ, включенное наблюдение, статистические измерения и индикаторы), применяемые к контексту незападных обществ и подтверждающие (или фальсифицирующие) стандартные социологические теории (функционализм, марксизм, символический интеракционизм, феноменологию). Поэтому я возлагал последние надежды на трехтомник Буравого и его коллег. Какое разочарование! Я вновь не обнаружил ни одного убедительного случая новой оригинальной индигенной теории, ни одного нового оригинального индигенного метода. Что я нашел, так это заявление одного из сильнейших сторонников «индигенизации», по всей видимости, пилящего сук, на котором он сидит: «Проблема большинства работ по этим вопросам в том, что в них мало делается для разработки альтернативных теорий и понятий и много сил тратится на дискуссии о необходимости таких альтернатив» (С.Ф. Алатас)[1]. Как верно и как уместно здесь описыва-

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Maukuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 2. – P. 144.

ются тон и посыл всех трех томов! Увы, Алатас пытается привести некоторые конкретные примеры. И что мы получаем? Замечание, что «в азиатских исследованиях коммуникации китайские, японские и корейские ученые смотрели на индигенные понятия»[1], такие, как «бао», которое в китайском означает взаимность, «бянь», означающее изменение, «гуаньси», означающее сеть взаимоотношений, или «кэ ци», означающее вежливость. Но эти понятия китайского языка – просто эквиваленты хорошо известных «мейнстримовых» социологических идей: «взаимности», «изменения», «взаимоотношений», «вежливости». Выходит, «индигенная социология» – это любая социология, написанная на ином языке, чем английский? Является ли тогда моя книга о доверии, опубликованная на китайском языке (Sztompka, 2006), написанная в Польше и впервые изданная в Кембридже (Sztompka, 1999), вкладом в индигенную польскую, британскую или китайскую социологию? Я до сих пор вынужден продолжать поиски примера индигенной, альтернативной социологии.

Но прежде чем я его найду, позвольте мне немного потеоретизировать по этому вопросу. Слово «индигенная» может означать много разных вещей: во-первых, все незападное (не европейское и не американское); во-вторых, ограниченное одной цивилизацией; в-третьих, ограниченное каким-то одним регионом; в-четвертых, ограниченное одним национальным государством (в наше время это наиболее общая рамка, в которой ведется социальная жизнь). Давайте остановимся на последнем смысле. Такой выбор легитимирует и сам Буравой: «Строительным блоком этой [глобальной] мозаики является национальная социология, ведь нация всегда была для социологии основной единицей анализа, а также определяла параметры ее поля действия»[2]. В ряде недавних заявлений Ульрих Бек (Beck, 2006) критикует «теорию контейнера», основанную на допущении «методологического национализма». Но идея, что социальная жизнь проживается внутри отдельных контейнеров, помеченных границами национальных государств, все еще во многом остается с нами, о чем свидетельствует не только приведенное утверждение, но и содержание трех обсуждаемых томов. Достаточно взглянуть на второй том об Азии и на названия его глав. Мы находим «бангладешскую социологию», «индийскую социологию», «турецкую социологию», «кувейтскую социологию», «армянскую социологию», «азербайджанскую социологию». Таким образом, «социологии» во множественном числе явно считаются демаркированными по границам национальных государств.

Но что вообще могло бы означать наличие индигенных национальных социологий (во множественном числе)? Позвольте мне воспользоваться названием воображаемого Королевства Лаилонии, придуманного

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 2. – P. 147.

[2] Ibid. – Vol. 1. – P. 4.

для схожей цели польским философом Лешеком Колаковским (Kolakowski, 1989). Что могло бы иметься в виду под лаилонской социологией? Первое значение тривиально: социология в Лаилонии, изучаемая и развиваемая в тамошних университетах и исследовательских учреждениях. Это любимая тема скучных «отчетов о трендах». На этом институциональном и организационном уровне нет большого числа национальных характеристик, ибо благодаря глобализации структуры академических центров по всему миру очень схожи. Во-вторых, под ней может иметься в виду социология, которая пишется и публикуется на лаилонском языке. Но, разумеется, если дело лишь в языке, то тут нет ничего индигенного. Если перевести ее на другие языки, то это будет та же самая социология. Здесь мы сталкиваемся с псевдопроблемой «империализма» английского языка. Вместо того чтобы радоваться тому, что теперь, опять же благодаря глобализации, мы можем изучать только один иностранный язык, чтобы иметь доступ к всемирному академическому сообществу, включая все важные книги, когда-либо написанные, некоторым людям хотелось бы вновь возвести Вавилонскую башню и отвергнуть английский язык как инструмент господства, подавления, исключения и еще бог знает чего. Чем быстрее социологи из Лаилонии пишут и публикуются на английском, тем лучше для них, и тем лучше для социологии. Третье значение – социология лаилонцев как уроженцев этого королевства. Но академическое сообщество со времен Средневековья было весьма мобильным, и сегодня благодаря глобализации социологи постоянно находятся в движении, переезжая в зарубежные страны на постоянной или временной основе; их национальность не является при этом значимым маркером их работы. Более глубокий аргумент в пользу индигенной социологии в этом смысле может отсылать к доктрине «инсайдеризма», убедительно отвергнутой еще Робертом К. Мертоном (Merton, 1972), отмечавшим, что социальную реальность необязательно понимать только изнутри. «Аутсайдеризм» тоже может быть плодотворен. В конце концов, непревзойденное исследование американской демократии написал француз Алексис де Токвиль, а швед Гуннар Мюрдаль лучше американцев понял американскую расовую дилемму. Четвертый смысл – это социология о Лаилонии. Выскажу тривиальное замечание, что большинство социологов черпают личный опыт и эмпирические свидетельства в своей стране. Но если они остаются социологами о Лаилонии, и только, то они уже не социологи. Пока их знание остается национально ограниченным и дает информацию только об их собственном обществе, это либо ареальные исследования, либо национальная статистика, но, в моем понимании, не социология. Только когда социологи делают на основе локальных данных обобщения, служащие опорой для утверждений об универсальных закономерностях и механизмах социальной жизни, мы можем говорить об их вкладе в социологию. Теории общества и методы социологического исследования никогда не бывают индигенными, пусть даже они построены на фундаменте локаль-

ных фактов и опытов. Наиболее желанным вкладом социологов извне Европы и Америки были бы свидетельства, эвристические догадки, оригинальные локально инспирированные модели и гипотезы о регулярностях, которые вносили бы лепту в универсальный фонд социологического знания в виде верификаций, фальсификаций или расширений. Но все это остается в пределах «слабой программы глобальной социологии», которую я всецело поддерживаю.

Пятым значением будет социология с лаилонской повесткой дня, обращенная к специфическим социологическим проблемам, типичным для Лаилонии. Разумеется, каждая страна отлична от других в этом отношении. Различия в экономической развитости, политическом режиме, культурном наследии, историческом опыте делают некоторые социологические вопросы более злободневными, чем другие. То, что является значимым вопросом для Нигерии, может не быть значимым вопросом для Нидерландов. Некоторые вопросы становятся насущными, другие отходят на задний план. Но они никогда не бывают совершенно уникальными, вопросами *sui generis*, и путь для подхода к ним – это не построение новой «индигенной» теории или метода для каждого из них по отдельности, а рассмотрение локальных особенностей как удобной стратегической исследовательской площадки, своего рода лаборатории для применения стандартного инструментария социологии или для разрешения вечных проблем социальной структуры, социального изменения, роли человеческой деятельности, короче говоря, для внесения вклада в универсальные теории о регулярностях и механизмах социальной жизни. Шестым значением социологии для Лаилонии будет индигенность, ориентированность на локальные, специфические социальные проблемы в попытке смягчить или разрешить их посредством социальных реформ. У Буравого это «прикладная социология» – «policy sociology», или, в более традиционных терминах, «applied sociology». В научной логике есть непоколебимая истина, что никакие практические директивы не вытекают из одних только фактов или данных. Факты и данные должны быть помещены в контекст какой-то теории, эксплицитной или имплицитной. Только тогда они будут играть роль исходных условий, предполагающих в совокупности с теоретическими суждениями о регулярностях или механизмах предсказания и директивы. Например, в медицине никакая терапия не следует из простого измерения у клиента температуры или даже из в высшей степени сложного томографического исследования. Эти диагностические факты должны быть связаны с теориями различных болезней и телесных механизмов, и только после этого можно будет предложить эффективное лечение. То же касается и прикладной социологии. До тех пор, пока она остается научной, она должна черпать ресурсы из фонда универсальных теорий общества, а не изобретать *ad hoc* какую-то «индигенную» теорию. Представим, что бы происходило с пациентами, если бы медики в каждой больнице конструировали разные теории анатомии и физиологии. Таким образом, приклад-

ные социологи должны принимать во внимание существующий канон социологии. Если они не делают это эксплицитным образом, если их рекомендации не базируются на существующих теориях, то они занимаются не прикладной социологией, а в лучшем случае интуитивной политикой.

Те же доводы можно было бы применить, если бы под «индигенными» имелись в виду не национальные, а региональные, континентальные или цивилизационно специфичные «социологии». Есть много социальных миров, по-разному демаркированных, но нет и не может быть многих социологий. Может быть неполная глобализация общества, как говорят многие авторы в книге «Сталкиваясь с неравным миром», но я утверждаю, что глобализация социологии должна быть полной, по крайней мере, если считать ее наукой. Наука – это область, глобальная (универсальная) по определению. Она была глобальной уже задолго до того, как началась глобализация человеческого общества, фактически с самого своего зарождения, поскольку она занимается поиском универсальной истины: регулярностей и механизмов реальности. Коперник и Кеплер вносили вклад в глобализированную (универсальную) астрономию, Ньютон и Фарадей – в глобализированную (универсальную) физику. Так же и социология всегда легитимировала свои притязания на научный статус стремлением раскрыть универсальные законы человеческого общества. Призыв к альтернативным, индигенным социологиям – это новая версия антинаучного обскурантизма. Есть много разных обществ, но одна социология, одна социальная наука для множества разных социальных миров.

Мечта о глобальной социологии

Третья нога, на которой держится идеология трехтомника, – это призыв к глобальной социологии, понимаемой как эгалитарное партнерство многих индигенных социологий всего мира. Глобальная социология не может быть создана сверху путем насаждения европейских и американских («северных») идей и методов. Скорее, как утверждается, она должна быть выстроена снизу, посредством сопротивления этой «мейнстримовой социологии» со стороны незападных индигенных социологий, объединивших усилия в построении «альтернативной социологии». Поистине революционный проект!

В студенческие годы я столкнулся с марксизмом-ленинизмом, и потому на ум неизбежно приходят некоторые отзвуки этой доктрины и ее логики. Просто рассмотрим примеры. Тезис первый Буравого: социология не имеет собственного предмета, но у нее есть специфическая точка зрения – точка зрения гражданского общества, с которой она только и может изучать рынок и государство, развенчивать «экспансию этих институтов, которая угрожает гражданскому обществу, а стало быть, не только социологии, но и самой способности человечества защитить себя, например, от

деградации среды и труда»[1]. Ну чем не отзвук марксистской «перспективистской» социологии знания, в которой только точка зрения пролетариата раскрывает истину эксплуатации и дает защиту от капитализма? Тезис второй: «Поскольку рынки становятся глобальными, то и социология стремится стать глобальной, вносящей вклад в глобальное гражданское общество, связывающей воедино сообщества, организации и движения поверх национальных границ»[2]. Социологи всего мира, объединяйтесь; вам нечего терять, кроме своего академического статуса! Парафраз знаменитой сентенции, завершающей первый параграф «Коммунистического манифеста»? Тезис третий: «Если социология может быть конституирована как коллективный актор, то не может ли она также преодолеть оборонительную позицию профсоюзов, как бы она ни была важна, дабы охватить более широкие интересы и глобальное сознание?»[3]. О да! Пролетарии должны заменить свою узкую профсоюзную ментальность и достичь подлинного классового сознания, как сказали бы об этом Ленин и Лукач.

Пути из утопии

Нет ничего плохого в таких параллелях. Вдохновение может приходить из разных источников, прозрения могут рождаться при прочтении всякого рода книг. Реальная проблема идеологии обсуждаемого трехтомника в том, что «сильная (революционная) программа глобальной социологии» строится на трех допущениях, которые я считаю ошибочными.

Первая ошибка – это мечтание об эгалитаризме в области, которая по самой своей природе является элитистской, а именно в области науки. Мы хорошо знаем (даже если считаем, что политически корректно это отрицать), что есть великие ученые, хорошие ученые, посредственные ученые, плохие ученые и люди, которые только притворяются учеными. Мы знаем, что есть великие университеты, посредственные университеты, плохие университеты и университеты только по имени. И точно так же мы знаем, что есть ведущие страны, где наука процветает, другие страны, где достижения вторичны и производны, а не оригинальны, и третьи, где наука маргинальна или ее нет совсем. Это также применимо к социологии, социологам, социологическим исследовательским учреждениям и странам, где социология практикуется. Повторю свой лозунг: «Мастерство, а не баланс».

Вторая ошибка – это извлечение ложных выводов из разнообразия и релятивизма. Общества различны: социальные условия, контексты, среды в них различаются, иногда радикально. Но это не значит, что должно быть

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1. – P. 25.

[2] Ibid. – Vol. 1. – P. 25.

[3] Ibid. – Vol. 1. – P. 26.

много социологий, производящих знания для каждого локального, частного контекста. Регулярности и механизмы функционирования и изменения в разных обществах одинаковы. Локальные условия обеспечивают площадку для проверки, коррекции, модификации или приращения универсального социологического знания. Отсюда колоссальная значимость сравнительной социологии, подчеркиваемая всеми, от Огюста Конта до Алекса Инкельса и Масамити Сасаки (Inkeles, Sasaki, 1996). Но не для создания множественных индигенных социологий, каждая о своем отдельном обществе. Повторю: существует одна социология для множества социальных миров.

Третья ошибка – смешение двух разных фаз научного исследования: эвристической фазы и фазы обоснования и доказательства. Вдохновение к эмпирическому исследованию или построению теории может приходить из разного рода источников. Легенда гласит, что Ньютона ударило по голове упавшее яблоко и что таким образом он открыл закон всемирного тяготения. В социологии важное вдохновение приходит из личного опыта социологов как членов конкретного общества в конкретном историческом времени. На уровне эвристики великие социологии часто бывают автобиографиями их авторов. Все мы глубоко вовлечены в наши национальные лояльности, культурные ценности, религиозные верования, стереотипы, предрассудки, идеологии. Фактически чем сильнее – тем лучше, поскольку наши частные, локальные или провинциальные или маргинальные обстоятельства могут предлагать повестки дня с проблемами, требующими решения, и наводить на возможные гипотезы и пророчества. Но как только мы вступаем в область обоснования и доказательства, мы должны превращать интуитивные догадки в эмпирически подтвержденные факты, гипотезы – в теоретические объяснения, пророчества – в обоснованные предсказания. Всего этого мы достигаем, прибегая к универсальному методологическому инструментарию социологии и плюралистическому архиву социологических теорий, беря из них то, что нужно для обоснования и проверки наших притязаний на истинное знание об обществе. Мы можем быть очень партикуляристичными в наших вдохновениях и эвристических предположениях. Но мы должны стремиться к универсалистскому знанию путем применения универсалистских стандартов и критериев социологического метода. Один из отцов нашей дисциплины, один из тех, кого саркастически именуют «так называемыми классиками»[1], ясно установил: «Было и остается истинным, что систематически правильное научное доказательство в социальных науках, чтобы достигать своей цели, должно быть признано правильным даже китайцем; или, говоря точнее, оно должно постоянно стремиться к достижению этой цели, которой, воз-

[1] Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Maukuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010. – Vol. 1. – P. 13.

можно, нельзя полностью достичь в силу несовершенства данных»[1]. Вместо того чтобы отвергать «так называемых классиков», я бы предложил – в качестве противоядия от ложного проекта глобальной социологии и индигенных социологий – прочитать их, особенно «Методологию социальных наук» Макса Вебера (американское издание 1949 г.) и «Правила социологического метода» Эмиля Дюркгейма (американское издание 1964 г.). Необязательно читать их по-английски; здесь легко избежать «языкового империализма», поскольку они доступны на большинстве языков.

«Сильная программа глобальной социологии», представленная в обсуждаемом трехтомнике, – это новая социологическая утопия. Даже если она движима добрыми намерениями, ее необходимо отвергнуть. Она неосуществима по принципиальным причинам, указанным в этом обзоре. Она сродни пресловутому поиску черной кошки в черной комнате, в которой ее нет. Единственным ясным и разумным подходом является то, что я назвал «слабой программой глобальной социологии», т.е. согласованная попытка извлекать что-то из вдохновений, идущих из всех стран, всех возможных обществ, культур и цивилизаций, и втягивать социологов из стран с более слабыми социологическими традициями в мировую орбиту принятого и проверенного универсального канона методов и теорий. Эти опыты и такие вклады могут быть в высшей степени ценными для проверки, улучшения, исправления и расширения этого канона, и это лучше, чем отвергать его на ложных идеологических основаниях.

«Слабая программа» реализовывалась и реализуется, и МСА, спонсор этого трехтомника, играет в этом большую роль. Довольно удивительно, но в заключительной главе последнего тома Артуро Родригес-Морато, бывший вице-президент МСА по исследованиям, отказывается быть проглоченным революционным рвением редакторов и предыдущих авторов и представляет отчет о том, что МСА делала, чего она достигла и какие меры она планирует предпринять для осуществления «слабой программы». Наверное, стоило проплыть через 1000 предшествующих страниц, чтобы добраться до этого острова здравомыслия. И все же я бы не рекомендовал делать это читателю. Радикализм этого трехтомника оказывает медвежью услугу социологиям, рождающимся в социологически менее развитых странах, ибо заставляет тамошних ученых сочинять идеологические манифесты и фокусироваться на тщетных попытках изобретения «альтернативных социологий», вместо того чтобы делать нормальную социологическую работу и вносить тем самым свои локальные, частные опыты и вдохновения в мировой, универсальный фонд социологической мудрости.

Литература

1. *Akiwowo A.* Contribution of sociology of knowledge from an African oral poetry // International sociology. – L., 1986. – Vol. 1, N 4. – P. 343–358.

[1] *Weber M.* Methodology of the social sciences. – N.Y.: Free press, 1949. – P. 58.

2. *Beck U.* Cosmopolitan vision. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. – 201 p.
3. *Giddens A.* Politics of climate change. – Cambridge: Polity, 2009. – VIII, 264 p.
4. *Inkeles A., Sasaki M.* Comparing nations and cultures. – Englewood-Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1996. – XV, 626 p.
5. ISA handbook of diverse sociological traditions / Ed. by S. Patel. – L.: Sage, 2010. – XVII, 366 p.
6. *Kolakowski L.* Tales from the kingdom of Lailonia. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1989. – VI, 186 p.
7. *Levi-Strauss C.* Tristes tropiques. – P.: Librairie Pion, 1955. – 462 p.
8. *Merton R.K.* Insiders and outsiders // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1972. – Vol. 78, N 1. – P. 9–47.
9. *Sztompka P.* Trust: A sociological theory. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – XII, 214 p. (китайское издание: *Sztompka P.* Trust: A sociological theory. – Beijing: Zhonghua book company, 2006. – VI, 273 p.
10. *Weber M.* Methodology of the social sciences. – N.Y.: Free press, 1949. – 188 p.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

М. Буравой

ПОСЛЕДНИЙ ПОЗИТИВИСТ[1]
(Перевод с англ.)[2]

Кто ныне читает Конта? Считающийся основателем позитивизма, Огюст Конт утверждал, что всякое знание движется в своем развитии через три стадии: от теологической через метафизическую к позитивной. Позитивная стадия – это поиск законов и регулярностей, позволяющих людям поставить под свой контроль сначала природу, а затем общество. Сначала появились «самые простые науки» – астрономия, физика, химия и физиология; потом, последней, появилась наиболее сложная из всех наук, социальная физика, или то, что он назвал социологией. Она призвана была стать царицей наук. Так говорил Конт.

Обзор книги «Сталкиваясь с неравным миром: Вызовы глобальной социологии», написанный Петром Штомпкой, мужественно возрождает из пепла контовский взгляд на науку, характерный для XIX столетия, – идею единой универсальной социологии, скроенной по образцу естественных наук, которая, по утверждению Штомпки, стала теперь глобальной. Для Штомпки все, что не дотягивает до «универсальных законов человеческого общества», является ретроградным, т.е. проявлением «антинаучного обскурантизма» – возвратом к метафизике темного Средневековья. Контианец до мозга костей, он объявляет социологию наукой, которая «по самой своей природе является элитистской», в которой первую скрипку иг-

[1] Ответ на рецензию П. Штомпки. Опубликован в рубрике «Спор о международной социологии» в журнале *«Contemporary sociology»*: *Burawoy M.* The last positivist // Contemporary sociology. – L., 2011. – Vol. 40, N 4. – P. 396–404.

[2] Я хотел бы поблагодарить за комментарии Мау-куэй Чанга и Мишель Фэй-ю Сие. Они были соредакторами трехтомника «Сталкиваясь с неравным миром» (Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: International sociological association, 2010) и организаторами очень захватывающей и продуктивной конференции. Все аудио- и видеозаписи заседаний, а также опубликованные доклады можно найти: http://www.ios.sinica.edu.tw/cna/index.php

рают немногие числом «великие ученые», работающие в «великих университетах».

Однако научная мысль со времен Конта продвинулась далеко вперед. Понимание науки, легшее в основу социологии, боровшейся за признание и легитимность, очень отлично от ее понимания, установившегося тогда, когда социология уже утвердилась. В более общем плане последние два столетия стали свидетелями огромных преобразований в практике и самопонимании не только социологии, но и самой науки. Цепляясь за позитивизм XIX в., Штомпка делает себя пленником своих допущений: он путает естественные и социальные науки, глобальное и универсальное, реальное и воображаемое, идеологию и утопию, что ведет к превратному описанию сильной и слабой программ в глобальной социологии. Он призывает к мастерству, а не балансу, и не получает на выходе ни того, ни другого. Он заводит себя в Лаилонию – воображаемую контовскую страну, далекую от планеты Земля XXI в. Запершись там и пытаясь воскресить давно минувшее прошлое, он даже не обращается к книгам, обзор которых он вроде бы пишет.

Мой ответ переносит из воображаемой Лаилонии в реальный Тайвань, где в 2009 г. собрались 60 социологов из 43 стран, чтобы обсудить вызовы глобальной социологии. Тайвань был отличным местом для такого обсуждения; это страна, угодившая в челюсти геополитики, столкнувшаяся с целой чередой колонизирующих держав, страна, где социология была втянута в тяжелые и иногда даже яростные общественные дебаты о национальной идентичности, самобытности, развитии и интернационализации. Если какая-то группа социологов и понимает вызовы глобальной социологии, то это тайваньцы.

Сама конференция прошла при совместной поддержке Международной социологической ассоциации, Тайваньской социологической ассоциации и Academia Sinica, одного из ведущих научных институтов в Азии. Всем 57 национальным ассоциациям – членам МСА было предложено прислать своих представителей (представителям более бедных стран оплачивались расходы), и 29 ассоциаций на это откликнулись. Другие страны были добавлены для обеспечения равного численного представительства от всех трех уровней экономического развития, определенных Всемирным банком. Конечно, с одной стороны, многие страны были при этом не включены, но, с другой стороны, пропорциональное представительство не создавало дисбалансов во влиянии разных стран. Сетования Штомпки на то, что было недостаточно североамериканцев, игнорируют повсеместное влияние социологии США.

Сами тома организованы по регионам, что поражает Штомпку «как странное для книги по социологии». Странно это лишь для того, кто мыслит в терминах универсальных, свободных от контекста законов человеческого общества, кто отрицает географические корни социологии, кто считает несущественным, где и как социология создается, и кто считает

социологию произрастающей из голов великих ученых как бы путем непорочного зачатия, или того, что Пьер Бурдье (Bourdieu, 1996) зовет харизматической идеологией «творения». Защищая географический отбор, я показываю, насколько прочно социология Штомпки укоренена в его стране, Польше, насколько изучение социологии в разных странах не является никчемным потворством своим слабостям, а вносит вклад в социологию знания и науки, в организационную теорию, а также в культурную и политическую социологию (если назвать лишь четыре подобласти), и, наконец, что самое важное, в какой степени национальные социологии являются необходимым основанием для всякой эмпирически укорененной глобальной социологии.

Наука сегодня

Искажения слишком глубоки, и потому мы должны начать с самого начала. Что сегодня следует понимать под наукой? Утверждение, что любая наука может быть представлена как индуктивный поиск «регулярностей и механизмов» (Штомпка использует это выражение восемь раз), было действенно разрушено разными школами постпозитивистских мыслителей; их список, если брать только недавнее время, может быть начат с Карла Поппера и будет включать таких выдающихся философов, историков и социологов, как Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд, Шапин, Латур и Хабермас. У каждого из нас есть свои фавориты, но все они показывают, что наука не может быть абстрагирована от ее контекста, – она является продуктом своей истории, а также более широкой истории, в которую она вписана, – и, например, что «эвристика» (или то, что другие называют «открытием») и «обоснование» не могут быть четко отделены друг от друга. Проект науки, от эпистемологий до теорий, от методологий до техник, глубоко пропитан тем социальным миром, в котором наука укоренена.

Таким образом, социология науки находится в сердцевине нынешнего понимания науки. Отвергая социологию социологии как «змею, кусающую собственный хвост», Штомпка упускает из виду простую социологическую истину, что наука, в том числе социология, находится не вне общества, не за пределами социальной детерминации. К естественным наукам это относится не меньше, чем к социальным. Ранние позитивистские философы науки пытались навязать свою конструкцию объективистской, позитивистской науки новым социальным наукам, стремившимся выстроить свое научное реноме, однако никто в установившихся науках не воспринимал их модели всерьез. Одним из важнейших вкладов социологии была демонстрация того, что сама наука есть социальный продукт, и того, как это сказывается на поведении самой социологии.

В числе ранних критиков позитивизма был, среди прочих, Макс Вебер, чью книгу «Методология социальных наук» Штомпка настойчиво

советует нам почитать. И разумеется, ее нужно читать[1]. Из нее мы узнаем, что социальных ученых отличает принятие во внимание самопонимания акторов, которых они изучают; и это правило Штомпка из раза в раз нарушает в своем обзоре, отбрасывая социологическое сообщество, состоящее из «неведомых исследователей, до которых никому нет дела». Он даже осуждает своего коллегу, Януша Муху, за то, что тот опирается на польских социологов, неведомых и незначительных, теряя при этом из виду самую суть очерка Мухи, а она в том, чтобы показать, как впечатляющая польская социология росла в диалоге с националистическими движениями, боровшимися против окружающих держав. Придавая вес только «великим ученым», элитистский взгляд Штомпки на науку затушевывает значимость научного сообщества (или латуровской сети акторов) – т.е. науки как коллективного предприятия.

Даже если оставить в стороне отказ от веберовского «понимания», остается тайной, почему Штомпка рекомендует «Методологию социальных наук». Даже самое поверхностное прочтение этого блестящего бессмертного текста показывает, что Вебер радикально отходит от позитивизма, т.е. от допущения, что социальные науки и естественные науки следуют одним и тем же принципам. Вебер пишет, что мы сталкиваемся с миром бесконечно многообразным и что есть два способа осмысленно к этому отнестись: искать регулярности и выводить законы (путь естественных наук), с одной стороны, и принять ориентирующую ценностную позицию по отношению к миру (путь исторических наук) – с другой. Социальные науки, утверждает он, пытаются сочетать объяснение и интерпретацию, но при этом он настаивает, что не может быть социальной науки без ценностной позиции.

Вебер последователен. Поскольку всякое социальное действие имеет ценностную ориентацию, то это должно относиться и к практике социологии. У Маркса есть ценностная позиция, основанная на видении людей богатыми в потребностях и дарованиях родовыми существами; Дюркгейм основывает свою работу на ценности солидарности; сам Вебер в этом отношении не столь ясен, но через все его труды проходит сквозной нитью могущественная приверженность человеческому разуму и свободе. Таким образом, разные ценностные позиции рождают разные исследовательские программы, каждая из которых развивает свой тип социологии. Так, гений Дюркгейма кроется в том, как его озабоченность солидарностью приводит его к переистолкованию само собой разумеющегося и показу того, что разделение труда становится источником солидарности (а не конфликта), что религия является продуктом общества (а не Бога), что самоубийство может быть понято как продукт социальных сил (а не индивидуального

[1] Предположение Штомпки, что я отвергаю классику, – одно из многих его заблуждений. В этом случае он ложно проецирует на меня неверно истолкованную «Южную теорию» Ревина Коннела (Connell, 2007).

расстройства). Разные исследовательские программы предполагают принципиально разные способы видения мира.

Для Вебера множественные ценности – не историческая случайность. Мы живем в расколдованном мире с множеством вер. Современность, по определению, «политеистична». Это мир неподатливых и непримиримых ценностей, заключающий в себе то, что Вебер назвал войной богов. Если ценности лежат в основании наших исследовательских программ (или, как называет это Имре Лакатос, негативной эвристики), то не может быть единой всеобщей социологии, если только, конечно, она не приходит на штыках или из пропагандистской машины, как в случае марксизма-ленинизма.

Национальная основа глобальной социологии

Если нет единой универсальной социологии, то что тогда мы могли бы иметь в виду под глобальной социологией? Согласно Штомпке, исходя из его контовских наклонностей, социология уже полностью глобализирована. Но что же собой представляет эта глобализированная социология? Он называет теорию стигматизации Эрвинга Гофмана как релевантную для «остатков кастовой системы в Индии». Неужели? Книга Гофмана о стигме и в самом деле преподносит его драматургический анализ в качестве универсального, уже хотя бы благодаря игнорированию исторического контекста, в частности динамики систем стратификации. Возвращая заявляемую универсальность в ее контекст, Алвин Гоулднер утверждает, что «Стигма», как и другие работы Гофмана, отражает особенности среднеклассового общества США. Ее релевантность для индийских сел спорна. Ее определенно нельзя принимать на веру; она еще нуждается в доказательствах.

Второй пример Штомпки – книга о глобальном потеплении Энтони Гидденса (Giddens, 2009). Но много ли Гидденс знает о воздействиях глобального потепления на Бангладеш или Сейшельские острова (примеры Штомпки)? В «Политике изменения климата» всего пять страниц посвящено последствиям глобального потепления для развивающихся стран. Гидденс – действительно интересный случай. Его глобальная социология делается космополитическим интеллектуалом, снующим из одной страны в другую, но ни одну из них не изучающим глубоко. Даже сегодня, с нашим повышенным национальным и глобальным сознанием, многое в социологии США хотя и пишется без всяких географических референций, пишется в действительности о США; это частное, выдаваемое за универсальное. Открыть, что в этом частном и в самом деле универсально, что может быть универсальным у Гофмана или Гидденса, – это и есть проект глобальной социологии, заключающей в себе трудные и кропотливые исследования.

Позитивистские привязанности Штомпки не только скрывают частное и особое в мнимом универсальном; они еще и приводят его к отбрасы-

ванию всех частных и особых, т.е. специфически национальных социологий. Вместо того чтобы сделать обзор 43 кейс-стади национальных социологий, он выдвигает собственную воображаемую контовскую социологию королевства Лаилонии. Давайте же сравним пять выделяемых им значений воображаемой лаилонской социологии с реальными национальными социологиями, разбираемыми в книге «Сталкиваясь с неравным миром».

«Первое значение тривиально: социология в Лаилонии, изучаемая и развиваемая в тамошних университетах и исследовательских учреждениях. Это любимая тема скучных “отчетов о трендах”. На этом институциональном и организационном уровне нет большого числа национальных характеристик, ибо благодаря глобализации структуры академических центров по всему миру очень схожи».

Спустимся из позитивистского королевства Штомпки на планету Земля и выясним, что он мог узнать из книги «Сталкиваясь с неравным миром».

Во-первых, развитие социологии в разных странах происходит очень по-разному. Из 192 государств – членов ООН только 55 имеют национальные социологические ассоциации, являющиеся членами МСА. Лишь в немногих из остальных есть активные национальные ассоциации, и это указывает на то, что социология там слабая либо ее вообще нет. Многие страны Африки, Латинской Америки, Азии лишены такой роскоши, как наличие факультетов социологии в их университетах, а в некоторых нет даже и такой роскоши, как университеты. В других случаях социология существует лишь под зонтиком других факультетов. Социология определенно не глобализирована.

Развитые капиталистические страны обладают развитой социологией, однако она в них оказывается организованной очень по-разному. В каких-то странах национальная организация очень сильна (например, в США), в других (например, во Франции) существование национальной организации удивительно ненадежно. В каждой стране национальные традиции находят отражение не только в содержании дисциплины, но также в ее внутренних расколах, ее институциональном устройстве, ее ранговой структуре и т.д. Участвуя в Болонском процессе в сфере высшего образования, Испания с ее феодальным порядком выглядит совершенно иначе, чем Италия с ее глубоко политизированным полем, а последняя, в свою очередь, сильно отличается от более гомогенизированного и централизованного участника – Британии. Глубина проникновения социологии в общество тоже разнится, завися не только от продолжительности ее существования, но и, например, от серьезности, с которой ее преподают в средней школе. Во Франции социология пользуется публичным признанием, отчасти потому что входит в программу средней школы, в то время как в США ее часто путают с социальной работой или социализмом. Момент зарождения социологии и его контекст тоже придают форму ее траектории. Так, в Португалии социология достигла зрелости с революцией 1974 г.

и с тех пор поддерживала публичное присутствие. В Турции интерес к социологии оживился в связи с усилением общественных дебатов о национальной идентичности. Япония представляет нашему взору самую двусмысленную из социологий, много заимствующую из США и Германии, но обособляющую себя от всего мира. Эти схождения и расхождения подтверждают то, чего побуждают нас ожидать современные социологические теории – институционального изоморфизма, зависимости от пути, популяционной экологии, ресурсной зависимости, нового класса, – а именно: паттернированной изменчивости в национальных социологических полях.

Переходя к странам Глобального Юга, приходится признать гегемонию северных социологий, поддерживаемую деньгами на исследования, всякого рода грантами, определением учебных программ и учебников, контролем над журналами и т.д. Но даже так вариабельность очень велика и зависит от исторических наследий, а также проникновения рынка и государственного регулирования. Латинская Америка представляет особенно энергичное поле социологии, вскормленное отчасти сотрудничеством в период диктатур и общностью языка. Бразилия доминирует над регионом с централизованной и концентрированной социологией, что очень отличается от фрагментации, которую мы находим в Мексике. Африка гораздо менее расположена к социологии. Колониализм и недоразвитие наложили здесь свой отпечаток, и в значительной части континента университетская система разрушилась. Тем не менее есть яркие островки – например, Южная Африка с ее уникальной социологией, формировавшейся в условиях апартеида, часто в тесной связи с борьбой против апартеида. Как Бразилия доминирует в Латинской Америке, так Южная Африка – в Африке. Изучение отношений между социологиями Севера и Юга или связей между социологиями внутри регионов опирается на социологию доминирования и вносит в нее вклад, проясняя, как одни поля доминируют над другими, которые сами являются местами доминирования, и как сами доминирующие формируются своим доминированием.

Доминирование – не единственный действующий здесь фактор. Индия и Китай схожи в том, что каждая из этих стран доминирует в своем регионе. Однако у них разные наследия. Британский колониализм и его социальная антропология душили развитие индийской социологии, в то время как Мао уничтожил социологию в Китае и она была впоследствии заново изобретена в период реформ, оказавшись под сильным влиянием социологии США. С другой стороны, в Китае до сих пор сохраняется сложная бифуркация между университетами и академией наук, сообща поддерживающими одну из самых динамичных социологий. В России попытка разрушить советское наследие приняла форму приватизации высшего образования, и это увенчалось тем, что социология стала орудием в руках бизнеса, политиков и даже Русской православной церкви; это очень фрагментированное поле с очень немногими оазисами автономии. Не-

смотря на советское доминирование, польским и, в меньшей степени, венгерским социологам удалось сохранить собственные традиции; гораздо труднее это было сделать в таких странах, как Армения и Азербайджан, в которых не было досоветской социологии. Здесь мы видим, как исторические наследия могут пережить паттерны доминирования.

Даже там, где присутствуют силы глобального характера, они всегда перерабатываются в национальном и локальном ключе, что приводит к очень разнообразным последствиям. Так, парные силы, давящие по всему миру на университеты – маркетизация и государственное регулирование, – разными способами сочетаются, вызывая разные последствия. В Египте социология колебалась между коммодификацией и криминализацией, а на Филиппинах страдает от безудержного умножения регулирующих правил. На арабском Ближнем Востоке исход академических работников в «мозговые центры» и НКО ослабил университеты, усилив поляризацию привилегированной элиты, связанной с международными кругами, и тех, кто укоренен в локальном. Скандинавская социология тоже теряет свою автономию, по мере того как вне университетов развивается знание в «режиме 2», подотчетное миру принятия политических решений, а государство изобретает новые формы аудита университетов[1]. Иранская социология сталкивается с совсем другой дилеммой, захваченная в капкан, с одной стороны, исламским государством, нацеленным на регулирование ее содержания, а с другой – реактивным соблазном овладеть западными социологиями. Израильская социология, в свою очередь, по крайней мере в ее передовых университетах, не колеблясь видит себя ответвлением социологии США. Здесь социология социологии показывает, что глобализация – не бульдозер, все сметающий на своем пути, и что она вызывает разные реакции, тем самым углубляя национальные различия. Отсюда растущая значимость национальных социологий.

Забавно, что аллергия Штомки на идею национальной социологии не позволяет ему увидеть, как изучение этих национальных социологий может вносить, крупица за крупицей, вклад в более универсальную социологию. Другими словами, универсальная социология не может быть провозглашена философским декретом, но требует усердного труда в виде тщательных и постоянных исследований, охватывающих социологии разных частей мира.

Второй смысл национальной социологии у Штомпки – это социология, которая пишется и публикуется *на лаилонском языке*:

«Но, разумеется, если дело лишь в языке, то тут нет ничего индигенного. Если перевести ее на другие языки, то это будет та же самая со-

[1] Понятие знания, производимого в «режиме 2», введено Майклом Гиббонсом и др. (The new production of knowledge, 1994) и обозначает знание контекстное, проблемно-сфокусированное и междисциплинарное, в противоположность знанию в «режиме 1», которое является академическим, основанным на дисциплине и направляемым со стороны исследователя.

циология. Здесь мы сталкиваемся с псевдопроблемой “империализма” английского языка… Чем быстрее социологи из Лаилонии пишут и публикуются на английском, тем лучше для них и тем лучше для социологии».

Язык может быть псевдопроблемой для Штомпки, но представляет собой реальную проблему для тех, кто хотел бы представить свою работу международным аудиториям. Проблема здесь состоит не только в неравном владении английским языком, но также в потенциальной утрате языкового богатства изучаемых сообществ. Здесь позитивизм Штомпки вновь отлучает социологию от общества, которое она изучает и в котором участвует. Если социологи проводят свое время в разговорах с социологами из других стран на английском языке, то их местные проблемы могут потеряться, их местные аудитории – исчезнуть, а сама социология – стать еще более разжиженной. Такая социология испускает, конечно, дух универсальности, но становится все более истонченной, все более самореферентной и все менее глобальной.

Третье значение национальной социологии – социология *лаилонцев*, туземцев этого королевства. Здесь Штомпка еще раз говорит о глобализации, позволяющей социологам ездить из страны в страну, но забывает при этом, что для большинства социологов это невозможно. Здесь он переходит к вопросу «инсайдеризма», говоря, что Роберт Мертон «убедительно отверг» эту позицию. На самом деле в своей классической работе об инсайдеризме – а это замечательный очерк по социологии социологии – Мертон признает важность инсайдерской перспективы, завершая ее обсуждение следующими словами: «Инсайдеры и Аутсайдеры, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих претензий. Приобрести же вы можете мир понимания»[1]. Признав, что для инсайдеров, как и для аутсайдеров, есть своя роль, Мертон был уже далек от элитизма контовского позитивизма.

Но быть может, призыв Мертона к солидарности преждевременен. Прежде чем объединяться, инсайдерам и аутсайдерам, возможно, лучше было бы вступить в диалог, чтобы лучше понять социальную детерминацию их разных перспектив, а также следствия, вытекающие из этих перспектив в свете того, что они втягиваются друг с другом в общее силовое поле. Этот момент хорошо иллюстрируется тонким описанием тайваньской социологии у М. Чанга, И. Чанга и Ч. Танга. Тайваньская социология начиналась с социальных обследований, служивших орудием для японских колониальных властей. После рождения коммунистического Китая (КНР) многие националисты бежали на Тайвань, где создали под руководством Гоминьдана Китайскую Республику. В этот период тайваньская социология была китаизирована, и это отражало попытку Гоминьдана представлять подлинный Китай. Когда в 1971 г. признание Тайваня со стороны ООН было аннулировано, эта идея Тайваня как подлинного Китая отошла на второй план и возник радикальный тайваньский национализм, усугуб-

[1] *Merton R.* The perspectives of insiders and outsiders // Merton R. The sociology of science. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1973. – P. 99–136. – 1st ed. 1972.

ленный страхом перед материковой частью Китая. Социология развернулась в индигенном направлении, как претензия против КНР, а также против растущей зависимости от Соединенных Штатов. За последние 30 лет движение индигенизации было преодолено. Возникло множество разнообразных институтов внутри и вне университетов, которые сталкиваются с давлениями к получению продвинутых степеней в США и к публикации в высокоранжируемых журналах, но они никогда не бросают заниматься местными проблемами. Даже на этом маленьком острове в социологии развились центр и периферия: первый более космополитичен, вторая – более локальна. Это пример того, что социология есть функция геополитических сил, что различение «инсайдер – аутсайдер» неадекватно и что международная социология заключает в себе гнездовые и связанные друг с другом поля борьбы.

Четвертое значение – социология *о Лаилонии*. «Выскажу тривиальное замечание, что большинство социологов черпают личный опыт и эмпирические свидетельства в своей стране. Но если они остаются социологами о Лаилонии, и только, то они уже не социологи». Если бы мы согласились с этим аргументом, то почти вся социология США не была бы социологией, а почти вся социология с Глобального Юга – была, поскольку асимметричное распределение ресурсов означает, что социологам с Юга приходится принимать Север в расчет, тогда как обратное неверно. На самом деле я бы пошел дальше и утверждал бы, что южная социология благодаря своему подчиненному статусу понимает глобальное общество лучше, чем северная, не сознающая своего доминирования. Штомпка в этом отношении типичен: он видит северную социологию как единственно подлинную социологию, а остальной мир – как ее придаток, призванный поставлять данные для «проверки, фальсификации или расширения» северной теории.

Пятое значение – социология с *лаилонской повесткой дня*. Штомпка признает, что разные страны могут сталкиваться с разными проблемами, но настаивает на обработке их с помощью «стандартного инструментария» социологии и на развитии универсальных теорий. Опять же он настаивает на универсальности теории, приводя в качестве довода аналогию с тем, что мы были бы в реальном замешательстве, если бы врачи имели разные теории в разных больницах. Конечно, как хорошо известно социологам медицины, врачи в разных странах *действительно* имеют разные теории относительно рака, множественного склероза Альцгеймера и т.д. Более того, как я предположил выше, медицина – неудачная аналогия для социологии, где не может быть единого корпуса теории, но могут быть лишь множественные традиции, или исследовательские программы, внутри стран Севера, а также между Севером и Югом.

Короче говоря, кейс-стади демонстрируют множество национальных социологий внутри все более взаимосвязанного мира. Пока Штомпка глядит на мир из контовской страны Лаилонии, его взгляд ограничен, но

когда он возвращается в родную Польшу, он восстанавливает свою социологическую прозорливость. Так, в докладе, прочитанном в АСА в 2004 г., Штомпка (Sztompka, 2005) перечисляет 20 причин, по которым он и его соотечественники-поляки восхищаются Америкой и одобряют ее глобальную гегемонию. «Америка» – бастион антикоммунизма, образец демократии, страна возможностей и гарант глобальной безопасности. «Америка» обладает привлекательной системой высшего образования, является меккой консюмеризма и, прежде всего, воплощает «борьбу цивилизации против варварства». Я не могу представить, чтобы с таким докладом выступил кто-нибудь из социологов США. Иначе говоря, за Лаилонией стоит Польша, борющаяся против своего коммунистического прошлого, а за Польшей – «Америка», ее путеводный маяк и спаситель. Возрождение Штомпкой контовского позитивизма – это не то, чем оно кажется, а именно социологией из ниоткуда; оно исходит из совершенно реального места в мировом порядке, и это место называется Польшей[1].

Идеология и утопия

Учитывая неподатливость национальных социологий, мы видим два пути к глобальной социологии. Первый путь – взять одну или несколько этих глобальных социологий и просто *навязать их в глобальном масштабе как универсальные*, превратив «другие» национальные социологии в придатки, лаборатории для поставки данных. Это проект Штомпки, и он называет его «слабой» программой в глобальной социологии. Второй путь – принять существование национальных социологий и посредством разговора между ними сделать возможным постепенное и осторожное *появление универсального из глобального*. Это был проект книги «Сталкиваясь с неравным миром», и его Штомпка называет «сильной» программой в глобальной социологии. Но Штомпка, приклеивая эти ярлыки, переворачивает их с ног на голову; ибо именно его программа является сильной, т.е. предполагающей навязывание, в то время как программа предварительная и эмерджентная – это слабая программа.

Курьезное перевертывание Штомпкой сильной и слабой программ глобальной социологии и его идентификация с одной из них, а не с другой, возникают из борьбы, происходившей внутри международной социо-

[1] Я не имею намерения стричь всех польских социологов вместе со Штомпкой под одну гребенку. Его восхищение Соединенными Штатами, которое трудно было бы отыскать среди американских социологов, никоим образом не типично для польских социологов. Даже широкое польское общественное мнение о Соединенных Штатах флуктуировало за многие годы. В 1975 г. «американцы» были пятой по популярности национальностью для поляков, в 1985 г. – шестнадцатой, в 1991 г. – первой по популярности, а в 2010 г. – двенадцатой. См. данные Ясиньской-Кани (Jasinska-Kania, 1991) и польского Центра исследования общественного мнения (Attitude to other nations, 2010). Благодарю Александру Ясиньскую-Каню за помощь в выяснении трендов в отношении к Соединенным Штатам в польском общественном мнении.

логии в последние полвека. Социологическая революция, которая произошла после Второй мировой войны, началась в Соединенных Штатах с реконструкции европейской социальной мысли, представлявшей модернизацию в качестве естественной и неизбежной телеологии. Оказалось, что эта модернизация является американизацией, сформированной в контексте «холодной войны». Особенно самодовольным нарративом было то, что доминировавшие тогда американские социологи напридумывали о конце идеологии, добродетелях американской либеральной демократии и торжестве американского экономического предпринимательства.

Это и есть та Америка, которой восхищается Штомпка. Это также и та Америка, которая наполняла силой восхождение социологии США – как в национальном, так и в международном плане – внутри МСА в первые послевоенные годы. Социальные движения 1960-х годов – студенческие, антивоенные, за гражданские права – бросили вызов этому мессианству, явив новый портрет Соединенных Штатов как оплота внутреннего расизма и внешнего империализма. Социология в целом, а особенно социология США, становилась гораздо более критической по мере того, как ниспровергались ее простодушные допущения. Соответственно, в МСА центр притяжения начал смещаться: в ней росло количество членов с Глобального Юга, избирались такие президенты, как Фернандо Энрике Кардозо, Т.К. Ооммен и Иммануил Уоллерстайн. Социология проникала в новые независимые территории с разными видениями мира, и по мере того как они становились членами МСА гегемония социологии США и Европы все более оспаривалась. Создание журнала «International sociology» в 1986 г. ознаменовало явление незападных социологий, не терпящих существующих конвенций и стереотипов. Этот журнал дал приют первому кругу дебатов об альтернативных социологиях. В то же время исследовательские комитеты, которые всегда были и продолжают быть становым хребтом МСА, уступили площадку национальным ассоциациям, и это привело к учреждению в 2002 г. поста вице-президента по национальным ассоциациям. Отделение национальных ассоциаций в МСА провело свою первую международную конференцию в 2005 г. во Флориде; второй была Тайбэйская конференция 2009 г. Таким образом, предлагаемое Штомпкой позитивистское видение глобальной социологии как единой и универсальной и исключительно западного происхождения многие годы было в осаде.

Итак, обзор Штомпки выдвигает исчезающую позицию в поле борьбы. В арьергардном действии, задуманном с целью защиты «цивилизации от варварства» и продвижения универсализма в противовес всяким формам партикуляризма, в особенности тем кейс-стади национальных социологий, которые содержатся в трехтомнике, он атакует их попеременно и без разбору то как идеологию, то как утопию, как если бы они были эквиваленты. Он забывает, что Карл Манхейм определяет их как противоположности: если идеология – это консервативное мировоззрение, пытаю-

щееся сохранить *status quo* или вернуться к *status quo ante*, то утопия стремится утвердить новый мир будущего.

В обсуждаемом обзоре Штомпка выступает как идеолог, пытающийся восстановить фиктивное прошлое посредством навязывания глобальному универсального. Он не учитывает эмпирическую реальность и прибегает к фантазийным заявлениям в защиту давным-давно исчезнувшего иллюзорного мира. Рождение универсального из глобального, в свою очередь, является утопией – и здесь я со Штомпкой соглашусь, – видением, которое не может быть полностью реализовано до тех пор, пока мы сталкиваемся с неравным миром, обладающим неравной социологией, и это положение дел вряд ли исчезнет в обозримом будущем.

Позвольте мне прояснить основания и значимость этой утопии. Если исходить из того, что не бывает социологии из ниоткуда (это позитивистская иллюзия), то что должно быть опорной точкой социологии? Моя позиция на этот счет такова, что социология родилась во второй половине XIX в. вместе с гражданским обществом, вместе с ростом профсоюзов, политических партий, добровольных организаций, школ, газет, а все они появились в Европе в ответ на деструктивность рынка. Как экономическая наука принимает точку зрения экономики и экспансии рынка, а политика – точку зрения государства и политического порядка, так социология принимает позицию гражданского общества и защиты коммуникативного действия. Конечно, академические дисциплины – это комплексные поля соперничества с доминирующими и подчиненными группами, но эти определяющие принципы задают повестку дня для дебатов. Это не означает, что социология изучает лишь гражданское общество; она изучает также экономику, государство и т.д., но с *позиции* гражданского общества. XIX век был лишь первой волной маркетизации, вызвавшей рождение гражданского общества; вторая волна в начале XX в. принесла реакцию со стороны государства (социал-демократию, фашизм, сталинизм, Новый курс); теперь нас накрывает третья волна маркетизации, которая находится вне контроля со стороны национальных государств, и противостоять ей может только глобальное гражданское общество. Именно поэтому так важна глобальная социология, выстраиваемая снизу. Но из чего мы можем выработать такую глобальную социологию? Разумеется, есть зачаточные транснациональные группировки, движения, сети, но мы просто не можем отбросить в сторону национальное государство, которое до сих пор во многом фреймирует наши жизни и особенно наши социологии.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашу эпоху третьей волны маркетизации, коренятся в сговоре рынков и государств: государства содействуют рынкам, а рынки содействуют государствам, и это ведет к таким угрозам человечеству, как разрушение окружающей среды, эндемические финансовые кризисы и безудержная коммодификация всего и вся. Так, Тайбэйская конференция началась с обращения тайваньского нобелевского лауреата Юань Ли об опасностях глобального потепления. Как

химик он смог определить проблему и даже обрисовать в общих контурах ее решение, и он призвал ученых мира объединиться вокруг его проекта. Как и другие подобные обращения, его обращение было наивным, поскольку эффекты глобального потепления очень неравномерны, как и предлагаемые решения. Как социологам, нам известно, что мы заброшены в мир с очень разными интересами и что любая попытка объединения представляет собой сложный, неустойчивый и трудный процесс переговоров и разговоров. Реалистическая оценка возможного зависит от социологии социологии, социологии научного сообщества и социологии глобального гражданского общества, которая принимает в расчет государства и рынки. Поскольку наш научный анализ приносит так много плохих новостей, тем более важно использовать нашу науку для того, чтобы держаться утопических возможностей. Как настаивал Макс Вебер, только страстно стремясь к невозможному, мы можем достичь возможного.

Литература

1. Attitude to other nations // Polish public opinion. – Warsaw, 2010. – N 1. – Mode of access: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2010/01_2010.pdf
2. *Bourdieu P.* The rules of art. – Stanford: Stanford univ. press, 1996. – XX, 408 p. – 1st ed. 1992.
3. *Chang Mau-kuei, Chang Ying-hwa, Tang Chi-chieh.* Indigenization, institutionalization and internationalization: Tracing the paths of the development of sociology in Taiwan // Facing an unequal world: Challenges for a global sociology / Ed. by M. Burawoy, Mau-kuei Chang, M. Fei-yu Hsieh. – Taipei: Institute of sociology: Academia Sinica: Council of national associations: International sociological association, 2010. – P. 158–191.
4. *Connell R.* Southern theory. – Crows Nest: Allen & Unwin, 2007. – 272 p.
5. *Giddens A.* The politics of climate change. – Cambridge: Polity, 2009. – VIII, 264 p.
6. *Jasinska-Kania A.* The systematic transformation and changes in Poles' attitudes towards various nations and states // The Polish sociological bull. – Warsaw, 1991. – Vol. 4, N 96. – P. 299–312.
7. *Merton R.* The perspectives of insiders and outsiders // Merton R. The sociology of science. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1973. – P. 99–136. – 1st ed. 1972.
8. *Sztompka P.* American hegemony looks different from Eastern Europe // Contexts. – Wash., 2005. – Vol. 4, N 2. – P. 31–33.
9. The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary society / Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzmsn S., Scott P., Trow M. – L.: Sage, 1994. – IX, 179 p.
10. *Weber M.* The methodology of the social sciences / Trans. and ed. by E. Shils, H. Finch with a new introduction by R. Antonio, A. Sica. – Piscataway (NJ): Transaction, 2010. – XLVI, 210 s. – 1st ed. 1949.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

П. Штомпка

ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ О СТАТУСЕ СОЦИОЛОГИИ В НЕРАВНОМ МИРЕ (Перевод с англ.)[1]

Около десяти лет назад на Всемирном социологическом конгрессе в Брисбене я завоевал пост президента МСА, выступив с очень «политически некорректным» лозунгом «Мастерство, а не баланс». Теперь этот лозунг снова кажется уместным, особенно после Конгресса в Гётеборге и полной победы Майкла Буравого, вновь вдохнувшего в МСА революционный пыл: требование некой «альтернативы», «корневых» социологий в противовес подавляющему характеру западных методов и теорий и «империализму» английского языка. Мы представили свои противоположные точки зрения на страницах журнала «Contemporary sociology» (июль 2011 г., с. 388–404)[2], но поскольку это привело в фундаментальному непониманию моей позиции и принесло мне такие незаслуженные ярлыки, как «последний позитивист» и «слепой поклонник Соединенных Штатов», то я хочу еще раз изложить свою позицию и сделать это как можно короче и точнее, в десяти пунктах. Майкл любезно принял этот текст для публикации в «Global dialogue», за что ему спасибо.

Во-первых, *не надо делать эпистемологических выводов из текущего положения дел в мире или из конкретных различий в институциональном статусе нашей дисциплины в различных частях земного шара*. Большинство социологов, включая меня, в силу своей профессиональной восприимчивости остро сознают несправедливые неравенства между нынешними обществами и внутри них, в том числе разные возможности для исследований. Но это не означает, что должны быть разные социологии

[1] *Sztompka P.* Ten theses on the status of sociology in an unequal world // Global dialogue. – Madrid, 2011. – Vol. 2, N 2. – Mode of access.: http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/2011/11/ten-theses-on-the-status-of-sociology-in-an-unequal-world/

[2] *Sztompka P.* Another sociological utopia // Contemporary sociology. – L., 2011. – Vol. 40, N 4. – P. 388–396; *Burawoy M.* The last positivist // Contemporary sociology. – L., 2011. – Vol. 40, N 4. – P. 396–404.

для привилегированных и непривилегированных. Хорошая социология одинаково способна понять и богатство и бедность.

Во-вторых, если перевернуть одно известное высказывание, *если вы реально хотите изменить неравный мир, то первым делом надо его понять*. И опять-таки большинство социологов, включая меня, ориентированы на реформу, но наши активистские устремления не могут быть осуществлены путем морализаторства, проповедей и идеологических манифестов, а только путем открытия механизмов и закономерностей социальной жизни, в том числе тех, которые создают и питают неравенства и несправедливости. Карл Маркс провел большую часть своей жизни в библиотеке, а не на баррикадах, и гигантом социальной науки он стал не благодаря «Коммунистическому манифесту», а благодаря «Капиталу».

В-третьих, *существует одна социология для многих социальных миров*[1]. Механизмы и закономерности социальной жизни универсальны для всего человеческого рода, хотя, конечно, они проявляются по-разному в разных цивилизациях, культурах, обществах или сегментах обществ. Между тем даже последние постепенно становятся более единообразными в силу глобализации, если только не брать то, что относится к несправедливым неравенствам (Север *versus* Юг; ядро *versus* периферия; расовые, гендерные и классовые подразделения внутри обществ), и религиозные фундаментализмы (верующие *versus* неверующие).

В-четвертых, *стандарты социологического исследования и хорошей теории универсальны*; они включены в кумулятивно развивающийся багаж методов и плюралистический архив социологических теорий. Ни к какому «позитивизму» это отношения не имеет, ибо качественные методологии, как и господствующие сегодня интерпретативные теории, сознавая специфику своего социального предметного содержания, требуют также универсальных стандартов, пусть даже и отличающихся от стандартов «позитивистской» социологии, пытающейся имитировать естественные науки.

В-пятых, *греховное происхождение не дисквалифицирует результат*. Тот исторический факт, что создание стандартного набора инструментов и плюралистического архива теорий инициировали бородатые старцы, по большей части евреи, жившие в Германии, Франции и Британии, и что далее они развивались в основном в Западной Европе и в США, ничего не говорит об их внутреннем качестве. Последнее всегда подвергалось и должно впредь подвергаться скептической проверке, исправлению и улучшению. Отказ от этой методологической и теоретической традиции – признак обскурантизма. Вместо этого я бы рекомендовал вместе с Ньютоном и Мертоном «стоять на плечах гигантов».

В-шестых, *тщетная попытка создать «альтернативные» или «корневые» социологии разрушительна для дисциплины*. Наука, в том чис-

[1] См. мою статью: *Sztompka P.* One sociology or many? // The ISA handbook of diverse sociological traditions / Ed. by S. Patel. – L.: Sage, 2010. – P. 21–28.

ле социальная наука, не знает границ. Она развивается как общий фонд знания, вклад в который вносят все национальные, континентальные, региональные и даже локальные социологии, и вклад этот более чем приветствуется. У этих социологий могут быть уникальные возможности исследования, уникальные исследовательские повестки дня, особые проблемные акценты и ориентации, но никаких альтернативных методологий или «индигенных» теорий им не требуется. Вместо отстаивания необходимости «индигенных» социологий я бы посоветовал: просто делайте социологию. В незападном мире делается очень много важной социологической работы. Но обычно она базируется на стандартных методологиях и вносит вклад в универсальный фонд теорий. И в ней нет ничего альтернативного или «индигенного»; это просто хорошая социология.

В-седьмых, *требование развития национальных социологий не имеет особого смысла в нашем сегодняшнем глобализирующемся и все более и более космополитическом мире*. То, что страны, или национальные государства, различаются, не означает, что их социологии являются или должны быть разными. Единственный смысл «национального» в этой области касается некоторых сохраняющихся институциональных различий, наличия разных отцов-основателей, разных фокусировок исследований. Но результаты, если они заслуживают того, чтобы именоваться «социологией», а не просто ареальными исследованиями или локальной статистикой, должны быть в достаточной мере абстрактными, чтобы обогащать универсальный фонд социологического знания. Будущее (в том числе МСА) не за национальными социологиями, а за исследовательскими группами или сетями (нынешними исследовательскими комитетами, тематическими группами или рабочими группами).

В-восьмых, тот исторический факт, что в авиасообщении, туризме, компьютерах, Интернете и науке, в том числе социологии, наиболее широко используемым средством коммуникации стал естественный язык, *английский*, а не искусственный, специально изобретенный (скажем, эсперанто), – это *не катастрофа, а великая возможность*. Особенно это касается социологов из ограниченных языковых ареалов (вроде моего), которые ныне имеют в своем распоряжении большую часть универсального социологического наследия (через переводы на английский) и обретают зримость и возможность внести свою лепту в универсальный фонд (через публикации на английском).

В-девятых, *ошибочно думать, что экзистенциальная ситуация исследователя дает эпистемологические преимущества*. Выявление механизмов и закономерностей несправедливостей и неравенств вовсе не было исключительным достижением неудачников или инсайдеров. Многие примеры указывают как раз на противоположное. Прочная легитимность в науке может быть обеспечена единственно качеством результатов, но никак не социальным статусом ученого.

В-десятых, *ценностные суждения и идеологическая предвзятость в социологии неизбежны и даже допустимы на эвристической стадии* отбора проблемы или темы исследования, но не должны присутствовать в конечных результатах и их обосновании. И кроме того, все ценности, как советовал Гуннар Мюрдаль[1], должны быть открыто предъявлены для обсуждения. Это я и пытался сказать в своих десяти тезисах.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

[1] *Myrdal G.* Objectivity in social research. – N.Y.: Pantheon books, 1969.

Н.Е. Покровский

«ПАЦИЕНТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ», ИЛИ В ЗАЩИТУ СОЦИОЛОГИИ

После многих лет, проведенных мной в сфере профессиональной и международной социологии, у меня сложилось явственное чувство, что будущему социологии в сегодняшнем мире угрожает серьезная опасность. Ее судьба сегодня менее ясна, а наши ряды более разрозненны, чем когда-либо раньше. Попытаюсь облечь свои внутренние ощущения и интуиции в рациональную форму. «Нуждаемся ли мы на самом деле в защите социологии? От кого? И почему именно сейчас?» Я часто задаю себе эти вопросы как в отношении России, моей родной страны, так и в отношении остального мира. Я терпеть не могу пессимистической тональности, но приходится прибегать к ней. Сегодня, на мой взгляд, существуют как критические внешние риски для социологии, так и угрозы, идущие изнутри нашей профессиональной группы.

Опасность извне

Внешние опасности сводятся к одной основной угрозе. Говоря начистоту, в сегодняшнем мире социология быстро теряет свое влияние и авторитет. Ни властные структуры (прежде всего, государство), ни бизнес, ни население не проявляют особого интереса к тому, что можно назвать «рациональным диагнозом» клинического состояния социального. Вместо этого правят бал различные иррациональные силы. Почти повсюду преобладают старые и новоизобретенные формы религии, социальная мифология, идеология и массовая ослепленность. Эти силы без труда отодвинули в сторону рациональность, даже в социальных науках. В таких условиях сфера рационалистической и научной социологии значительно сужается. А ведь свет разума – это единственное основание, на котором держатся сила и жизнеспособность социологии. Мы, социологи, призваны давать обществам диагноз их состояния. Между тем кажется все более очевидным, что «клиенты», или «пациенты», т.е. наши общества, выбирают отказ от диагноза и госпитализации. Наши общества чувствуют себя довольно комфортно без социологического диагноза, невзирая на то, что состояние

«пациента» во многих случаях явно критическое. Иными словами, внешняя опасность для социологии проистекает из отказа общества от рационально и научно обоснованного анализа текущей ситуации. Это и впрямь тот случай, когда «пациент отказался от госпитализации».

Опасность изнутри

Неудивительно, что для социологии существуют и внутренние угрозы, и они связаны с внешними. Поскольку многие социологи и социологические сообщества видят, что их социальная роль и общественная значимость все более падают, то они решили превратить социологию в «социальную силу», своего рода широкое социальное движение за построение лучшего общества. Исходя из этого понимания социологии, вопросы научности и высокой профессиональной образованности оказались отодвинутыми на задний план, а на передний план была вынесена программа социологии как общественного служения и революционного преобразования мира. Социологи до сих пор лишь разными способами объясняли мир, задача же состоит в том, чтобы его изменить. Этот знаменитый лозунг Маркса, слегка перефразированный, стал фактически девизом для тех, кто пытается сегодня изменить мир задолго до того, как мы сумеем его понять и научно объяснить. У таких социологов публичное действие заведомо предшествует знанию. Можем ли мы с этим согласиться? Я не могу. Хотя бы потому, что в нашей стране, России, мы хорошо знаем из истории, начавшейся после 1917 г., что значит радикально перестраивать общество до того, как оно будет проанализировано и понято.

Что нам следует (и чего не следует) делать

Я убежден, что место социолога, пока он носит белый халат ученого, – не на общественных / политических баррикадах. Конечно, социолог может в любое время стать социальным и политическим защитником и протагонистом какой-нибудь общественной цели. Но это немедленно лишает его права представлять науку социологию. От нас не ожидается участие в лечении общества (как в чем-то отличном от анализа). Есть немало социальных институтов, основной задачей которых является проведение лечения: государство, политическая сфера, общественные организации и движения, пресса, общественное мнение и т.д. Каждый, кто знаком с клиническим процессом, очень хорошо знает, что роль диагноза очень важна и что конечный успех лечения в огромной мере зависит от его точности и правильности. Но диагноз нельзя смешивать с лечением. Они относятся к разным сферам экспертизы. Да, мы можем и должны вносить вклад в изменение мира, отстаивая наши профессиональные научные цели и повышая социологическую культуру и сознательность в наших обществах посредством образования и массмедиа. В этом только и состоит «публичная

миссия социологии». В противном случае мы рискуем стать слепыми поводырями слепых.

Таким образом, я целиком и полностью поддерживаю десять тезисов Петра Штомпки в защиту социологии. Наука социология для него, как и для меня, есть прежде всего и в первую очередь научность и профессиональное мастерство. Все остальное намного более спорно.

II. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Д.В. Ефременко

МНОГОЛИКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ[1]

Большинство материалов настоящего раздела «Социологического ежегодника» подготовлено участниками исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты». Проект осуществляется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Обращение нашего исследовательского коллектива к теме социальной солидарности было далеко не случайным. С момента становления социологии как самостоятельной обществоведческой дисциплины тематика солидарности имела серьезные основания претендовать на статус одного из главных направлений социологических исследований: достаточно вспомнить, какое внимание солидарности уделял один из отцов-основателей профессиональной социологии Эмиль Дюркгейм. Ведь именно солидарность в конечном счете делает общество обществом. Она же выступает необходимым условием любых социальных изменений, и в этом смысле вопрос о природе, характере, состоянии солидарностей является одним из коренных вопросов социального развития.

Несмотря на первоначальный импульс, приданный исследованиям солидарности Дюркгеймом и его последователями, в дальнейшем в мировой социологии на передний план снова выдвинулись сюжеты, связанные с социальными конфликтами. Соответственно, тема солидарности постепенно стала смещаться на периферию социологических исследований. Разумеется, эта маргинализация не была абсолютной. Например, для Пити-

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», осуществляемого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

рима Сорокина проблема солидарности оставалась одним из важных направлений его научной деятельности. В рамках сорокинского интегрализма солидарность предстает как позитивный модус взаимоотношений индивидов, предполагающий созвучность установок и поведения взаимодействующих участников, когда они взаимно помогают друг другу в достижении своих целей. По сути дела, у Сорокина речь идет об интенсивных взаимодействиях семейного типа, которые, однако, могут обнаруживать себя в самых разных социальных группах[1]. Антитезой солидарности в этом случае становятся «антагонистическое взаимодействие» и «принудительные социальные связи». Социологический анализ причин солидарности и антагонизма, будучи спроецирован на макроуровень социальных взаимодействий, может, согласно Сорокину, внести существенный вклад в устранение войн, преодоление преступности, различных форм угнетения и неравенства[2].

Проблематике солидарности уделял внимание и Толкотт Парсонс, который видел в ней как, и в социальной системе вообще, феномен объективированного характера, но в то же время рассматривал солидарность как предельно динамичный процесс, выступающий важнейшим условием стабильности и воспроизводства социальной системы. Однако в целом в социологии второй половины XX – начала XXI в. социальная солидарность рассматривалась преимущественно в специализированных аспектах, и основное внимание исследователей было сфокусировано на отношениях солидарности внутри отдельных групп. Более того, в современной социальной теории прослеживается тенденция едва ли не к полному исключению солидарности из социологического дискурса[3].

Лишь в последнее время начали предприниматься попытки вернуться к более комплексному рассмотрению феномена социальной солидарности. Например, под эгидой Американской социологической ассоциации в августе 2011 г. был сформирован новый исследовательский комитет по изучению социальной солидарности, морали и альтруизма[4]; в рамках Международной социологической ассоциации такой комитет до сих пор отсутствует.

В России тема солидарности стала одной из основных для социальных наук начиная со второй половины XIX столетия. Причем здесь обозначились два направления – собственно социологическое и религиозно-философское (т.е. рассмотрение солидарности как соборности). Важнейший вклад в исследования солидарности внесли М.А. Бакунин, П.Л. Лав-

---

[1] *Sorokin P.A.* Social and cultural dynamics. – N.Y.: American book co., 1937. – Vol. 3. – P. 81–121.

[2] *Sorokin P.A.* Society, culture and personality: Their structure and dynamics: A system of general sociology. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – P. 119.

[3] См. статью Дж. Александера в настоящем разделе «Социологического ежегодника».

[4] См. подробнее статью А.Б. Гофмана в данном разделе «Социологического ежегодника».

ров, Л.И. Мечников, П.А. Кропоткин, Н.К. Михайловский, М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин и др. Эта мощная, получившая признание за рубежом научная традиция была прервана Октябрьской революцией; свое оригинальное продолжение она получила в российской эмиграции благодаря трудам С.А. Левицкого и других солидаристов.

В Советском Союзе по понятным причинам тема солидарности была идеологически нагруженной: преимущественное внимание уделялось классовой солидарности в рамках идеологии, сфокусированной на классовом конфликте. Лишь начиная с 1960-х годов в процессе становления советской профессиональной социологии начали предприниматься попытки рассмотрения социальной солидарности без жесткой привязки к доминировавшим идеологическим установкам. С одной стороны, ситуация в последние два десятилетия характеризуется общей активизацией социологических исследований, но, с другой стороны, сама направленность этих исследований свидетельствует о догоняющем развитии (по сравнению с мировым уровнем) и о стремлении большинства социологов реагировать на динамичные процессы социальных трансформаций в России. Кроме того, внимание отечественных социологов по сей день в большей степени привлекает проблематика конфликта, тогда как солидарность – то, что обеспечивает стабильность социальной системы и в то же время является ресурсом ее обновления, – остается как бы в тени.

Осознание неудовлетворительного положения в области исследований солидарности было одним из побудительных мотивов для начала работы по исследовательскому проекту, промежуточные результаты которой представлены в данном разделе. Мы стремимся к интеграции нескольких исследовательских перспектив, начиная от социобиологии и социальной психологии и заканчивая анализом солидарностей в кризисном социуме. Последнее по понятным причинам особенно актуально в условиях современного российского общества. Феномен социальной солидарности может быть рассмотрен комплексно в контексте глубоких общественных изменений, происходящих в последние два десятилетия в России. В ситуации кризиса или социальной травмы (П. Штомпка) наиболее ярко проявляется регулятивная функция отношений солидарности. Одновременно при таких условиях раскрывается фундаментальное противоречие, связанное с широко распространенным преобладанием узкогрупповых солидарностей над солидарностями более широкими. Фактически речь идет о том, что узкогрупповая, партикулярная солидарность часто оборачивается недоверием и антагонизмом между различными социальными группами.

Вместе с тем социальный кризис способствует изменению самих механизмов социальной солидарности, а также соотношения между групповой, локальной, этнической, гражданской и другими видами солидарности. Кроме того, синергия социальных трансформаций и процессов развития глобального информационного общества приводит к появлению новых типов солидарности, в том числе солидарности внутри виртуальных

сообществ. Идентификация обновленных механизмов социальной солидарности на этапе преодоления кризиса и стабилизации социального порядка позволяет сделать выводы как о степени устойчивости последнего, так и о способности гражданского общества выступать ареной согласования разнонаправленных интересов или, в терминах Дж. Александера, формирования «универсализированной социальной солидарности»[1].

Как представляется, решение перечисленных исследовательских задач должно быть приоритетным для тех социологов, чьи научные интересы сфокусированы на социальной солидарности и механизмах сплочения современного российского общества. Участники нашего проекта рассчитывают внести свой вклад в развитие данного направления социологических исследований.

[1] *Alexander J.* The civil sphere. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2006. – P. 44.

Л.М. Баскин

ВОЖАКИ В ГРУППАХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА[1]

Введение

Сопоставление социального поведения животных и человека – это обычная, повседневная практика в человеческом обществе. Очевидно, такое сопоставление в чем-то полезно людям, каким-то образом помогает им оценить собственное поведение и события в окружающем их обществе. Обратное суждение, когда «очеловечивают» поведение животных, пытаются объяснить их поведение исходя из поведения человека, также обычно – в биологии это называют антропоморфизмом.

В группах животных и человека почти всегда имеются особи, на поведение которых обращают внимание соседи, от которых часто зависит поведение остальных членов группы. Таким образом, речь идет о социумах животных одного вида, о коммуникации и сигнализации между животными одной группы, об унификации поведения животных одной группы, повторяющих поведение одного из них. Таких животных или людей часто называют вожаками, руководителями. В англоязычной литерературе принят термин «leader». Вожаки во многом определяют социальное поведение групп животных и человека. От поведения вожаков часто зависит выживание групп. Именно к вожакам относятся многие примеры альтруизма, т.е. поведения, полезного для группы, в которой находится вожак, но нередко вредного для самого вожака. Поведение вожаков относится к области наиболее сложных форм поведения животных.

Наблюдения за большими массами животных выявило два типа передачи сигнала. Испуг или иное отличное от соседей поведение может быть замечено ближайшими соседями и передаваться от них далее по стаду. Тут уместно сравнить передачу сигнала по стаду с толчком от локомотива, передающимся от вагона к вагону. Сигнал этот может постепенно

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

затухать, если поднявшие голову животные в свою очередь не обнаруживают ничего подозрительного. Но возможна и ситуация, когда опасность реальна, и тогда возбуждение охватит все стадо. Другая ситуация – сигнал от одного животного воспринят сразу (или почти сразу) всеми. Почти мгновенно возникающее возбуждение ведет к столь же быстрой общей реакции. В зависимости от вида животных происходит их скучивание (концентрация) как у северных оленей (*Rangifer tarandus*) или, наоборот, разбегание в стороны (например, у косуль *Capreolus sp.*). Различия в реакции часто можно связать с условиями, в которых вид преимущественно встречается: на открытых местах (в тундре, степи) или в лесу, в кустарниках.

Человеческая масса нередко ведет себя так же, как стадо животных или стая рыб. Подобные состояния наблюдаются при крайнем возбуждении людей (например, при массовых волнениях) и крайнем испуге (например, поведение масс солдат, охваченных паникой). Исторические отчеты о массовых паниках часто читаются как описания «стада», ищущего защиту и убежище. Вот описание одной из таких паник, относящееся к периоду Первой мировой войны: «С испуганными лицами и в полном молчании это стадо мужчин мчится прочь, бросая оружие и вещевые мешки, чтобы облегчить бегство, становящееся всеобщим. Паника так иррациональна, что перепуганные солдаты, случается, бегут прямо к врагу. В общем, вместо поиска безопасности и защиты, которые люди безрассудно ищут, это бегущее стадо в момент бегства полностью уязвимо для уничтожения вражескими отрядами»[1]. Дж. Бендерски приводит выдержки из отчета Национального исследовательского совета США, в котором делается вывод, что даже хорошо дисциплинированный полк превращается в толпу, впадает в состояние паники, встретившись с ситуацией, к которой не был подготовлен. Слово, жест, даже тень превращает мужчин в панически бегущий скот[2].

Методы

Сопоставляя поведение животных и человека, мы основываемся на изоморфизме реакций, полагая, что если существует изоморфизм, то наблюдаемые образцы поведения «одинаково устроены». Однако изоморфизм поведения может наблюдаться и в случаях, когда существуют принципиальные различия поведения.

Примером ложного предположения о гомологии поведения (сходства, основанного на эволюционном происхождении, внутреннем глубоком сходстве) может служить поведение вожака-сторожа в группе животных и

---

[1] Цит. по: *Bendersky J.W.* Panic: The impact of Le Bon's crowds psychology on U.S. military thought // J. of the history of the behavioral sciences. – Malden (MA), 2007. – Vol. 43, N 3. – P. 257–283.

[2] Ibid.

сторожа в человеческом коллективе. Сходство поведения здесь аналогично, поведение сходно лишь внешне. У животных «сторожами» бывают животные с повышенным уровнем оборонительной мотивации. Они чаще, чем другие особи, осматриваются, прерывают сон, чтобы осмотреться. Соответственно, именно они чаще всего обнаруживают опасность. В человеческом коллективе сторожами обычно бывают назначенные специально на эту роль люди. Впрочем, случается, что опасность обнаруживают люди, страдающие бессонницей или бодрствующие по другой причине.

В сходном поведении животных и человека мы пытаемся найти гомологии, в отличие от поверхностного сходства (аналогий, основанных на конвергентной эволюции). Й. ван Хооф и Х. ван Шейк, анализируя сходство выразительных движений собак и обезьян, использовали три критерия гомологий: 1) сходство морфологического строения органа, 2) сходство положения в организме, 3) сходство морфогенеза[1]. Гомологичные движения свойственны приматам, собакам, копытным. Например, выкатывание глаз с оттягиванием век при гневе свойственно многим видам крупных млекопитающих. «Что ты бельма выпялил?» – говорят рассерженному человеку. Рассерженные коровы (*Bos primigenius*) также демонстрируют белки глаз, что является признаком агрессивного поведения. Это видно в изображениях быка у египтян и мастеров Двуречья, в изображениях бизона в пещере Альтамира[2]. Другие примеры гнева также сходны у многих видов, далеких по своему систематическому положению: положение головы, агрессивный смех, трясение головой, зевающие движения, тяжелое дыхание, сопение, фырканье.

Пытаясь подойти с позиций объективного исследования к сопоставлению лидеров в группах животных и человека, мы обращаем внимание на существенные связи реакций или комплексов реакций (исследователи поведения называют их образцами поведения). Существенные связи в данном случае означают, что мы наблюдаем последовательности событий внешней среды и поведения животных и человека, оцениваем возможное адаптивное значение наблюдаемых явлений.

В данной работе мы используем этологический подход. Этология на заре своего зарождения объявила, что основана на «объективном методе изучения поведения животных»[3]. Использующие этологический метод считают, что нужно судить лишь о тех проявлениях, которые могут быть описаны словесно, сфотографированы или зарегистрированы другим тех-

---

[1] *Hooff J. van, Schaik C.P. van.* Cooperation in competition: The ecology of primate bonds // Coalitions and alliances in humans and other animals / Ed. by S. Harcourt, F.B.M. de Waal. – Oxford: Oxford univ. press, 1992. – P. 357–391.

[2] *Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А.* Искусство Древнего мира. – М.: Детская литература, 1986. – С. 208.

[3] См.: Eibl-Eibesfeldt I. Ethology: The biology of behaviour. – N.Y. Holt, Rinehart & Winston, 1975.

ническим способом, например зарисованы, звуки записаны или запахи законсервированы.

Когда сравнивают поведение животных и человека, традиционно имеют в виду прежде всего приматов как систематически наиболее близкую к человеку группу животных. Однако зоосоциологи находят гомологии при сравнении групп человека не только с приматами, но и с другими отрядами млекопитающих и даже с поведением птиц и рыб. В частности, М. Бекофф показал существование гомологий в поведении человека и поведении волчьей стаи[1]. Многие даже находят аналогии в поведении человека и беспозвоночных. Известно, например, что секта мормонов взяла своим символом семью пчел.

Вожаки групп: Анализ ситуаций. Лидер-группа

Термин «эквипотенциальная группа» предложен Д.В. Радаковым[2], изучавшим стаи океанических рыб, отличительной чертой которых является совершенное сходство поведения отдельных особей. Направление движения стаи океанических рыб (обычно насчитывающей десятки и сотни тысяч особей) определяется, когда небольшая группа рыб (несколько десятков особей) выбирает другое направление движения и за ней постепенно устремляется вся масса животных (группа-лидер).

Во многих случаях масса животных приобретает черты стада, под которым подразумевается группа животных с координированным поведением (одинаковая мотивация – все испуганы, одинаковое направление движения). Установлено, что в больших скоплениях копытных животных (десятки тысяч) всегда наблюдаются отдельные стада (примерно 2500–3000 животных), направление движения которых отлично от соседних различаемых стад[3].

Лидер – особь, отличная своим поведением от соседей

Любое животное в группе, чье поведение стало отличаться от поведения соседей, привлекает их внимание. Когда одно из животных почует в стороне от группы корм и направится к нему, это тотчас замечается другими. Однако в этой ситуации реакция соседей зависит от их выбора – последовать за изменившим поведение или продолжать свою активность. Когда проявляется оборонительное поведение (резкое поднимание головы, осматривание, длительное внимание к чему-либо, находящемуся вне ста-

---

[1] *Bekoff M.* Social play behaviour: Cooperation, fairness, trust and the evolution of morality // J. of consciousness studies. – Oxford. 2001. – Vol. 8, N 2. – P. 81–90.

[2] *Радаков Д.В.* Стайность рыб как экологическое явление. – М.: Наука, 1972.

[3] *Баскин Л.М.* Зоосоциология млекопитающих с преимущественно групповым образом жизни // Структура популяций млекопитающих / Под ред. И.А. Шилова. – М.: Наука, 1991. – С. 21–64.

да), реакция других животных носит обязательный характер, они тоже пытаются обнаружить опасность.

Испуганные животные стремятся перебежать к тем, что пасутся спокойно. Например, в практике северного оленеводства эта особенность поведения повседневно используется. Привязав поодаль группу оленей (они ложатся или начинают пастись), оленеводы пугают основное стадо. Испуганные олени стремятся перебежать к спокойно стоящим поодаль, причем бегут по прямой. Затаившиеся на их пути люди оказываются на расстоянии броска аркана. Так же ведется просчет стада. Аналогично поведение других стадных животных – овец, крупного рогатого скота, сайгаков.

В людских коллективах спокойствие одних людей действует успокаивающе на тех, кто испуган. В воспоминаниях К.К. Рокоссовского[1] есть эпизод, когда два генерала (К.К. Рокоссовский и И.П. Камера) встали во весь рост, чтобы бегущие в панике солдаты их заметили, осознали, что поведение генералов не соответствует их оборонительному поведению. В результате пустившиеся в бегство солдаты остановились. Аналогичный пример приводит И.И. Федюнинский: генерал К.С. Москаленко остановил панически бежавших солдат, пойдя настречу им. Он был одет в «полную генеральскую форму», что обратило внимание бегущих солдат[2].

Вожак-сторож

Практически во всех группах крупных млекопитающих и многих видов птиц (например, гусей) можно заметить особей, бодрствующих, когда остальные спят. Специальные наблюдения, проведенные за северными оленями гор Довре в Норвегии (самая пугливая популяция оленей в мире), показали, что правильнее говорить о животных с высоким уровнем оборонительной мотивации. Такие животные намного чаще осматриваются вокруг. Из наблюдавшихся 66 животных лишь 2 прерывали сон и оглядывались каждую минуту или чаще, тогда как 48 прерывали сон и осматривались каждые 10 минут или реже[3].

В людских коллективах мы обычно сталкиваемся со сторожами как временной или постоянной обязанностью. Именно на сигналы сторожа в первую очередь реагируют остальные члены коллектива.

---

[1] *Рокоссовский К.К.* Солдатский долг. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1968. – С. 34.

[2] *Федюнинский И.И.* Поднятые по тревоге. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1964. – С. 35.

[3] *Баскин Л.М., Скугланд Т.* Бдительность и пугливость северных оленей: Популяционые различия // Журнал общей биологии. – М., 2001. – Т. 62, № 1. – С. 92–98.

Руководство-следование

Говоря о случаях, когда люди ведут себя подобно стаду животных, приводят в пример поведение стада овец, бросающегося вслед за вожаком в пропасть. Действительно, поведению испуганных диких овец свойственно автоматическое повторение за вожаком всех деталей его поведения, вплоть до отдельных движений. Мне доводилось участвовать в охотах на диких снежных баранов (*Ovis nivicola*) в компании опытных охотников-коряков на Корякском хребте. Довольно скоро они заметили, что я мешаю охоте, потому что отстаю. Они объяснили мне, что я должен строго следовать за ведущим охотником (лидером, вожаком нашей группы), точно повторять все его движения, прыгать в ту же точку или ставить ногу в ту же точку, что и он. Я должен был полностью довериться его опыту, и это оказалось более безопасным и помогло ускорить движение. Мои товарищи обратили мое внимание, что и бараны, за которыми мы охотились, вели себя также. Они говорили мне, что «вожак переводит группу», и надо постараться убить вожака, и тогда вся группа тотчас потеряет способность к адаптивному поведению. Животные будут крутиться на одном месте, и их легко будет перестрелять. Сейчас принято называть подобные знания «традиционными» (traditional knowledge).

Для стад млекопитающих, охваченных испугом, характерно следование за вожаком-лидером. У. Алли обратил внимание, что характерное поведение свойственно и вожаку, и следующему за ним стаду, так что правильнее называть это явление «руководство – следование» («leadership – following»)[1]. У многих видов животных это поведение включает набор стандартных реакций, так что правильнее говорить об образце, «паттерне» поведения, включающем и элементы врожденного поведения, и элементы обучения[2].

Исключительно важная черта образца поведения «руководство – следование» состоит в том, что такое поведение наблюдается лишь при крайнем испуге животных. Имеет место «доминанта» оборонительного поведения[3]. Животные следуют за первым покинувшим стадо животным, следование происходит «автоматически», животные не раздумывают, не выбирают альтернативного поведения или альтернативного пути бегства. Даже если вожак ведет их на бойню или с обрыва вниз головой, животные следуют за ним. Автоматизм повторения поведения вожака наблюдается также при доминанте миграционного поведения. Следуя за вожаком, жи-

---

[1] Principles of animal ecology / Allee W.C., Emerson A.E., Park O., Park T., Schmidt K.P. – Philadelphia (PA): Saunders, 1949.

[2] *Scott J.P.* Methodology and techniques for the study of social societies // Annalles of the New York Academy of sciences. – N.Y., 1950. – Vol. 51. – P. 1001–1122; *Баскин Л.М.* Поведение копытных животных. – М.: Наука, 1976.

[3] *Ухтомский А.А.* Учение о доминанте // Ухтомский А.А. Собр. соч. – Л.: Изд. Ленингр. гос. ун-та, 1950. – Т. 1.

вотные подвергают себя крайней опасности (при переправах через реки, пересекая дороги и т.п.).

В человеческом обществе подобное следование за лидером происходит в состоянии паники. Известный пример – суворовское «заманивай», когда великий полководец (сам верхом на коне) возглавил толпу бегущих в панике солдат, крича «Заманивай их, заманивай!», а потом понемногу повернул толпу навстречу атакующему врагу[1].

Представление о «руководстве – следовании» широко используется и в современной литературе о лидерах. Однако М. Поппер подчеркивает, что, хотя исследования военных психологов о руководстве (leadership) фокусируются на лидерах, психология следующих за лидером (followers) – это ключ к пониманию влияния лидеров[2].

Изучая северных оленей, я убедился, что вожаками становятся самые пугливые животные, те, которых не успокаивает нахождение в стаде, где другие животные чувствуют себя в большей безопасности. Из опыта войн известно, что среди солдат встречаются «паникеры», т.е. солдаты, быстрее других впадающие в состояние доминанты страха и бросающиеся бежать. Тогда остальная масса солдат следует за ними. Как известно, элиминация солдат-паникеров позволяла «вылечить» войска от повторения панического бегства при первом же возгласе «Танки!» или «Автоматчики прорвались!». Расстрелы и тому подобные меры военного времени хотя и давали необходимый результат (прекращение панических состояний), были несправедливы, поскольку «паникерами» были люди с повышенной оборонительной мотивацией, быстро становившейся доминантой. Они нуждались в переводе в другие условия, например в тыловые подразделения. К пребыванию в боевых условиях они были так же психически непригодны, как и физические калеки, и наказания не заслуживали.

Изучая поведение испуганных масс животных, мы установили, что в них могут быть выделены и даже подсчитаны те особи, которые являются потенциальными вожаками, если тому будет способствовать обстановка. Они способны выбрать другой путь, чем остальное стадо, и тогда повести стадо за собой. Чаще всего такими потенциальными вожаками бывают взрослые самки, реже – взрослые самцы. Но потенциальным вожаком может быть любое животное, если оно обладает специальным знанием обстановки[3].

О запечатлевании мест, где человек испытал сильный испуг, известно каждому из личного опыта. Тем более, если испуг был вызван катастрофическими событиями, например землятресением. Очевидцы Ашхабадского землятресения рассказывали, что в 1968 г., через 20 лет после

---

[1] *Раковский Л.И.* Генералиссимус Суворов. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1959.

[2] *Popper M.* Toward a theory of followership // Rev. of general psychology. – Wash., 2011. – Vol. 15, N 1. – P. 29–36.

[3] *Баскин Л.М.* Северный олень. – М.: Наука, 1970.

катастрофы 1948 г., сравнительно слабый толчок вызвал множество трагедий: люди, не помня себя, выбрасывались из окон. Именно в таких условиях массового «психоза» первый, подавший пример поведения, вызывает повторения поведения другими участниками события.

Дж. Бендерски реконструировал историю воззрений военных социологов на поведение масс людей[1]. Теория Г. Лебона о потере индивидуальности людьми и превращении их в некий надорганизм, «толпу» («crowd»), обладающую своими собственными чертами и закономерностями поведения[2], вплоть до конца 1940-х годов доминировала в представлениях ученых и преподавателей полицейских и военных академий. Исследования массовых демонстраций, нередко сопровождающихся насилием, повреждением окружающих предметов и другими нарушениями принятых норм поведения, показали, что в отличие от представлений Лебона в бушующих толпах существует часть индивидов, которые вполне отдают себе отчет в происходящем, ведут себя в соответствии с намеченными целями. Известна также роль агитаторов, сознательно возбуждающих толпу или сознательно приводящих себя в состояние экстаза.

Перед органами правопорядка стоит сложная задача управления человеческими толпами. Радаков и его коллеги[3], моделируя поведение многотысячных стай рыб, нашли, что потоки рыб внутри стаи и при обтекании препятствий, например рыболовного трала, подчиняются законам движения жидкостей. В свою очередь социологи моделируют движение человеческих толп (например, при входе на стадионы), создают модели, позволяющие лучше спроектировать пространство, где происходят массовые собрания людей[4]. Для управления человеческими толпами предлагается внедрение агентов, которые брали бы на себя роль вожаков. Соответственно, моделируется, в какой части толпы и в каком количестве «контролирующие агенты» должны находиться[5].

Паническое поведение типично для людей во время пожаров. В литературе обсуждается известный случай катастрофического пожара в Лондоне на станции метро King's Cross[6]. Анализ событий показал, что люди, находившиеся на станции с родственниками, погибли в большем количе-

---

[1] *Bendersky J.W.* Panic: The impact of Le Bon's crowds psychology on U.S. military thought // J. of the history of the behavioral sciences. – Malden (MA), 2007. – Vol. 43, N 3. – P. 257–283.

[2] *Лебон Г.* Психология народов и масс. – СПб.: Макет, 1995.

[3] *Радаков Д.В.* Стайность рыб как экологическое явление. – М.: Наука, 1972.

[4] Self-organized pedestrian crowd dynamics: Experiments, simulations and design solutions / Helbing D., Buzna L., Johansson A., Werner W. // Transportation science. – Hanover (MD), 2005. – Vol. 39, N 1. – P. 1–24.

[5] *Spieser K., Davison D.E.* Multi-agent stabilization of the psychological dynamics of one-dimensional crowds // Automatica. – Amsterdam, 2009. – Vol. 45, N 3. – P. 657–666.

[6] *Donald I., Canter D.* Intentionality and fatality during the King's Cross underground fire // European j. of social psychology. – Oxford, 1992. – Vol. 22, N 3. – P. 203–218.

стве, чем одиночки. Из распросов очевидцев исследователи выяснили, что даже в состоянии паники люди ориентировались на одного из своих более сильных родственников и в результате погибали с бóльшей вероятностью, чем если бы они спасались самостоятельно.

Здесь, как нам кажется, можно найти сходство поведения толпы людей и поведения стада животных, которое, как мы знаем, отнюдь не однородно и включает потенциальных вожаков, способных определить поведение стада. Один из потенциальных вожаков в конкретной обстановке становится лидером стада. Гомологично, вероятно, поведение животных и людей, «следующих» за вожаком, повторяющих его действия. Однако лидеры стад животных и человеческих масс принципиально отличаются мотивацией и проявлениями поведения.

Вожак-доминант

Иерархия как механизм упорядочивания отношений животных в группе существует в большинстве социальных групп. У немалого числа видов порядок доминирования одних особей над другими определяется возрастом, весом, наличием специального оружия (рога, клыки). Такой тип доминирования характерен для видов, образующих большие стада (в сотни и тысячи животных). Вожаки-доминанты имеются в группах, где есть личное распознавание особями друг друга. Группы эти ограничены по размеру, что определяется возможностями запоминания, – обычно не более нескольких десятков (до 50).

В моногамных семьях и в группах, где имеется один самец и несколько самок, доминантом бывает самец. В группах, где есть несколько самцов и несколько самок, возникают две линии доминирования – среди самцов и среди самок. Соответственно выделяются альфа-самец и альфа-самка. В наиболее сложных сообществах (как у японских макак) имеется несколько уровней доминирования, каждый имеет своих доминантов и субдоминантов, но животные, принадлежащие к более высокому уровню, доминируют над теми, кто принадлежит к нижним уровням.

В сообществах приматов мы встречаем разнообразие типов иерархий: от жесткой линейной системы соподчинения, определяемой силой, агрессивностью и размерами животных, до гибкой системы, когда, например, у макак место самца в социальной иерархии зависит от социального опыта, способности образовывать устойчивые «альянсы с другими членами группы, умения получить доступ к центральному ядру группы без применения силы, его способности выполнять функции “контролирующего животного”»[1].

Ядро стаи волков составляют альфа-самка и альфа-самец и субдоминанты. Вместе они атакуют волков, живущих на периферии стаи, кото-

[1] *Бутовская М.Л.* Эволюция группового поведения приматов как предпосылка антропосоциогенеза // Советская этнография. – М., 1987. – Т. 1. – С. 52–69.

рые часто откалываются, переходят к одиночному образу жизни. Вожак-самец определяет доминирование, узнавание лидера, знаки привествия со стороны субдоминантов. Вожаку уступают место на кормежке, место на дневке, спаривание. Вожак определяет направление движения, кроме случаев движения по уже проложенной тропе. Существуют две линии доминирования – самцы и самки. Волчица имеет более важное значение, чем ее супруг, для сохранения стаи. Гибель волчицы ведет к распадению стаи.

Детально изучена социология японских макак на острове Шадашима[1]. В гористой части острова обитает около 600 обезьян, объединенных в группы по 50 и более животных. Существует также большое количество одиночных самцов. Наблюдая за группами, легко распознать ранг отдельных животных, поскольку от него зависит, где они находятся во время отдыха и кормежки. Доминантные животные располагаются в центре, а во время движения – в задней части группы (впереди идут молодые животные).

Исследователи знали в некоторых группах всех животных. В одной из них, например, имелось два самца-доминанта; одному, главному, было 25 лет, другому – 15. Главный был малоподвижен, редко проявлял агрессию, с ним рядом часто кормилось много обезьян. Однако его первенство никто не оспаривал, порядок субординации (подставление зада, другие знаки подчинения – уступание дороги и т.п.) соблюдался в группе без каких-либо исключений и возражений. Вожак помоложе проявлял к старшему не только подчинение, но и все знаки привязанности (чистка меха и т.п.), однако был очень агрессивен к другим членам группы и часто атаковал их. Старший самец имел четыре самки, младший – три. В центре группы также находился 4-летний самец, имевший более высокий ранг, поскольку был сыном альфа-самки. У японских макак, если вожак более агрессивен, его группа имеет преимущество, занимает большую площадь, раньше выходит на кормежку.

Вожак-доминант не обязательно самое драчливое животное. Наоборот, благодаря иерархии, установив доминирование в результате поединка, вожак может мирно сохранять свое главенствующее положение в течение многих лет. Известны случаи, когда, уже состарившись, ослабев, став малоподвижным, вожак продолжал оставаться на вершине иерархической пирамиды. Устойчивый порядок отношений оказывается выгоден всей группе. Субдоминантные животные поддерживают авторитет вожака. Животное, играющее роль вожака, не только отстаивает свой ранг, но и атакует слишком агрессивных членов социума. Оно является «контролирующим животным», поддерживающим относительно мирную жизнь в группе. Изъятие вожака-доминанта ведет к вспышке драк, когда страдает

[1] *Yamada M.* Five natural troops of Japanese monkeys in Shodoshima island. Pt. 1: Distribution and social organization // Primates. – B.; N.Y., 1966. – Vol. 7, N 3. – P. 315–362.

вся группа[1]. С понятием «контролирующее животное» связаны представления о принципах поддержания постоянных стабильных групп у приматов. И. Бернстайн и Л. Шарп сформулировали понятие «социальная роль»[2]. Роль зависит от комплекса показателей: пола, возраста, условий обитания, состава группы и социальной ситуации. Ролевое поведение, в отличие от иерархии, определяет не стабильность, а динамичность отношений в группе.

Не исключено, что высокое иерархическое положение самцов является следствием их способности координировать действия группы при защите от врагов и регулировать внутригрупповые отношения. Функции контролирующего животного могут выполнять также старые самки. Для доминанта часто решающим оказывается умение правильно оценить конкретную социальную ситуацию – оказывать поддержку подчиненным членам группы, регулировать внутригрупповые конфликты; не последнюю роль играет интеллект соответствующей особи[3].

Т. Роуэлл[4] показала, что в поддержании иерархии более активны подчиненные особи. Доминант не задумывается над тем, как что-нибудь сделать. Субдоминанты настороженно следят за действиями вожака-доминанта и меняют свое поведение – уступают дорогу, место кормежки или отдыха.

Еще одна важная социальная роль – «помощники» вожаков. Этот феномен обнаружен у многих видов млекопитающих. Такого помощника мы видели в группе японских макак. Известный пример – помощники вожаков в косяках лошадей и зебр[5]. Молодой жеребец присоединяется к косяку (так принято называть группу лошадей или зебр, включающую доминантного самца, двух-трех кобыл и их потомство). Пришелец демонстрирует подчинение и бывает допущен жеребцом-доминантом в косяк. В течение ряда лет он остается помощником, ему позволяется спариваться с кобылами. Запрещено лишь демонстрировать поведение доминирования и охраны территории (характерные позы, галоп, ржание, мечение территории и т.п.). Если вожак слабеет с возрастом или ранен, происходит бой «на вылет». Доминантом становится молодой жеребец, которому еще предстоит доказать свое доминирование кобылам. Старый жеребец, израненный в бою, удаляется из косяка, живет в одиночку или присоединяется к двум-трем таким же изгоям.

---

[1] *Дерягина М.А., Бутовская М.Л.* Этология приматов. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1992.

[2] *Bernstein I.S., Sharpe L.G.* Social roles in rhesus monkey group // Behaviour. – Leiden; Boston (MA), 1966. – Vol. 26, N 1–2. – P. 91–104.

[3] *Waal de F.B.M.* Good natured: The origins of right and wrong in humans and other animals. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1996.

[4] *Rowell T.* The social behavior of monkeys. – Baltimore (MD): Penguin, 1974.

[5] *Klingel H.* Social behavior of African equidae // Zoologica Africana. – Cape Town, 1972. – Vol. 7, N 1. – P. 175–185; *Баскин Л.М.* Поведение копытных животных. – М.: Наука, 1976.

М. Каваи ввел в научный оборот понятие «зависимый ранг»[1]. Простейший пример этого явления – ранг новорожденных животных вплоть до половозрелости равен рангу их матерей. Однако зависимый, более высокий ранг приобретают самки, установившие связь с самцом-доминантом. Среди почти сотни коров, за которыми мы вели наблюдения в течение 23 лет, выделялась корова по кличке Слива. Это животное прожило на станции 17 лет, а впервые обратило на себя внимание, когда 7-месячной телкой ее привезли в кузове грузовой машины вместе с тремя другими сверстницами. Слива первой решилась вступить на трап и сошла с машины. Она и в дальнейшем оставалась лидером при выборе движения группы коров. Слива была некрупной и неагрессивной коровой и всегда занимала невысокое место в иерархии. Однако она проявила способность приобрести «зависимый ранг», подружившись с жившим в том же стаде огромным самцом-бизоном. Его избегали все остальные животные, кроме Сливы, которой бизон позволял кормиться рядом. Слива была покрыта бизоном и родила теленка-гибрида.

Вожак-руководитель

Косяк лошадей обычно включает в себя одного жеребца и двух-трех взрослых кобыл и молодых животных, не достигших половой зрелости. В косяке лошадей бывает два лидера: косячный жеребец и старейшая из кобыл. Последняя определяет направление движения косяка на пастбище, время начала миграции на летние или на зимние пастбища, ритм жизни – начало периодов пастьбы и отдыха. Функции косячного жеребца многообразнее. Он также может выбирать направление движения, но делает это в тревожной ситуации, подгоняя укусами и ударами копыт отстающих членов косяка. Жеребец даже поднимает зубами за холку жеребенка и тащит его, если тот слишком слаб, чтобы бежать быстрее. Жеребец метит территорию косяка, откладывая катышки навоза, а также специальным ржанием, характерным топотом. Он демонстрирует ряд поз «хозяина» территории, включая характерный тип галопа. Жеребец активно защищает косяк от вторжения других жеребцов, а также волков и даже людей. Жеребец проводит разведку обстановки, оставляя косяк на попечении своей старшей подруги, причем он проводит разведку на глубину в километр и более. Разведка производится при подходе к водопою, к возможной засаде охотников. Вернувшись из разведки к поджидающему его поодаль косяку, жеребец ведет его безопасным путем к водопою[2].

---

[1] *Kawai M., Azuma S., Yoshiba K.* Ecological studies of reproduction in Japanese monkeys (Macaca fuscata). Pt. 1: Problems of the birth season // Primates. – B.; N.Y., 1967. – Vol. 8, N 1. – P. 35–74.

[2] *Грум-Гржимайло Г.Е.* Описание путешествия в Западный Китай. – М.: ОГИЗ, 1948.; *Баскин Л.М.* Поведение копытных животных. – М.: Наука, 1976.

Поведение вожака косяка лошадей – это пример исключительно сложного поведения. Согласно М.А. Дерягиной и М.Л. Бутовской, роль вожака в группе обезьян включает в себя: а) добычу пищи, б) репродукцию и воспитание молодых, в) передвижение группы к местам ночлега и отдыха, г) защиту группы, д) сплочение группы[1].

Следует различать понятия «вожак-лидер» и «вожак-руководитель». Лидер осуществляет синхронизацию деятельности членов группы, например, начинает кормежку, отправляется на водопой, ему подражают остальные члены группы. Вожак-руководитель активно руководит стадом, нередко принуждает членов группы не отставать, не удаляться от группы, прекратить драку и т.п.

Существует обширная литература, посвященная руководителям человеческих коллективов, рекомендациям, по подбору руководителей, какими качествами они должны обладать, каковы особенности их поведения и причины успеха или неуспеха. Однако требуется специальное исследование, чтобы хотя бы наметить, какие из особенностей поведения руководителей человеческих коллективов гомологичны руководителям животных сообществ. Например, руководитель одного из подразделений банка «Сосьете Женераль Восток», имея в виду известные ей коллективы банков, полагала, что лидер-доминант создает устойчивость структуры в коллективе, поддерживает дисциплину, тогда как другим лидером, пусть и не имеющим таланта руководителя-босса, определяются путь развития банка, его приоритетные направления, иногда принимаются внезапные, неординарные решения.

Социобиология поведения вожаков

Идеи Ч. Дарвина о естественном отборе[2] наиболее приспособленных особей как результате внутривидовой борьбы за существование вызвали обширную дискуссию о том, что преобладает в социальном поведении животных, – борьба или взаимопомощь. Как доказывал на обширном материале П.А. Кропоткин, «война каждого против всех отнюдь не является законом природы. Взаимопомощь оказывается таким же законом природы, как и взаимная борьба»[3].

Действительно, животные в скоплении находятся в большей безопасности. Когда на стадо нападает хищник, возникает эффект «растворения», одна особь прячется за другую, хищник не может сосредоточиться

---

[1] *Дерягина М.А., Бутовская М.Л.* Этология приматов. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1992.

[2] Цит. по изданию: *Дарвин Ч.* Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение избранных пород в борьбе за жизнь // *Дарвин Ч.* Полное собр. соч. – М.; Л.: Госиздат, 1926. – Т. 1, кн. 2.

[3] *Кропоткин П.А.* Взаимопомощь среди животных и людей. – Минск: Беларуская энцыклапедыя, 2006. – С. 15.

на погоне за одной особью, а попеременное преследование бесполезно. Существует и прямой защитный эффект скопления. Происходит взаимное обогревание особей. Кровососущие насекомые ориентируются в поиске жертвы по запаху. Они нападают на крайние ряды в стаде, тогда как особи внутри скопления вовсе не подвергаются нападению. Для многих видов мы наблюдаем снижение страха, когда животное находится в стаде. Это выражается как в дистанции, на которую человек может приблизиться к животному, так и в позах животных и их реакциях. В глубине стада копытных животных можно видеть особей, ведущих себя настолько спокойно, что они продолжают кормиться или ложатся. Люди жмутся друг к другу в состоянии крайнего ужаса. Известно также стремление людей спрятаться друг за друга.

С 1920-х годов развивается зоосоциология, для которой одним из ключевых является представление об адаптивности социального поведения[1]. Благодаря успехам наук о поведении животных мы знаем о ряде механизмов, упорядочивающих взаимоотношения животных в группе и между группами (индивидуальные и стадные дистанции, иерархия, зависимый ранг, территориальность, ролевые структуры, вожаки). Эти механизмы обеспечивают выживание более сильных или более адаптированных (путем научения или за счет зависимого ранга) особей. Но те же механизмы позволяют выживать и размножаться максимальному количеству менее приспособленных членов группы, если для этого существует природный ресурс. Книга В. Уинн-Эдвардса[2] стала рубежной, создав важное направление исследований, устанавливавших роль структуры популяций, в том числе социальной структуры и социального поведения как механизма, регулирующего плотность популяций в соответствии с кормовыми ресурсами среды.

Современные исследователи называют период до 1960-х годов временем «наивного группового селекционизма» (naive group selectionism), поскольку полагают, что с приходом эры социобиологии представления о социальном поведении как одной из форм видовых адаптаций должно быть в корне пересмотрено. По их мнению, невозможен иной путь адаптации, включая и развитие социального поведения, кроме как естественный отбор генотипов. Термин «социобиология» (sociobiology) ввел Э. Уилсон[3]. Социобиологи рассматривают социальное поведение с точки зрения естественного отбора и обеспечения репродуктивного успеха. Например, альтруизм исследуется с точки зрения возможности передачи наследственных качеств вожака потомкам. Жертвуя собой, вожак обеспечивает выживание

---

[1] *Allee W.C.* Animal aggregations // Quarterly rev. of biology. – Chicago (IL), 1927. – Vol. 2, N 3. – P. 367–398.

[2] *Wynne-Edwards V.C.* Animal dispersion in relation to social behavior. – Edinburgh: Oliver & Boyd, 1962.

[3] *Wilson E.O.* Sociobiology. – Cambridge (MA): Harvard univ. press: Belknap press, 1975.

своих детей или других родственников, увеличивая таким образом «совокупную (inclusive) приспособленность» семьи или группы[1]. В ставшей исключительно популярной книге Р. Докинз представил эти воззрения в предельно острой форме: поведение людей и животных запрограмировано «эгоистическими генами» («selfish genes»); любое поведение, которое с первого взгляда кажется проявлением альтруизма, на самом деле происходит в интересах этих генов[2].

Поведение вожаков, например косячного жеребца, вступающего в схватку с волками, или вожака-павиана, защищающего свою группу от леопарда, с точки зрения социобиологии могло возникнуть в результате естественного отбора, потому что способствовало сохранению генов альтруизма в выживших потомках этих вожаков. Если группа велика и не все особи являются прямыми родственниками вожаков, привлекается теория родственного отбора (kinship selection), математически рассчитывается вероятность того, что даже малая доля родства с вожаком позволит сохранить в потомстве соответствующие гены. Соответственно, появление помощников вожаков тем менее вероятно, чем меньше их родство с вожаками.

В течение примерно 30 лет накапливались факты как в пользу социобиологических воззрений, так и против них. Вполне очевидно, что многие проявления социального поведения, например вожаки-сторожа, защитный эффект стада, коллективная оборона, иерархия в многотысячных стадах, труднообъяснимы с точки зрения увеличения совокупной приспособленности, тем более, когда речь идет о человеческом обществе. Многие ученые сомневаются в применимости социобиологических подходов к человеку. Крайние взгляды отражает «disconnectionism», вообще отрицающий возможность применения дарвиновской теории отбора к людям. Его сторонники указывают, что социальное поведение, в таких его сложных формах, какие свойственны лидерам человеческих коллективов, правильнее объяснять с точки зрения культуры и социологии[3]. Концепция «эгоистического гена» признается фаталистичной и приводящей к ряду выводов, неприемлемых с точки зрения морали и демократии.

Узловым моментом в дискуссии «за» и «против» стала проблема «группового отбора». Социобиологи долго противились самой идее группового отбора, не находя здесь связи с отбором генов. Однако с 1990-х годов стала развиваться гипотеза многоуровневого отбора («multilevel selection»). Понимая, что взаимопомощь (в ее многообразных формах) необходима для выживания группы, ученые предполагают, что естественный отбор действует на разных биологических уровнях. Эгоистичные индивиды более конкурентоспособны по отношению к альтруистам внутри груп-

---

[1] *Hamilton W.D.* The genetical evolution of social behavior // J. of theoretical biology. – San Diego (CA), 1964. – Vol. 7, N 1. – P. 1–52.

[2] *Dawkins R.* The selfish gene. – N.Y.: Oxford univ. press, 1976.

[3] *Flinn M.V.* Culture and the evolution learning // Evolution a. human behavior. – Amsterdam, 1997. – Vol. 18, N 1. – P. 23–67.

пы; альтруистические группы более конкурентоспособны по отношению к эгоистическим группам[1]. Многоуровневая модель естественного отбора предполагает разделение эффекта отбора генов внутри групп и между группами[2].

Новые представления в социобиологии утверждают многоуровневый естественный отбор, возможность как внутригруппового, так и межгруппового отбора[3]. Исследователи доказывают, что более высокие уровни адаптации (например, адаптация социального поведения) достигаются отбором на более высоких уровнях организации (межгрупповом, межпопуляционном).

Групповой отбор – важная движущая сила эволюции человека, в которой культурные процессы создают полезные отличия между группами, даже если они включают в себя множество неродственных особей[4]. Межгрупповой отбор позволяет лучше объяснить возникновение и закрепление альтруистического поведения. Согласно анализу Дж. Уильямса, особенности поведения, которые полезны для группы, часто неблагоприятны для отбора внутри группы[5]. Д. и Э. Уилсоны считают это фундаментальной проблемой социальной жизни[6].

Заключение

Примеры из зоосоциологии, особенно те, что касаются вожаков, легко вызывают ассоциации с тем, что мы наблюдаем в человеческом обществе. Старый, почти беспомощный вожак, которого, однако, зоосоциум сохраняет и почитает, напоминает нам времена престарелых партийных вождей последних десятилетий существования Советского Союза. Также и социальные роли помощников вожаков, и стремление субдоминантов проникнуть в более высокие круги доминантов – все это находит свои аналогии в человеческом обществе. Трудно было бы утверждать, что мы

---

[1] *Wilson D.S., Wilson E.O.* Rethinking the theoretical foundation of sociobiology // Quarterly rev. of biology – Chicago (IL), 2007. – Vol. 82, N 4. – P. 327–348.

[2] *Silk J.B.* The evolution of cooperation in primate groups // Moral sentiments and material interests: On the foundations of cooperation in economic life / Ed. by H. Gintis, S. Bowles, R. Boyd, E. Fehr. – Cambridge (MA): MIT press, 2005. – P. 43–73.

[3] *Williams G.C.* Natural selection: Domains, levels and challenges. – N.Y.: Oxford univ. press, 1992; *Borrello M.E.* The rise, fall and resurrection of group selection // Endeavour. – San Diego (CA), 2005. – Vol. 29, N 1. – P. 43–47; *Wilson D.S., Wilson E.O.* Rethinking the theoretical foundation of sociobiology // Quarterly rev. of biology – Chicago (IL), 2007. – Vol. 82, N 4. – P. 327–348.

[4] *Wilson D.S., Wilson E.O.* Op. cit.

[5] *Williams G.C.* Natural selection: Domains, levels and challenges. – N.Y.: Oxford univ. press, 1992.

[6] *Wilson D.S., Wilson E.O.* Rethinking the theoretical foundation of sociobiology // Quarterly rev. of biology. – Chicago (IL), 2007. – Vol. 82, N 4. – P. 327–348.

имеем дело с гомологичными явлениями, хотя и вероятность этого представляется вполне значительной.

Такого рода сопоставления помогают понять, что многие явления в человеческом обществе связаны с эволюционной историей поведения человека. Тогда культурологические подходы добавляются или накладываются на понимание того, что структура человеческих социумов сохраняет в своей основе структуру зоосоциумов, основывается на многих инстинктивных или приобретаемых в результате облигатного обучения особенностях поведения человека.

Пока неопровержимо доказаны гомологические сходства лишь элементарных проявлений поведения человека и животных. Так, морфология поведения (т.е. позы, мимика, провления эмоций и т.п.) лидеров человеческого общества была изучена множеством исследователей. Однако исследования, посвященные механизмам принятия решений лидерами, анализ поведения руководителей человеческих коллективов оперируют лишь социологическими понятиями[1]. Между тем нелишне будет вспомнить, что на раннем этапе развития социологии сравнение социального поведения человека и животных было в порядке вещей. Во всяком случае, это относилось к таким проблемам, как социальная солидарность и альтруистическое поведение. Можно предположить, что сегодня, на совершенно новом этапе развития научного знания, возобновление диалога между социологами и специалистами по социобиологии и этологии могло бы принести заслуживающие внимания результаты.

[1] How leaders influence the impact of affective events on team climate and performance in R&D teams / Pirola-Merloa A., Hartel C., Mann L., Hirst G. // The leadership quart. – Amsterdam, 2002. – Vol. 13, N 5. – P. 561–581; *King J.B.* Five defining characteristics of great CEOs. – Mode of access: http://ezinearticles.com/?Five-Defining-Characteristics-of-Great-CEOs&id=12513

Е.В. Якимова

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В РАКУРСЕ ЗАПАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ (Аналитический обзор)[1]

Социальная солидарность принадлежит к тем феноменам общественной жизни, которые изучаются в рамках социальной психологии преимущественно в своих конкретных проявлениях. В социально-психологической литературе можно обнаружить немало теоретических соображений и еще больше эмпирических исследований, посвященных групповой сплоченности и согласию, интеграции и кооперации, эмпатии и симпатии, альтруизму и прочим формам просоциального поведения. Все эти явления и процессы имеют самое непосредственное отношение к формированию того социального состояния, которое со времен Дюркгейма принято называть социальной солидарностью. Тем не менее в контексте социальной психологии слово «солидарность» является скорее исключением или случайной оговоркой автора, чем намеренным использованием его в качестве специального термина. Аспекты или параметры солидарности, которые интересуют социальных психологов, чаще всего рассматриваются под углом зрения групповой динамики либо механизмов конституирования того или иного «качества» межличностных и внутригрупповых отношений. В определенном смысле можно говорить о том, что социальная солидарность до недавнего времени оставалась лакуной западного социопсихологического знания, хотя представители именно этой дисциплины сделали чрезвычайно много для идентификации и описания нюансов общественной жизни, которые объединены понятием «солидарность».

Вполне вероятно, что эпизодическое присутствие данного понятия в работах социальных психологов, занятых анализом предпосылок и следст-

[1] Аналитический обзор подготовлен в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

вий феномена общественной солидарности, продиктовано желанием еще раз продемонстрировать независимость своей дисциплины и ее право на собственное, не заимствованное из других социальных наук ви́дение проблемы. Тем не менее в последнее десятилетие положение существенно изменилось: термин «солидарность» все чаще встречается на страницах западной социально-психологической периодики и даже выносится в заглавие статей. Примечательно, что наряду с рассмотрением тех или иных аспектов солидарности или специфики ее социопсихологического конструирования (преимущественно в условиях лабораторных малых групп), налицо также стремление обозначить границы дисциплинарного подхода к этому объекту социального анализа. Чаще всего речь идет о субъективном опыте, или «переживании», специфических межличностных либо внутригрупповых отношений (связей, контактов), имеющих ярко выраженный аффективный компонент. Названная тенденция современного западного социально-психологического анализа солидарности и ассоциированных с ней социопсихологических процессов получила яркое воплощение в работах профессора социологии Университета Аризоны (г. Тусон, США) Линды Мольм. В 1990-е годы Мольм являлась соредактором международного журнала «Social psychology quarterly» и председателем сразу двух секций Американской социологической ассоциации (социальной психологии и социальной теории); с конца 1990-х годов она возглавляет крупный исследовательский проект по изучению механизмов социальной интеграции, который финансируется Национальным научным фондом США. Цель данного проекта состоит в изучении процессов и структур социального обмена как контекста и фактора просоциального поведения и отношений взаимности (reciprocity), продуцирующих социальное доверие и солидарность. В 2009 г. инициатор и руководитель проекта Л. Мольм стала лауреатом премии Кули-Мида, которая ежегодно присуждается Американской социологической ассоциацией за выдающиеся заслуги в развитии социальной психологии.

Главным объектом научных интересов Мольм выступает феномен взаимности как катализатор социальной солидарности в межличностных и межгрупповых отношениях, где взаимность трактуется как конечный результат специфически структурированного обмена типами социальной деятельности и ее продуктами между диадическими и сетевыми партнерами. Как замечает в связи с этим профессор социологии Стэнфордского университета (Калифорния) С. Риджуэй, «работы Линды Мольм по проблемам социального обмена… трансформировали одну из ключевых исследовательских перспектив современной социальной психологии» путем радикальной смены аналитических приоритетов применительно к этому явлению общественной жизни (Ridgeway, 2010, p. 118). Обсуждение структурного и властного неравенства обменных потенциалов, провоцирующих конфликт партнеров, сменилось преимущественным изучением конституирования «обоюдности», или отношений взаимности, т.е. таких

контактов между акторами, которые способствуют их солидарности в пространстве обменных действий и закладывают базу для социальной интеграции за его пределами. Кроме того, в работах Мольм прослеживается структурная и содержательная дифференциация самих отношений обмена под углом зрения их неоднозначности в качестве механизма социального сплочения.

Реконструируя интеллектуальную биографию Мольм, Риджуэй отмечает независимость ее научных поисков, позволивших исследовательнице выйти за рамки необихевиористской парадигмы, которая доминировала в теориях обмена 1970-х годов, и переосмыслить договорную модель обменных отношений с точки зрения содержащейся в них практики взаимности. На формирование научных интересов Мольм заметное влияние оказали идеи Р. Эмерсона, П. Блау, Г. Келли и Дж. Тибо, однако уже в 1980-е годы изучению формальных переговоров она предпочла эмпирический анализ повседневных обменных операций, которые по большей части являются негласным, имплицитным конституированием взаимности без заранее оговоренных гарантий со стороны партнеров, но с надеждой на обоюдную выгоду. Мольм не только дифференцировала обменные отношения, разделив их на договорные и базирующиеся на взаимности; она продемонстрировала, что «определенным образом структурированная взаимность играет ключевую роль в формировании интегрирующих связей между людьми, обусловливая социальную перцепцию происходящего как справедливого / несправедливого обмена», – констатирует С. Риджуэй (Ridgeway, 2010, p. 117–118).

По замечанию самой Линды Мольм, анализ структуры взаимности является ключом к пониманию социальных функций этого феномена в контексте повседневных социальных обменов микро- и макроуровней. Представляя свой лонгитюдный проект изучения взаимности в качестве социопсихологического механизма конституирования социального доверия и солидарности, автор характеризует взаимность как «акт предоставления пользы (выгоды, преимуществ, прибыли) другому (другим) в ответ на полученную от него (от них) пользу (выгоду, преимущества, прибыль)» (Molm, 1981). Мольм считает взаимность одним из фундаментальных свойств не только социального обмена, но и социальной жизни в целом. Как заметил в связи с этим Р. Эмерсон, именно взаимность обеспечивает процессу обмена его наименование и содержание: «Блага, приобретаемые посредством социальных процессов, обусловлены благами, предусмотренными “в обмен”» (Emerson, 1981, p. 32). Тем не менее в социологических и психологических концепциях обмена отношения взаимности никогда не были предметом специального исследования. Мольм полагает, что невнимание социальных психологов к этому аспекту обменных действий продиктовано их восприятием обоюдных контактов в актах обмена как само собой разумеющейся вещи, как данности, которая не меняется и по-

тому, по выражению Эмерсона, лишена всякого теоретического интереса (Emerson, 1972).

Между тем социальные аналитики, принадлежащие к иным исследовательским традициям, неоднократно писали об отношениях взаимности как о важнейшем принципе общественной жизни (Hobhouse, 1906, p. 12) и базисе социальной солидарности и сплочения (Simmel, 1950, p. 387). В середине XX в. Г. Беккер ввел в научный оборот термин «homo reciprocus» для обозначения человека как биологического вида (Becker, 1956, p. 1); несколько позже А. Гоулднер опубликовал свои размышления о «норме реципрокности» как регуляторе социальных отношений, или интернализованном моральном обязательстве (Gouldner, 1960). Существенный вклад в осмысление этого феномена внесли представители социобиологии, рассматривающие взаимность в качестве эволюционной предпосылки общественной кооперации (Nowak, Sigmund, 2000).

Игнорирование социальной психологией компонента взаимности, продолжает Мольм, объясняется также тем, что долгое время в ее поле зрения находился только один вариант обменных актов – непосредственный обмен типами деятельности и их результатами на основе предварительной договоренности сторон («ты – мне, я – тебе»). Сегодня в фокусе внимания автора и ее единомышленников находится весь спектр отношений социального обмена, главными из которых Мольм считает реципрокные, или обоюдные, обмены, охватывающие цепочку акторов, встроенных в ту или иную социальную сеть. Обоюдные обмены – это отношения акторов, «осуществляющих индивидуальные действия в пользу другого (других), – помощь, совет, участие, услуга – без предварительного обсуждения ответных благотворительных действий потенциальных партнеров» и без определенных гарантий того, что последует немедленный ответный благотворительный акт (Molm, 2010, p. 119–120).

Анализ отношений взаимности в контексте социального обмена составляет основное содержание исследовательской программы Мольм, стартовавшей в конце 1990-х годов. Оценивая предварительные итоги этой работы, которая сегодня близится к завершению, американская исследовательница подчеркивает, что за прошедшие годы были накоплены эмпирические данные, свидетельствующие о неоднозначном воздействии обменных отношений на конституирование просоциального поведения их участников и формирование интегрирующих аффективных связей как предпосылок социальной солидарности. Опираясь на идеи социальной антропологии (Б. Малиновский, М. Мосс), Мольм выдвинула гипотезу о том, что главной детерминантой неоднозначной интегрирующей функции социальных обменов выступает их структура. Еще К. Леви-Стросс обратил внимание на то, что коллективные системы непрямого (или опосредованного) обмена, т.е. такие, которые включают более двух человек, формируют более крепкие интегрирующие связи между людьми, чем парные ограниченные обмены (Levi-Strauss, 1969). Это предположение антропологов,

замечает Мольм, представляется весьма актуальным для современного обществознания в свете проблемы формирования социального капитала и гражданских сообществ. Тем не менее оно так и не получило какого-либо теоретического развития, не говоря уже об эмпирической верификации. Поэтому одной из главных задач лонгитюдного проекта Мольм и ее коллег стала экспериментальная проверка классической антропологической гипотезы о роли социального обмена в продуцировании аффективных интегрирующих связей между людьми на базе разработанной ими «структурной теории реципрокности в контексте обменов» (Molm, Collet, Schaefer, 2007, p. 207).

Переходя к описанию структуры взаимности в пространстве обменных актов, Мольм формулирует следующие концептуальные положения:

а) взаимность структурирована; это значит, что она не является только нормой или только процессом, но обладает способностью к трансформации в пределах обменных действий; иными словами, отношения взаимности вариативны;

б) структура взаимности определяет фундаментальные различия форм социального обмена – не только с точки зрения характера обменных действий или их трансформации в зависимости от властных потенциалов акторов, но главным образом в качестве фактора формирования социальной солидарности;

в) измерения взаимности обусловливают дифференциацию социальных обменов и их неоднозначную роль в качестве фактора социального единения посредством редуцирования / акцентирования рисков, неопределенности и конфликта в ходе обменных акций.

Первым аналитиком социального обмена, обратившим внимание на его внутреннюю структурную организацию и связавшим масштаб, тип и специфику отношений между субъектами обменных действий с итогами этих действий, был Р. Эмерсон. Однако, как уже говорилось, Эмерсон ограничился изучением непосредственных договорных отношений обмена, рассматривая их в качестве самодостаточных транзакций в рамках диадических контактов. Обратившись к реципрокным обменам, Мольм поставила задачу выявить структуру взаимности и соотнести ее специфику с процессами эмоционального и социального сближения участников обменных операций. С этой целью она идентифицировала и описала два измерения отношений обмена, связанные с *характером* и *направлением* движения (курсирования) конечных результатов (выгод) обменных действий. Так, обмен может быть: а) односторонним (однонаправленным: А → Б или Б ← А) либо двусторонним (двунаправленным: А ⇆ Б), и б) прямым (непосредственным) либо непрямым (опосредованным участием другого / других партнеров). В зависимости от сочетания названных параметров возможны следующие базовые формы отношений социального обмена:

– прямой договорный обмен;

– прямой взаимный обмен;

– непрямой – опосредованный, или генерализованный, обмен.

Принципиальное отличие взаимных (реципрокных) обменов от обменов договорного типа связано с тем, что договорные обменные отношения складываются путем диадических контактов акторов: участники договариваются напрямую о совместных действиях в пользу друг друга, при том что обмен выгодами может быть либо справедливым, либо (чаще) неравным, но в любом случае содержащим в себе гарантии того, что каждая из сторон получит что-то в обмен на предоставленную партнеру пользу. Реципрокный обмен предполагает не двустороннюю, а однонаправленную благотворительность, при том что ответное вознаграждение может последовать немедленно, или будет отложено, или не случится вовсе. Односторонность реципрокных обменов означает, что актор А в принципе может вступить в обменную сделку с любым актором в социальной сети, все участники которой вправе инициировать обмены с любым из акторов в любой момент времени, однако исходная услуга актора А может вернуться к нему не от непосредственного адресата его благотворительности, а от какого-нибудь другого участника социальной сети. Очевидно, что в таких обменах к первому структурному измерению взаимности (направление ее движения) добавляется второе (характер ее движения), так что в конечном счете обменный акт приобретает опосредованный, или генерализованный, вид. «В структуре непрямой взаимности, – пишет в связи с этим Мольм, – не каждый из акторов зависит от какого-либо одного партнера, но скорее вся совокупность акторов вносит свой вклад в поддержание коллективной системы обменных действий… Поскольку односторонние благотворительные акты “оплачиваются” с течением времени – в ходе текущих обменных контактов, а не посредством диадических транзакций, – единицей обмена с необходимостью становится *отношение* (курсив Л. Мольм. – *Е.Я.*)… как последовательность случайных индивидуальных актов, в которых сложно выделить дискретные транзакции, поскольку тот самый акт, что завершает один обмен, нередко кладет начало другому» (Molm, 2010, p. 122).

Изучение генерализованной взаимности, предпринятое на завершающем этапе проекта, Мольм считает наиболее перспективным направлением социальной психологии обменов под углом зрения идентификации механизмов формирования солидарности и выявления точек соприкосновения социальной психологии обменов с теорией социального капитала и организационной социологией. Между тем интегрирующие свойства специфически структурированной взаимности, способствующие установлению аффективных связей между участниками обменных действий, были обнаружены командой Мольм совершенно случайно. В 90-е годы прошлого столетия в ходе лабораторных экспериментов, объектом которых являлись властные параметры договорных и реципрокных обменов, была проведена серия итоговых опросов, продемонстрировавших «поразительные отличия аффективных компонентов двух форм обмена» (Molm, 2010,

p. 123). Это открытие послужило импульсом для радикальной смены исследовательских приоритетов. С конца 1990-х годов в фокусе внимания Мольм и ее единомышленников оказались процессы социальной интеграции и формирование отношений доверия, аффективного участия и солидарности в пространстве социальных обменов (Molm, Takahashi, Peterson, 2000; Molm, Takahashi, Peterson, 2003; Molm, Collet, Schaefer, 2006; Molm, Collet, Schaefer, 2007; Molm, Collet, Schaefer, 2009). Этот сдвиг в теории и эмпирии (т.е. переход от анализа конфликтосодержащих элементов обменных отношений как неравноправных и несправедливых к осмыслению их просоциального – поведенческого и мотивационного – потенциала) Мольм расценивает как «возвращение к истокам». Здесь имеется в виду двойственность воздействия взаимной зависимости партнеров по обмену на конечные отношения между ними, описанная П. Блау в терминах дифференциации (неравенство и конфликт) и интеграции (притяжение, сближение, сплочение) (Blau, 1964). Социальные аналитики десятилетиями изучали психологические и практические следствия процессов дифференциации, теперь настало время анализа механизмов интеграции.

Применительно к этой задаче Мольм определяет социальную солидарность как «совокупность интегрирующих связей, возникающих между индивидами и / или между индивидами и социальными объединениями, к которым эти индивиды принадлежат; солидарность имеет как поведенческие, так и аффективные компоненты, зачастую не связанные друг с другом» (Molm, Collet, Schaefer, 2009, p. 207). Кроме того, солидарность рассматривается в качестве «оценки актором своих отношений с партнером как гармоничного единения и взаимовыгодного союза» (Molm, 2010, p. 123). Автор подчеркивает, что в рамках ее проекта исследованию подлежат именно субъективные, преимущественно аффективные аспекты «опыта, или переживания, солидарности». Таковыми являются доверие (уверенность актора в том, что на партнера можно положиться, – в том смысле, что тот скорее окажет услугу, чем попытается использовать vis-a-vis в собственных интересах), аффективное участие (regard) (позитивно окрашенное чувство к партнеру в комплексе с позитивной же оценкой его характера), социальное единение (восприятие партнерских отношений как социальной единицы, в рамках которой акторы объединены общими целями и интересами), а также чувство привязанности, т.е. верность (лояльность) применительно к партнеру и партнерским обязательствам.

Суммируя итоги многолетнего эмпирического изучения интегрирующих следствий социальных обменов реципрокного типа, автор обращает внимание на следующие результаты:

а) лабораторные эксперименты показали, что участники взаимных обменов демонстрируют бóльшее аффективное расположение и приверженность партнеру, чем субъекты договорных обменных акций;

б) поведенческие акты, которые подтверждают доверительность отношений между партнерами, в бóльшей степени характерны для реци-

прокных, чем для договорных обменов; субъекты последних, как правило, ограничиваются поведенческой лояльностью в отношении партнера, не обременяя себя эмоциональными контактами;

в) несмотря на то что договорные обмены, на первый взгляд, отличаются бóльшим «процедурным равенством», чем односторонние взаимные обмены, субъекты последних чаще оценивают отношение к ним партнера как «справедливое», чем участники договорных акций (независимо от фактического, или объективного, равенства обменной сделки); более того, участники реципрокных обменов скорее соглашаются на новую заведомо неравную сделку с теми же партнерами в будущем, чем субъекты обменов договорного типа;

г) генерализованные (опосредованные) реципрокные обмены продуцируют более тесные интегрирующие связи между участниками, чем любая из форм прямого обмена (договорная или взаимная);

д) перечисленные следствия взаимных обменных отношений проявляют себя независимо от тех или иных (поведенческих, ценностных, ресурсосодержащих, исторических) аспектов обменных действий и представляют собой «исключительный продукт опыта обмена (его восприятия и переживания) в контексте различных структур взаимности, а также значимости такого опыта с точки зрения вероятных интегрирующих связей в будущем».

Накопленные эмпирические данные получили теоретическое обоснование в рамках разработанной Мольм модели интегрирующих связей в контексте обоюдных обменов, или «теории реципрокности в социальных обменах». Автор выделила три типа каузальных социально-психологических механизмов, обеспечивающих трансформацию обменных действий определенной структуры в отношения эмоциональной и социальной интеграции и солидарности. Это механизмы, связанные с *риском* обменных операций, с *экспрессивной (символической) ценностью* самого акта реципрокности как свободного волеизъявления участников и с редуцированием либо обнаружением *конфликтных / кооперативных аспектов* обменных действий. «Два первых обеспечивают непосредственное структурное воздействие взаимности на социальную солидарность; третий реализует себя благодаря вмешательству в когнитивные структуры акторов, опосредуя их восприятие пространства обменных отношений в качестве конфликтного либо кооперативного» (Molm, Collet, Schaefer, 2007, p. 211). Согласно данной модели, обмены, характеризующиеся непрямой взаимностью и однонаправленной благотворительностью, т.е. генерализованные реципрокные обменные акты, обладают наиболее сильным интегрирующим эффектом благодаря увеличению степени риска обменных акций, повышению уровня их символической ценности и камуфлированию неизбежных конфликтных параметров обменных отношений.

В социально-психологической литературе имеется немало эмпирических свидетельств «опосредованности доверия риском, который являет-

ся непременным условием взаимной демонстрации партнерами свой благонадежности» (Molm, 2010, p. 124). Чтобы уменьшить возможные потери в результате обменной сделки, актору нужно убедить vis-a-vis в своей надежности и лояльности; следовательно, именно риск способствует в конечном счете сближению, кооперации и интеграции индивидов в пространстве обмена. Очевидно, что в реципрокных – непрямых и в особенности генерализованных – обменах степень риска для их субъектов особенно велика: ни один из участников не имеет гарантий того, что не останется в проигрыше, поскольку не знает, когда, как и кем будет вознаграждена его исходная благотворительность. Усиливая непредсказуемость обменных операций, структура генерализованных обменов в то же время способствует невольному сближению анонимных акторов и вынуждает их доверять друг другу в рамках сетей коллективных обменов.

Структурная организация обменных актов также обладает способностью обнажать либо камуфлировать (и даже редуцировать) их кооперативные либо состязательные составляющие. Двусторонние договорные обмены высвечивают столкновение интересов их субъектов и потенциальный конфликт как следствие вероятного неравенства конечных выгод обменной сделки. Односторонняя благотворительность реципрокных обменов, в особенности генерализованных, затрудняет саму возможность сравнения результатов обменных отношений и способствует диффузии ответственности за несправедливую сделку по всей сети коллективных обменов, распределяя ее между всеми участниками. «Опосредованная взаимность снижает уровень конфликтности обменных отношений, устраняя вероятность любых реципрокных актов, связывающих дарителя и одаряемого напрямую» (Molm, 2010, p. 124).

Наконец, добровольные и лишенные определенности обменные действия, в отличие от гарантированных договорных сделок, обладают способностью привносить в отношения партнеров аффективный компонент, содействуя их взаимному расположению и стремлению продолжить завязавшиеся отношения. Это свойство обоюдных обменов, т.е. их экспрессивная (символическая, или коммуникативная) ценность, опять-таки усиливается в условиях генерализованных обменных акций, поскольку здесь «вознаграждение получает тот, кому дарящий ничем не обязан напрямую, при том что последний вносит таким образом личный вклад в поддержание коллективных действий, благотворных для всей сети обменов» (Molm, 2010, p. 124).

Осмысление и эмпирическая верификация символического измерения взаимности являются важнейшими аспектами концепции Л. Мольм. С описанием и анализом именно этой характеристики специфически структурированных обменных актов, выявленной ею в ходе лабораторных экспериментов, автор связывает принципиальную новизну своей трактовки социального обмена в терминах продуцирования интегрирующих эмоциональных отношений (социальной солидарности) между людьми. Более

того, с ее точки зрения, изучение символических аспектов генерализованных взаимных обменов открывает перспективу для комплексного исследования совокупными (междисциплинарными) силами социальных аналитиков просоциальных форм поведения и их мотивации под углом зрения конституирования социального капитала. «Мы утверждаем, – пишет в связи с этим Мольм, – что при определенных условиях, связанных с формой социального обмена, акт взаимности сам по себе может иметь символическую ценность, что, в свою очередь, будет способствовать формированию аффективных связей и социального капитала в контексте отношений между партнерами» (Molm, 2007, p. 202).

В социальной психологии ценностные составляющие обменных отношений, как правило, ассоциируются с их материальной значимостью (выгодой) для партнеров. Этот подход, заимствованный из социально-экономической традиции описания безличных (рыночных) обменов, ограничивается сопоставлением инструментальной пользы тех объектов (товаров, услуг, социально значимых результатов), которые и были предметом данного обмена. По мнению Мольм и ее единомышленников, «ценность актов взаимности лишь отчасти заключена в товарах и услугах, которыми люди обмениваются»; главное содержание отношений обмена состоит в ценности самого специфически структурированного обменного действия как генератора процессов аффективной интеграции партнеров (Molm, 2007, p. 199). Иначе говоря, «ценность взаимности» в контексте обменных действий имеет два измерения: а) инструментальное (утилитарное) и б) символическое (коммуникативное). *Утилитарность* обменных отношений характеризует ценность для реципиента тех благ, которые он приобретает вследствие своей собственной благотворительности; в данном случае инструментальность как характеристика обмена выражается в том, что блага, которые получает реципиент, отвечают его потребностям, изначально составлявшим цель обменной операции.

Символическая ценность обменных отношений сопряжена с передачей некоторой информации посредством акта взаимности. Очевидно, что объекты (товары, услуги, конечные результаты), задействованные в обмене, помимо их «потребительской стоимости», могут обладать и символической ценностью (в качестве индикаторов престижа, статуса и т.п.). Однако в данном случае речь идет не о знаковом содержании инструментальной пользы, приобретаемой в ходе обменных операций, а о «ценности, сообщаемой отношениям обмена самим актом реципрокности», т.е. существующей вне и помимо инструментальной значимости благ, которые участвуют в обмене. «Акты взаимности, – поясняет свою мысль Мольм, – продуцируют символическую ценность путем передачи специфической информации о партнере и отношениях с ним. Эта информация позволяет актору строить предположения о намерениях партнера и о потенциальной выгоде как следствии взаимных отношений с ним; она также передает

чувства и эмоции, конституирующие аффективную связь между актором и его партнером» (Molm, 2007, p. 201).

Символическая ценность отношений взаимности в интерпретации Мольм состоит из двух компонентов – редуктивной ценности (связанной со снижением уровня неопределенности и риска обменных сделок) и ценности экспрессивной (касающейся эмоционального содержания отношений между акторами). С одной стороны, реципрокность сообщает обмену свойство предсказуемости, делая более или менее очевидными надежность партнера и тот факт, что «на него можно положиться». С другой стороны, взаимность включает в себя и сообщает обменным отношениям эмоциональную окрашенность, или «аффективное расположение субъектов обменных действий друг к другу»: признание результатов обменной операции в качестве блага, одобрение и уважение действий партнера, демонстрацию взаимной заинтересованности в сложившихся отношениях и намерение продолжать их в дальнейшем. Редукционная ценность обменных отношений (благодаря информации о надежности партнера) содействует формированию и укреплению взаимного доверия между акторами. Экспрессивная ценность придает инструментально значимой выгоде обменных актов аффективное содержание – ощущение значимости партнеров друг для друга, их взаимного расположения, уважения и заботы. «Таким образом, акт реципрокности сам становится благом, или “процессуальной пользой”, вносящей свою лепту в формирование отношений, которые теперь сами получают право считаться ценным товаром» (Molm 2007, p. 201).

Передача символической информации в контексте обменных актов, продолжает Мольм, возможна при соблюдении трех условий: 1) обмен носит повторяющийся (рецидивирующий) характер; 2) взаимность в рамках обменных отношений обладает существенной долей непредсказуемости (структурной или ситуативной) – в том смысле, что подразумеваемое ответное воздаяние (его время, место и содержание) не оговаривается партнерами заранее; 3) сама взаимность как качество отношений обмена является добровольным выбором акторов – в том смысле, что каждый из них вправе самостоятельно и по своему усмотрению решать вопрос об ответной благотворительности (ее месте, времени и содержании).

Из предыдущих рассуждений и эмпирических наблюдений Мольм следует, что названным условиям удовлетворяет только один тип обменных отношений – реципрокный (прямой либо генерализованный) обмен. Поскольку данный тип обменных действий, в отличие от договорного, не предполагает каких-либо предписанных заранее обязательств сторон, взаимность здесь совершенно произвольна и потому лишена определенности. Кроме того, как говорилось выше, реципрокные однонаправленные обмены (в противовес двусторонним «рыночным» сделкам, имеющим фиксированные начало и конец) представляют собой цепочку, или континуум, действий, неразделимых на дискретные транзакции, т.е. носят рецидивирующий характер. Таким образом, заключает автор, несмотря на то что все

виды (типы, формы) обменных акций обладают свойством взаимности, «только обоюдные обмены можно считать проводниками символической, или коммуникативной, ценности» (Molm, 2007, p. 203).

Последняя в свою очередь обусловлена такими характеристиками взаимности в рамках поведенческих актов обмена, как ее предсказуемость и вероятность. «Вероятность, или пропорциональность, (rate) взаимности указывает на частоту ответных благотворительных действий партнера; предсказуемость есть свидетельство регулярности или постоянства (устойчивости) реципрокных реакций» (Molm, 2007, p. 203). Между этими поведенческими параметрами взаимности существуют сложные корреляции. Так, постоянная (устойчивая) взаимность обладает высокой степенью предсказуемости и вероятности, тогда как ее антипод – прерывная взаимность – может быть как предсказуемой (если носит регулярный характер), так и непредсказуемой (если имеет место от случая к случаю). С динамикой названных параметров взаимности связана и ее символическая ценность, как экспрессивная, так и редуктивная. Первая возрастает по мере увеличения степени вероятности реципрокных реакций (или скорости их осуществления), вторая – в ответ на повышение индекса их предсказуемости: чем вероятнее ответное благотворительное действие партнера, тем большего уважения и эмоциональных «вложений» он достоин; чем легче предвидеть либо предсказать его ответную взаимность, тем выше его рейтинг в качестве партнера, которому можно доверять.

Перечисленные поведенческие характеристики отношений взаимности были учтены в качестве переменных в сценарии лабораторного эксперимента, предпринятого Л. Мольм и ее коллегами для проверки гипотезы о символическом содержании отношений взаимности как фактора социальной интеграции и солидарности, формирующихся посредством специфических параметров самого акта взаимности. В ходе эксперимента предполагалось выяснить, «действительно ли акторы придают ценность самому акту взаимности в отношениях обмена» (Molm, 2007, p. 205). В эксперименте участвовали студенты-добровольцы, которым предлагалось за вознаграждение (инструментальная ценность обменных действий) вступить в отношения реципрокного обмена с двумя виртуальными партнерами. Субъекты эксперимента должны были выставлять баллы или присуждать очки попеременно обоим партнерам, которые, в свою очередь, отвечали либо не отвечали им тем же. Респондентам не было известно, что их on-line партнеры – это запрограммированные экспериментаторами поведенческие модели с заданными параметрами реципрокных реакций (с высокой / низкой степенью предсказуемости и вероятности взаимности). После 300 виртуальных обменов участники письменно ответили на вопросы, касавшиеся их субъективной оценки каждого из двух партнеров и аффективного отношения к ним.

Процедура экспериментальных манипуляций позволила организаторам дифференцировать инструментальную и символическую ценность об-

менных отношений, во-первых, и экспрессивную и редуктивную ценность взаимности – во-вторых. Мольм и ее коллеги предположили, что ценность взаимности может быть выражена посредством: а) поведенческих предпочтений акторов (выбор более предсказуемого и, следовательно, более надежного партнера) и б) позитивной субъективной оценки выбранного партнера на фоне поведенческой лояльности к другому. Кроме того, опираясь на уже имеющиеся данные социопсихологического анализа отношений обмена (этнографические и лабораторные), организаторы эксперимента ожидали, что поведенческие и эмоциональные параметры обменных действий окажутся согласованными друг с другом (позитивное аффективное отношение – предпочтение в качестве партнера по обмену, и наоборот).

Результаты виртуальных лабораторных обменов, однако, лишь отчасти подтвердили выдвинутые гипотезы, дополнив исходную трактовку отношений взаимности в терминах их ценности неожиданными нюансами. Прежде всего, была обнаружена дивергенция поведенческих предпочтений субъектов эксперимента и их субъективных оценок партнеров. Большинство участников действительно проявляли явное эмоциональное расположение к тому из своих виртуальных vis-a-vis, чья взаимность была устойчива и наиболее вероятна. При этом по мере увеличения числа обменных сделок аффективные связи между респондентом и предсказуемым партнером усиливались. Тем не менее субъекты эксперимента охотнее и чаще вступали в контакт с тем партнером, отношения с которым сулили бóльшую инструментальную (в данном случае денежную) выгоду (например, с тем, кто выставлял бóльшие баллы, пусть и не регулярно).

Эти факты противоречат прежним теоретическим представлениям об отношениях обмена как о пространстве однозначного совпадения поведенческих и эмоциональных реакций, однако они находят убедительное объяснение в терминах теории взаимности, считает Мольм. Во-первых, итоги эксперимента свидетельствуют, что «конституирование доверия, аффективного расположения и солидарности в рамках обменных отношений обусловлено самим актом взаимности, в особенности – экспрессивной ценностью в контексте устойчивой реципрокности, при том что поведенческий выбор участников все же определялся преимущественно утилитарной ценностью объектов, подлежащих обмену» (Molm, 2007, p. 200). Во-вторых, «выявленная дивергенция поведенческих и аффективных индикаторов символической ценности имеет непосредственное и весьма существенное значение для понимания роли феномена взаимности в социальной жизни» (Molm, 2007, p. 213). В своих поведенческих предпочтениях акторы чаще руководствуются принципом рациональности, даже в ущерб или вопреки своим аффективным привязанностям; в своих эмоциональных предпочтениях они оставляют без внимания утилитарную ценность отношений обмена. Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что «инструментальное и символическое измерения отношений обмена не просто принадлежат разным ценностным сферам, но и продуцируют несовпа-

дающие реакции акторов» (Molm, 2007, p. 214). В сфере инструментальных ценностей акторы, следуя рациональному выбору, обнаруживают соответствие этих ценностей своим поведенческим предпочтениям, пренебрегая информацией о партнере; в сфере ценностей символических эта информация, не влияя на сиюминутный выбор партнера, образует – посредством интегрирующих аффективных связей – потенциал, или резервуар, социального капитала, который будет востребован в будущем, в контекстах новых рискованных предприятий, требующих партнера, на которого можно положиться. Следовательно, символическая ценность взаимности может и должна рассматриваться в качестве потенциала, или резерва, социального капитала, заключает автор.

Интегрирующее влияние структуры взаимности, продолжает Мольм, не исчерпывается межличностными контактами акторов, как до недавнего времени считали социальные аналитики; оно охватывает также отношения в рамках организаций и сообществ. Начиная с классической работы М. Грановеттера (Granovetter, 1985), социальные исследователи имели немало возможностей убедиться в том, что экономические обмены встроены в сети социальных отношений, которым присуща так или иначе структурированная взаимность. В литературе по организационной социологии накоплен обширный материал, свидетельствующий о том, что поведенческие паттерны в различных организационных условиях (промышленные и бизнес-структуры, союзы, объединения, профессиональные и прочие сообщества) находят убедительное объяснение посредством понятия «обобщенная взаимность». Совокупным результатом организационных сетей и сетей генерализованных обменов оказываются такие социально значимые процессы, как снижение психологической стоимости транзакций, увеличение амплитуды обобщенного знания, ускорение темпов принятия решений, развитие самых разных форм взаимопомощи и поддержки. Очевидно, подчеркивает автор статьи, что большинство этих процессов имплицитно либо открыто способствуют формированию аффективных связей и социального доверия внутри организационных сетей.

Теоретики организационной социологии традиционно объясняют происходящее как следствие личных отношений акторов, в крайнем случае – как продукт истории их интеракций (в диадических союзах, семье, малой группе). Лабораторные эксперименты Мольм и ее коллег показали, что доверие и солидарность возникают между акторами, которые прежде не были знакомы и не имели в прошлом никаких контактов, и наоборот, регулярные контакты нередко способствуют укреплению взаимных обязательств сторон, но не приводят к эмоциональному сближению. Как уже говорилось, аффективная привязанность, участие и взаимное расположение субъектов обменных действий зависят от структуры связывающих их отношений взаимности. «Все сказанное выше, – делает вывод Мольм, – заставляет с уверенностью предположить, что структура реципрокности является крайне важным, хотя и совершенно недооцененным аспектом

конституирования социального капитала посредством сетевых отношений и их социальной встроенности» (Molm, 2010, p. 126). Несмотря на различие дефиниций социального капитала в работах разных аналитиков, многие из них согласны с трактовкой этого феномена как резервуара или доступа к ресурсам посредством сетевых связей (Lin, 2002). Подобная трактовка интересна тем, что выдвигает на первый план не следствие социального капитала, т.е. социальное доверие, а источник его формирования – «нашу связанность с другими и с их социальными сетями», – замечает автор (Molm, 2010, p. 126). Тем не менее Мольм считает сетевые связи как таковые необходимым, но недостаточным условием возникновения социального капитала. Вслед за П. Пакстон (Paxton, 2002) Мольм акцентирует в содержании социального капитала не столько «объективные ассоциации индивидов», сколько субъективную окрашенность социальных связей – «взаимность, доверие, позитив». Следовательно, для возникновения социального капитала «требуется организация подобных ассоциаций в форме непосредственной либо обобщенной реципрокности с непременным односторонним курсированием благотворительности» (Molm, 2007, p. 200).

Необходимо также принять во внимание, что сетевые ресурсы социального капитала (поддержка, неформальная помощь, информация о возможностях) накапливаются в ходе повседневных взаимных или генерализованных обменов помимо какого-либо договорного сценария. Завершающий этап проекта, подчеркивает в связи с этим его руководитель, как раз и нацелен на выявление общих исследовательских интересов социальной психологии обмена и теории сетей (включая понятие социального капитала). Сегодня этот поиск реализуется в серии лабораторных экспериментов, моделирующих обменные акции, где *форма обмена* вычленена в качестве основной переменной из всей совокупности прошлых и наличных связей между участниками сетей. Задача состоит в том, чтобы проследить, как более ранние либо доминирующие текущие формы обменных отношений сказываются на последующих сетевых контактах акторов. Предварительные результаты свидетельствуют, что конституирование социального капитала и интегрирующих связей в рамках сетевых обменных интеракций обусловлены динамикой двух факторов – структуры обменов и сетевой структуры, прежде всего ее властных параметров.

В ходе экспериментов, проведенных Мольм и ее коллегами, выяснилось, что названные структуры могут как оказывать совокупное аффективное влияние на акторов, способствуя их сближению и кооперации, так и действовать независимо либо вопреки друг другу. В частности, оказалось, что интегрирующие связи обладают бóльшей силой в ситуации односторонних опосредованных реципрокных обменов и / или в контексте сетей, отмеченных высоким уровнем взаимозависимости акторов и сбалансированностью их властных потенциалов. Вместе с тем сплачивающий эффект структурированной односторонней взаимности возрастает в сетях,

характеризующихся властной асимметрией партнеров обменных сделок, причем применительно к тем из них, чей потенциал (т.е. доступность того или иного числа вероятных партнеров для обменов) беднее; эта особенность обусловлена описанными выше механизмами усиления / редукции риска и конфликта в обменных интеракциях. Наконец, в зависимости от баланса потенциалов, определяющих итоговую выгоду каждого участника обмена, структура обменных сетей может способствовать отказу от повторения уже случившихся обменных актов либо их воспроизведению вновь и вновь – с последующей трансформацией поведенческой лояльности в аффективную привязанность партнеров друг к другу.

Концептуализация выявленной в экспериментах динамики двух структурных измерений социального обмена (реципрокных и сетевых) является, по мнению Мольм, развитием идеи П. Блау о дифференциации и интеграции как процессуальных характеристиках обменных действий. «Несмотря на то что неравенство властных позиций акторов снижает уровень их интеграции, этой негативной тенденции противостоит позитивный эффект реципрокных односторонних обменов. Реципрокные обмены побуждают акторов к преодолению барьеров, возведенных структурной асимметрией власти, и, тем самым, к взаимному формированию доверия и аффективных связей, что в свою очередь поддерживает продуктивность отношений обмена. Таким образом, власть и доверие вовсе не исключают друг друга, как до сих пор считали многие, в том числе и Грановеттер» (Molm, 2010, p. 127).

Многолетняя эмпирическая работа и ее концептуальное осмысление в рамках каузальной модели реципрокности как детерминанты социальной солидарности позволяют Мольм сделать следующие выводы:

а) формы обмена, при которых акторы прямо либо опосредованно осуществляют односторонние реципрокные акты благотворительности, способствуют отношениям доверия, аффективного расположения и солидарности;

б) субъекты подобных обменов обладают субъективным аффективным опытом совершенно особых отношений партнерства, недоступным участникам любого иначе структурированного пространства обменных связей;

в) интегрирующие связи (солидарность и доверие) – как следствие специфически структурированной взаимности – содействуют конституированию социального капитала в сетевых сообществах самых разных типов и усиливают чувство организационной принадлежности акторов; это обстоятельство открывает пути для применения концепции структурированной реципрокности к анализу макросоциальных процессов, тем более что «отношения макро- и микроуровней общественной жизни сами являются реципрокными» (Molm, 2010, p. 129).

Экспериментальная работа Л. Мольм и ее коллег в области социального обмена подготовила концептуализацию солидарности как специфи-

ческого социально-психологического процесса (и результата) конституирования интегрирующих связей между людьми. Акцентируя особенности дисциплинарного подхода к этому феномену, Мольм подчеркивает, что речь идет о *субъективном опыте* отношений солидарности с другими в рамках малых групп и социальных сетей. Как свидетельствуют материалы обзора, анализ солидарности с позиций теории реципрокного обмена опирается на преимущественное понимание ее как формы или разновидности просоциального поведения и ассоциированных с этой формой аффективных переменных (участие, расположение, привязанность, верность, лояльность и т.п.). С этой точки зрения исследовательская перспектива Мольм перекликается с экспериментальным изучением симпатии в качестве одного из конституирующих элементов социального порядка, которое предприняли Б. Симпсон, К. Ирвин и Т. Макгриммон из Университета Южной Каролины (г. Колумбия, США) (Irvin, McGrimmon, Simpson, 2008). Их работа, не отличаясь фундаментальностью, сопоставимой с масштабным проектом Л. Мольм, интересна нетривиальной постановкой проблемы просоциальных (кооперативных) поведенческих предпочтений людей на фоне неизбежного столкновения коллективных и частных интересов.

Симпсон и его коллеги строят свою концепцию «социоструктурного опосредования отношений симпатии» на предположении о «решающей роли данного аффективного состояния в сглаживании конфликтов… и при разрешении социальных дилемм» (Irvin, McGrimmon, Simpson, 2008, p. 379). Социальная психология располагает солидным эмпирическим материалом, свидетельствующим в пользу такого предположения; кроме того, существует несколько теоретических моделей, описывающих симпатию как фактор поддержания социального порядка (Batson, Shaw 1991; Frank, 1993). Однако до сих пор остается открытым вопрос о том, как именно возникают отношения симпатии, в особенности между незнакомыми людьми, которые затем способствуют их социальной кооперации. Почему индивиды, не знавшие друг друга прежде и вряд ли предполагающие увидеться вновь за рамками наличной ситуации взаимодействия, склонны к проявлению взаимной симпатии и координации действий для достижения общезначимого результата? По мнению авторов, главной конституирующей детерминантой отношений симпатии (и, тем самым, просоциальных эмоциональных и поведенческих проявлений) выступает структурная организация самого контекста взаимодействия акторов, или интерактивной ситуации. Симпатия между незнакомыми людьми, утверждает Симпсон, скорее зарождается в условиях их взаимной зависимости, т.е. тогда, когда итоговый результат поступков каждого обеспечивается исключительно их совокупными усилиями. Иначе говоря, симпатия есть (в том числе) результат социоструктурных отношений взаимодействия как отношений обоюдной зависимости акторов.

Конкретизируя свое понимание проблемы социальной кооперации как основы социального порядка, Симпсон и его соавторы настаивают на

том, что решающей предпосылкой просоциальных актов являются желание и умение субъектов интеракции встать на точку зрения другого, или «принять его перспективу». Именно эти желание и умение позволяют каждому из них не только увидеть происходящее глазами своего vis-a-vis, но и воздерживаться от действий, которые могут нанести ему вред. Поэтому симпатия, по определению Симпсона, есть «аффективная реакция, проистекающая из понимания эмоционального состояния другого», но, в отличие от эмпатии, «не как тождественного или аналогичного собственному, а как такого, которое возбуждает либо может возбуждать сострадание, участие, заботу или печаль (Irvin, McGrimmon, Simpson, 2008, p. 380). В качестве механизма, облегчающего принятие перспективы другого, симпатия становится важнейшей предпосылкой успешного решения социальных дилемм, помогая преодолеть столкновение (противостояние, конфликт, борьбу) личных и общественных интересов.

Для эмпирической проверки гипотезы о социоструктурном генезисе отношений симпатии между незнакомыми людьми в ситуации взаимодействия Симпсон, Ирвин и Макгриммон провели серию лабораторных экспериментов. Сценарии этих экспериментов, участниками которых стали студенты-первокурсники, были разработаны таким образом, чтобы сделать наглядной (статистически подтвержденной) гипотетическую связь между уровнем симпатии и специфической структурной организацией контекста интеракций – с учетом степени итоговой кооперации испытуемых. Кроме того, в экспериментах предполагалось выявить опосредующую функцию симпатии (как структурной переменной социального порядка) применительно к некоторым описанным в литературе индивидуально-личностным факторам просоциального / эгоистического поведения в конфликтных ситуациях (обобщенное доверие, или априорная вера в благие намерения партнера; ориентация на социальные ценности в ущерб личным интересам). Результаты экспериментов в целом подтвердили теоретические допущения авторов: уровень симпатии между испытуемыми в паре (один из которых был виртуальным партнером) повышался в тех случаях, когда решение задачи требовало их взаимодействия или по крайней мере действий в одном направлении. При этом симпатия действительно оказалась тем фактором (генерализованным структурой интеракции), который коррелировал с индивидуальной склонностью участников к просоциальному поведению в ситуациях социальной дилеммы.

По мнению Б. Симпсона и его коллег, ценность проделанной ими работы связана с наглядной демонстрацией частичного социоструктурного генезиса отношений симпатии, во-первых, и с разрешением «парадокса социальной кооперации» – во-вторых. «Теория, которую мы предлагаем к рассмотрению, – пишут в заключение психологи из Южной Каролины, – позволяет понять, как ситуация, представляющая собой проблему с точки зрения социального порядка, может содержать в себе свое собственное решение. Иными словами, конфликт индивидуальных и коллективных ин-

тересов, заключенный в социальной дилемме, может стать катализатором отношений симпатии» и последующей социальной кооперации (Irvin, McGrimmon, Simpson, 2008, p. 380).

В статье Дж. Друри (Университет Суссекса, г. Брайтон), К. Кокинга (Метрополитен-университет, Лондон) и С. Райхера (Университет Сент-Эндрюс, Шотландия) акцент сделан на просоциальных аспектах «психологии толпы» (Drury, Cocking, Reicher, 2009). Британские психологи предлагают новый подход к осмыслению массового поведения в чрезвычайных ситуациях, который базируется на классической теории социальной идентичности и Я-категоризации (Social categorization and intergroup behavior, 1971; Turner, 1987). Свою задачу Друри и его соавторы видят в эмпирической верификации выдвинутой ими гипотезы о массовом поведении в обстоятельствах, чреватых реальной угрозой для жизни, как о «преимущественном проявлении отношений солидарности… которые вырабатываются в контексте самой чрезвычайной ситуации» (Drury, Cocking, Reicher 2009, p. 488). В обосновании своей гипотезы исследователи усматривают продолжение и развитие полемики с защитниками иррационалистического толкования коллективного поведения перед лицом опасности в терминах массовой паники. Подобные толкования, берущие начало в классических трудах пионеров социальной психологии (Тарда, Лебона, Росса, Макдугалла), констатировали очевидное различие в поведении больших скоплений людей в повседневных и чрезвычайных обстоятельствах. При этом в фокусе внимания оказываются эгоистически-соревновательные действия индивидов, составляющих толпу, их стремление спастись любой ценой, в том числе – за счет жизни других. Поведение толпы как проявление массовой паники объясняется диктатом инстинктов и простейших (первичных) эмоций (страх), обладающих эффектом психологического заражения и побуждающих людей подчинять свое поведение задаче личного выживания.

В академической социологии и психологии теория массовой паники давно не принимается всерьез. Однако она сохраняет свое влияние в смежных областях научного знания (например, в сравнительной биологии), в обыденных интерпретациях чрезвычайных происшествий, их освещении СМИ, а также при проектировании публичных пространств, предназначенных для большого скопления людей, и при разработке программ массовой эвакуации службами спасения.

Традиционные установки массового сознания, обусловленные стереотипом массовой паники, противоречат эмпирическим данным, которые накоплены за последние десятилетия психологией и социологией чрезвычайных ситуаций (disaster research). Речь идет о готовности людей, ставших заложниками обстоятельств, которые опасны для жизни, прийти на помощь друг другу, оказать поддержку, проявить сочувствие и сострадание в отношении тех, кто разделил с ними судьбу. Эти данные свидетельствуют также о стремлении попавших в беду придерживаться социальных

норм и правил поведения, принятых в обычной жизни (вежливость, уважение к старшим, гендерные роли, попытки соблюдать очередность при экстренной эвакуации и т.п.). Для объяснения этих феноменов, противоречащих иррационалистическим трактовкам массового поведения, были разработаны две социально-психологические модели (нормативная и аффилиативная, или «присоединительная»), которые, по мнению Друри и его коллег, дополняют друг друга, но не исчерпывают самого феномена.

Согласно нормативной модели, поведение больших групп людей перед лицом опасности обусловливается теми же социальными нормами и ролями, которыми они привыкли руководствоваться повседневно. Эти нормы не исключают вероятности возникновения паники и в то же время составляют ее серьезную альтернативу, помогая людям в экстремальных обстоятельствах ориентироваться на привычные поведенческие паттерны (Johnson, 1987). Аффилиативная модель базируется на двух теоретических предпосылках, согласно которым: а) поведение людей перед лицом массовой угрозы жизни мотивировано их стремлением к контактам с теми, кто им дорог, близок или хотя бы знаком, причем это стремление является более мощным поведенческим стимулом, чем поиск выхода из сложившегося положения; б) присутствие близких (друзей, знакомых, родных) оказывает гипнотически-успокаивающее действие, притупляя инстинкт самосохранения; этим, в частности, объясняется готовность людей скорее погибнуть вместе с любимыми, чем выжить в одиночку (Mawson, 2005).

Нормативный подход служит основным инструментом критики иррационалистических моделей коллективного поведения. Однако он лишь констатирует массовую приверженность повседневным социальным нормам и поведенческо-ролевым стереотипам в чрезвычайных ситуациях, но не выявляет причин происходящего. Кроме того, названный подход, как и аффилиативная теория, не может объяснить таких особенностей массового поведения в чрезвычайных обстоятельствах (засвидетельствованных многими очевидцами в последние десятилетия), как эмпатия и взаимопомощь между совершенно незнакомыми людьми, их стремление прийти на выручку чужим, зачастую с риском для собственной жизни. Ограниченность существующих моделей массового поведения в экстремальных ситуациях авторы статьи связывают с ориентацией их сторонников на социальные отношения и связи, которые предшествовали таким ситуациям, т.е. сложились до их возникновения. Если адепты гипотезы о массовой панике констатировали разрыв прежних связей между людьми, попавшими в беду, то их оппоненты настаивают на сохранении или репродукции в экстремальных обстоятельствах отношений, принадлежащих сфере обыденного. Задача социально-психологической теории, однако, состоит в том, чтобы «сделать понятной саму возможность *создания* социальных связей», т.е. психологического продуцирования просоциальных форм поведения и социальной солидарности, в экстремальных ситуациях ее участниками (Drury, Cocking, Reicher, 2009, p. 488).

Этот процесс может быть убедительно описан в терминах теории социальной идентичности, которая посредством детального моделирования инклюзивных процессов Я-категоризации «объясняет по крайней мере некоторые новейшие аспекты массового поведения в чрезвычайных обстоятельствах, связанные с просоциальными тенденциями психологии толпы», – утверждают Друри и его соавторы (Drury, Cocking, Reicher, 2009, p. 489). Опираясь на идеи Дж. Тернера и их развитие в ходе экспериментальных исследований поведения больших групп в чрезвычайных ситуациях, авторы предлагают различать физическую и психологическую толпу. Первая – как совокупность отдельных индивидов и малых групп – может трансформироваться во вторую в тех случаях, когда действия какой-либо аут-группы квалифицируются большинством в качестве дискриминационных (опасных, угрожающих и т.п.). Общий для членов толпы антагонизм по отношению к «врагу» приводит в действие социально-психологический механизм деперсонализации, т.е. формирование представления о взаимозаменяемости (в некоторых измерениях) собственного Я и Я других и перцептивную классификацию других (разделяющих твое ви́дение реальности) как части собственного Я. В результате люди, составляющие психологическую толпу, начинают воспринимать себя как единое целое, сплотившееся перед лицом общего врага, что, в свою очередь, «образует фундамент солидарности, сплоченности и психологического самоусиления толпы» (Drury, Cocking, Reicher, 2009, p. 489). Очевидно, что в чрезвычайных ситуациях внешним врагом выступает реальная и общая для всех угроза жизни, или «тема общей судьбы». В таких обстоятельствах людей объединяет ощущение «общего “мы”» (weness), которое – в качестве специфического типа социальных взаимосвязей – именно создается в контексте опасности, а не репродуцируется в виде инобытия отношений повседневности, настаивают британские психологи. Поскольку же «общее “мы”» может быть определено как чувство связанности с другими, или категоризация других как членов *моей* группы, это понятие оказывается в одном ряду с определениями социальной идентичности и Я-категоризации Тернером и Тэджфелом.

Для эмпирической проверки гипотезы о психологическом конструировании отношений солидарности и прочих просоциальных форм поведения на фоне социальной идентификации с другими в контексте чрезвычайных ситуаций были отобраны 11 мужчин и 10 женщин (из числа добровольцев, откликнувшихся на объявления в британских газетах). Все они являлись очевидцами и жертвами чрезвычайных ситуаций, имевших место в разных странах в период между 1971 и 2003 гг. Критериями для отбора чрезвычайных происшествий стали: а) массовое скопление людей в замкнутом пространстве; б) реальная угроза жизни; в) возможность спастись, ограниченная определенным временны́м отрезком. Этим критериям удовлетворяли такие события, как пожар (в офисе, кинотеатре, отеле), давка на стадионах и в местах проведения рок-концертов, гибель круиз-

ных лайнеров; некоторые участники проекта стали жертвами ложной информации о готовящихся терактах. Процедура исследования представляла собой полуструктурированные интервью с участниками экстремальных событий (рассказ очевидца о пережитом и ответы в свободной форме на вопросы интервьюера, касавшиеся случаев оказания помощи другим самим интервьюируемым, или его опыта как объекта такой помощи, или его наблюдений, связанных с фактами взаимопомощи, солидарности, альтруизма, а также – с оценкой поведения окружавших его незнакомых людей с точки зрения социальных и моральных норм повседневной жизни). Моральная окрашенность вопросов, связанных с оказанием / неоказанием помощи другим самим участником событий, являлась наиболее уязвимым местом данного проекта, поскольку опрашиваемые могли вольно или невольно выдавать желаемое (нормативное) за действительное. Однако, полагают авторы статьи, этот недостаток их эмпирического исследования уравновешивается последующим комплексным анализом всех полученных данных, в особенности – описаний поведения других.

Материалы интервью были подвергнуты операционализации и кодированию применительно к трем тематическим группам переменных: 1) социальная идентификация с другими в момент опасности; 2) тема общей судьбы; 3) солидарность и иные формы просоциального поведения. Предварительный анализ данных позволил разделить респондентов на две группы; 12 человек (группа I) продемонстрировали высокий уровень социальной идентификации с другими в чрезвычайных обстоятельствах, 9 человек (группа II) – низкий уровень такой идентификации. Исследователи предположили, что члены группы I предоставят больше свидетельств личного и наблюдавшегося ими просоциального поведения, а также готовности к соблюдению социальных норм в момент опасности, чем субъекты группы II. Детальная обработка материалов опроса была нацелена на проверку этого предположения. В частности, выяснилось, что абсолютное большинство в группе I рассматривало минувшие события с позиций «общей судьбы» (члены группы II предпочитали рассуждать о своем одиночестве в толпе); очевидцы из группы I также чаще ссылались на факты оказания помощи другим (чужим, незнакомым), причем женщины чаще мужчин упоминали о себе как об объекте такой помощи (члены группы II акцентировали эгоизм либо безразличие других); в группе I абсолютное большинство настаивало на сохранении спокойствия и порядка в опасной ситуации – на фоне единичных случаев истерии и паники (в группе II доминировали оценки пережитого в терминах кошмара, хаоса, давки, свалки). В целом «в собранной информации все же преобладала констатация единения с незнакомыми людьми», – утверждают Друри и его коллеги (Drury, Cocking, Reicher, 2009, p. 499).

Особый интерес, по мнению авторов статьи, представляет повторяющийся (в особенности в воспоминаниях респондентов группы I) мотив возникновения и усиления ощущения сплоченности и чувства солидарно-

сти участников трагических событий. Это обстоятельство полностью соответствует установкам теории социальной идентичности применительно к процессам Я-категоризации и указывает на конституирование психологической толпы из совокупности со-присутствующих индивидов.

Материалы настоящего обзора дают представление о разнообразии моделей формирования социальной солидарности в работах западных социальных психологов последнего десятилетия. Как свидетельствуют эти работы, теоретические обобщения и выводы исследователей в массе своей базируются на результатах лабораторных экспериментов, моделирующих (порой весьма искусно) тот или иной контекст возникновения интегрирующих связей в малых группах. В меньшей степени современный социопсихологический анализ солидарности опирается на данные полевых исследований (интервью и опросы участников реальных сообществ, демонстрирующих атмосферу доверия, единения и сплочения). С этой точки зрения примечательна небольшая заметка американца Бинь Сю (Северо-западный университет, г. Эванстон, Иллинойс) под интригующим названием «Дюркгейм в Сычуани», в которой нашел отражение редкий для данной области социального знания опыт включенного наблюдения (Bin Xu, 2009). Бинь Сю (этнический китаец, проживающий в США) описывает свою работу в группе волонтеров, приехавших в КНР летом 2008 г. с намерением оказать посильную (непрофессиональную) помощь жертвам землетрясения в провинции Сычуань. Его краткий отчет о деятельности этой группы, опубликованный в одном из самых авторитетных международных журналов по социальной психологии, вряд ли может заинтересовать теоретическими рассуждениями автора, который в основном следует за Э. Дюркгеймом, Дж. Александером и Л. Болтански. Внимания заслуживает эмоционально насыщенная реконструкция его личного приобщения «к процессу конституирования подлинной национальной солидарности в условиях авторитарного режима» (Bin Xu, 2009, p. 5).

Занимаясь в качестве социального психолога анализом символических микроритуалов, способствующих консолидации и сплочению людей в малых группах, Бинь Сю использует концепцию «локальных, или малых, публичных сообществ», разработанную Э. Мише и Х. Уайт (Mische, White, 1998). Здесь имеется в виду «вре́менное социальное пространство, в границах которого многоаспектная социальная идентичность каждого из присутствующих предельно редуцируется и деконтекстуализируется, что позволяет им участвовать в высокоритуализованных интеракциях» (Bin Xu, 2009, p. 7). По мнению Бинь Сю, именно такими островками «локальной публики» стали горные деревушки в окрестностях Чэнду, куда прибыли волонтеры (некоторые из них, подобно автору заметки, представляли китайскую диаспору за рубежом, большинство приехали из самых разных районов КНР). Группа оказалась в зоне бедствия спустя два месяца после трагических событий. К этому времени спасатели и медики уже закончили свою работу; в Чэнду и его окрестностях началась реконструкция разру-

шенных зданий силами строителей и военнослужащих. Другими словами, практической необходимости в экстренной помощи пострадавшим, тем более непрофессиональной, уже не было. Тем не менее добровольцы быстро нашли себе занятия, которые Бинь Сю вслед за Дж. Голдфарбом (Goldfarb, 2006) называет политикой малых дел: они переезжали из деревни в деревню, днем организовывали досуг детей, распущенных на каникулы, вечерами показывали кино их родителям. В контексте этих действий посланцев доброй воли между ними и жертвами стихийного бедствия быстро устанавливались отношения симпатии и полного доверия (родители даже не интересовались именами волонтеров, не говоря уже об их паспортных данных). Эти отношения, в которые были включены также строители и военнослужащие, реализовывали себя посредством разнообразных микроритуалов – «очень уютных и симпатичных», по замечанию Бинь Сю (обмен любезностями и сигаретами, совместные скудные трапезы, обсуждение кинофильмов и насущных жизненных проблем, пение хором, чтение вслух, детские праздники под открытым небом и т.п.) (Goldfarb, 2006, p. 7).

«Если ритуалы – это символическое коллективное поведение, не имеющее обязательной инструментальной цели, – замечает автор, – то это именно то, чем мы занимались в окрестностях Чэнду» (Goldfarb, 2006, p. 7). С помощью названных выше ритуалов в зоне действия волонтеров формировалось пространство локальной публики, состоявшей из пострадавших, строителей, военных и самих волонтеров (совершенно посторонних, незнакомых людей, которые не преследовали никакой инструментальной цели помимо абстрактно-гуманитарной, но в то же время весьма конкретной и адресной помощи). Символические (и отчасти практические) интеракции сторон редуцировали любые статусные и сетевые атрибуты вновь прибывших до одной-единственной значимой идентичности волонтера. По мнению Бинь Сю, «подобные микроритуалы простых людей» (частицей которых стала деятельность его группы добровольцев) сыграли решающую роль в достижении общенационального единения и сделали государственные траурные мероприятия, транслировавшиеся по ТВ, ареной для искренней демонстрации всенародного горя. Такие ритуалы, имевшие место как в зоне бедствия, так и в других районах страны, «не только вносили элемент сакральности в ситуативный порядок интеракций в пределах образовавшихся “локальных публик”, но также сделались плотью и кровью официальных проявлений скорби, инициированных авторитарным режимом» (Goldfarb, 2006, p. 6). Опираясь опять-таки на личный опыт «дистанционного (ТВ, Интернет), а затем и непосредственного сострадания» жертвам землетрясения в Сычуани, Бинь Сю настаивает на длительном эмоциональном эффекте солидарности, сохраняющем свое влияние в условиях повседневности (волонтеры, работавшие с автором в окрестностях Чэнду, продолжали горячо обсуждать пережитое по возвращении домой – на веб-сайтах, в прессе, с друзьями, коллегами и просто с

незнакомыми людьми). Это наблюдение, по мнению автора и очевидца «эмоционального пика коллективной солидарности» в ее национальной форме, позволяет приблизиться к пониманию проблемы, некогда поставленной Дюркгеймом: как сохранить отношения солидарности, после того как уляжется общественное возбуждение?

Литература

1. *Batson C.D., Shaw L.L.* Evidence for altruism: Toward a pluralism of prosocial motives // Psychological inquiry. – Abingdon, 1991. – Vol. 2, N 2. – P. 107–122.
2. *Becker H.* Man in reciprocity. – N.Y.: Praeger, 1956. – P. 1.
3. *Bin Xu.* Durkheim in Sichuan: The earthquake, national solidarity and the politics of small things // Social psychology quart. – Wash., 2009. – Vol. 72, N 1. – P. 5–8.
4. *Blau P.M.* Exchange and power in social life. – N.Y.: Wiley, 1964. – XXIII, 352 p.
5. *Drury J., Cocking Ch., Reicher S.* Everyone for themselves? A comparative study of crowd solidarity among emergency survivors // British j. of social psychology – Leicester, 2009. – Vol. 48, N 3. – P. 487–506.
6. *Emerson R.M.* Exchange theory // Sociological theories in progress. – Boston (MA): Houghton Mifflin, 1972. – Vol. 2: Exchange relations and networks. – P. 58–87.
7. *Emerson R.M.* Social exchange theory // Emerson R.M. Social psychology: Sociological perspectives. – N.Y.: Basic books, 1981. – P. 32.
8. *Frank R.H.* The strategic role of the emotions // Rationality a. society. – L., 1993. – Vol. 5, N 2. – P. 160–184.
9. *Goldfarb J.* The politics of small things: The power of the powerless in dark times. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2006. – XI, 162 p.
10. *Gouldner A.W.* The norm of reciprocity: A preliminary statement // American sociological rev. – Wash., 1960. – Vol. 25, N 2. – P. 161–178.
11. *Granovetter M.* Economic action and social structure: The problem of embeddedness // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1985. – Vol. 91, N 3. – P. 481–510.
12. *Hobhouse L.T.* Morals in evolution: A study of comparative ethics. – L.: Chapman & Hall, 1906. – P. 12.
13. *Irvin K., McGrimmon T., Simpson B.* Sympathy and social order // Social psychology quart. – Wash., 2008. – Vol. 71, N 4. – P. 380.
14. *Johnson N.R.* Panic and the breakdown of social order: Popular myth, social theory, empirical evidence // Sociological focus. – Boulder (CO), 1987. – Vol. 20, N 3. – P. 171–183.
15. *Levi-Strauss C.* The elementary structure of kinship. – Boston (MA): Beacon, 1969. – XLII, 541 p.
16. *Lin N.* Social capital: A theory of social structure and action. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2002. – XIV, 278 p.
17. *Mawson A.R.* Understanding mass panic and other collective responses to threat and disaster // Psychiatry. – Amsterdam, 2005. – Vol. 68. – P. 95–113.
18. *Mische A., White H.* Between conversation and situation: Public switching dynamics across network-domains // Social research. – N.Y., 1998. – Vol. 65, N 3. – P. 695–724.
19. *Molm L.D.* The structure of reciprocity // Social psychology quart. – Wash., 2010. – Vol. 73, N 2. – P. 119–131.
20. *Molm L.D.* The value of reciprocity // Social psychology quart. – Wash., 2007. – Vol. 70, N 2. – P. 199–217.

21. *Molm L.D., Takahashi N., Peterson G.* Risk and trust in social exchange: Experimental test of a classical proposition // American j. of sociology – Chicago (IL), 2000. – Vol. 105, N 5. – P. 1396–1427.
22. *Molm L.D., Takahashi N., Peterson G.* In the eye of the beholder: Procedural justice in social exchange // American sociological rev. – Wash., 2003. – Vol. 68, N 1. – P. 128–152.
23. *Molm L.D., Collet J.L., Schaefer D.R.* Conflict and fairness in social exchange // Social forces. – Chapel Hill (NC), 2006. – Vol. 84, N 4. – P. 2331–2352.
24. *Molm L.D., Collet J.L., Schaefer D.R.* Building solidarity through generalized exchange: A theory of reciprocity // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2007. – Vol. 113, N 1. – P. 205–242.
25. *Molm L.D., Collet J.L., Schaefer D.R.* Fragile and resilient trust: Risk and uncertainty in negotiated and reciprocal exchange // Sociological theory. – Oxford; Malden (MA), 2009. – Vol. 7, N 1. – P. 1–32.
26. *Nowak M.A., Sigmund K.* Shrewd investments // Science. – N.Y., 2000. – Vol. 288. – P. 819–820.
27. *Paxton P.* Social capital and democracy: An interdependent relationship // American sociological rev. – Wash., 2002. – Vol. 67, N 2. – P. 254–277.
28. *Ridgeway C.L.* Introduction to Linda Molm: 2009 recipient of Cooley-Mead award // Social psychology quart. – Wash., 2010. – Vol. 73, N 2. – P. 118.
29. *Simmel G.* The sociology of Georg Simmel. – Glencoe (IL): Free press, 1950. – P. 387.
30. Social categorization and intergroup behavior / Tajfel H., Billig M.G., Bundy R.P., Flament C. // European j. of social psychology. – Oxford, 1971. – Vol. 1, N 2. – P. 149–177.
31. *Turner J.C.* A self-categorization theory // Rediscovering the social group: A self-categorization theory. – Oxford: Blackwell, 1987. – P. 42–67.

О.А. Симонова

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ И ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ[1]

Понятие социальной солидарности является основополагающим для решения проблемы социального порядка, которую в свою очередь можно считать фундаментальной для социологии как науки. Эта проблема решалась с помощью разных методологических стратегий, на уровне межличностных взаимодействий, групповых взаимодействий и общества в целом. Традиционные социологические вопросы – как возможно общество, как возможен социальный порядок, почему индивиды подчиняются социальному порядку – в современной социологии находят все новые теоретико-методологические решения, среди которых одним из самых заметных становится социологическое изучение эмоций, их роли в поведении индивидов, в обществе в целом. В последние несколько десятилетий в современной социологии социальное поведение изучается только с учетом эмоций. Эту тенденцию поддерживает ряд исследований в разных социологических традициях и научных школах. Исследователи единодушны в том, что изучение эмоций с социологической точки зрения необходимо для более полного и адекватного понимания основных социальных институтов, социальных групп, организаций, социальных движений. Целью данной статьи является анализ работ по социологии эмоций, в которых ставится ключевая проблема социологии – проблема поддержания социальной солидарности. Особенно очевидно это прослеживается в анализе так называемых моральных эмоций, которые возникают, когда индивиды (постоянно, осознанно и неосознанно) соотносят свое поведение с моральными ценностями и нормами культуры. Моральные эмоции непосредственно затрагивают личностную идентичность и значимые представления инди-

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

вида о себе. В большинстве ситуаций у него возникает необходимость управлять своей идентичностью и эмоциями для поддержания социального взаимодействия, что имеет макроструктурные последствия для социального порядка. В связи с этим в рамках социологии эмоций возник целый ряд понятий, таких, как «эмоциональная культура», «эмоциональная идеология», «эмоциональная девиация», «эмоциональный труд», «управление эмоциями», и др. Многие социологические концепции эмоций (например, Т. Шеффа, С. Шотт, Р. Коллинза, Э. Саммерс-Эффлер) напрямую затрагивают моральные эмоции и стратегии управления личностной идентичностью. Поэтому, хотя данная работа носит главным образом теоретико-методологический и историко-социологический характер, она может иметь значение в том числе и для методики новейших эмпирических исследований.

В ходе анализа социальной солидарности возникают закономерные вопросы: совпадают ли понятия социального порядка и социальной солидарности, возможно ли первое без второго? В разряд понятий, синонимичных солидарности, входят следующие: «социальный порядок», «социальная организация», «социальный консенсус», «социальная интеграция», «кооперация», «сотрудничество» и многие другие. Сопоставление этих терминов показывает, что понятие социальной интеграции, отражающее функциональную взаимозависимость элементов социальной системы, понятие социальной организации, подразумевающее иерархическую структуру управления, понятия кооперации и сотрудничества, указывающие на поведенческие аспекты солидарного поведения, недостаточны для понимания природы и генезиса социальной солидарности[1]. Вероятно, все эти условия необходимы для социального порядка, но в их основании должен лежать социальный консенсус, общие правила и ориентиры поведения, поэтому для социального порядка требуется социальная солидарность, степень которой может быть различной. Социальная солидарность как на микро- (индивидуальном и внутригрупповом), так и на макроуровне социального организма в первую очередь предполагает *соблюдение* установленных правил и *веру* в определенные социальные ценности, в каких бы поведенческих образцах или сценариях эта *приверженность* ни выражалась; это, в свою очередь, подразумевает, что социальная солидарность держится не только на идеях, внешнем принуждении, взаимной зависимости, прагматически ориентированном поведении, но также на *общеразделяемых* коллективных и индивидуальных *чувствах* (эмоциях), типическим образом возникающих в рамках данного социального целого. Поэтому теоретико-методологическое решение проблемы солидарности неотделимо от исследования эмоционального измерения человеческого поведения.

---

[1] См.: *Урсуленко К.* Социальная солидарность: Развитие понятия в истории социологии и современные интерпретации // Социология: Теория, методы, маркетинг. – Киев, 2009. – № 1. – С. 151–155.

Понятием солидарности сегодня все чаще пользуются обществоведы самых разных направлений, которые изучают причины разрыва социальной «ткани» и ищут основы ее регенерации. В связи с этим возникают вопросы об условиях формирования солидарности, материальных и нематериальных факторах этого процесса, о природе солидаристского потенциала группы[1]. Сюда можно добавить и другие: каким образом социальная солидарность воспроизводится в рамках данного социального порядка, каковы ее наблюдаемые проявления, при каких условиях она может ослабляться и насколько, наконец, в этих процессах существенна роль эмоций?

Проблема социальной солидарности так или иначе затрагивалась в работах всех классиков социологии, но нам хотелось бы заострить внимание именно на тех работах, которые имеют значение в контексте рассматриваемой проблемы. При том что подробный анализ классических трудов под углом зрения социальной солидарности является темой отдельной работы, мы намерены продемонстрировать преемственность классических идей в современных социологических исследованиях эмоций в связи с проблемой социальной солидарности.

История понятия социальной солидарности началась одновременно с историей самой социологии. В трудах О. Конта это понятие встречается постоянно, когда он пишет о социальном порядке, рассуждая об иерархической структуре общества и определяя структуру социологической науки, о социальной статике и социальной динамике. Социальная статика, в сущности, сводится к изучению того, что Конт называет «общественным консенсусом»[2]. Социальная статика представляет собой анатомический анализ структуры общества в конкретный момент, а также анализ элементов, которые определяют консенсус, т.е. превращают совокупность индивидов или семей в коллектив, создают единство из множества институтов[3]. Разделение труда в обществе выступает одним из главных факторов социального порядка, способствуя возникновению общих идей, интересов, эмоциональных и моральных связей. Общие идеи опираются на общие чувства и социальные институты, а люди, по мнению Конта, не движимы ничем иным, кроме своих чувств[4]. При этом человек эгоистичен, но у него имеются альтруистические склонности. Социальные чувства (как правило, альтруистические) держатся на симпатии, а симпатия рождается в семье, поэтому семья представляет собой высший уровень консенсуса. Во втором томе «Системы позитивной политики» Конт отвечает на вопрос о том, в чем заключается фундаментальная структура обществ. Любое общество

---

[1] *Барсукова С.Ю.* Солидарность участников неформальной экономики (на примере стратегий мигрантов и предпринимателей) // СоцИс. – М., 2002. – № 4. – С. 3.

[2] *Гофман А.Б.* Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: Наука, 2003. – С. 94.

[3] *Арон Р.* Этапы социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс–Политика, 1993. – С. 111–115.

[4] Там же. – С. 116.

непременно предполагает консенсус, единение членов, составляющих общество. Общественное единство требует признания принципа единства всеми индивидами, поэтому Конт обращается к религии. Сама религия представляет собой триединство следующих аспектов: интеллектуального (догмы), аффективного (любовь, выражающаяся в культе) и практического (уклад). Религия воспроизводит в самой себе природу человека: порождая единство, она должна обращаться одновременно к разуму, чувству и действию, т.е. ко всем способностям человека[1]. Религия создает общественный порядок, она служит формой привязанности и деятельности, а также догмой и верованием: «Религия предлагает для души нормальный консенсус, в точности сравнимый с консенсусом здоровья с телом»[2]. По Конту, для социальной солидарности помимо мирской или технической иерархии нужна религия. Именно религия отвечает постоянным человеческим потребностям в любви и единстве, именно такая религия станет религией человечества.

Таким образом, общество, по Конту, держится на согласии умов, консенсус определяет социальный порядок: общие идеи и общие социальные чувства составляют сущность социальной солидарности. Примечательно, что, описывая социальный порядок как имеющий *необходимым условием* социальную солидарность, он опирается на идею об общих чувствах альтруистической, моральной природы, или устремленности к высшим ценностям эпохи, и подчеркивает значение симпатии в качестве фундаментального фонового условия социального порядка, чувства, соединяющего все уровни социальной структуры.

Социологические идеи К. Маркса отсылают нас к проблеме групповой солидарности[3], которая чрезвычайно важна не только в исследовании понимания проблемы социальной солидарности в целом, но и для изучения эмоций. Маркс писал о групповой или классовой солидарности, его социология – это социология классовой борьбы, поскольку социальные классы являются главными действующими лицами истории. Изначально признаком класса, по Марксу, служило место в системе общественного производства, позднее в работах «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» и «18 брюмера Луи Бонапарта» он расширяет свое понимание класса. Место в социальной структуре, общность деятельности, способа мышления и образа жизни являются необходимыми, но недостаточными условиями существования общественных классов, для которых нужна также психологическая общность. Для образования класса, по Марксу, необходимо осознание единства, ощущение отличия от других общественных классов и даже враждебность по отношению к ним. Опять-таки помимо общих идей требуются солидарность, общие чувства – например,

---

[1] *Арон Р.* Этапы социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс–Политика, 1993. – С. 117.

[2] Там же.

[3] Там же. – С. 148 и далее.

гнев, фрустрация, решимость вести борьбу, эмпатия и др. Понятие класса в этом случае не совпадает с представлением об общественной группе. Как пишет Р. Арон, помимо общего образа жизни класс для Маркса предполагает осознание этой общности в национальных рамках и волю к совместным действиям с целью определенной организации коллектива[1]. Отсюда, по Марксу, в капиталистическом обществе возможны лишь два больших класса, потому что здесь имеются лишь две группы с подлинно противоположными представлениями о том, каким должно быть общество, при том что каждая из этих групп действительно определяется политической и исторической волей. Можно утверждать, что, по Марксу, несмотря на то, что положение классов определяется социальной структурой производства материальных благ, их окончательное формирование основывается на осознании единства, непременно сопровождаемого общими чувствами, которые «подогреваются» этим же социальным положением.

Безусловно, самым весомым вкладом в изучение социальной солидарности стали работы Э. Дюркгейма, в которых нередко акцентируется роль чувств, возникающих в тех или иных социальных условиях. По Дюркгейму, социальная солидарность в современных обществах основывается на разделении труда как социальной структуре, которая обусловливает общие идеи, представления, чувства, ценности, нормы. При социальной солидарности коллективное сознание обладает моральным авторитетом для большинства членов общества. Социальная солидарность и разделение общественного труда являются, по Дюркгейму, социальными и моральными фактами. Наблюдаемое следствие коллективного сознания французский социолог находит в праве; в современном обществе кооперативное право служит организации регулярного и упорядоченного сосуществования уже дифференцированных индивидов. Таким образом, органическая солидарность основывается на функциональной взаимной зависимости и коллективных представлениях, что выражается в соответствующем нормативном порядке в виде морали и права. Но в современном индивидуализированном обществе основная проблема состоит в поддержании минимума коллективного сознания, при отсутствии которого органическая солидарность будет ослабляться, что влечет за собой общественную дезинтеграцию, а в конечном счете и аномию. Согласно Дюркгейму, главной проблемой современных обществ является проблема консенсуса, укрепления общих верований и чувств, благодаря которым смягчаются конфликты, подавляется эгоизм и поддерживается согласие. Общество не может сохраниться, если не будет императивов и запретов, коллективных ценностей и объектов поклонения, привязывающих индивидуальную личность к социальному целому[2].

---

[1] *Арон Р.* Этапы социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс–Политика, 1993. – С. 197.

[2] Там же. – С. 326.

Вообще одной из главных составляющих социальной солидарности выступает личная приверженность членов общества социальным нормам и ценностям, которые выражаются в групповой морали. Тема отношений между индивидом и коллективом встречается во всех трудах Дюркгейма, поскольку именно в этой «болевой» точке современного общества рождается социальная солидарность. При прочтении работы «Самоубийство» становится понятно, что самоубийства происходят вследствие несчастья человека в современном обществе, где процветают индивидуализм и эгоизм и ослабляется нормативная система. Аномические и эгоистические самоубийства являются следствием того, что «общество недостаточно присутствует в индивидах»[1], т.е. следствием аномии. Эгоистические самоубийства случаются тогда, когда коллективная жизнь теряет для индивидов смысл. В этом случае эгоизм описывается с помощью эмоций – как смесь печали и праздности, чувства пустоты и одиночества, порождающих мысль о самоубийстве. По Дюркгейму, это закономерное следствие «астении коллективной деятельности»[2], тогда как основанием общественной жизни для него, как и для Конта, выступает альтруизм[3]. При аномии внутреннее состояние описывается как меланхолия, которая характеризуется усилением чувств раздражения и недовольства, болезненной тревоги, нетерпения, состояния постоянного возбуждения, неудовлетворенности, также чреватых самоубийством. По Дюркгейму, средством избавления от этих чувств является укрепление коллективного сознания, более ясная репрезентация коллективных представлений и более строгая регламентация правил совместной жизни[4].

Дюркгейм ищет пути бóльшего вовлечения индивидов в коллективы, рассматривая семейные, политические и религиозные институты. Он стремится доказать, что ни одна из групп, рождающихся в данном институциональном контексте, не представляет собой близкого индивиду социального окружения, которое удовлетворяло бы его, целиком подчиняя требованиям солидарности. С точки зрения французского социолога, индивиды должны подчиняться требованиям коллективного сознания, поэтому скрепить современное общество может действенная мораль, которая есть в профессиональных группах или корпорациях: она гарантирует дисциплину, престиж, чувство солидарности, а значит, и чувство удовлетворения[5]. Как и Конт, Дюркгейм полагал, что социальный порядок и солидарность может обеспечить система религиозных верований, гарантирующая

---

[1] Цит. по: Suffering and evil: The Durkheimian legacy: Essays in commemoration of the 90th anniversary of Durkheim's death / Ed. by W.S.F. Pickering, M. Rosati. – N.Y.; Oxford: Durkheim press: Berghahn books, 2008. – P. 45.

[2] Ibid. – P. 38–39.

[3] *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда: Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 215.

[4] Suffering and evil. – P. 74.

[5] См.: *Дюркгейм Э.* Указ. соч. – С. 14, 18, 215.

общественную приверженность и совмещающая в себе систему верований, которые обладают моральным авторитетом, подразумевает ритуальные практики и формирующиеся на этой основе солидарные социальные группы и организации. Однако Дюркгейм понимал, что традиционная религия уже не способствует в полной мере органической солидарности, складывающейся в современном обществе, на смену ей должна прийти сильная светская мораль, подкрепленная образовательными институтами. Социалистическая идея Дюркгейма заключается в установлении более осознанной организации коллективной жизни, цель и следствие которой – интеграция индивидов в социальных рамках или общностях, наделенных моральным авторитетом и потому способных выполнять воспитательную функцию[1].

Именно дюркгеймовское исследование религии показало, что в дописьменных обществах социальная солидарность обеспечивалась с помощью ритуалов, которые поддерживали связь индивида с группой, регулярно «воспроизводили» общие верования, оживляли чувства, а иногда и способствовали созданию новых человеческих объединений. Дюркгейм был первым социологом, который показал (в работе «Элементарные формы религиозной жизни»), что религиозные верования поддерживаются и, возможно, изменяются посредством ритуалов, которые, как правило, вызывают эмоции. Ритуалы, которые индивиды исполняют в непосредственном контакте, способствуют возникновению общего «воодушевления» («effervescence»), что ведет к ритмической синхронизации их действий, усилению эмоционального возбуждения и фокусированию внимания на символах группы. При этом социальная солидарность поддерживалась на основе разных чувств или эмоций, позитивных и негативных (гнев, месть, возмущение)[2]. Как свидетельствуют сегодня социологи, изучающие наследие Дюркгейма, социализация, жизнь в религиозных сообществах, да и вообще жизнь в обществе сопровождается переживанием не только позитивных чувств коллективного воодушевления, радости, удовлетворения, но и негативных чувств, которые можно охарактеризовать как страдания, боль, несчастья[3]. И позитивные, и негативные эмоции в этом случае являются неотъемлемой частью социальной солидарности.

Безусловно, этот обзор социологической классики применительно к теме солидарности не является полным, понятие социальной солидарности развивалось и в других социологических концепциях, например в теории альтруизма П.А. Сорокина. Подытоживая сказанное, можно констатиро-

---

[1] *Арон Р.* Этапы социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс–Политика, 1993. – С. 373.

[2] См.: *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда: Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 98–100.

[3] См.: Suffering and evil: The Durkheimian legacy: Essays in commemoration of the 90th anniversary of Durkheim's death / Ed. by W.S.F. Pickering, M. Rosati. – N.Y.; Oxford: Durkheim press: Berghahn books, 2008.

вать, что классики социологии считали, что социальная солидарность базируется на разделении труда, общих идеях, моральных правилах, ритуалах и общих чувствах, которые отражают приверженность обществу. Уточним, что под общими чувствами имеются в виду не только коллективные эмоции или разделяемые эмоции, но и типичные эмоциональные переживания, ежедневно сопровождающие человеческие действия. Таким образом, социальная солидарность означает целостность и единство вследствие общих идей, общих чувств, культурных ценностей, моральных норм, подразумевающих помощь, поддержку и сотрудничество и закрепленных в сознании личности. Поэтому понятия, синонимичные социальной солидарности, скорее описывают ее необходимые условия (например, в отличие от социальной интеграции солидарность носит добровольный характер, так что интеграция должна здесь дополняться разделяемыми чувствами)[1]. Сегодня социологи для раскрытия понятия социальной солидарности пользуются термином «идентичность». Связь между социальной солидарностью и социальной идентичностью – как самоотождествлением личности с некой общностью – бесспорна; без осознания своей принадлежности к четко очерченной группе (в представлении индивида) нет солидарности с группой и нет соответствующих действий[2]. Идентичность предполагает также выделение себя из среды других, поэтому солидарность основывается на разделении «мы» – «они» в качестве противостоящих друг другу общностей. Действительно, понятие идентичности позволяет связать между собой эмоции как внутреннее состояние индивидов и социальные группы, поэтому оно входит в арсенал социологического анализа эмоций и их роли в поддержании социальной солидарности. Групповая солидарность усиливается в ситуации *неблагоприятных обстоятельств*, в которых оказалась или может оказаться группа, «ситуативное родство создает возможность солидаристского поведения»[3]. Здесь важно общее осознание неблагополучия: при неблагополучных обстоятельствах вскрываются основные компоненты социальной солидарности – общие идеи, чувства, выражающиеся в идентичности и в приверженности группе. Именно социальная солидарность способствует возникновению чувств гнева, раздражения, а также эмпатии, симпатии, чувств, направленных на противостояние или взаимопомощь. Здесь вступают в силу моральные императивы, а не только прагматические мотивы. Поэтому С.Ю. Барсукова определяет солидарность как «особый тип социального взаимодействия, при котором моральное долженствование переводит ресурс идентич-

---

[1] См.: *Урсуленко К.* Социальная солидарность: Развитие понятия в истории социологии и современные интерпретации // Социология: Теория, методы, маркетинг. – Киев, 2009. – № 1. – С. 138–157.

[2] *Барсукова С.Ю.* Солидарность участников неформальной экономики (на примере стратегий мигрантов и предпринимателей) // СоцИс. – М., 2002. – № 4. – С. 2.

[3] Там же. – С. 3.

ности в плоскость реальной деятельности»[1], вследствие этого солидарность выражается в приверженности группе, защите ее социальных ценностей даже вопреки индивидуальным интересам ее членов.

Именно с социологическим изучением эмоций как типичных внутренних состояний индивидов во взаимодействии с процессами, протекающими в структуре личностной идентичности, сопряжены методологические стратегии преодоления аналитического разделения общества на микро- и макроуровень и объяснения связи отдельных индивидов с социальной структурой. Дж. Барбалет отмечает, что «эмоция – необходимое связующее звено между социальной структурой и социальным актором, без нее описание действия будет фрагментарным и неполным»[2]. Эмоции в социологии обычно рассматриваются на так называемом микроуровне, но, как свидетельствуют результаты, в самом исследовании эмоций данное аналитическое разделение перестает быть актуальным[3]. Посредством жизненного опыта и коллективных представлений эмоциональные состояния тесно связаны с макроуровнем социальной организации. Т. Шефф полагает, что эмоции и социальный мир («социально-эмоциональный мир») следует изучать только в терминах солидарности или отчуждения, поскольку разделяемый опыт всегда переживается[4]. Таким образом, понятие социальной солидарности необходимо рассматривать как *включающее в себя эмоции.* В связи с этим можно поставить следующий исследовательский вопрос: какие конкретно эмоции – коллективные или индивидуальные, какой интенсивности, длительности и степени осознания – имеют непосредственное отношение к социальной солидарности, поддерживают ее в группах и обществе в целом либо ее разрушают?

Практически во всех социологических теориях эмоций (или в рассуждениях, так или иначе связанных с концептуализацией этого феномена) ученые размышляют о социальном назначении эмоций, об их солидаризирующей роли, а также о сигнальной функции, поскольку эмоции также активизируются при разрушении социального порядка (нарушении моральных правил, оскорблении ценностей, верований и т.п.). Эмоции обладают побудительной, мотивирующей силой действия; как считает А. Хохшильд, они создают готовность к действию на основе предшест-

---

[1] *Барсукова С.Ю.* Солидарность участников неформальной экономики (на примере стратегий мигрантов и предпринимателей) // СоцИс. – М., 2002. – № 4. – С. 4.

[2] *Barbalet J.M.* Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – P. 27.

[3] См., например: *Collins R.* On the microfoundations of macrosociology // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1981. – Vol. 86, N 5. – P. 984–1014; *Turner J.H.* Toward a general sociological theory of emotions // J. for the theory of social behavior. – Springfield (IL), 1999. – Vol. 29, N 2. – P. 132–162.

[4] *Scheff T.J.* Social-emotional world: Mapping a continent // Current sociology. – L., 2011. – Vol. 59, N 3. – P. 348.

вующих (приобретенных в опыте) ожиданий[1]. Выполняя функцию социальных сигналов, эмоции позволяют окружающим оценить место индивида в социуме и выстраивать свое поведение по отношению к нему (в частности, эмпирические данные подтверждают связь социального статуса и характера эмоциональных явлений)[2]. Каждая из существующих эмоций может мотивировать индивидов на восстановление социального порядка и оживление социальной солидарности – за исключением тех случаев, когда интенсивные эмоции сами их разрушают либо ослабляют. Эмоции, как позитивные, так и негативные, способствуют социальной солидарности и одновременно социальным изменениям (например, ресентимент, порождающий гнев, зависть, враждебность и приобретающий коллективный характер, побуждает к возникновению социальных движений[3]). Перечисленные функции можно также назвать «коммуникативными»: такое определение подчеркивает стратегическое использование эмоций, например, для управления впечатлениями других людей с целью создания и изменения личностной идентичности, что в конечном итоге работает на воспроизводство социальной структуры. Здесь надо отметить и смыслообразующую функцию эмоций, когда приобретают важность эмоциональные переживания сами по себе (например, любовь). Более того, все значимые в смысловом отношении культурные элементы оказываются эмоционально «заряженными», т.е. вызывают сильные и важные для индивидов и групп эмоции, поддерживая тем самым приверженность им. Некоторые исследователи конкретизируют названные выше функции, выделяя отражательно-оценочную, информативную, интерактивную, манипулятивную, адаптивно-социализирующую, конструктивно-деструктивную их разновидности[4]. Главное, что все эмоции как часть любого взаимодействия, как правило, способствуют слаженности его протекания.

Существуют теории эмоций, в которых понятие социальной солидарности затрагивается непосредственно; они анализируют эмоции, которые направляют социальные действия в сторону восстановления и воспроизводства социального порядка. Эмоции представляются как связанные с моральной оценкой ситуации, т.е. не просто с поддержанием социальной организации, но с усилением приверженности, привязанности ко всему, что указывает на ценности, моральные правила. Эмоции рождают готовность защищать эти ценности, совершать ради них поступки,

---

[1] *Hochschild A.R.* The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 2003. – P. 220–222.

[2] См.: The moral identity, status, moral emotions and normative order / Stets J.E., Carter M.J., Harrod M.M., Cerven Ch., Abrutyn S. // Social structure and emotion / Ed. by J. Clay-Warner, D.T. Robinson. – San Diego (CA): Elsevier, 2008. – P. 227–251.

[3] *Barbalet J.M.* Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – P. 148.

[4] См.: *Горбунова М.Ю.* Социальные функции эмоций // Научный журнал КубГАУ. – Краснодар, 2011. – № 3. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/03/pdf/08.pdf

опасные для жизни, сдерживать во имя моральных ценностей свои личные побуждения, осуществлять взаимопомощь, сотрудничать, осознанно участвовать в кооперации. Как писал в связи с этим Дж. Александер, многие знаки и вещи отсылают к закрепленным в данной культуре «вещам-идеям-верованиям-чувствам» и поэтому вызывают сильные чувства[1]. Теории подобного рода можно подразделить на несколько групп. Прежде всего, это концепции, которые Дж. Тернер и Дж. Стетс относят к разряду культурных и ритуальных (Р. Коллинз, Э. Саммерс-Эффлер, А. Хохшильд, П. Туа). Проблема солидарности напрямую исследуется также в эволюционных теориях эмоций (В. Вентворт, М. Хаммонд, Дж. Тернер)[2]. Сюда относятся и теории, возникшие в лоне других традиций, но поставившие во главу угла моральные эмоции – гордость, чувство стыда, чувство вины, симпатию, эмпатию, презрение, гнев; это теории С. Шотт, Т. Шеффа, Дж. Тернера, Дж. Стетс и др. Мы остановимся на принципиально важных моментах таких теорий, а именно – на понятиях, которые раскрывают роль эмоций в поддержании (и, возможно, разрушении либо ослаблении) социального порядка и социальной солидарности.

Перед тем как приступить к обзору данных теорий, необходимо сделать несколько предварительных замечаний об основных посылках современной социологии эмоций. Ни одно из ее направлений не дает строгого определения эмоций, поскольку еще не выработаны термины для описания эмоциональной жизни человека. Эмоции определяют через аффекты, настроения, чувства и пр., прибегая к определенному набору характерных черт, которые можно наблюдать или зафиксировать (например, телесные жесты, сопровождающие эмоции). Проблема состоит в том, что эмоции оперируют на разных уровнях реальности: биологическом, неврологическом, поведенческом, культурном, социально-структурном и ситуационном; при этом исследователь обычно интересуется теми аспектами эмоций, которые релевантны одному или нескольким из перечисленных уровней, поэтому и возникают разные дефиниции. Если же акцент делается на культуре, возникает понятие эмоциональных идеологий, правил чувствования и словарей эмоций. Поэтому в контексте социологического знания эмоции рассматриваются как сложные явления, включающие следующие элементы: 1) нейрофизиологическую реакцию; 2) социально сконструированные определения; 3) лингвистические обозначения, типичные для данной культуры; 4) способы телесного выражения – лицом, голосом, жестами; 5) восприятие и оценка объектов или событий[3]. Эти элементы не говорят о том, какова природа эмоций, но объединяют практически все

---

[1] См.: *Alexander J.C.* Iconic experience in art and life: Surface / depth beginning with Giacometti's *Standing woman* // Theory, culture a. society. – Los Angeles (CA): Sage, 2008. – Vol. 25, N 5. – P. 8.

[2] См.: *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005.

[3] *Turner J.H., Stets J.E.* Op. cit. – P. 9.

аспекты, подлежащие анализу в большинстве социологических концепций эмоций, фокусом которых выступает связь между их телесными проявлениями, процессами сознания и социальными и культурными структурами. Таким образом, в контексте социологического рассмотрения эмоции предстают как культурно сконструированные суждения, как аспекты систем культурных значений, используемых людьми для понимания ситуаций, в которых они оказываются. Эмоции также трактуются как способы выражения индивидуальных чувств, действий, оценок и мнений посредством физиологических реакций, поэтому данный феномен можно понимать и как «принятие роли эмоций». Более того, они выступают как средства осознания отношения индивидов к миру, как энергетический источник действия. Поэтому эмоции с точки зрения социологии можно рассматривать не как внутренние состояния, а как действия, направленные на достижение социальных и культурных целей.

Помимо дефиниции эмоций принципиальным является вопрос о том, *сколько* их существует. Универсальные эмоции называют *первичными* (страх, гнев, печаль, удовлетворение или радость, отвращение), на их основе формируются все прочие эмоциональные состояния[1]. Первичным эмоциям свойственны не только похожие лицевые выражения, но и близкие физиологические реакции, их объединяют также сходные причины возникновения, непродолжительность и трудноконтролируемый характер. Подтвердить универсальность эмоций, называемых *вторичными* (гордость, стыд, ностальгия и пр.), оказалось довольно сложно. Р. Плутчик предположил, что вторичные эмоции – это комбинации первичных[2]. Эту позицию разделяют Т. Кемпер, Дж. Тернер и Р. Тамм, по мнению которых первичные эмоции имеют эволюционное значение для выживания и появляются на ранних стадиях человеческого развития[3]. Вторичные эмоции, по Кемперу, социально сконструированы и возникают в контексте переживания одной или более эмоций из разряда первичных (например, чувство вины возникает на базе страха)[4]. Тернер, квалифицируя вторичные эмоции как сложные сочетания первичных, тем не менее стремится обосновать их эволюционную роль[5].

---

[1] См.: *Ekman P.* Emotions in the human face. – N.Y.: Pergamon, 1972.

[2] См.: *Plutchik R.* The nature of emotions // American scientist. – Research Triangle Park (NC), 2001. – Vol. 89, N 4. – P. 344–350.

[3] См.: *Kemper T.D.* Social constructionist and positivist approaches to the sociology of emotions // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1981. – Vol. 87, N 2. – P. 336–362; *Thamm R.* Towards a universal power and status theory of emotion // Advances in group processes. – San Diego (CA), 2004. – Vol. 21 – P. 189–222; *Turner J.H.* On the origins of human emotions: A sociological inquiry into evolution of human effect. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2000.

[4] *Kemper T.D.* Social constructionist and positivist approaches to the sociology of emotions // American j. of sociology. – Chicago (IL): Chicago univ. press, 1981. – Vol. 87, N 2. – P. 268.

[5] *Turner J.H.* On the origins of human emotions. – P. 72–79.

Кроме разделения эмоций на первичные и вторичные, в контексте проблемы солидарности принципиальной является дифференциация их в качестве индивидуальных и коллективных. Понятие коллективных эмоций означает здесь эмоциональные состояния, *разделяемые внутри группы*. Какие из них являются ключевыми при решении проблемы социальной солидарности? Может быть, бóльшее значение имеют коллективные или разделяемые эмоции, о функциях которых писал еще Э. Дюркгейм? С нашей точки зрения, социальная солидарность базируется и на индивидуальных, и на коллективных эмоциях. Коллективные эмоции обычно возникают в ритуалах, они «вызваны и направляются внешней силой, которая заставляет человека мыслить и действовать иначе, чем в обычное время»[1]. Термин «индивидуальные эмоции» имеет смысл только тогда, когда эмоциональные состояния взаимодействующих индивидов отличаются либо сходные эмоциональные переживания возникают в разное время, поскольку все эмоции рождаются внутри индивидов. Однако индивидуальные эмоции типичны и в биологическом, и в социально-культурном смыслах. Согласно Т. Шеффу, феномен эмоции нельзя считать исключительно психологическим, эмоции становятся частью коммуникативного процесса, элементом связи, зависимости между людьми[2]. И индивидуальные, и коллективные эмоции связаны с культурными символами и моральными кодами, они сигнализируют о состоянии социального порядка и, как правило, поддерживают его вне зависимости от степени их осознанности; если же они осознаются в полной мере, то чаще всего индивиды стараются управлять ими для согласования своих действий. В контексте проблемы социальной солидарности в рамках современной социологии эмоций вопрос о соотношении индивидуальных и коллективных их разновидностей не так актуален. В большинстве своем ученые склоняются к мнению, что все без исключения эмоции (в том числе и сложные вторичные) глубоко укоренены в биологической природе человека, поскольку имели эволюционное значение для выживания специфически человеческих групп.

Ни одна из *эволюционных теорий* эмоций не утверждает, что они детерминированы строго биологически[3], тем не менее многие исследователи, работающие в данной традиции, считают, что естественный отбор заставил человека использовать эмоции для построения культуры и соци-

---

[1] *Durkheim E.* The elementary forms of religious life / Transl. by K.E. Fields. – N.Y.: Free press, 1995. – P. 163.

[2] *Scheff T.J.* Shame and the social bond: A sociological theory // Sociological theory. – Wash., 2000. – Vol. 18, N 1. – P. 92.

[3] См.: *Hammond M.* Affective maximization: A new macro-theory in the sociology of emotions // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: SUNY press, 1990. – P. 58–81; *Turner J.H.* On the origins of human emotions: A sociological inquiry into evolution of human effect. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2000; *Wentworth W.M., Yardly D.* Deep sociality: A bioevolutionary perspective on the sociology of human emotions // Social perspectives on emotion / Ed. by D.D. Franks, W.M. Wentworth, J. Ryan. – Greenwich (CT): JAI press, 1994. – P. 21–55.

альной структуры. По мнению Дж. Тернера, эмоции способствовали развитию новой зоны мозга, благодаря которой стало возможным формирование культуры и общества. Тернер опирается на исследования поведения человекообразных обезьян и современные работы в области физиологии мозга[1]. Ключевой вопрос эволюционных теорий эмоций состоит в следующем: почему в процессе формирования культуры эмоциональные способности человека усилились и усложнились? На основе первичных эмоций возникли их сложные комбинации, поэтому сложные эмоции могут также оказаться врожденными[2]. Социальная солидарность, отмечают представители этих теорий, формируется главным образом на основе позитивных первичных эмоций, которые свидетельствуют об удовлетворении и счастье, а разрушительная сила первичных негативных эмоций (печаль, гнев и страх) снижается в результате естественного отбора. Поэтому такие существенные для социального порядка эмоции, как стыд и чувство вины, предстают как сочетания трех негативных первичных эмоций (печали со страхом и гневом в разных вариациях). Из комбинаций первичных эмоций возникли другие эмоциональные состояния, которые вынуждали индивидов отслеживать свои действия и корректировать поведение. Таким образом, путем комбинирования негативных эмоций появлялись новые эмоции, увеличивающие самоконтроль индивида. При этом гордость, симпатия, удивление, надежда также, возможно, имеют биологический базис и представляют собой сочетание негативных первичных эмоций с той или иной позитивной эмоцией первичного порядка. Поэтому и В. Вентворт, и Дж. Тернер полагают, что первым языком предков человека был визуальный язык эмоций[3]. Этот язык способствовал коммуникативным возможностям человеческих предков и, соответственно, усиливал их социальные связи. По Вентворту и Ярдли, эмоции как медиум коммуникации имеют две базовые взаимно усиливающие характеристики: 1) мгновенно мобилизуют и ориентируют живой организм и 2) возбуждают аналогичные или взаимные эмоции в других индивидах так, что укрепляются социальные связи[4]. Разговорный язык развивался следом за эмоциональным языком, но люди до сих пор используют первый язык для передачи своих мыслей и ощущений: «Человеческие эмоции являются языком тела и тела социального»[5]. Тернер полагает, что при объяснении социальных связей и социальной структуры социологи склонны преувеличивать роль

---

[1] См.: Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 370–375.

[2] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 4–6.

[3] Ibid. – P. 268.

[4] *Wentworth W.M., Yardly D.* Deep sociality: A bioevolutionary perspective on the sociology of human emotions // Social perspectives on emotion / Ed. by D.D. Franks, W.M. Wentworth, J. Ryan. – Greenwich (CT): JAI press, 1994. – P. 24.

[5] Ibid. – P. 45.

разговорного языка, недооценивая язык эмоциональный. Эмоции гораздо быстрее связывают людей и генерируют солидарность и приверженность коллективным верованиям[1].

Представители эволюционных теорий утверждают, что человеческие предки опирались на обучение и информацию из окружающей среды для развития культуры. В этом процессе эмоции являлись центральным механизмом, своеобразным «координационным центром», с помощью которого оформлялись восприятие и накопление информации. Если, по Вентворту, кратко суммировать характеристики эмоций, значимые для формирования культуры, то можно выделить следующие их функции: эмоции 1) являются регулятором внимания, обеспечивая ориентацию в окружающей среде; 2) позволяют индивидам обучаться на опыте и накапливать память о различных аспектах окружения; 3) способствуют рассмотрению индивидом себя в качестве объекта в отношениях с другими, принятию роли другого для формирования социальных связей; 4) усиливают значение культурных предписаний; 5) заставляют отслеживать реакции других для сохранения социальных связей[2]. Таким образом, без возрастания эмоциональных способностей человеческие существа не могли бы демонстрировать поведение, которое маркирует их как людей, равно как и создавать социокультурные системы как средство адаптации к окружению. Поэтому эмоции являются «глубоко социальными»[3] и играют существенную роль в поддержании социальной солидарности[4].

М. Хаммонд называет свою концепцию эмоций, основанную на теории социального обмена, эволюционной теории и анализе биологической структуры мозга, «теорией аффективной максимизации». Хаммонд отталкивается от предположения, что люди обладают врожденной способностью стремиться к возбуждению позитивных эмоций и избегать эмоций негативных. Способность активизировать позитивные эмоции для деятельности особенно важна для таких существ, как люди, у которых нет мощных инстинктивных механизмов, направляющих поведение. Для людей действовать означает возбуждать эмоции, которые придают их поведению мотивацию и направленность. Люди не только стремятся к вознаграждениям, связанным с позитивными аффектами, но также пытаются *максимизировать* этот позитивный аффект, т.е. снизить издержки времени, энергии и негативных чувств. В результате для максимизации позитивного аффекта они используют различные стратегии сохранения потока позитивных эмоций. Одной из таких стратегий является построение множественных аффективных связей таким образом, чтобы индивид всегда

---

[1] *Turner J.H.* On the origins of human emotions: A sociological inquiry into evolution of human effect. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2000. – P. 126–128.

[2] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 264.

[3] *Wentworth W.M., Yardly D.* Deep sociality. – P. 54.

[4] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – P. 271.

располагал несколькими возможностями для получения позитивных эмоций. В итоге индивиды создают сети позитивного аффекта, увеличивающие их выживаемость в окружающей среде. Другая стратегия состоит в создании множественных связей разной степени интенсивности, так что индивид может «путешествовать» по аффективным отношениям и снижать затраты, если нужно (например, отношения на работе могут и не давать такого же позитивного аффекта, как романтическая любовь, но требуют меньших затрат). Поэтому следующей стратегией является упорядочение связей в иерархию ценностей для разных типов отношений или ситуаций – с тем, чтобы в связи, находящиеся наверху иерархии, вкладывать больше позитивных эмоций, чем в нижестоящие. В этом случае индивид знает, какое количество позитивного аффекта вероятнее всего получить в ситуации, и может выстроить поведение таким образом, чтобы максимизировать аффективные вознаграждения. Поэтому, по мысли М. Хаммонда, стремление индивидов к регулированию эмоций выступает одним из факторов усложнения социальной структуры[1].

Все эти соображения отсылают к теории Э. Дюркгейма и его анализу тотемизма и возбуждения эмоций в ритуалах. Определенное количество аффекта может быть воплощено в физических объектах – т.е. в объектах, которые сигнализируют актору о количестве аффекта, которого можно достичь. Хаммонд полагает, что люди создают тотемы и другие символы, поскольку с их помощью они могут с наименьшими издержками активировать эмоции, связанные с культурой. Объект не обязательно должен быть священным, но он призван сигнализировать об уровне и виде аффекта, который можно получить, и о затратах, которые надо осуществить. Поэтому возникает другая глубоко укорененная в человеческой природе стратегия поведения – связывать аффект с разными социальными категориями, группами и организациями и даже сообществами. Стратификация может также рассматриваться как стратегия аффективной максимизации, посредством которой индивиды добывают ресурсы, обеспечивающие им эмоциональное удовлетворение[2]. Однако позитивные эмоции, ранее связывавшиеся с объектами и ситуациями, со временем теряют свою интенсивность, отношения подвергаются «опривычиванию» (habituation), поэтому индивиды стремятся снизить этот эффект. Религиозные ритуалы австралийских аборигенов, о которых писал Дюркгейм, могут обеспечить одну стратегию, препятствующую «опривычиванию», так как они возбуждают эмоции. Хаммонд подразумевает, что социальную структуру и культуру современных обществ можно рассматривать в терминах сопротивления «опривычиванию»: когда общества разделяются на социальные классы, этнические группы, организации, сообщества и институциональ-

---

[1] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – P. 276–277.

[2] *Hammond M.* The enhancement imperative and group dynamics in emergence of religion and ascriptive inequality// Advances in group processes. – Atlanta (GA), 2004. – Vol. 22. – P. 187.

ные комплексы, увеличиваются возможности для возбуждения индивидуального аффекта; чем больше шансов для передвижения в рамках социальных структур, тем менее вероятно снижение позитивного аффективного потока каждой отдельной структуры в результате «опривычивания»[1].

Краткий обзор современных (междисциплинарных) концепций эмоций позволяет сделать вывод, что теории, раскрывающие эволюционную роль данного феномена, показывают его глубокую укорененность в социальной жизни человека; сложные эмоции являются механизмом скрепления социальных связей, усиления социальной солидарности, они по большей части вплетены в моральное поведение человека. Даже те эмоции, которые разрушают социальные связи, участвуют в создании новых. Традиция изучения коллективных и индивидуальных чувств, начатая Дюркгеймом, подкрепляется детализированными междисциплинарными исследованиями, включающими физиологию мозга, социобиологию, социальную психологию. Теперь вопрос ставится следующим образом: в каких поведенческих образцах эмоции выполняют свои социальные функции? Ответ лежит в плоскости постдюркгеймовской социологии эмоций, которая в первую очередь ставит вопрос о коллективных, разделяемых эмоциях и ритуальных практиках, в контексте которых они возникают.

Возможно, одним из самых ярких представителей этой традиции является Р. Коллинз, который синтезирует теорию коллективных ритуалов Э. Дюркгейма и концепцию ритуализации повседневных взаимодействий Э. Гофмана. Понятие «солидарность» занимает центральное место в теории Коллинза, который считает ее фундаментальным социальным элементом, объединяющим общество; источником же солидарности выступают ритуалы взаимодействия («интерактивные ритуалы»). Социальная солидарность, с одной стороны, создается на микроуровне, с другой – имеет последствия для макроуровня социального порядка. Задаваясь вопросом о том, что́ сплачивает общество как паттерн стратифицированных и конфликтующих групп, Коллинз утверждает, что таким фактором служит солидарность, которая базируется на «социальных ритуалах, формирующих солидарность внутри этих групп»[2].

Коллинз рассматривает социальный порядок в духе Э. Гофмана – как интеракционный порядок, состоящий из ритуальных взаимодействий, складывающихся в цепи. Он полагает, что «такие цепочки микровзаимодействий лицом к лицу дают жизнь ключевым элементам социальной организации – власти, праву собственности, принадлежности к группе, – создавая и воспроизводя “мифические” культурные символы и эмоцио-

---

[1] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 277–278.

[2] *Коллинз Р.* Программа теории ритуала интеракции // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2004. – Т. 7, № 1. – С. 34.

нальную энергию»[1]. Коллинз называет свою концепцию «радикальной микросоциологией», хотя его целью является преодоление аналитического разделения социальной структуры на микро- и макроуровни. Основной социальной единицей у него выступает социальная ситуация, которая дает начало формированию социальных явлений более высокого уровня посредством ритуальных цепей взаимодействия: от отдельных ритуалов на микроуровне до цепочек интерактивных ритуалов, обусловливающих и поддерживающих макроструктуры. При этом значение имеет не только актуальная ситуация взаимодействия, но и опыт предшествующих ситуаций. В этом одно из ключевых отличий концепции Коллинза от его предшественников, Э. Дюркгейма и Э. Гофмана[2]. И Гофман и Дюркгейм рассматривали ритуалы как в конечном итоге связанные с моральным порядком и соответствующими эмоциями, его сопровождающими. Дюркгейм полагал, что ритуальное взаимодействие порождает «коллективное воодушевление» (effervescence) и укрепляет коллективное сознание, что ведет к почитанию тотема. Затем в свою очередь усиливаются моральные правила, связанные со священным объектом; они оказывают социальное давление (принуждение) на индивидов, заставляя их подчиняться моральному порядку и вызывая гнев в случае его нарушения. Э. Гофман рассматривал повседневные взаимодействия как ритуальные, являющиеся частью общего интеракционного порядка и связанные с постоянным переживанием моральных требований этого порядка. И хотя взаимодействия лицом к лицу, или столкновения, как их называет Гофман, чреваты возникновением рисков, неожиданностей и разрывов взаимодействия, в любом случае индивиды сталкиваются с санкционированием со стороны других, что ведет либо к коррекции порядка взаимодействия, либо к исключению индивида, «потерявшего лицо»[3]. Основными ресурсами в цепях ритуального взаимодействия для Коллинза являются эмоциональная энергия, культурный капитал и репутация. Дюркгейм и Гофман также отмечали роль эмоционального фактора во взаимодействии, но, в отличие от них, Коллинз придает понятию эмоциональной энергии статус самостоятельной аналитической единицы, акцентируя ее в качестве ключевой.

Р. Коллинз определяет ритуал как механизм, характеризующийся эмоциями и направленностью внимания, – механизм, который ежеминутно производит разделяемую участниками взаимодействия реальность и тем самым порождает солидарность и символы членства в группе[4]. К со-

---

[1] *Collins R.* On the microfoundations of macrosociology // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1981. – Vol. 86, N 5. – P. 985.

[2] *Прозорова Ю.А.* Теория интерактивных ритуалов Р. Коллинза: От микроинтеграции к макроструктуре // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2007. – Т. 10, № 1. – С. 62.

[3] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 137–138.

[4] *Коллинз Р.* Программа теории ритуала интеракции. – С. 31–32.

ставляющим ритуального взаимодействия относятся физическое соприсутствие; границы, отделяющие участников ритуала от не участвующих в нем; осознание общего внимания к объекту или событию; разделяемые эмоции («общее настроение или эмоциональный опыт»)[1]. При этом эмоции оказываются «не содержанием взаимодействия, но той степенью, в которой участники могут поддерживать общую деятельность, сосредоточившись на ее содержании»[2]. Если все эти условия выполняются, то создается ритмическая синхронизация действий, т.е. участники начинают синхронизировать свои движения и речь (как очевидным образом, так и едва различимым, неосознанно координируя движения). Подобную синхронизацию можно увидеть на замедленном просмотре видео- и аудиозаписей[3]. Участники ритуала взаимодействия устанавливают единое эмоционально-когнитивное пространство и продуцируют солидарность, которая «конструируется и интенсифицируется в ходе ритуала посредством ритмической синхронизации»[4]. Ритмически синхронизированная деятельность генерирует следующие результаты ритуала взаимодействия: групповую солидарность, чувство групповой принадлежности; эмоциональную энергию индивидов; символ или символы, репрезентирующие группу; чувство моральности[5]. То, что Дюркгейм называет коллективным воодушевлением, Коллинз описывает посредством целого ряда эмоциональных состояний. Первое – это чувство групповой солидарности – позитивное ощущение энтузиазма и моральные чувства в отношении данной группы, которые могут обратиться в негодование и гнев при их нарушении. Второе – это эмоциональная энергия, возникающая в индивидах и выражающаяся в позитивном чувстве энтузиазма, доверия и готовности продолжать взаимодействие. В отличие от кратковременных эмоций радости и гнева эмоциональная энергия переживается от взаимодействия к взаимодействию, увеличиваясь и повышая эффективность ритуального взаимодействия, или истощаясь, когда ритуалы не удаются или долгое время не осуществляются.

Коллинз доказывает, что индивиды мотивированы на максимизацию переживания эмоциональной энергии, она является фундаментальным стремлением, стоящим за индивидуальным поведением, групповой активностью, культурой и социальными сетями. Все образцы социальной деятельности, даже макроструктуры, несут отпечаток уровня взаимодействий лицом к лицу, где цель максимизации эмоциональной энергии в определенной степени реализуется и формируются наполненные смыслом символы групповой солидарности. Поэтому такие символы оказываются эмо-

---

[1] *Collins R.* Interaction ritual chains. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 2004. – P. 48.

[2] *Collins R.* On the microfoundations of macrosociology // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1981. – Vol. 86, N 5. – P. 998.

[3] Handbook of the sociology of emotions. – P. 138.

[4] *Collins R.* Interaction ritual chains. – P. 78.

[5] Ibid. – P. 49.

ционально заряженными: «В действительности группа фокусируется на собственных разделяемых эмоциях, на ощущении того, что эмоции разделяются с другими, но нет способа передать это ощущение общности, кроме как через воплощение его в объекте. Объект ритуала овеществляет этот опыт, делая его знаком общности, существующей постоянно»[1]. Индивиды переходят от взаимодействия к взаимодействию, принося с собой эмоциональную энергию и общие символы в виде культурного капитала, – так создаются ритуальные цепи взаимодействия. Иначе говоря, ритуалы взаимодействия производят моральные ожидания или моральный порядок посредством ритуальных цепей.

Главная идея Коллинза состоит в том, что социальные структуры полностью создаются и поддерживаются такого рода ритуалами и ритуальными цепями. Эмоциональная энергия может меняться и становиться негативной либо позитивной. Позитивная эмоциональная энергия приводит к возникновению чувства групповой солидарности: индивиды стремятся максимизировать эту энергию, или чувство энтузиазма, и избежать ситуаций, где вероятен эмоциональный негатив. Последний возникает, когда ритуал «срывается», – т.е. в случаях, если индивиды не могут сосредоточиться на ситуации и объектах взаимодействия, синхронизировать свои действия, испытать общие эмоции. Поэтому власть и статус также играют важную роль в ритуалах взаимодействия: они способны усиливать эмоциональную энергию (как позитивную, так и негативную), а следовательно, влиять на групповую солидарность.

Таким образом, Коллинз рассматривает цепи ритуальных взаимодействий не только в плане возникновения коллективных и индивидуальных эмоций, но и под углом зрения обмена культурными ресурсами, а это значит, что эмоции возникают не всегда и не всегда переживаются как равные по интенсивности. Согласно Коллинзу, участники ритуала «должны желать создать солидарность хотя бы на какой-то момент»[2]. Поэтому субъекты взаимодействия, ритуального по своей природе, в определенный момент могут *осознавать*, что *должны* разделять определенные эмоции, и здесь подключаются другие переменные, например статусные. В данной теории только отчасти затрагивается тема намеренного использования ритуалов взаимодействия с целью создания солидарности на основе групповых символов. В политике «ритуал является механизмом, посредством которого формируются и мобилизуются солидаризированные группы, следовательно, ритуал создает политических акторов; ритуал – это оружие, используемое некоторыми группами, чтобы доминировать над дру-

---

[1] Цит. по: *Деева М.* От индивидуального к разделяемому аффекту: Постдюркгеймианская традиция в социологии эмоций // Социологическое обозрение. – М., 2010 – Т. 9, № 2. – С. 145.

[2] *Collins R.* On the microfoundations of macrosociology // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1981. – Vol. 86, N 5. – P. 999.

гими, манипулируя эмоциональной солидарностью и чертами групповой идентификации ради преимущества одних и в ущерб другим»[1].

С позиций Коллинза довольно трудно объяснить взаимодействия, в которых отсутствуют либо не наблюдаются общеразделяемые эмоции либо когда эмоции выражаются с целью перформанса (управления впечатлениями). Согласно М. Моссу, ритуал может состояться, поскольку продолжают действовать культурные правила выражения эмоций, когда нужно *обязательно* обнаруживать чувства[2]. В этом контексте важен основной тезис концепции А. Хохшильд: эмоции не обязательно переживать, но *обязательно* выражать, а последнее может само по себе вызывать нужные эмоции[3]. Понятие эмоциональной энергии у Коллинза лишь отчасти отсылает к конкретным эмоциям, а сложные эмоции как последствия ритуальных взаимодействий остаются за кадром. Э. Саммерс-Эффлер попыталась эмпирически проверить теорию Коллинза и расширить ее за счет других переменных – идентичности, культурных предписаний, биологических характеристик, а также объяснить, почему люди не разрывают отношения в случаях, когда активизируется негативная эмоциональная энергия[4]. По мысли Саммерс-Эффлер, когда индивиды по разным причинам не могут выйти из взаимодействий, связанных с негативной эмоциональной энергией, они используют поведенческие стратегии, уменьшающие последствия от потери позитивной эмоциональной энергии. Сюда относятся психологические защитные механизмы, использование запаса знания и опыта для активизации эмоциональной энергии и в то же время – расчет риска спонтанных ритуальных взаимодействий[5].

Мотив управления эмоциями, контроль над выражением эмоций, дистанцирование от переживаемых эмоций и проблема солидарности, вернее, ее «непроблематичность» в представлении взаимодействующих индивидов, находят свое отражение в других концепциях эмоций. Если для Коллинза общие эмоции являются условием ритуала, то, по Т. Шеффу, ритуал позволяет установить необходимую дистанцию по отношению к эмоциям[6]. Тер-

---

[1] Цит. по: *Прозорова Ю.А.* Теория интерактивных ритуалов Р. Коллинза: От микроинтеграции к макроструктуре // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2007. – Т. 10, № 1. – С. 69.

[2] См.: *Мосс М.* Обязательное выражение чувств (австралийские погребальные словесные ритуалы) // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Наука, 1996. – С. 74–82.

[3] См.: *Hochschild A.R.* The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 2003.

[4] См.: *Summers-Effler E.* Defensive strategies: The formation and social implications of patterned self-destructive behavior // Advances in group processes. – Atlanta (GA), 2004. – Vol. 21. – P. 309–325.

[5] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 130–140.

[6] См.: *Scheff T.J.* The distancing of emotions in ritual // Current anthropology. – Chicago (IL), 1977. – Vol. 18, N 3. – P. 483–505.

мин «дистанцирование» (distancing) указывает на степень вовлеченности или отстраненности отдельного индивида от коллективных эмоций в ритуале; другими словами, можно быть чрезмерно солидаризированным, вовлеченным во взаимодействие, в коллективные эмоции, а можно оставаться равнодушным или совершенно отстраненным от них, отчужденным[1]. Дистанция по отношению к эмоциям в ритуальном взаимодействии, где часто возникают разделяемые эмоции, устанавливается посредством механизмов отстранения, которые позволяют каждому из участников одновременно разделять коллективные эмоции и наблюдать за ними со стороны. Механизмы отстранения могут включать слова и жесты, регулирование физической дистанции в ритуальном взаимодействии. Поэтому для каждого ритуала существует собственная оптимальная дистанция, предполагающая некий баланс между отстраненностью и вовлеченностью, неосознанным переживанием эмоций и их осознанием[2]. Отсюда «концепция Шеффа существенным образом дополняет понимание разделяемых эмоций… абсолютная поглощенность участника взаимодействия разделяемыми эмоциями не является неотъемлемой чертой ритуала. Напротив, полная вовлеченность (отсутствие дистанции, по Шеффу) разрушительна для ритуала, и предотвратить ее призваны элементы ритуала, сходные с теми, которые позволяют вовлеченность увеличить»[3].

В логику исследования феномена солидарности укладывается и концепция А. Хохшильд, позволяющая понять, как поддерживается солидарность даже тогда, когда нет разделяемых эмоций, когда индивидуальные эмоции слабы, малоинтенсивны либо несовместимы с верованиями группы. Хохшильд специально не фокусирует свое внимание на проблеме социальной солидарности, ее прежде всего интересует, почему индивиды подчиняются правилам эмоциональной культуры, воспроизводя социальный порядок, подкрепляя свои представления эмоциями либо изображая-выражая такие эмоции в случае, если их не удается генерировать. С. Гордон, М. Розенберг, П. Туа, К. Кларк также используют понятие «эмоциональная культура»[4]. На этом фоне концепция Хохшильд интерес-

---

[1] См.: *Scheff T.J.* Social-emotional world: Mapping a continent // Current sociology. – L., 2011. – Vol. 59, N 3. – P. 351–352.

[2] *Scheff T.J.* The distancing of emotions in ritual. – P. 488.

[3] *Деева М.* От индивидуального к разделяемому аффекту: Постдюркгеймианская традиция в социологии эмоций // Социологическое обозрение. – М., 2010. – Т. 9, № 2. – С. 148.

[4] См.: *Clark C.* Emotions and micropolitics in everyday life: Some patterns and paradoxes of the place // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: SUNY press, 1990. – P. 305–333; *Gordon S.L.* Social structural effects on emotions // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: SUNY press, 1990. – P. 180–203; *Rosenberg M.* Reflexivity and emotions // Social psychology quart. – Evanston (IL), 1990. – Vol. 53, N 1. – P. 3–12; *Thoits P.A.* Emotional deviance: Research agendas // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: SUNY press, 1990. – P. 180–203.

на вниманием автора к глубинным и поверхностным основаниям поддержания согласованного социального взаимодействия на уровне эмоций. А. Хохшильд полагает, что в обществах формируется *эмоциональная культура*, которая включает представления о том, что люди должны чувствовать в разных типах ситуаций. Такая культура состоит из *эмоциональных идеологий,* содержащих перечень уместных эмоциональных реакций в основных сферах деятельности. Посредством социализации индивиды усваивают эмоциональные идеологии для разных контекстов действия, а сумма этих идеологий конституирует самые общие представления, свойственные эмоциональной культуре. В каждом специфическом контексте действий существуют два основных типа норм: *правила чувствования* (feeling rules) и *правила выражения чувств* (display rules)[1]. Первые определяют, какие эмоции и с какой интенсивностью следует переживать и чувствовать в данной ситуации, должны ли они быть негативными либо позитивными и какова должна быть их длительность. Вторые правила предписывают, когда и как нужно выражать эмоции. По Хохшильд, когда индивиды следуют правилам выражения, они вовлечены в *поверхностный процесс действия* или *«внешнее исполнение»* (surface acting); он включает изменение внешнего выражения и поведения в соответствии с нормативными ожиданиями (например, люди часто «надевают счастливое лицо» там, где требуется быть счастливыми). В *глубинном процессе действия* или *«глубокой игре»* индивид работает над чувствами для того, чтобы реально испытывать ожидаемые эмоции (deep acting)[2]. Эти два набора правил отражают эмоциональную культуру и эмоциональные идеологии общества, направляют действия индивидов и принуждают их участвовать и, соответственно, управлять эмоциями в ситуациях, возбуждающих негативные эмоции. Поэтому практически всегда люди осуществляют *эмоциональную работу* или *управление эмоциями* (emotional work, emotional management) для поддержания того образа Я, который должен соответствовать нормам эмоциональной культуры.

Постоянная эмоциональная работа включает следующие компоненты: 1) управление телом для возбуждения или подавления чувств; 2) поверхностный процесс действия, когда человек продуцирует жесты, соответствующие той или иной эмоции, для создания определенного впечатления; 3) глубинный процесс действия, когда помимо внешнего выражения люди стараются возбудить в самих себе те эмоции, которых требуют от них правила эмоциональной культуры; 4) работа сознания, когда человек обдумывает идеи, чтобы выработать определенные эмоции[3]. Эти поведенческие техники часто используются вместе.

---

[1] *Hochschild A.R.* Emotion work, feeling rules and social structure // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1979. –Vol. 85, N 3. – P. 556–557.

[2] Ibid. – P. 560–563.

[3] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 38.

Эмоциональную работу в сферах профессиональной занятости Хохшильд называет *эмоциональным трудом* (emotional labor) и связывает его с работой, которая требует от работников контакта с публикой лицом к лицу и потому заставляет их генерировать «нужные» эмоции и осуществлять жесткий контроль над собственной эмоциональной активностью. Хохшильд исследовала эмоциональный труд стюардесс и билетных контролеров, которым постоянно приходится иметь дело с проявлением негативных эмоций – как со стороны пассажиров, так и со своими собственными[1]. В данном случае главное качество хорошего работника – это эмоциональная выносливость, замечает Хохшильд[2]. Чтобы уменьшить напряжение, работники пытаются сократить дистанцию между переживаемым чувством и симулируемыми эмоциями. Хохшильд полагает, что в современном обществе количество эмоциональной работы, которую люди вынуждены осуществлять, драматически растет. Это нелегкая работа, так как им приходится до некоторой степени подавлять свои «истинные эмоции» в соответствии с требованиями культуры. Когда выражаемые чувства регулярно расходятся с внутренними чувствами или отделяются от них, весьма вероятно отчуждение в отношениях, при том что именно управление эмоциями поддерживает социальный порядок и солидарность. Внутреннее и реально проявляющееся отчуждение вследствие психологического конфликта на уровне чувств типично для современных обществ, где цель социальных организаций – контролировать действующих индивидов посредством манипуляции их личными переживаниями.

Следует отметить, что Хохшильд рассматривает в основном осознанные эмоции, которые выражаются согласно правилам чувствования и которыми в зависимости от ситуации можно управлять для достижения целей взаимодействия в соответствии с правилами культуры. В теориях М. Розенберга, К. Кларк, П. Туа индивиды представлены как вынужденные управлять поведением посредством манипулирования или демонстрации эмоций. П. Туа, следуя за А. Хохшильд, обосновывает причины внутреннего расхождения чувств и изучает поведенческие стратегии в ситуациях, когда индивиды не способны управлять ненормативными эмоциями, в результате чего возникают эмоциональные девиации и используются поведенческие стратегии для коррекции происходящего на эмоциональном уровне[3]. Отталкиваясь от понятия эмоциональной культуры, К. Кларк рассматривает *симпатию* как ключевую эмоцию в межличностных взаимодействиях, на основе которой солидаризируется общество в целом. Индивиды не подчиняются эмоциональной культуре полностью, они «надевают» на себя соответствующие эмоциональные выражения с

---

[1] См.: *Hochschild A.R.* The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 2003.

[2] Ibid. – P. 115–126, 138–149.

[3] См.: *Thoits P.A.* Emotional deviance: Research agendas // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: SUNY press, 1990. – P. 180–203.

целью достичь или подтвердить статус, получить ресурсы[1]. Симпатия выступает одновременно и ресурсом, и средством в стремлении индивидов улучшить свое положение. Симпатия выполняет функции социальной солидарности, поскольку связывает людей различного статуса, находящихся в разных ситуациях (например, счастливого и несчастного), допускает несущественные отклонения в поведении, поддерживает общий моральный климат в группах, гасит негативные эмоции[2].

Таким образом, анализ социальной солидарности показывает, что это состояние общества или группы имеет необходимым условием эмоциональную вовлеченность участников взаимодействия, их стремление сохранять определенный уровень эмоциональной энергии и обмениваться эмоциями. Социальная солидарность может поддерживаться как на основе коллективных, так и на базе индивидуальных эмоций, представление о которых возникает в недрах общественной жизни, где создается особая эмоциональная культура, включающая словарь эмоций, классификации приемлемых и неприемлемых эмоций, правила их выражения в разных контекстах и ситуациях. Эмоции большей частью реализуются в ритуальных практиках, свойственных современному обществу; они могут меняться, переходить из коллективного состояния в индивидуальное, определенное время сохраняться, передаваться от взаимодействия к взаимодействию, быть интенсивными или служить фоном социального взаимодействия. Социальная солидарность держится на позитивных (симпатия), а иногда и негативных (гнев в отношении противника) эмоциях, но при этом у индивидов часто возникают неприемлемые чувства, которые они стремятся не обнаруживать или подавлять. Проблему социальных изменений и разрушения социального порядка в связи с эмоциями мы оставляем пока в стороне и формулируем тезис о том, что индивиды с бóльшей вероятностью будут соблюдать правила эмоциональной культуры и стремиться корректировать ситуацию в соответствии с правилами более широкой культуры – моральными правилами.

Какие же типичные эмоции переживаются индивидами в процессе возникновения и сохранения социальной солидарности? В настоящее время социологи и социальные психологи обращаются к так называемым моральным эмоциям, связанным с моральным порядком общества, его воспроизводством и формированием (Х. Кларк, М. Дэвис, С. Ретцингер, Я. Стетс, Т. Шефф, С. Шотт, Дж. Тернер, Дж. Брейтвейт, Дж. Барбалет, Дж. Хайдт, Дж. Тэнгни, Дж. Аверилл, К. Льюис и другие). Список моральных эмоций, подлежащих анализу, и включающий в первую очередь *чувства вины, стыда, гнева, эмпатии, симпатии*, постоянно расширяется, поскольку целью изучения здесь является одновременное осмысление со-

---

[1] См.: *Clark C.* Emotions and micropolitics in everyday life: Some patterns and paradoxes of the place // Ibid. – P. 305–333.

[2] См.: *Clark C.* Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1997.

циально-культурной динамики и психодинамики, посредством которой возникновение эмоций соотносится с моралью, моральными правилами и ценностями как составляющими социальной солидарности. Дж. Тернер и Дж. Стетс вводят следующее понятие «моральности» (morality): это ценности, которые содержатся в культуре (культурных кодах) и с помощью которых становится возможной оценка происходящего в терминах «плохо / хорошо», «верно / неверно», «приемлемо / неприемлемо»[1]. Эти ценности могут быть разными по своему оценочному содержанию, поэтому авторы выделяют «уровни моральных кодов». Любой культурный код является моральным в той степени, в какой несет в себе оценочные элементы; Тернер и Стетс используют термин «моральный код» как удобную глоссу для очевидно сложных отношений между разными уровнями культурного кодирования. Самый высокий уровень – уровень культурных ценностей всего общества, абстрактные суждения о том, что хорошо / плохо, верно / неверно, приемлемо / неприемлемо, которых придерживаются члены сообщества. Следующий уровень представлен идеологиями, с помощью которых также возможны оценки «верно / неверно», «приемлемо / неприемлемо», «хорошо / плохо», но уже применительно к разным институциональным контекстам. Далее следует уровень институциональных норм, которые предписывают, как должны себя вести индивиды, занимающие различные позиции в институциональных порядках. Затем идут корпоративные нормы как еще более конкретизированные ожидания относительно поведения индивидов, занимающих разные позиции в системе разделения труда. И наконец, авторы выделяют уровень ситуативных норм, т.е. ожиданий, направляющих действия индивидов в отдельных действиях и взаимодействиях[2]. Моральные ценности и нормы не везде жестко контролируют поведение, однако большинство индивидов в большинстве ситуаций эмоционально реагируют на нарушение норм любого уровня, а также эмоционально позитивно санкционируют ожидаемое поведение[3].

Общества различаются уровнем консенсуса по поводу базовых ценностей, т.е., по сути, степенью характерной для них социальной солидарности, однако при этом все индивиды в рамках данной культуры придерживаются некоторых базовых ценностей. Идеологии отражают, как именно индивиды осознают ценности в определенных контекстах. Они оценивают друг друга в соответствии не только с моральными стандартами, но и с прочими нормами, опосредованно связанными с моралью. Когда индивиды нарушают нормы, они испытывают замешательство (как форму стыда низкой интенсивности) и презрение (как форму стыда высо-

---

[1] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 544.

[2] Ibid. – P. 545.

[3] См.: The moral identity, status, moral emotions, and normative order / Stets J.E., Carter M.J., Harrod M.M., Cerven Ch., Abrutyn S. // Social structure and emotion / Ed. by J. Clay-Warner, D.T. Robinson. – San Diego (CA): Elsevier, 2008. – P. 229.

кой интенсивности). Очевидно, что чем заметнее ценности и идеологии преломляются и реализуются в нормах, тем явственнее индивиды замечают их нарушение и глубже переживают чувства стыда и вины.

Примечательно, что Дж. Тернер ставит вопрос о биологической подоплеке «моральности», т.е. о врожденности моральных эмоций, поскольку они связаны с физиологическими реакциями человека, с его нервной и мускульной системой, и поскольку простые формы моральных эмоций (гнев, эмпатия, симпатия) можно обнаружить уже у человекообразных обезьян[1]. Тернер рассматривает стыд и чувство вины как сложные эмоции, имеющие врожденный характер и представляющие собой комбинации негативных эмоций гнева (anger), страха (fear) и печали (sadness) в разных сочетаниях. Доминирующей первичной эмоцией в чувствах стыда и вины является печаль, в чувстве стыда к ней добавляется гнев, направленный на себя, и страх за последствия поведения, а в чувстве вины к печали в первую очередь присоединяется страх за последствия поведения и в последнюю очередь – гнев на себя. По Тернеру, данные эмоции сформировались как результат естественного отбора, как способ сдержать разрушительные последствия негативных чувственных проявлений и заставить индивидов подчиниться адаптивно направленным императивам культуры.

Многие теоретики используют понятие «моральная идентичность» или «моральное Я» (moral self) для объяснения и описания моральных эмоций[2]. Моральные эмоции связывают индивида с социальной структурой и культурой через его самосознание, через идентичность, которая объединяет ситуативные идентичности, соответствующие социальным ролям в различных институциональных системах[3]. Личностная идентичность включает в себя когнитивные и эмоциональные элементы: представления о том, кем является индивид, как другие могут и должны реагировать на его Я (self) и соответствующие эмоции по поводу характеристик, которые другие дают индивидуальному Я в его разных социальных ролях[4]. Индивиды большей частью стремятся подтвердить свою идентичность, свои образы Я во взаимодействиях; если это происходит, они испытывают положительные эмоции, в противном случае – негативные. Поэтому в ситуации соотнесения своего Я с моральными ценностями и нормами сообщества индивид приобретает моральную идентичность. Эмпирические исследования в области социальной психологии продемонстрировали, что

---

[1] Handbook of the sociology of emotions. – P. 546–547.

[2] См., например: *Stets J.E., Carter M.J.* The moral identity: A principle level identity // Purpose, meaning and action: Control systems theories in sociology / Ed. by K. McClelland, T.J. Fararo. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006. – P. 293–316.

[3] См.: *Turner J.H.* Face-to-face: Towards a sociological theory of interpersonal behavior. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2002.

[4] См.: *McCall G.J., Simmons J.L.* Identities and interactions. – N.Y.: Free press, 1978; *Stryker S.* Integrating emotion into identity theory // Advances in group processes. – Atlanta (GA), 2004. – Vol. 21. – P. 1–23.

моральная идентичность занимает высокую позицию в структуре личностной идентичности и направляет выбор линий поведения в рамках социальных ролей, особенно в ситуациях, когда моральная идентичность не совпадает с реальным поведением индивида и возникают негативные (моральные) эмоции[1]. Индивиды склонны давать оценку своему поведению и, соответственно, своим идентичностям, которые соответствуют разным контекстам действия, поэтому моральная идентичность играет роль «эмоционального топлива» во взаимодействиях[2]. Чувства стыда и вины являются особенно болезненными, поскольку в этих случаях личностная идентичность оспаривается окружающими, в результате чего индивиды в своем стремлении подтвердить ее прибегают к тактике извинений, модификации поведения или ухода из ситуации, т.е. осуществляют «ритуальный ремонт ситуации», как сказал бы Э. Гофман. В случае, когда болезненные чувства становятся особенно острыми, активизируются психологические защитные механизмы, о которых пойдет речь ниже.

Моральные эмоции находятся также под влиянием социально-структурных факторов или переменных. Тернер и Стетс полагают, что такие переменные в процессе переживания эмоций могут описываться индивидами в терминах морали (например, компетенция, традиция, мастерство и т.п.). Поэтому если индивиды признают справедливым распределение власти и престижа, то они будут испытывать моральные эмоции в тех случаях, когда справедливость будет оспариваться – в различных видах противостояния групп и организаций[3]. В некоторых теориях социальная структура рассматривается как сеть, состоящая из узлов, связь между которыми трактуется в виде потока ресурсов. В качестве ресурсов могут выступать информация, эмоции, разнообразные виды вознаграждения, которыми обмениваются индивиды. Люди специфическим образом выстраивают ожидания в таких отношениях обмена (нормы взаимности, справедливости и т.п.). Эти нормы вписываются в культурные и моральные коды общества, поэтому возникновение эмоций становится относительно предсказуемым[4]. Социальную структуру можно рассматривать и как разделение труда, где уделяется больше внимания морали и общезна-

---

[1] См.: *Stets J.E., Carter M.J.* The moral identity: A principle level identity // Purpose, meaning and action: Control systems theories in sociology / Ed. by K. McClelland, T.J. Fararo. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006. – P. 293–316.

[2] The moral identity, status, moral emotions, and normative order / Stets J.E., Carter M.J., Harrod M.M., Cerven Ch., Abrutyn S. – P. 298.

[3] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 576.

[4] См. об этом, например: *Houser J.A., Lovaglia M.J.* Status, emotion and the development of solidarity in stratified task groups // Advances in group processes. – Greenwich (CT), 2002. – Vol. 19. – P. 109–137; *Kemper T.D.* Predicting emotions from social relations // Social psychology quart. – Evanston (IL), 1991. – Vol. 54, N 4. – P. 330–342.

чимым символам, а также вкладу индивида[1]. В профессиональных или производственных организациях наиболее вероятно возникновение моральных эмоций, поскольку здесь необходима высокая координация деятельности. Это согласуется с мыслью Дюркгейма о роли профессиональных организаций в поддержании коллективного сознания и социальной солидарности; в соответствии же с теорией Хохшильд и ее последователей в таких условиях возникает необходимость управления эмоциями в связи с задачами ситуативной адаптации и реализацией целей.

Дж. Тернер и Дж. Стетс классифицируют моральные эмоции как связанные: 1) с критическим отношением к себе – чувство стыда и чувство вины (guilt, shame); 2) с критикой других – презрение, гнев и отвращение (contempt, anger, disgust); 3) со страданиями других – симпатия и эмпатия (sympathy, empathy); 4) с похвалой других – благодарность и почитание (gratitude, elevation). Первые два вида эмоций можно охарактеризовать как преимущественно негативные, возникающие вследствие нарушения моральных правил; два вторых являются позитивными, хотя симпатия и эмпатия возникают часто в ответ на бедственное положение другого и могут включать негативные оттенки[2].

Х. Льюис внесла весомый вклад в понимание чувства стыда и чувства вины с позиций психоанализа[3]. Она полагает, что стыд является более распространенной эмоцией, чем чувство вины, а психотерапевты часто ошибочно принимают чувство стыда за чувство вины. Чувство стыда и чувство вины обостряют индивидуальное самосознание, они возникают в тех случаях, когда люди нарушают моральные правила или им не удается действовать согласно таким правилам. Льюис демонстрирует также существенные различия между этими эмоциями. Стыд направлен на Я (self) индивида; он заставляет его чувствовать себя маленьким, бесполезным, бессильным и нелюбимым окружающими, оборачиваясь зависимостью индивидуальных оценок от оценки других людей и мотивируя стремление спрятаться или напасть. Стыд ослабляет Я, поскольку является болезненным переживанием, и увеличивает вероятность активизации психологических защитных механизмов. В результате действия последних чувство стыда может трансформироваться в гнев, направленный на других и привносящий ощущение контроля над ситуацией[4]. Некоторые авторы связывают чувство стыда с усилением нарциссизма, который также может выступать защитным механизмом и блокировать возникновение симпатии и

---

[1] См.: *Hechter M.* Principles of group solidarity. – Berkeley: Univ. of California press, 1987; Lawler E.J. An affect theory of social exchange // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2001. – Vol. 107, N 2. – P. 321–352.

[2] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 550.

[3] См.: *Lewis H.B.* Shame and guilt in neurosis. – N.Y.: International univ. press, 1971.

[4] Ibid. – P. 121.

эмпатии[1]. По Т. Шеффу и С. Ретцингер, стыд – это «эмоциональный аспект нарушения контакта между людьми»[2]. В отличие от стыда, чувство вины направлено на осознание индивидом своих поступков, которые связаны с нарушением моральных кодов культуры, т.е. индивид негативно оценивает свой поступок, а не свое Я в целом. В результате чувство вины, как правило, не является слишком болезненным, оно ведет к другим эмоциям – раскаянию и сожалению, мотивируя признание проступка, просьбу о прощении и попытки восстановить status quo. Более того, чувство вины увеличивает вероятность того, что индивид впредь будет согласовывать свое поведение с действиями других и вступать в кооперацию с ними. Дж. Тэнгни назвала чувство вины «плохим» чувством, а чувство стыда – «ужасным»[3].

Различия, о которых пишет Льюис, подтверждаются разными исследованиями[4]. Поэтому чувство вины чаще рассматривают как моральную эмоцию, поскольку оно благоприятствует ответственному, нормативному, моральному поведению, тогда как чувство стыда способствует разрушению взаимодействий и саморазрушительному поведению. Тэнгни обнаружила, что психологические последствия стыда более серьезны с точки зрения психопатологии, чем последствия чувства вины. Люди, испытывающие стыд, чаще подвержены депрессии, демонстрируют высокий уровень тревожности и низкую самооценку[5]. По данным лонгитюдных исследований, дети, склонные к чувству стыда, в подростковом и более старшем возрасте чаще нарушали закон, употребляли наркотики, повергались аресту, тюремному заключению, совершали попытки самоубийства и вступали в рискованные сексуальные связи. Дети же, склонные к чувству вины, чаще получали высшее образование, активно участвовали в разных сферах социальной жизни, были менее склонны к рискованному поведению[6]. Дж. Тэнгни и Р. Диаринг утверждают, что чувство стыда является деструктивной эмоцией, потому что ведет к активизации защитных механизмов и перерождению стыда в гнев, а чувство вины стимулирует проявления симпатии и эмпатии, согласование личных целей с намерениями участников взаимодействия. Исследователи отмечают, что «современная

---

[1] См.: *Gramzow R., Tangney J.P.* Proneness to shame and the narcissistic personality // Personality a. social psychology bull. – L., 1992. – Vol. 18, N 3. – P. 369–376.

[2] *Scheff T.J., Retzinger S.M.* Emotions and violence: Shame and rage in destructive conflicts. – Lexington (MA): Lexington books, 1991. – P. 66.

[3] Цит. по: Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 551.

[4] См., например: *Tangney J.P., Dearing R.L.* Shame and guilt. – N.Y.: Guilford, 2002.

[5] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 176.

[6] См.: *Tangney J.P.* The mixed legacy of the super-ego: Adaptive and maladaptive aspects of shame and guilt // Empirical perspectives on object relations theory // Ed. by J.M. Masling, R.F. Bumstein. – Wash.: American psychological association, 1994. – P. 1–28.

мораль акцентирует способность признавать свои неверные поступки, брать ответственность на себя и исправлять ситуацию. В этом смысле чувство вины представляется более современной адаптивной моральной эмоцией»[1].

Однако Дж. Тернер полагает, что связь чувства стыда с моралью не столь очевидна. Например, стыд часто возникает, когда индивиды чувствуют себя некомпетентными в определенной ситуации, но это переживание скорее основывается на самооценке, чем на социальной оценке. Поэтому стыд подобного рода не обязательно атакует целостное Я индивида[2]. Чувство стыда может быть связано с ситуативной идентичностью и подвергать тестированию только особую ролевую идентичность в рамках наличной ситуации. Поэтому чувство стыда может не быть столь болезненным, как считает Льюис, тем более что она рассматривала эту эмоцию с позиций психотерапевта и его пациентов. Сходным образом и чувство вины не всегда связано только с определенным поведением в данной ситуации, оно не обязательно является всепоглощающим, но может продуцировать и другие эмоции, при этом его часто сопровождает чувство стыда. Если чувство вины не смешивается с чувством стыда, то оно не производит патологических симптомов, например депрессии. Тэнгни и Диаринг выделяют «неадекватное болезненное чувство вины» (maladaptive guilt), которое, как правило, ведет к чувству стыда[3]. Поэтому и чувство стыда может служить внутренним механизмом социального контроля[4]. Это заключение согласуется с результатами исследований Дж. Брейтвейта и С. Шотт[5], которые сделали вывод о том, что стыд может возбуждать нормативное поведение, генерирующее солидарность. Брейтвейт пишет о «реинтегративном» чувстве стыда, которое способствует сдерживанию криминального поведения в силу того, что неодобрение со стороны значимых других активизирует стыд, а также раскаяние, которые способствуют реинтеграции индивида в более широкое сообщество[6].

Тэнгни и Диаринг доказывают, что стыд имел значение на ранних стадиях эволюции, но с усложнением общества соответственно усложняются сознание и эмоциональность, а также способность принимать роли и

---

[1] *Tangney J.P., Dearing R.L.* Shame and guilt. – P. 393–394.

[2] См.: *Turner J.H.* Face-to-face: Towards a sociological theory of interpersonal behavior. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2002.

[3] *Tangney J.P., Dearing R.L.* Shame and guilt. – N.Y.: Guilford, 2002. – P. 398.

[4] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 552.

[5] См.: *Braithwaite J.* Crime, shame and reintegration. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989; *Shott S.* Emotion and social life: A symbolic interactionist analysis // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1979. – Vol. 84, N 6. – P. 1317–1334.

[6] *Giordano P.C., Schroeder R.D., Cernkovich S.* Emotions and crime over the life course: A neo-Meadian perspective on criminal continuity and change // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2007. – Vol. 112, N 6. – P. 1613.

сопереживать чужой беде. Таким образом, стыд был чувством, характерным для прошлого, а чувство вины – ведущая эмоция настоящего[1]. Согласно Тернеру и Стетс, эти заключения наивны, поскольку во всех типах обществ и чувство вины, и стыд являются внутренними механизмами социального контроля и служат поддержанию приверженности группам и моральным кодам культуры[2]. Чувство стыда низкой интенсивности оперирует как механизм внутреннего контроля, способствующий сохранению социального порядка. Это согласуется с выводами Т. Шеффа, который утверждает, что когда стыд *признается*, индивиды могут перенастроить свои отношения с другими и, таким образом, не нарушать солидарности в группе[3].

Эмоции, связанные с критикой других (презрение, гнев и отвращение), являются реакцией на нарушение моральных ценностей и норм другими людьми. Гнев рассматривается как моральная эмоция, которая ориентирована главным образом на других и возникает, когда достижение целей становится затруднительным; гнев часто вызывает желание напасть на кого-либо – в прямом и переносном смысле слова. Гнев является эмоциональной реакцией на нарушение моральных норм и стимулирует стремление восстановить справедливость[4]. Отвращение становится моральным, когда индивиды оценивают чье-либо поведение как потерю человеческого достоинства (например, предательство друзей, хладнокровное убийство). Следствием возникновения чувства отвращения является разрыв контакта, взаимодействия, а также желание восстановить социальный порядок путем изгнания виновных в аморальном поведении. Презрение по своему содержанию и своей интенсивности представляет собой нечто среднее между гневом и отвращением. Это негативная оценка другого,

---

[1] *Tangney J.P., Dearing R.L.* Shame and guilt. – P. 394.

[2] Handbook of the sociology of emotions. – P. 553.

[3] См.: *Scheff T.J.* Shame and the social bond: A sociological theory // Sociological theory. – Wash., 2000. – Vol. 18, N 1. – P. 84–99.

[4] См.: *Averill J.R.* Illusions of anger // Aggression and violence: Social interactionist perspectives / Ed. by R.B. Felson, J.T. Tedesci. – Wash.: American psychological association, 1993. – P. 171–192.

Примечательно, что́ пишет Э. Дюркгейм о функции гнева: «Иногда говорят, что гнев бесполезен, так, он представляет собой только разрушительную страсть, но это одностороннее воззрение. На самом деле гнев состоит в перевозбуждении и укреплении скрытых и свободных сил, которые помогают нашему личному чувству противостоять опасности. В состоянии мира, если можно так выразиться, оно [верование] недостаточно вооружено для борьбы; оно могло бы погибнуть, если бы в желанный момент не вступали бы резервы страсти. Гнев – не что иное, как мобилизация этих резервов. Может даже случиться, что вызванная таким образом помощь превосходит потребность, тогда в результате спора наши убеждения не только будут поколеблены, но еще больше укрепятся» (*Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда: Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 98).

дополненная чувством морального превосходства, которая ослабляет позитивные моральные эмоции, например сочувствие[1].

Специалисты утверждают, что презрение, гнев и отвращение возникают в разных культурах, когда налицо нарушение моральных кодов, связанных с понятиями сообщества, автономии и божественного (community, autonomy, divinity)[2]. Презрение является эмоциональной реакцией на нарушение моральных ценностей и норм, сопряженных с понятием (и пониманием) сообщества, которые включают уважение к заведенному социальному порядку, почтение к авторитетам и самому сообществу. Презрение возникает, если выражается неуважение к этим вещам или возникает угроза безопасности сообщества. Гнев типически связан с нарушением морального кода автономности, который подразумевает уважение к индивидуальным правам и свободам, т.е. возникает тогда, когда действия другого нарушают чьи-либо права и свободы. Отвращение является реакцией на осквернение вещей и идей, связанных с верой в Бога, нарушением моральных правил, связанных с сакральным. Таким образом, презрение, гнев и отвращение выступают как «охранники» различных аспектов морального порядка.

Симпатия и эмпатия служат эмоциональными реакциями на страдания других людей. М. Дэвис следующим образом дифференцирует эти эмоции: эмпатия включает способность понимать эмоциональное состояние другого человека (когнитивный компонент) и переживать его чувства (аффективный компонент); симпатия не обязательно подразумевает последнее, но может выступать основанием для стремления помочь другому[3], означает выражение печали и сожаления по поводу ситуации других людей[4]. Эмпатия, таким образом, не обязательно связана с симпатией, как и наоборот, симпатия не ведет к возникновению эмпатии. Эмпатия и симпатия являются, по сути, принятием роли другого (в терминах Дж.Г. Мида), поскольку в процессе этих переживаний один индивид прочитывает жесты другого, определяет его эмоциональное состояние и оценивает его, в результате чего первый может ощутить (или не ощутить) симпатию либо эмпатию. В таком случае являются ли симпатия и эмпатия эмоциями? Эти состояния служат значимой составляющей социальных взаимодействий, поддерживают социальную солидарность, поскольку выступают мотивирующей силой для оказания помощи индивидам, попав-

---

[1] См.: *Haidt J.* The moral emotions // Handbook of affective sciences / Ed. by R.J. Davidson, K.R. Scherer, H.H. Goldsmith. – N.Y.: Oxford univ. press, 2003. – P. 852–870.

[2] См.: The big «three» of morality (autonomy, community, and divinity) and the big «three» explanations of suffering / Shweder R.A., Much N.C., Mahapatra M., Park L. // Morality and health / Ed. by A. Brandt, P. Rozin. – N.Y.: Routledge, 1997. – P. 119–169.

[3] См.: *Davis M.H.* Empathy: A social psychological approach. – Boulder (CO): Westview, 1994.

[4] См.: *Clark C.* Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1997.

шим в трудное положение. Они облегчают межличностные отношения, обусловливая альтруизм и подавляя агрессию[1].

Тем не менее некоторые ученые полагают, что эмпатия – это не эмоция, а лишь способность понимать чувства других[2]. Подобным образом и симпатия только отражает тот факт, что два человека думают или чувствуют одинаково. Множество эмоций могут быть следствием симпатии и эмпатии – например, гнев, сожаление, тревога, сочувствие. Тренер и Стетс считают, что многие исследователи рассматривают эмпатию и симпатию как моральные эмоции потому, что эти механизмы, или способности, возбуждают эмоции, конституирующие солидарность[3]. Кларк при этом пишет, что симпатия регулируется культурными правилами, однако симпатия может использоваться для достижения собственных целей, статуса или власти над другими (микроэкономика и микрополитика симпатии); порой проявление симпатии заставляет другого почувствовать, что он ниже по положению[4]. Поэтому симпатия и эмпатия представляют собой, скорее, техники принятия роли, которые ведут к возникновению подлинных эмоций. Хотя симпатия и эмпатия поддерживают социальный порядок, они в той же мере подрывают порядок моральный, поскольку используются в личных интересах. Та же логика рассуждений применима к пониманию чувства вины, которое может быть использовано в межличностных отношениях для того, чтобы заставить кого-либо сделать что-либо[5]. Здесь надо заметить, что моральные эмоции нередко расчленяют на их аналитические составляющие либо, наоборот, трактуют как целостности, поведенческие комплексы, которые невозможно рассматривать отдельно от культурных кодов, психологических механизмов, механизмов социального взаимодействия (например, чувство любви). Более того, некоторые ученые всю культуру определяют в терминах такого поведенческого комплекса; в частности, К. Кларк полагает, что американская культура – это культура симпатии, где последняя тем больше, чем более велика проблема и чем ближе отношения[6].

Эмоции, нацеленные на похвалу других людей, – благодарность и почитание, – первым описал Адам Смит в 1790 г. Он рассматривал благо-

---

[1] См.: *Clark C.* Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1997; *Eisenberg N., Miller P.* Empathy, sympathy and altruism: Empirical and conceptual links // Empathy and its development / Ed. by N. Eisenberg, J. Strayer. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1987. – P. 292–311.

[2] См.: *Haidt J.* The moral emotions // Handbook of affective sciences / Ed. by R.J. Davidson, K.R. Scherer, H.H. Goldsmith. – N.Y.: Oxford univ. press, 2003. – P. 852–870.

[3] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 555.

[4] *Clark C.* Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1997. – P. 113.

[5] См.: *Baumeister R.F., Stillwell A.M., Heatherton T.F.* Guilt: An interpersonal approach // Psychological bull. – Wash., 1994. – Vol. 115. – P. 243–267.

[6] См. подробнее об этом: *Clark C.* Op. cit.

дарность как важную социальную эмоцию, которая поддерживает солидарность, поскольку возбуждает добрую волю к совершению нравственных поступков[1]. В самом деле, посредством благодарности индивид выражает расположение к другому человеку, который стал для него благодетелем, в противном случае он вряд ли сможет рассчитывать на его содействие и добрую волю в дальнейшем. По Г. Зиммелю, благодарность является мощным средством социального согласия и сплоченности, связывающим дарителя и получателя[2]. Благодарность можно рассматривать как моральную эмоцию, поскольку она имеет три функции: *морального барометра, морального мотива, морального подкрепления*[3]. Как моральный барометр, благодарность является ответом на великодушие другого человека и сигнализирует об обмене вознаграждениями. Благодарность также является моральным мотивом, потому что стимулирует людей, которые испытывают благодарность, вести себя великодушно и в будущем и, таким образом, становится основой альтруизма[4]. Наконец, благодарность мотивирует самих благодетелей и адресатов благодарности быть благодарными в будущем. С благодарностью связано чувство почитания – позитивное чувство, мотивирующее людей на добрые поступки, благотворительность и даже самопожертвование и приводящее в действие другие позитивные чувства (например, благоговение и священный трепет[5]). Почитание в этом смысле является противоположностью отвращения, поскольку последнее связано с самыми низкими поступками (которые оцениваются как таковые). Отвращение провоцирует уход из ситуации своего возникновения, а почитание связано с самыми высокими устремлениями и поступками и вызывает желание продлить контакт с достойным его объектом. Поэтому данные эмоции можно в полном смысле слова считать моральными.

Тернер и Стетс полагают, что в социологических категориях вполне возможны описание динамики моральных эмоций и объяснение их причин и последствий[6]. Проблема социологического анализа таких эмоций заключается в том, чтобы изолировать их от прочих эмоциональных состояний и определить, что является характерным именно для моральных эмоций. Выше уже говорилось, что эмоция приобретает моральное качество тогда, когда возникает оценка поведения индивида (собственная или со стороны других) в соответствии с моральными ценностями и нормами в контексте

---

[1] См.: *Смит А.* Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997.

[2] Handbook of the sociology of emotions. – P. 556.

[3] Ibid.

[4] См.: *Trivers R.L.* The evolution of reciprocal altruism // Quarterly rev. of biology. – Chicago (IL), 1971. – Vol. 46, N 1. – P. 35–57.

[5] См.: *Haidt J.* The moral emotions // Handbook of affective sciences / Ed. by R.J. Davidson, K.R. Scherer, H.H. Goldsmith. – N.Y.: Oxford univ. press, 2003. – P. 852–870.

[6] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 556.

той или иной ситуации действия. Но существуют и другие эмоции, так или иначе связанные с моралью. Например, разные виды гнева (раздражение, враждебность, ярость), страха (тревога, паника), печали (удрученность, меланхолия, тревожное уныние, жалость, подавленность). Поэтому более точная формулировка цели социологического изучения моральных эмоций включает необходимость изучения полного ряда человеческих эмоций и фиксацию условий, при которых они могут стать моральными.

Тернер и Стетс представили ряд вариаций первичных эмоций и различные сложные эмоции, возникающие на их основе, и попытались показать, при каких обстоятельствах они приобретают моральный характер[1]. Из первичных, врожденных эмоций – счастья, страха, гнева, печали – возникают чувства, связанные с оценкой себя и других в соответствии с моральными кодами общества. На основе удовлетворения-счастья возникает небольшое количество моральных эмоций: люди переживают удовлетворение и счастье, когда придерживаются моральных правил, поэтому они испытывают благодарность, оживление, торжество, восторг, ликующую радость, стимулирующие приверженность моральным императивам. Вариации первичных негативных эмоций дают больше возможностей для возникновения моральных эмоций средней и высокой интенсивности, поскольку нарушение моральных кодов вызывает более глубокие эмоциональные реакции[2]. Например, страх порождает тревогу, беспокойство, недоверие, смятение, панику, нервозность, ужас. Более типичными реакциями на нарушение моральных правил являются разные виды гнева – раздражение, досада, озлобленность, враждебность, омерзение, ярость, чувство оскорбления, возмущение, включая гнев на себя. Также типичны в этом отношении разные виды разочарования-печали – огорчение, удрученность, скорбь, тоска, подавленность, боль. С меньшей вероятностью индивиды будут реагировать на нарушение моральных правил посредством эмпатии и симпатии.

Как уже было сказано выше, человеческий мозг обладает способностью производить комбинации первичных эмоций, которые порождают моральные эмоции и расширяют их спектр. Например, изумление и почитание (wonder, reverence) возникают, когда счастье-удовлетворение комбинируются с эмоцией страха, при этом важно, какая эмоция является ведущей (в данном случае таковой выступает счастье). Эти эмоции обычно активизируются в связи с религиозными верованиями. Из этого же сочетания проистекают благодарность, надежда, гордость и ощущение надежности. Когда ведущей эмоцией становится страх, то, в комбинации с чувством счастья, возникают священный трепет, почитание и благоговение (awe, reverence, veneration), которые могут генерировать приверженность моральным ценностям, часто религиозным. Месть или умиротворение

[1] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 557–560.

[2] Ibid. – P. 558.

(vengeance, appeasement) могут стать реакцией на нарушение моральных кодов или на извинения за нарушения, они возникают из сочетания счастья и гнева[1]. Страх, смешиваясь с гневом, порождает враждебность, неприязнь, отторжение (repulsion, antagonism, dislike), которые связаны с негативными санкциями против нарушителей моральных кодов. Страх, смешиваясь с печалью, может превратиться в чувство опасности, священный ужас (dread, wariness) в ситуации, когда индивид очень боится осквернить моральные правила. Гнев, комбинируясь с чувством счастья, порождает такие эмоции, как снисхождение, умиротворение, чувство правоты (condescension, mollification, righteousness), которые могут оказаться реакцией на нарушение моральных правил или на извинения за эти нарушения. Гнев в сочетании со страхом формирует чувства отвращения и подозрительности (abhorrence, suspiciousness), которые могут являться следствием негативных санкций в связи с аморальными действиями. Гнев вместе с печалью ведет к горечи-озлобленности, депрессии, ощущению предательства (bitterness, depression, [feeling] betrayed), которые могут переживаться как следствие негативных санкций или депрессии. Печаль в сочетании со счастьем-удовлетворением оборачивается чувствами пессимизма (мрачности) и меланхолии (moroseness, melancholy), которые выступают внутренними санкциями в связи с аморальным поведением. Подобным образом печаль, вместе со страхом, производят сожаление, раскаяние, чувство покинутости, тоски, отчаяния (regret, forlornness, remorse, misery), которые также могут быть внутренними санкциями для тех, кто отступил от моральных правил. Печаль вместе с гневом порождает чувства угнетенности, неудовлетворенности, разочарования, нереализованности, угрюмости ([feeling] aggrieved, discontent, dissatisfaction, [feeling] unfulfilled, sullenness), которые индивид переживает в случае нарушения моральных кодов другими[2].

Таким образом, вторичные эмоции первого уровня существенно расширяют ряд моральных эмоций; эти эмоции усиливают способы санкционирования индивидов, нарушающих моральные нормы, при том что многие из них выступают внутренним механизмом контроля. На основе перечисленных выше комбинаций возникают моральные эмоции второго уровня – это главным образом чувство стыда и чувство вины, которые имеют решающее значение для морального порядка и социальной солидарности. Негативные эмоции неприятны и нежелательны, а иногда и

---

[1] Э. Дюркгейм писал о чувстве мести, которое возникало наиболее часто в обществах с механической солидарностью, поскольку нарушение моральных ценностей и норм воспринималось членами общества как оскорбление и вызывало желание отомстить. Поэтому наказание за преступление в таких обществах часто удовлетворяло чувство мести, возмещало моральный ущерб, нанесенный преступлением (См.: *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда: Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 86–89).

[2] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 559–560.

чрезвычайно болезненны. Чувство стыда и чувство вины могут быть «мягкими», тогда они работают как внутренние механизмы социального контроля. Если же эти эмоции приобретают интенсивность, в психике индивидов активизируются защитные стратегии поведения, или защитные механизмы. Эти механизмы (впервые систематически описанные З. Фрейдом) приводятся в действие, когда человек стремится защитить свое Я от болезненных переживаний. Защитные механизмы «выталкивают» или вытесняют негативные эмоции за порог сознания. Фрейд видел отрицательное последствие действия таких механизмов в том, что стремления человека остаются неудовлетворенными; более того, они становятся более интенсивными. Подавляемые болезненные эмоции усиливаются, но, подвергнутые вытеснению, они меняют свою направленность и природу, проявляя себя в наблюдаемом поведении индивидов. Наиболее распространены защитные стратегии, помогающие индивиду совладать с негативными санкциями со стороны других. Часто эти механизмы не являются полностью неосознаваемыми и неуправляемыми. В качестве таковых могут выступать избирательное восприятие информации, избирательная интерпретация происходящего, апелляция к прошлым успехам, уход из ситуации. Такие действия помогают индивидам сохранить лицо, защитить свое Я в ситуациях, связанных с возникновением негативных эмоций[1]. Другие защитные механизмы способствуют полному *подавлению или репрессии* негативных эмоций, особенно тех, которые возникают вследствие негативных санкций. Именно подавление чувства стыда больше всего изучено в психологической и социально-психологической науке. Существуют разные степени вытеснения или подавления чувства стыда. Опираясь на наблюдения К. Льюис, Т. Шефф показал, что когда индивиды недостаточно дистанцируются (underdistancing) от чувства стыда, это чувство захватывает их и отражается на поведении. Замедляется и становится тише речь, появляются такие слова, как «глупо», «нелепо», «ужасно», «по-идиотски», человек отводит взгляд, краснеет, может закрывать лицо, «прятаться»[2]. Индивиды могут также чрезмерно дистанцироваться (overdistancing) от чувства стыда, и тогда темп речи ускоряется, жестикуляция становится интенсивнее. И в том, и в другом случае, согласно Т. Шеффу, чувство стыда может оставаться непризнанным и болезненным, что усиливает эмоции такого рода и требует дополнительных затрат для последующего подавления. Важно, что подавленные эмоции часто перерождаются (transmutate) в другие – главным образом в разные виды гнева.

---

[1] См. об этом, например: *Summers-Effler E.* Defensive strategies: The formation and social implications of patterned self-destructive behavior // Advances in group processes. – Atlanta (GA), 2004. – Vol. 21. – P. 309–325.

[2] См.: *Scheff T.J.* The shame-rage spiral: A case study of interminable quarrel // The role of shame in symptom formation / Ed. by H.B. Lewis. – Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1987. – P. 109–149.

Тернер и Стетс пишут, что если эмоции представляют собой результат подавления чувств стыда и вины, возникших вследствие отступления от моральных ценностей и норм, то их тоже можно назвать моральными[1]. Психоэмоциональная динамика выглядит следующим образом: болезненное чувство стыда или вины обусловливает их подавление, что в свою очередь усиливает эти эмоции; затем они, как правило, трансформируются в другие чувства, чаще всего в разные виды гнева, которые направляются на других индивидов, социальные группы и структуры. Гнев опять-таки вызывает чувство стыда или вины, происходит новое подавление и новая вспышка гнева, что может продолжаться довольно долго. Гнев, как правило, направлен на безопасные объекты или индивидов, которые не находятся на линии огня. Подсознательно защищая свое Я, индивид может впасть в состояние циклического чередования стыда и гнева, сопровождающееся тревогой, усилением чувства вины и удрученности. Подавление эмоций сопровождается также проекцией чувств, которая представляет собой другой защитный механизм: изначальная эмоция может оставаться в прежнем виде, но приписывается другому человеку или социальной группе. Проецирование, или приписывание, эмоций может также сопровождаться перерождением эмоций, опять-таки преимущественно в разные виды гнева, направленного на: 1) других участников взаимодействия; 2) людей, непосредственно не участвующих во взаимодействии; 3) саму ситуацию взаимодействия; 4) социальную структуру, в которую она встроена; 5) макроструктуры общества (социальные институты), другие общества[2]. Шефф и Ретцингер обнаружили, что конфликты и насилие в семье обусловлены непризнанным чувством стыда[3]. Если чувство стыда не признается индивидом, а подавляется, то это оборачивается циклическим чередованием гнева-стыда, которое развивается по спирали и может выйти из-под контроля, поскольку только осознание и признание стыда может уберечь от вспышек гнева и агрессии.

Дж. Тернер считает приписывание одним из ключевых механизмов социального взаимодействия, который активизируется в случае подавления негативных эмоций, направленных на индивидуальное Я[4]. Приписывание может быть осознанным или неосознанным; в последнем случае оно работает как психологический защитный механизм (проекция). С социологической точки зрения это самый важный механизм, потому что приписывание нередко направлено на социальные структуры и группы и, таким

---

[1] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 561.

[2] Ibid. – P. 562*; Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 175.

[3] См. об этом: *Retzinger S.M.* Violent emotions: Shame and rage in marital quarrels. – Newbury Park (CA): Sage, 1991.

[4] См.: *Turner J.H.* Face-to-face: Towards a sociological theory of interpersonal behavior. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2002.

образом, влияет на приверженность или отчуждение от социальных структур разного уровня (например, чувство ресентимента, которое обычно направлено на определенную категорию людей[1]). В процессах приписывания тоже обнаруживаются свои закономерности. Социологи описывают внешний предрассудок (distal bias) относительно негативных эмоций и внутренний предрассудок (proximal bias) относительно позитивных эмоций. Другими словами, в случае негативных эмоций индивиды склонны к внешнему приписыванию (т.е. к обвинению других людей или других социальных категорий), в случае позитивных – к приписыванию внутреннему (т.е. к приписыванию заслуги самому себе); обычно именно так определяется источник неудач или причины успеха[2]. Позитивные эмоции рождаются вследствие соответствия моральным ожиданиям, поэтому индивиды с большей вероятностью будут выражать позитивные эмоции по отношению к другим индивидам и, таким образом, будут более привержены моральным правилам и социальным структурам, в контексте которых были вызваны эти эмоции. Если же индивиды испытывают негативные эмоции вследствие несоответствия моральным ожиданиям, то такие эмоции с большей вероятностью будут подавляться, перерождаться и направляться на других индивидов, социальные группы и структуры. Если в результате приписывания или проекции определенные люди или социальные группы рассматриваются в качестве причины несоответствия моральным ожиданиям, то возникают разные виды гнева, направленные против них, – раздражение, неудовольствие, досада, а в крайних случаях – такие интенсивные эмоции, как ненависть и отвращение или праведный гнев и чувство мести. Подобные эмоции имеют моральный характер и выражаются в суждениях, характерных для верований и стереотипов данного общества. Если, однако, объекты приписывания являются небезопасными или наделены статусом и властью, индивиды могут избрать более безопасную стратегию приписывания, адресованную объектам или категориям, которые не присутствуют в данной ситуации (обычно таким объектом выступает так называемое «начальство» в той или иной организации, на которое можно списать все проблемы). Гнев может также направляться на саму ситуацию взаимодействия, тогда более вероятно возбуждение раздражения, угнетенности и неудовлетворенности. Когда подавление негативных эмоций приобретает регулярный характер, наиболее вероятны чувства печали, огорчения, подавленности, удрученности, уныния и разочарования. Иногда эмоции становятся интенсивными, гнев ведет к чувству мести, что характерно для некоторых социальных движений, когда названные эмоции

[1] *Barbalet J.M.* Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – P. 120–125.

[2] *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – P. 168–169.

адресуются правительству и могут реализоваться в подлинных актах насилия (например, в действиях террористов)[1].

Негодование и чувство мести, которые направлены на социальные группы или структуры, Тернер и Стетс считают ярко выраженными моральными эмоциями[2]. Моральные эмоции высокой интенсивности описываются в психологических биографиях выдающихся исторических личностей, когда приписывания и, соответственно, эмоции приобретали коллективный характер и адресовались целым нациям[3]. Негативные эмоции часто переплетаются с существующими в культуре предрассудками и усиливают чувства враждебности. Таким образом, повторяющееся в обществе подавление стыда и гнева, а также других негативных эмоций может послужить причиной коллективного поведения, которое будет объясняться в моральных суждениях, что сделает социально приемлемыми нацеленные на защиту этих представлений интенсивные эмоции гнева, мести и им подобные. С этих позиций Шефф и Ретцингер проанализировали рождение нацистской Германии[4]. Состояние предвоенного немецкого общества стимулировало, по их мнению, распространение в обществе чувств стыда и унижения, что в результате привело к мобилизации немцев для подготовки к войне, к желанию начать войну, к самой войне и к массовым уничтожениям народов, причем все эти действия оправдывались в понятиях морали.

На основании вышесказанного можно заключить, что в терминах социологического исследования эмоций лучшим способом идентификации морального порядка общества является наблюдение эмоциональных реакций людей на нарушение моральных норм и ценностей. Действия, направленные против морального порядка, оцениваются как неприемлемые, неверные и «злые», а эмоции гнева, ярости сигнализируют об угрозе моральному порядку. Обычно люди поддерживают моральный порядок, а те, кто нарушает его, вызывают отвращение и презрение как за нарушение, так и за отсутствие раскаяния. Таким образом, люди изолируют нарушителей в целях сохранения морального порядка и минимизации вреда. Однако так происходит не всегда, поскольку в человеческой психике могут

---

[1] См., например: Passionate politics: Emotions and social movements / Ed. by J. Goodwin, J. James, F. Polletta. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001; Summers-Effler E. The micro potential for social change: Emotion, consciousness and social movement formation // Sociological theory. – Wash., 2002. – Vol. 20, N 1. – P. 41–60.

[2] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 564.

[3] Здесь в пример можно привести биографии выдающихся личностей, написанные последователями З. Фрейда, в особенности работы Э. Фромма и Э. Эриксона: *Erikson E.H.* Young man Luther: A study in psychoanalysis and history. – N.Y.: Norton, 1958; *Erikson E.H.* Gandhi's truth: On the origins of militant nonviolence. – N.Y.: Norton, 1969; *Фромм Э.* Адольф Гитлер: Клинический случай некрофилии. – М.: Прогресс, 1992.

[4] См.: *Scheff T.J., Retzinger S.M.* Emotions and violence: Shame and rage in destructive conflicts. – Lexington (MA): Lexington books, 1991.

активизироваться защитные механизмы, способствующие перерождению эмоций и соединению их в сознании индивидов с личностями других людей, социальными группами и структурами. При этом социальный порядок может усложняться и провоцировать конфликты. Если же такого не происходит, моральный порядок общества принуждает индивидов к принятию на себя ответственности за моральные нарушения, к выражению приемлемых моральных эмоций, таких как сожаление и раскаяние, к признанию вреда, включая принятие роли другого и выражение эмпатии и симпатии, к принятию мер по исправлению ситуации. Действия, связанные с восстановлением порядка, сигнализируют о том, что существует приверженность моральным ценностям и нормам, выражение моральных эмоций указывает на то, *что* индивиды ценят и почитают, т.е. свидетельствует о наличии социальной солидарности. Солидарные чувства могут быть разрушены или ослаблены, но общество предоставляет возможности для преодоления этого состояния – именно посредством моральных эмоций.

Дж. Стетс и ее коллеги проверили некоторые гипотезы, связанные с возникновением и выражением моральных эмоций, опрашивая студентов старших курсов, и пришли к выводу, что в большей части случаев люди сдерживают разрушительные эмоции или направляют их на безопасные объекты. Авторы полагают, что существуют устойчивые образцы реакции людей на свои действия, выраженные в их эмоциональных откликах на свои поступки[1]. Это исследование показало, что моральные эмоции тесно связаны с личностной идентичностью индивидов, поэтому в большинстве случаев индивид, определяющий себя как человека моральных правил, будет стремиться вести себя морально и отстаивать свою моральную идентичность. Эта идентичность занимает важное место в структуре личностной идентичности и направляет действия индивидов на поддержание нормативного порядка. Кроме того, на выражение моральных эмоций и их интенсивность влияют статусные переменные, т.е. моральные эмоции выражаются также под воздействием социальной структуры. Из всех моральных эмоций, изучавшихся в исследовании Стетс, чувство вины, по отзывам респондентов, испытывалось ими наиболее часто. При переживании чувства вины индивид озабочен тем, насколько его поведение может повредить другому, поэтому данная эмоция по праву характеризуется исследователями в качестве «моральной»[2].

Подводя итоги проделанной работы, можно утверждать, что социальный порядок трудно осмыслить вне категории социальной солидарности. Социальный порядок подразумевает определенную степень солидарности, социализацию поколений в рамках данного культурного порядка, общие верования, ценности, интересы, функциональную зависимость чле-

---

[1] The moral identity, status, moral emotions, and normative order / Stets J.E., Carter M.J., Harrod M.M., Cerven Ch., Abrutyn S. // Social structure and emotion / Ed. by J. Clay-Warner, D.T. Robinson. – San Diego (CA): Elsevier, 2008. – P. 228.

[2] Ibid. – P. 246.

нов общества (систему разделения труда), ритуалы как способ воспроизводства и оживления культурных ценностей и социальной структуры. Таким образом, понятие социальной солидарности подразумевает коллективные представления, мораль и идеологию, понимание своего места в разделении труда, ритуалы как механизм связи действий индивидов, эмоции, которые в целом порождают приверженность и привязанность к определенному социальному порядку. В социальных конфликтах, в переходных состояниях общества, при аномии индивиды находятся в состоянии дезориентации, поэтому типичными становятся чувства тревоги, отчаяния, гнева, которые представляют собой реакцию на нарушение морального порядка общества. В то же время эти чувства сигнализируют о необходимости восстановления порядка и поисках новых культурных символов, которые могли бы направить эмоциональную энергию индивидов и групп в функциональное русло, на создание нового социального порядка.

Сказанное выше позволяет предположить, что не только *отдельные* эмоции являются *типическими* внутренними состояниями, которыми индивиды управляют в соответствии с моральными ценностями и нормами, но и *связи между эмоциями* также являются *типическими* в том смысле, что одна эмоция *типически* ведет к появлению другой. Таким образом, эмоции могут складываться в *«эмоциональные цепи»*[1] по аналогии с понятием «ритуальные цепи» Р. Коллинза. Часто ритуалы запускают такие эмоциональные цепи, например, когда за скорбью и чувством отчаяния следует утешение, благоговение или священный трепет (искупительные ритуалы, по Дюркгейму). Эмоциональные цепи становятся ощутимыми, когда механизмы принятия роли другого (эмпатия или симпатия) приводят в действие другие, вполне определенные, эмоции. Все эти эмоциональные цепи имеют относительную стабильность, складываются в поведенческие комплексы, поэтому чаще всего они вписаны в социальный порядок и активизируют социальную солидарность. В одном из последних исследований показано, как разные эмоции, видоизменяясь и переходя в другие переживания, сохраняют свою длительность и влияние (в данном случае – применительно к решению о присоединении к социальному движению через год после агитации[2]). Более того, описанные выше длительные циклы «стыда-гнева» находят свое подтверждение в социальной психологии. Дж. Аверилл полагает, что эмоции – это целостные поведенческие синдромы, подчиняющиеся социальным предписаниям и выполняющие определенные социальные функции. Эмоции, как поведенческие комплексы, подобны социальным ролям, они подчиняются нормам исполнения в виде правил выражения и переживания эмоций. Поэтому эмоции – это одновременно и события и действия. Дж. Аверилл изучил проявления гнева в

---

[1] *Williamson E.* The magic of multiple emotions: An examination of shifts in emotional intensity during the reclaiming movement's recruiting / Training events and event reattendance // Sociological forum. – Malden (MA), 2011. – Vol. 26, N 1. – P. 48.

[2] Ibid. – P. 67–68.

повседневных взаимодействиях и сформулировал так называемые правила гнева[1]. Другими словами, поведенческий репертуар человека содержит «эмоциональные заготовки», которые Е.П. Ильин предлагает называть «энграммами»: «Память запечатлевает ситуации, при которых “эмоциональная заготовка” дает нужный эффект, и в последующем человек использует ее в аналогичных ситуациях»[2]. Так, американская улыбка является определенным культурным атрибутом и необходимым элементом взаимодействия.

В свете понятий «эмоциональная культура», «эмоциональная идеология», «эмоциональная энергия» можно предложить концепцию *«эмоционального режима»*. Это понятие не касается общих представлений о правилах выражения эмоций, о том, что люди должны чувствовать, или ситуативных правил выражения чувств, скорее оно описывает целостные поведенческие синдромы, где эмоциям принадлежит динамическая и связующая роль. Это понятие подобно термину «эмоционология» (emotionology), который употребляли К. Стирнс и П. Стирнс[3]. О. Риис и Л. Вудхед для анализа религиозных эмоций использовали понятие «эмоциональный режим». С точки зрения этих ученых, понятие эмоционального режима указывает на то обстоятельство, что эмоции образуют интегральную часть структурированных социальных и материальных отношений, которые формируют группы, разные виды деятельности и в том числе религиозные сообщества[4]. Эмоциональные режимы соответствуют разным институциональным порядкам и могут включать разнообразные эмоции и их комбинации, запускающиеся в данном контексте, т.е. эмоциональные цепи. Эмоциональный режим обладает внутренней связностью и ограниченностью, имеет длительность, но может прийти в состояние дисбаланса и дезинтеграции. Этот режим определяет, *как* индивиды могут чувствовать, *что* они могут чувствовать, как они могут или должны *выражать* эти чувства и какие формы отношений и курсы действия *открыты* для них в рамках данной структуры социального порядка (включая поведенческие модели, которые до конца не осознаются). Эмоциональные режимы удерживают репертуар различных эмоций и определяют ритм, значение, форму выражения и комбинацию эмоций, а также отсылают к определенному институциональному порядку и связывают его с другими институциональными порядками. Так, по мысли Риис и Вудхед, праздник Рождества не может быть понят вне представления об эмоциональном режиме. Эмо-

---

[1] *Averill J.R.* Illusions of anger // Aggression and violence: Social interactionist perspectives / Ed. by R.B. Felson, J.T. Tedesci. – Wash. American psychological association, 1993. – P. 182–184.

[2] *Ильин Е.П.* Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2007. – С. 145.

[3] *Stearns C.Z., Stearns P.H.* Emotionology: Clarifying the history of emotions and emotional standards // American historical rev. – Bloomington (IN), 1985. – Vol. 90, N 4. – P. 813.

[4] *Riis O., Woodhead L.* A sociology of religion emotion. – Oxford: Oxford univ. press, 2010. – P. 10.

циональный режим Рождества не только запускает определенные эмоции, но и оживляет групповые и институциональные нормы и ценности (семейные, политические, религиозные), культурные символы, а также обусловливает непосредственные взаимодействия людей, ритуальные практики, следование традициям, сборища. Сюда относятся телевизионные передачи, продажа рождественских деревьев и подарков, музыкальная культура и сценические представления. Так формируется «дух Рождества», или «эмоциональный режим Рождества»[1]. Данный комплекс настроений, чувств, действий можно назвать эмоциональным режимом, поскольку он содержит побудительные мотивы к формированию солидарности и санкции за несоблюдение ее правил. Те, кто не согласен с «духом Рождества» или равнодушен к нему, находятся под давлением, их часто вынуждают участвовать в эмоциональном перформансе. В противном случае их исключают из процесса празднования, квалифицируют как скучных и сухих, подвергают другим формам остракизма, провоцируя возникновение у них чувства одиночества, раздражение и возмущение. Другими словами, можно восстать против эмоционального режима, но избежать его невозможно.

В принципе понятие эмоционального режима вполне возможно заменить терминами эмоциональной культуры и идеологии в духе А. Хохшильд, которые предопределяют правила чувствования и правила выражения чувств. Но нам хотелось бы обратить внимание на то, что продуктивнее рассматривать эмоциональные режимы не только как свод правил, но и как практики и стратегии поведения, ритуалы, которые все вместе складываются в комплекс, подобно психологическому поведенческому синдрому (по Дж. Авериллу). Например, эмоциональные режимы не обязательно должны охватывать все культурное сообщество, они могут функционировать и на более низких уровнях культуры, в межличностных взаимодействиях.

В центре эмоционального режима находится «эмоциональная программа», характеризующаяся различимой шкалой эмоциональных тональностей; в некоторых эмоциональных состояниях доминирует страх, в других – зависть, в третьих – радость. Такие «программы» организуют эмоциональные тональности в продолжительные и сбалансированные гармонии, они не всегда полностью осознаются, но когда кто-либо нарушает тональность, то это сразу становится заметным[2]. Индивиды играют свои эмоциональные роли в эмоциональной драме, которую подразумевает эмоциональный режим. В некоторых режимах эмоциональные стандарты задаются с помощью авторитета, появляются так называемые «эксперты» для оценивания уровня эмоций в ситуациях и отслеживания соблюдения эмоциональных правил. Дж. Пирс изучила гендерную стратификацию в

---

[1] *Riis O., Woodhead L.* A sociology of religion emotion. – Oxford: Oxford univ. press, 2010. – P. 11.

[2] Ibid. – P. 47–48.

адвокатских конторах, где мужчины и женщины, находясь на одной и той же статусной позиции, должны выполнять разные эмоциональные правила. Мужчины-адвокаты могут быть агрессивными или демонстрировать дружелюбие в нужной ситуации, а женщины-адвокаты (но чаще работающие помощниками адвокатов) должны показывать доброе и материнское отношение к коллегам и клиентам, постоянно демонстрировать симпатию[1]. Эмоциональные режимы предполагают не только санкционирование, но и вознаграждение за приемлемое выражение эмоций. Многочисленная научно-популярная литература наших дней посвящена самовоспитанию, техникам, терапии и творчеству, связанному с выражением эмоций на работе, в семье, в других ситуациях и контекстах. Вся эта литература связана с эмоциональными идеологиями и эмоциональными режимами, направленными на поддержание консенсуса, конформности, в том числе и эмоциональной.

Эмоциональные режимы существуют на всех уровнях общества. Вудхед и Риис говорят о целом ряде эмоциональных режимов[2]. В одном культурном мире могут существовать противоположные режимы, один эмоциональный режим способен охватывать разные культурные сообщества. На макроуровне общества формируются более широкие эмоциональные режимы, которые определяют контекст изобилия разных режимов на микроуровнях социальной системы. Например, интимные эмоциональные ожидания в любовных отношениях формируются более широким эмоциональным режимом, который определяется не только окружающими социальными отношениями, но и многообразием культурных символов, материальных объектов и культурных практик[3], они задают ориентиры и задачи для этих отношений.

Эмоциональные режимы сопрягают между собой прошлое, настоящее и будущее[4]. У А. Хохшильд есть понятие «эмоциональные привычки», связывающие индивидов с их прошлым эмоциональным опытом; они глубоко укоренены в человеческой психике и трудно поддаются изменению[5]. Именно такие привычки входят в эмоциональные режимы. Эмоциональные режимы помогают понять, как привычные эмоциональные модели, идущие из детства, соотнесены с более широкими социально-культурными правилами. Риис и Вудхед полагают, что эмоциональные

---

[1] *Pierce J.L.* Gender trials: Emotional lives in contemporary law firms. – Berkeley (CA); L.: Univ. of California press, 1995. – P. 62–63, 98–99.

[2] *Riis O., Woodhead L.* A sociology of religion emotion. – Oxford: Oxford univ. press, 2010. – P. 50.

[3] См. об этом, например: *Swidler A*. Talk of love: How culture matters. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001.

[4] *Riis O., Woodhead L.* Op. cit. – P. 50.

[5] См.: *Hochschild A.R.* The sociology of emotion as a way of seeing // Emotions in social life: Critical themes and contemporary issues / Ed. by G. Bendelow, S.J. Williams. – L.; N.Y.: Routledge, 1998. – P. 3–16.

привычки передаются посредством эмоциональных режимов и связываются с культурными символами и образцами отношений в процессе социализации. Эмоциональные режимы способствуют и сохранению, и изменению моделей поведения. В этом смысле показательны исторические исследования эмоциональных режимов, которые в том числе помогут прояснить социальные отношения в тот или иной исторический период в том или ином месте[1].

Эмоциональный режим приобретает определенность, поскольку он связан с моральными кодами культуры, так что основную роль здесь играют моральные эмоции. Эти эмоции связаны с моральным Я, которое занимает верхнее место в структурной иерархии идентичностей и представляет собой особо значимые представления о себе. Поэтому ядро эмоционального режима составляет работа по управлению эмоциями и личностной идентичностью, связанными с коллективными представлениями культуры, а также усилия по поддержанию приверженности групповым ценностям, необходимые ритуалы для возбуждения, сохранения или сдерживания определенных эмоций. Эмоциональный режим формируется на основе эмоциональной социализации, он входит в эмоциональную культуру общества, но срабатывает почти автоматически при определенных условиях. Безусловно, здесь присутствует и биологический компонент, однако, как указывают новейшие исследования в области нейрофизиологии мозга и эволюционные объяснения происхождения сложных эмоций, эмоции вписаны в эволюцию социальной жизни. Поэтому нет необходимости в повышенном внимании к их биологическим аспектам: эти аспекты находятся в тесной связи с культурными представлениями[2].

Концептуально понятие эмоционального режима является эвристическим, поскольку не носит слишком абстрактного характера и, по сути, апеллирует к целостным социально-культурным практикам, т.е. охватывает неделимые поведенческие комплексы или синдромы (не всегда полностью осознанные и нередко играющие роль фоновых переживаний). Подобные эмоциональные цепи и режимы описаны в разных работах. Например, зависть, горе, любовь[3] в современной социологии считаются эмоциями, однако это сложные состояния, подразумевающие множественные эмоции, длительные и кратковременные, а также эмоциональные

---

[1] Такие, как, например: *Konstan D.* Emotions of the ancient Greeks: Studies in Aristotle and classical literature. – Toronto: Toronto univ. press, 2005; *Stearns C.Z., Stearns P.H.* Anger: The struggle for emotional control in America's history. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1986; *Zeldin T.* Personal history and history of the emotions // J. of social history. – Wash., 1982. – Vol. 15, N 3. – P. 339–348.

[2] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 369–384.

[3] См.: *Шёк Г.* Зависть: Теория социального поведения. – М.: ИРИСЭН, 2008; Handbook of the sociology of emotions. – P. 516–543; *Swidler A.* Talk of love: How culture matters. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001.

цепи, характерные для разных типов ситуаций. Так, горе может вызывать не только отчаяние, скорбь, подавленность, но и ностальгию, и даже радость[1]; любовь также чревата целым спектром эмоций[2], причем противоположных, позитивных и негативных. Изучение эмоциональных режимов дает возможность идентифицировать особые культурно-эмоциональные практики, которые не сводимы к отдельным эмоциям, идеям, нормам, ритуалам, статусному положению и прочим переменным.

Таким образом, проблема социальной солидарности в современной социологии эмоций решается посредством изучения психоэмоциональной динамики, которая зависит от культурных верований и норм, социальной структуры и ритуального поведения. При этом акцент делается на эмоциях, которые становятся «моральными», поскольку возникают при соотнесении с моральными нормами и ценностями, принятыми в данном обществе. Именно моральные эмоции отражают приверженность данному обществу, культуре, группе, социальной структуре, другому индивиду, воспроизводя моральный порядок общества. Моральные эмоции могут также быть коллективными. Эти эмоции часто возникают и воспроизводятся в ритуальных взаимодействиях, которыми проникнута повседневная жизнь общества. Большинство индивидов склонны переживать и выражать моральные эмоции в соответствии с правилами эмоциональной культуры, укоренившейся в данном обществе. Самыми важными эмоциями, необходимыми для социальной солидарности, являются сложные чувства вины и стыда, эмпатия и симпатия, благодарность, почитание, а также гнев, презрение и отвращение. Перечисленные эмоции могут складываться в «эмоциональные цепи», которые, в свою очередь, являются частью таких культурных комплексов, как эмоциональные режимы. Последнее понятие может способствовать осмыслению настроения определенной эпохи и оснований социальной солидарности в том или ином обществе.

[1] Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 519.

[2] Ibid. – P. 391.

О.Н. Яницкий

РИСК-СОЛИДАРНОСТИ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ[1]

1. Проблема

Современный мир вошел в фазу нестабильности: в нем наблюдается наложение сразу нескольких процессов: волн экономического кризиса, серии социальных революций (в Северной Африке, но не только), больших и малых социальных, этнических и религиозных конфликтов, а также природных и техногенных катастроф. Эти кризисы и потрясения являются стимулом формирования солидарностей людей по территориальному, социальному, этническому или религиозному принципу.

Задача статьи – рассмотрение процессов формирования *иных* риск-солидарностей в кризисных, в том числе критических обстоятельствах (природных и техногенных катастрофах), которые в общем и целом можно квалифицировать как смешанные или интегрированные.

Эти риск-солидарности суть группы людей, мыслящих и действующих солидарно (т.е. совместно, организованно) в условиях *реальной опасности*, угрожающей их здоровью, жизни и среде их обитания. В этом отношении данное понятие риск-солидарности отличается как от классического его понимания как результата разделения труда (по Э. Дюркгейму), так и от постклассических определений риска как *потенциальной* угрозы здоровью, имуществу и жизни людей, когда ставки очень высоки, а возможные потери невозможно определить, т.е. невозможно разрешить известную дилемму «затраты-выпуск»[2]. Как будет показано ниже, в принципе между солидарностями в условиях экономического кризиса, социального или этнического конфликта и критическими обстоятельствами (катастрофой) нет непереходимой грани – все они укладываются в рамки постоянно воспро-

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

[2] *Rosa E.A.* Metatheoretical foundations for post-normal risk // J. of risk research. – Abingdon, 1998. – Vol. 1, N 1. – P. 15–44.

изводящегося в капиталистическом обществе конфликта между риск-производителями и риск-потребителями. Что, однако, не означает, что в определенные периоды времени риск-производители могут быть одновременно и риск-потребителями. Последние – это те, кого жизненные обстоятельства *принуждают* жить и работать в рискогенной среде.

Конечно, сам характер солидарного мышления и поведения зависит от типа, масштаба и длительности угрозы, ее этапа, равно как и от других привходящих обстоятельств (местных условий, наличия ресурсов для защиты и т.д.), однако типологически все они обладают следующими чертами:

1) это солидарность лиц *разного* возраста, имущественного положения, профессии и т.д. Объединяющим началом является *реальная опасность*, избежать которой или по крайней мере смягчить ее последствия можно только совместными усилиями. Отсюда этот тип солидарности может быть назван *транссоциальным;*

2) это общность жертв риска и их добровольных спасателей (волонтеров, специалистов и жителей из других регионов), объединяемая альтруистическими целями взаимопомощи и общего блага. Поэтому данный тип солидарности я квалифицирую как *гуманитарный*;

3) это также общность людей, объединенных не общим местом жительства или родом занятий, а именно *общей опасностью*, избежать или смягчить последствия которой можно только совместными усилиями людей, знающих характер опасности. Отсюда я квалифицирую ее как *риск-детерминированную*;

4) данный тип солидарности как социального порядка диктуется именно чрезвычайными обстоятельствами – кризисом (катастрофой) существующего социального порядка, а не рутиной повседневности. Поэтому я называю его *мобилизационным;*

5) данный тип солидарности – подвижный, основанный на сетевых связях. Поэтому он может быть назван *трансграничным* или *глокальным*;

6) по мере достижения поставленной цели (ликвидация последствий катастрофы и оказание помощи пострадавшим) данная общность может переключиться на другой критический случай или находиться как бы в «спящем состоянии». Поэтому я называю ее *лабильной солидарностью;*

7) наконец, важнейшим результатом названных выше структурных изменений и процессов является кумуляция, *накопление солидарного чувства,* чувства *готовности к помощи другим* и тем самым изменение качества человеческого материала.

Солидарности риск-производителей имеют другие цели и структурно-функциональную организацию:

1) это солидарность лиц *разного* возраста, но одной цели: производить и охранять капитал, приносящий прибыль и личное благополучие. Их объединяющим началом является *реальная угроза* смыслу их жизни – бесконечному накопительству;

2) этот тип солидарности тоже может быть назван *транссоциальным.* Более того, движение капиталов и породило все формы трансграничного бытия;

3) в отличие от солидарности первого типа, этот тип никогда не находится в «спящем» состоянии. Напротив, эти типы солидарности находятся в постоянной борьбе как с первым типом, так и друг с другом. То есть это имманентно *внутренне конфликтная* форма солидарности;

4) также в отличие от первого типа данный тип не накапливает солидарное чувство, а, напротив, производит все более изощренные инструменты для *разрушения солидарностей* первого типа, а также своих конкурентов. Главное для этой общности – накопление экономических, политических и других ресурсов для раздробления любых противостоящих сил. Максима «Разделяй и властвуй!» сегодня столь же востребована, как и в Древнем Риме. Впрочем, как и более современная: «У Англии нет друзей, у нее есть интересы».

2. Пространство солидарностей

Выделенные два типа не являются раз и навсегда закрепленными. В контексте разнообразия общностей, населяющих ту или иную страну, часто случается, что в отношении одного и того же объекта возникает конфликт риск-солидарностей. Одни солидарности, например группы дачников, осваивающие вымирающие деревни, числят себя «позитивными» солидарностями, тогда как местное население видит в них разрушителей сложившегося уклада. Бывают и более сложные случаи, когда те же новые дачники, стремясь обосноваться поближе к ненарушенной природе, наносят вред заповедникам и другим особо охраняемым территориям. Получается, что дачники являются риск-производителями, тогда как заповедник и его работники – риск-потребителями. То же происходит и в макромасштабе при строительстве плотин, ГЭС и других крупных инфраструктурных систем.

3. Логика развития противостояния: Критический случай

Происходящее в последние годы умножение конфликтов и катастроф природного, социального и техногенного характера – свидетельство растущего противостояния риск-производителей и риск-потребителей. Множатся философско-социологические исследования страхов[1], исследования по катастрофическому сознанию в современном мире в конце XX в.[2],

[1] *Матвеева С.Я., Шляпентох В.Э.* Страхи в России в прошлом и настоящем. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000.

[2] Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века: По материалам международных исследований / Под. ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина, В.А. Ядова. – М.: Московский общественный научный фонд, 1999.

анализ способности людей противостоять страхам и тревогам[1], работы по риск-рефлексии в идеологии общественных движений[2]. В работах Л.Д. Гудкова страх трактуется как негативный модус соотнесения, переоценки важнейших повседневных практик[3]. Восприятие мегарисков и связанный с ними экзистенциальный страх исследуются в работах российских и украинских социологов[4]. Иными словами, множатся работы, посвященные поведению человека и сообществ в *экстремальных ситуациях*. Однако в большинстве случаев эти ситуации трактуются как «события», порожденные рисками различного масштаба и силы. Лишь в очень немногих проектах страхи (этнические и другие фобии) исследуются и трактуются как моменты особого типа воспроизводства социальной жизни и социального порядка[5].

Задача настоящей работы состоит в том, чтобы на основе разработанной мною концепции «общества риска»[6] рассмотреть логику эволюции социального порядка и, главное, – его «предел», который я называю критическим случаем.

Риск есть вероятность потерь (бедствий, разрушений, катастроф) или приобретений (благ, социального или культурного капитала), имеющих ценность для некоторого социального актора. Этот двойственный смысл риска (двойственная вероятность) заложен в каждом акте социального производства. Риски могут возникать естественным путем в ходе эволюции общества или же социально или политически конструироваться. Так, в современных условиях «конфликт» (центра и периферии, государства и одного из его субъектов, национальных групп) может не только

---

[1] *Шубкин В.Н., Иванова В.А.* Страхи, тревоги, способность противостоять им // Россия: Трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. – М.: КАНОН-пресс-ц, 2001. – С. 348–358.

[2] *Кузьмина А.А.* Риск-рефлексия в идеологии российского экологического движения // Россия: Риски и опасности «переходного» общества / Под ред. О.Н. Яницкого. – М.: Ин-т социологии РАН, 1998. – С. 199–224.

[3] *Гудков Л.Д.* Страх как рамка понимания происходящего // Куда идет Россия? Власть, общество личность / Под ред. Т.И. Заславской. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2000. – С. 429–38.

[4] *Головаха Е.И., Панина Н.В.* Социальное безумие: История, теория и современная практика. – Киев: Абрис, 1994.

[5] *Здравомыслов А.Г.* Социология российского кризиса: Статьи и доклады 90-х годов. – М.: Наука, 1999; *Клямкин И.М., Тимофеев Л.М.* Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. – М.: РГГУ, 2000; *Шабанова М.А.* Институциональные изменения и неправовые практики // Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса / Под ред. Т.И. Заславской. – М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук, 2001. – С. 319–327.

[6] *Яницкий О.Н.* Альтернативная социология // Социологический журнал. – М., 1994. – № 1. – С. 70–84; *Яницкий О.Н.* Россия: Экологический вызов (общественные движения, наука, политика). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000; *Яницкий О.Н.* Россия как общество риска: Контуры теории // Россия: Трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. – М.: КАНОН-пресс-ц, 2001. – С. 21–44.

конструироваться, но и доводиться до состояния критического противоборства групп интересов.

Риски являются следствием как действия, так и бездействия. Степень риска может варьировать от незначительной до критической, т.е. разрушительной для данного субъекта. Для всякого социального субъекта есть *социально приемлемый уровень риска*, детерминируемый культурой, его собственным опытом и конкретной ситуацией. Риски как всякий продукт общественного производства могут отделяться от их непосредственного производителя и функционировать в обществе самостоятельно как социальные или экологические «факты» (идеология, социальный проект, общественное движение).

Критическим я называю состояние социального субъекта или ситуацию, когда производство рисков как потерь (бедствий) является безраздельно господствующим способом социального производства. Критический случай есть предельный («идеально-предельный», употребляя терминологию П. Сорокина) случай производства риска именно как бедствия: максимальная ставка (угроза распада государства, конкретного сообщества, угроза жизни человека) в условиях максимальной неопределенности ситуации и перспектив (непрогнозируемость, некалькулируемость последствий).

В «обществе риска» критические случаи повторяются, воспроизводятся с регулярностью вследствие постоянно воспроизводимого внутреннего раскола в самом обществе на риск-производителей и риск-потребителей. В конечном счете возникновение подобных случаев коренится в отсутствии у общества и его социальных субъектов способности к обучению на ошибках и самокритике, т.е. к рефлексии.

Теоретически критический случай означает:

1) прекращение производства материальных и духовных благ и, следовательно, распад и постепенное исчезновение или перерождение всей совокупности социальных институтов и отношений, связанных с этим процессом. Созидание как основополагающая форма социального действия и, следовательно, как социологическая категория теряет смысл. Коллективные социальные субъекты переключаются на производство средств разрушения и обороны, равно как и на производство разрушительных действий как таковых;

2) происходит трансформация института труда. Во все времена мирный (созидательный) труд соседствовал с ратным, т.е. разрушительным. Однако в критическом случае фактической целью «мирного» труда становится разрушение, инструментом – насилие, а результатом – нанесение максимального ущерба «противнику». Под категорию мирного труда в таком случае подпадают заложничество, производство и торговля наркотиками, торговля «живым товаром», использование рабского труда, производство различных фальсификатов (продуктов питания, алкогольной

продукции, лекарств). Такой «мирный» труд порождает у риск-потребителей всеобщее недоверие и страх;

3) пределом этих трансформаций является изменение всего: социального порядка, социальной структуры сообщества, уклада повседневной жизни, психологии людей, отношения к природе. Поэтому возникающие в этой среде экологические или психические факты должны социологически интерпретироваться и рассматриваться в качестве социальных фактов («я хочу умереть» – социальный факт);

4) в критическом случае производство бедствий превращается из сопутствующего момента производства общественных благ в *доминирующий способ социального производства*, имеющий свои цели, ценности, институты и закономерности. Хотя внешне институты, организующие социальный порядок, могут сохраняться (законодательство, парламент), по существу это – уже другое общество;

5) производство рисков (именно как бедствий, разрушений) не может быть точечным процессом. Подобно тому, как социальное развитие осуществляется поначалу постепенно, «ареалами» и лишь на некоторой стадии становится всеобщим, так и целенаправленное производство рисков из точечного процесса рано или поздно превращается во всеохватывающий;

6) геноцид, война, подрывная деятельность, терроризм как массовые действия представляют собой не отдельные акты насилия и даже не их совокупность, но организованное производство рисков, нацеленное на разрушение некоторого социального порядка;

7) доминирование производства рисков формирует в критической зоне специфические «пространство и время». Физические расстояния измеряются не скоростью средств передвижения, а масштабом ожидаемых потерь и, соответственно, ресурсом, необходимым индивиду (группе) для обеспечения его минимальной безопасности. Риск и порождаемые им страх и всеобщее недоверие детерминируют траекторию, скорость и ритм пространственных перемещений риск-потребителей. Например, день и ночь оцениваются уже не как привычные периоды бодрствования и сна, работы и отдыха, а с точки зрения вероятности причинения ущерба и защиты от него, т.е. как более или менее опасные «временные коридоры» для человеческой активности;

8) производство «бедствий» подчинено «логике бумеранга»: террор порождает антитеррор, насилие порождает насилие, военные действия – сопротивление и т.д. Однако при длительном развитии критической ситуации в конечном счете складывается некоторое единое «критическое сообщество» (негативный симбиоз) риск-производителей и риск-потребителей;

9) в предельном варианте производство общественной жизни и социальных ценностей не только минимизируется, но и приобретает архаичные формы (собирательство, натуральный обмен, вынужденное иждивен-

чество, грабежи, похищение людей, выкуп). Экономически и социально активное население резко сокращается. Технологии разрушения и нанесения ущерба «противнику» становятся все более изощренными, а орудия разрушительных действий постоянно модернизируются. Возникает институт «обучения насилию и разрушению» (тренировочные лагери для обучения террористов, диверсантов). В рассматриваемом обществе форма более не соответствует функции – под шапкой организаций созидания (учебных, экспертных, спортивных, развлекательных) может осуществляться совершенствование разрушительного потенциала. Таким образом, в критическом случае понятие модернизации фактически приобретает разрушительный смысл;

10) социальная среда критического сообщества из поглотителя рисков трансформируется в их производителя, от которых страдают обе стороны, – и риск-производители, и риск-потребители. Рискогенная среда выталкивает трудоспособное население, ориентированное на созидательный труд, и, напротив, притягивает криминал во всех его формах. Формируется особый темпоритм функционирования социальной среды. В подобных ситуациях самоорганизация населения обретает специфические формы: организация сопротивления (партизанская война), посредничество (между враждующими сторонами), криминальный бизнес и сообщества взаимопомощи с целью физического выживания;

11) в предельном (критическом) случае в обществе возникают «зоны», непригодные для хозяйства и нормальной жизни из-за перманентной угрозы невосполнимых потерь вследствие конфликтов, военных действий или загрязнения среды. Даже много позже после формального установления мира обжитые ранее территории – зоны жизни – превращаются в «мертвые зоны» (земля непригодная для обработки, минные поля, отравленные реки, разрушенные поселения и ирригационные системы).

4. Историко-культурные и геополитические предпосылки

С одной стороны, критический случай представляет собой концентрированное выражение долговременных негативных тенденций. Распад СССР и последовавшие за ним разрушение экономических и социальных институтов, массовая безработица, социальная неустроенность, подавленность психики – все это привело в конечном счете к производству «энергии распада» и появлению «критических зон» на территории страны. С другой стороны, серия критических случаев является инструментом и результатом большой политической игры или проекта. Военная угроза или «маленькая победоносная война», массовые разрушения и катастрофы использовались как средства консолидации нации и мобилизации ее ресурсов с целью консервации разрушающегося социального порядка. Но если предпосылки для конструирования критического случая могут быть выявлены достаточно определенно, то траектория его развития и, следовательно, масштаб потерь не поддаются прогнозированию, потому что по ходу

дела в игру вступают все новые группы интересов. Так, чеченский, абхазский и ряд других конфликтов получили название «договорных войн», поскольку были результатом сговора военно-политических сил, находившихся далеко за пределами данного региона. То есть налицо соглашения риск-производителей и риск-потребителей.

Критический случай критичен именно потому, что стороны, вступившие в силовое взаимодействие, исключили историко-культурный фактор из своих идеологий, программ и практик этого взаимодействия. Так, по отношению к современной Чечне российские стратеги применили принцип «белого листа», высмеянный еще Л. Толстым в романе «Война и мир».

Например, Д. Фурман пишет: «Главный источник чеченских бед – само чеченское общество. Все чеченские проблемы упираются в одну – трудность создания в Чечне упорядоченного правового государства, трудность, связанная с глубокими особенностями чеченской культуры»[1]. Особое значение имеет двузначность, двумирность современной чеченской культуры. С одной стороны, это способность смело и изощренно воевать и побеждать, с другой – отсутствие идеологических и психологических предпосылок для построения своей государственности[2].

5. Производство в условиях катастрофы

Несмотря на свою кажущуюся исключительность, критический случай подчиняется общим закономерностям функционирования общества риска. С социологической точки зрения жертвы риска (убитые, пропавшие без вести, раненые, пленные, захваченные в рабство, психически покалеченные, сообщества беженцев и переселенцев) никуда не исчезают. Они, представляя собой социальные факты, порождают другие социальные факты, которые в конечном счете производят социальные изменения не только в социальном порядке «критической зоны», но и обществе в целом. Всеобщность риска состоит в том, что эти «последствия» *изменяют политический климат* в стране, влияют на общественное мнение и поведение людей, стимулируют возникновение новых инициативных групп и общественных движений, ложатся бременем на бюджет страны, на институты реабилитации и социальной защиты, формируют психологию молодого поколения.

Восстановление, выход из критического случая всегда дороже и дольше, при этом прежний уровень никогда не достигается. Как на месте срубленного дуба сначала может вырасти только осина, так и на месте разрушенного социального порядка может возникнуть сообщество, организованное на порядок ниже. Своего рода социальная сукцессия. Могут возразить: а стоит ли возрождать прежний порядок? Это – особый вопрос,

---

[1] *Фурман Д.Е.* Самый трудный для России народ: Чечня, которую мы не знаем // Независимая газета. – М., 1999. – 11 ноября. – С. 8.

[2] Там же.

который мы здесь не рассматриваем. Дело в другом – в ухудшении качества социума. В частности, под воздействием процесса отрицательной селекции, когда в процессе разрушительных действий изменяется качественный состав населения, гибнут (эмигрируют, дисквалифицируются, болеют, умирают) его лучшие элементы и остаются жить и плодиться «худшие». П. Сорокин подчеркивает, что «элементы морально чистые» не выдерживают «раздражений» среды, не могут отказаться от выполнения своего долга, что «усиливает риск гибели таких людей»[1]. Таким образом, говоря современным языком, критический случай означает невосстановимость былого человеческого капитала.

Критический случай в терминах социологии есть *гуманитарная катастрофа*, т.е. такое состояние общества, когда его институты неспособны самостоятельно поддерживать его жизнедеятельность на минимально допустимом уровне (самосохранение). Основные характеристики гуманитарной катастрофы – это отсутствие производства благ и услуг, голод, болезни, эпидемии, полная социальная и территориальная иммобильность. Сокращающееся и социально деградирующее вследствие названных выше причин человеческое сообщество выживает исключительно благодаря гуманитарной помощи (т.е. притоку ресурсов извне).

Большинство населения, прежде всего женщины и пожилые люди, хотят работать, получать нормальную зарплату, посылать детей в школы и вузы. Но жизнь на благотворительную помощь в конце концов разлагает. Народ к этому привыкает и начинает паразитировать. Поэтому в лучшем случае, как это и происходит на деле, приходится начинать с восстановления патерналистского социального порядка советского образца: минимальное государственное обеспечение мирного населения (зарплата, пенсия, пособие) при минимальной его ответственности за все остальное.

Выделим еще два признака этой гуманитарной катастрофы. Во-первых, «эхо» производства бедствий имеет очень долгий «период полураспада» вследствие неспособности соответствующих служб (похоронных, судмедэкспертизы и др.), занимающихся регистрацией катастрофы, выполнять свои функции должным образом. Речь идет о поиске убитых, раненых, пропавших без вести, похищенных военных и гражданских лиц, об их идентификации, информировании родственников, доставки тел убитых и похоронах. Этот процесс иногда растягивается на годы, ударяя не по виновным в непрофессионализме и халатности, а по родственникам погибших. Подчеркнем, что эти организации и институты (страхования, социальные службы) лишь частично могут элиминировать последствия катастрофы. Вместе с тем они играют роль посредников, передаточного звена в бесконечной цепи продвижения последствий риска вглубь страны, изменяя судьбы людей и семей. Такой вот специфический «бумеранг». Во-вторых, эта неадекватность государственных служб вынуждает родствен-

[1] *Сорокин П.А.* Общедоступный учебник социологии: Статьи разных лет. – М.: Наука, 1994. – С. 423–424.

ников вести самостоятельные поиски и расследования в одиночку, на свой страх и риск, теряя последнее здоровье и терпя бесконечные унижения от российской бюрократии. Возник даже специальный термин – «материнское расследование». Страдания тех, у кого родственники пропали без вести или погибли, – это тоже гуманитарная катастрофа.

В политэкономических терминах критический случай представляет собой легитимацию производства рисков, опасностей, разрушений. Критический случай для его непосредственных участников есть дважды экономически выгодное занятие. Во-первых, это производство оплачивается им как «служба» из государственного бюджета, причем, скажем, боевые действия оплачиваются (всем вовлеченным в конфликт сторонам) выше, чем просто военное присутствие. Во-вторых, капитализируются сами последствия производства бедствий. Например, как это было еще сравнительно недавно, контролировать разрушенный Грозный означало контролировать грозненские рынки, вывоз цветного металла с разрушенных предприятий и расположенные вблизи чеченской столицы нефтяные вышки. А кроме того – контролировать основные финансовые потоки из Москвы, направляемые на восстановление Грозного[1]. Наконец, критический случай увеличивает политический и социальный капитал его идеологов и организаторов.

Критический случай легитимирует не только производство разрушений, но и потери любых ресурсов. Иными словами, легитимируются все виды производства рисков, в том числе рисков для их производителя. Перефразируя известный принцип, можно сказать, что «критический случай все спишет» (людские потери, ресурсы, вложенные в восстановление городов, инфраструктуры и т.д.). Это старая форма легализации институционального «беспредела» – родная сестра столь же древнего принципа «победителей не судят». Вместе с тем подобные случаи являются рациональными и морально оправданными с точки зрения защиты национальной безопасности, поскольку позволяют списывать старую технику, опробовать новые военно-технические системы, совершенствовать тактику армейских и контртеррористических операций, т.е. модернизировать силовые структуры государства. В этом – еще одно проявление двойственности производства рисков.

Наконец, критический случай повсеместно порождает различные формы *теневого торга*: между носителями военной и политической целесообразности, между мирным населением и работорговцами, между призывниками и военкоматами (откуп от призыва в армию). Торгуются гражданские и военные, политики и депутаты о цене любой достоверной информации, касающейся возможного риска или реальной угрозы, о «цене помощи» тем, кто оказался в зоне критического случая, о праве распоряжения ресурсами и имуществом в зоне военного конфликта и т.д.

---

[1] *Кагарлицкий Б.* С террористами не разговариваем, но помогаем // Новая газета. – М., 2000. – 24–30 января. – С. 4.

Пространство критического случая может быть условно представлено в виде ряда концентрических кругов вокруг некоторой «горячей точки». Спецификой этой структуры «центр – периферия» является тот факт, что разрушительные действия направлены одновременно от центра к периферии и от нее – к центру. Чем выше давление центра в «горячей точке», тем интенсивнее распространяется «эхо» этих действий по всей стране. В конечном счете социальная экология критического случая представляет собой территориально расширяющуюся сеть источников и жертв риска.

Особо отметим такую форму производства разрушительных действий, как «безадресный и анонимный терроризм». В отличие от «адресного» теракта (т.е. целенаправленного риска), который обычно представляет собой «заявку» на диалог с противником, «безадресный и анонимный терроризм» является типичной формой *всеобщего риска,* поскольку имеет своей главной целью нагнетание атмосферы страха и неопределенности во всем обществе. Ему сопутствует другая форма всеобщего (безадресного) психологического давления на все население, безразлично, мирное или воюющее, – распространение тревожных слухов, «беспокоящий огонь».

Изучаемым нами случаям обычно сопутствуют два вида бизнеса: большой, завязанный на международные финансово-промышленные группы, и малый, строящийся на разрушениях и несчастьях мирных жителей. Большой бизнес войны – тема отдельного разговора. Поэтому отметим лишь те его моменты, которые воздействуют на среду обитания рядовых граждан. Возникновение критического случая очень часто есть результат столкновения в некоторой точке между конкурирующими силовыми и финансово-промышленными группами, находящимися далеко за пределами критической зоны. Критические случаи порождают вокруг них «неопознанные военизированные формирования» и группы местных жителей. Источником наживы первых и существования вторых является «окончательная» разборка инфраструктуры гражданских и военных поселений, зданий, брошенной техники, различных коммуникационных сетей и т.п.

Малый бизнес – это базар, на котором жители торгуют продуктами разрушений (кирпичом, деревом, металлоломом и прочими элементами строительного мусора), плюс сеть полулегальной торговли продуктами и предметами, проданными военнослужащими или кем-то украденными с еще действующих в зоне конфликта предприятий и инфраструктур (газ, конденсат, бензин, продукты питания). Как отмечается, ситуация «полувойна-полумир» является источником существования как рядовых военных, так и бедствующего населения. В общем и целом с экономической точки зрения рассматриваемый случай есть способ и форма утилизации *продуктов разрушений и распада*, и в этом смысле он принципиально не отличается от процессов, происходящих в обществе в целом.

Однако критический случай характерен особой формой экономических отношений – торговлей живым товаром. Речь прежде всего идет об экономической стороне процесса задержания / освобождения людей, по-

дозреваемых в участии в бандформированиях. Ему сопутствует рынок торговли правами человека, но рынок этот также «критический», криминальный, поскольку он основан на доносительстве и стремлении поживиться за счет чужой беды. Причем у жертвы нет никаких гарантий (= максимальный риск): если ты откупился один раз, скорее всего, заставят откупаться еще и еще. В подобных ситуациях формируются и сообщества людей, узурпировавших у государства функцию поддержания социального порядка и осуществляющих ее в форме частной торговли правом на жизнь.

Критический случай в терминах социологии есть также одна из фокальных точек *информационной войны*. Публичный дискурс по поводу «случая» формирует общественное мнение и детерминирует политический процесс, стимулируя возникновение (специфических) риск-размежеваний и риск-солидарностей. Подобная война затрагивает жизнь миллионов людей и организаций далеко за пределами критической зоны. Как свидетельствует новейшая история, все критические случаи были заранее так или иначе политически сконструированы и затем тиражированы СМИ. Всякий мельчайший поворот событий в зоне критического риска просматривается и оценивается «наверху» с точки зрения его политической целесообразности.

Вместе с тем информация как таковая и сети ее распространения – мощный ресурс производства разрушений. Поскольку критических случаев в российском обществе становится все больше (аварии, природные и рукотворные катастрофы, заказные банкротства, убийства и похищения), электронные СМИ постепенно превращаются в производителя *катастрофической атмосферы* в обществе. Так как человек не может все время адекватно реагировать на поток «черной» информации, мы получаем обратный результат: «наркотизацию страхом» и, следовательно, невосприимчивость людей к беде, апатию (астенический синдром, по Ю. Леваде). Заметим, что критический случай есть ситуация без обратной связи. Тысячи военных, политиков, ученых комментируют подобные случаи (Афганистан, Чернобыль, Чечня, Таджикистан), десятки благотворительных и иных организаций включены в этот коммуникационный процесс, кроме самого *местного населения*. Оно не имеет прямого права голоса, его мнение систематически не изучается и не анализируется.

В мотивационном смысле критический случай представляет собой механизм трансформации производителей благ или услуг в разрушителей или спасателей. Мирные граждане превращаются в солдат или боевиков, строители – в саперов и подрывников, больницы превращаются в госпитали и т.д. Особый момент – это понуждение к разрушительной деятельности, т.е. превращение в «боевиков» тех мирных граждан, которые стремятся жить мирным трудом. Частный, но важный момент: в российской культуре и политической традиции долгое время сохранялось уважительное отношение к противнику. Сегодня же криминальная («блатная») культура господствует почти безраздельно.

Когда сообщество лишено возможности нормально производить, оно старается выжить не только за счет гуманитарной помощи, но и за счет мобилизации внутренних ресурсов (накоплений, личного имущества), торговли с противоположной стороной. Солдаты продают ворованное горючее, местные жители – конденсат, произведенный на подпольных минизаводах по перегонке нефти. За право продажи воды населению соперничают федералы и теневые дельцы. Максимальный риск для жизни рядовых военнослужащих, помноженный на их материальную бедность и максимальную степень (политической и военной) неопределенности ситуации, в которой они находятся, инициируют процесс деградации армии как «производителя порядка». Чем дольше сохраняется подобная ситуация, тем интенсивнее силовые структуры деморализуются и тем меньше способны заниматься своим прямым делом. В мыслимом пределе эти силы превращаются в добытчиков пропитания, торговцев оружием и правом на жизнь.

Выше мы говорили, что одинаково рискогенными могут быть и ошибочные решения, и бездействие. В критических зонах растет число иммобильного и одновременно пострадавшего населения (старики, дети, раненые, больные, в том числе психически подавленные), в отношении которого «риск бездействия» может иметь необратимые последствия, особенно когда это касается самой беспомощной части населения. Если в других случаях (лагери беженцев) помощь все же приходит, то здесь цена вопроса – сотни и тысячи человеческих жизней.

Критический случай – это уже не стагнация и даже не демодернизация, а почти полная остановка общественного производства и, соответственно, нищета. Отец семейства (хозяин) не может прокормить семью, что для дагестанца или чеченца просто невыносимо. А рядом – бурный рост «производства разрушений», т.е. война, регулярная или партизанская. Поэтому, хотя критический случай экономически выгоден обеим воюющим сторонам, он разрушителен для мирного населения. Иными словами, критический случай еще и потому выгоден обеим сторонам, что создает ситуацию *максимальной неопределенности*: ни федеральные, ни местные органы власти должным образом не контролируют расходование бюджетных средств на местах. Поэтому неизвестно, на что идут выделяемые федеральным бюджетом деньги: на восстановление экономики, помощь переселенцам или же (по «черным» каналам и через подставных лиц) на закупки оружия и взрывчатки для боевиков.

Даже в ситуации перемирия («ни мира – ни войны») в недрах российской бюрократической машины невозможно отыскать фигуру или ведомство, персонально отвечающее за, скажем, социальную защиту немощных граждан, оказавшихся в зоне кризиса, за судьбу сотен одиноких граждан, затерянных на полях «критических зон».

Логика развития критического случая есть частный случай логики социальной деволюции. Любые созидательные действия (восстановление жилья, инфраструктур, социального порядка) имеют спорадический ха-

рактер, поскольку в конечном счете детерминируются именно логикой этого нисходящего процесса. Поэтому, по моему мнению, в ситуации критического случая рациональное, т.е. накопительное (расширенное), общественное производство невозможно вообще. Нормой является иррациональность: созидание – разрушение – частичное восстановление – снова разрушение... То есть порочная, но приносящая выгоду нисходящая спираль. Всякое креативное действие в данной ситуации может быть только частичным, временным, на скорую руку сделанным и только *за счет* ресурсов, привлекаемых извне или отнятых у другого, столь же эфемерного «производства». Кстати, это – доведенный до мыслимого логического предела советский «способ производства», одним из институционализированных механизмов которого было бесконечное латание дыр. Оборотной стороной этой двойной, разрушительно-восстановительной логики войны является истощение ресурсов государства, стремящегося восстановить социальный порядок на данной территории, и, как следствие, истощение ее ресурсов, направляемых на контртеррористическую операцию.

Таким образом, при всей специфичности критического случая, он есть логическое продолжение ситуации, сложившейся в государстве и обществе: то же господство бюрократии, тот же теневой рынок и черный бизнес, та же хроническая нехватка средств и потому постоянные задержки с выплатой зарплат, пенсий и «боевых», использование устаревших оружия и техники и весьма сомнительного, а то и просто негодного, «человеческого материала».

6. Логика беспредела

Критический социальный порядок означает разрушение «нормального» (привычного) порядка жизни и регулирующих его фоновых практик. Вместе с тем этот порядок есть среда, заставляющая находящегося в ней «нормального» (мирного) индивида пересматривать присущую ему систему ценностей и повседневных практик под единственным углом зрения – самосохранения и выживания. Критический социальный порядок – это также отсутствие гарантий основных гражданских прав и свобод: на жилище, труд, образование, медицинское обслуживание, права на свободное передвижение и волеизъявление, в общем – на все. Страх за собственную жизнь и голод – *основные «организаторы» социального порядка* в критических зонах. Ключевые семантические блоки, отражающие практику подобного порядка, – «сами мы ничего не можем», «ничего не знаем» и «ни на что не надеемся».

Критический порядок представляет собой совокупность порядков, приватизированных риск-производителями. Формально в «критических случаях» социальный порядок устанавливается и регулируется сверху государством и его силовыми структурами – местная администрация играет подчиненную роль. Функции институтов, обеспечивающих порядок, деформируются: органы прокуратуры из надзирающих за его поддержанием

превращаются в наблюдательные, армейские части периодически берут на себя функции розыска и дознания и т.д. Наконец, длительное существование критического случая порождает неподконтрольные ни той, ни другой стороне военизированные формирования, устанавливающие в зонах своего влияния свой собственный порядок. Такая чересполосица «приватных» социальных порядков создает ситуацию высокой неопределенности, разрушающую всякий социальный порядок.

Эта неопределенность есть средство поддержания критического порядка. Государство как социальный институт реагирует на каждый критический случай, однако «управлять» его разрешением не может. Слишком разные интересы задействованы в каждом конфликте, ресурсы недостаточны, мотивация заинтересованных сторон противоположна. Кроме того, всякий подобный случай есть легитимация сохранения существующей бюрократической машины, которая, в свою очередь, постоянно поддерживает систему «коллективной безответственности».

Далее, если в стабильном обществе социальный порядок покрывает всю подконтрольную территорию, т.е. действует повсеместно и постоянно, то в критическом случае социальный порядок ограничен во времени и пространстве. Например, блокпосты и иные опорные пункты силовых структур – это дневная сеть порядка, которая не покрывает всей территории критического региона. Ночью эта сеть превращается в очаги самозащиты. Но и ночная власть бандформирований тоже ограничена сетью определенных точек. В итоге за социальный порядок ночью не отвечает никто, значит, и устанавливать его на свой страх и риск может кто угодно

Вообще, всеобщий страх и столь же всеобщее недоверие – важные детерминанты критического социального порядка. Все боятся всех. Как писала А. Политковская, характеризуя ситуацию начального этапа второй Чеченской войны, «группировка в Чечне… живет в состоянии перманентного страха и когда ты до конца доверяешь только тем людям, которые рядом, плечом к твоему плечу»[1]. Всеобщий риск в терминах социального порядка – это максимальная дисперсность страха и недоверия, фактическая невозможность определения источника опасности и ее степени. Источником опасности может быть, по отзывам как воюющих, так и мирных жителей, кто и что угодно – любой военный или гражданский, любой предмет, дорога, «зеленка», игрушка.

Поскольку вся социальная среда в ситуации критического случая выступает по отношению к силам поддержания порядка как враждебная сила, осуществляющие этот порядок не имеют ни критериев, ни реальных возможностей для различения законопослушных и криминальных акторов. Поэтому так называемые адресные зачистки имеют своей целью не столько установление порядка, сколько уничтожение источников опасности для самих силовых структур.

---

[1] *Политковская А.* Планета в составе России // Новая газета. – М., 2001. – 11–14 января. – С. 7.

Напомним, что по закону антитеррористическая операция, как и всякая силовая акция, направленная на защиту социального порядка, есть действие против конкретного преступника (индивида, группы, сообщества). Однако в критических случаях идеологической основой устанавливаемого социального порядка фактически является доктрина «коллективной ответственности», т.е. коллективная ответственность акторов – источников риска и их жертв. Практики «нормального» социального порядка – обращение к прокурору, коменданту, службам социальной защиты, наконец, к любому другому «начальству» для того, чтобы легальным способом зафиксировать причиненный вред, – здесь неосуществимы, доминируют практики силовые. Вместе с тем службы социальной защиты, привыкшие работать в «нормальных» условиях и под защитой закона, оказались совершенно неготовыми к действию в условиях критического случая, т.е. в рискогенной, атомизированной и силовым образом организованной социальной среде.

В зоне критического случая уже не энергией распада, а полумертвыми *продуктами распада* являются «ничейные люди». Государственная система помощи оказавшимся в беде неизвестным старикам и беспризорным детям не прошла испытания критическим случаем. Трудно сказать, что может сделать в подобных условиях и другое защитное ведомство – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, когда эти «ничейные люди» спасаются по землянкам и подвалам этой зоны, и ситуация в каждой ее точке – чрезвычайная.

Поскольку в операциях по элиминации критического случая участвуют различные силовые ведомства, имеющие разные задачи, и поскольку логика силового взаимодействия сторон вынуждает российские силовые структуры действовать изолированными группами и подразделениями (блокпосты, группы зачистки, поддержки, прикрытия, местная милиция, группы самообороны и др.), эти социальные акторы начинают формировать собственные практики установления и регулирования социального порядка. Наличие подобных практик – еще одно свидетельство приватизации социального порядка.

Логическим завершением развития критического случая является *беспредел*, представляющий собой совокупность практик, порожденных «свободной волей» при фактическом бездействии правовых ограничений или санкций со стороны общества. С точки зрения концепции «общества риска» беспредел есть максимальный риск для риск-потребителей при минимальной ответственности для риск-производителей. *Зона беспредела – это социальное пространство, где невозможно жить, но откуда невозможно и убежать*. Наконец, беспредел обозначает «черную дыру» социального порядка, т.е. зону, где велик шанс исчезнуть без следа, без возможности найти погибших, опознать, похоронить как полагается (как это было в станице Кущевской).

Беспредел имеет двойственное происхождение. Его корнями являются слабость государственной власти, теневой рынок, криминализация части силовых структур, дедовщина, отсутствие гражданского контроля над армией. Вместе с тем беспредел чаще всего возникает в зонах вакуума социального порядка, т.е. прежде всего в зонах правового и информационного вакуума. Там, где прокуратура, милиция, гражданская администрация, равно как и СМИ, и общественные организации, должным образом не осуществляют своих функций. Беспредел, как правило, легитимируется двумя принципами: «достижение цели любой ценой» и «война все спишет».

Как и другие риски, беспредел как среда обитания порождает двойственную реакцию. С одной стороны, *непосредственно* беспредел означает экзистенциальное молчание, бездействие, отказ от какого-либо проявления себя как личности – не говорить, не называть себя по имени, никак не обнаруживать себя. И уж тем более ничего не требовать. Потому что всякое «обнаружение» может стоить жизни себе или близким.

Беспредел как безвыходная ситуация заставляет местных жителей готовиться к смерти, страх и усталость переходят в апатию: «Не все ли равно, как умирать, если жить нельзя?» Однако в ситуацию беспредела нападают практически все, находящиеся в критической зоне. Необходимость молчать, постоянные унижения, страх, невозможность кому-то пожаловаться, написать правду домой или рассказать ее журналистам, призвать на помощь представителей правозащитных организаций – таковы «пределы» этой зоны. Отсюда – желание многих из них выбраться из этой зоны любой ценой, бежать куда угодно, лишь бы там были еда и закон.

С другой стороны, у оставшихся в живых беспредел стимулирует накопление потенциала разрушения. Это желание мстить – всем, без разбора, без адреса за унижения, рабский труд, за содержание в частных тюрьмах, за попрание элементарных гражданских прав. То есть длительное воспроизводство беспредела в одном конкретном месте порождает *отложенную реакцию* смертельного риска для всего общества. Но это также и формирование «беспредельных» групп и сообществ, сбивание их в «стаи», выдвижение «своих авторитетов» для того, чтобы защититься от своих же. Наконец, из зоны беспредела есть хотя и эфемерный, но единственно возможный выход: откуп и выкуп, но опять же «беспредельный» – без всяких гарантий, контроля со стороны правозащитных организаций и в полном информационном вакууме.

7. Предварительные выводы

Мировая и российская практика показывает, что открытые и «замороженные» конфликты, внезапные и «ползучие» катастрофы становятся регулятивным элементом трансформаций существующего социального порядка. Международные организации, национальные правительства, корпорации и гражданские объединения перманентно занимаются борьбой с рисками и катастрофами. Проблема рисков и катастроф, их предсказания

и ликвидации последствий перемещается в центр научного и общественного интереса. Чем дальше, тем больше трансформационные процессы идут не постепенно, не эволюционно, а скачкообразно: через войны, революции и природные и техногенные катастрофы.

В основе этих конфликтов и катастроф лежит неустранимое противоречие между двумя большими группами людей: риск-производителями и риск-потребителями. Возникает *новый тип* социальной солидарности: риск-детерминированный по источнику, трансграничный и транссоциальный по характеру, лабильный и сетевой по структуре, гуманитарно ориентированный по характеру. Результатом названных выше структурных изменений и процессов является *накопление солидарного чувства,* чувства *готовности к помощи другим* и тем самым изменение качества человеческого материала. Этому типу солидарности противостоит другой тип солидарности: риск-производителей, начиная от политически ангажированных ученых и людей бизнеса и до всех видов силовых структур, их защищающих. В отличие от солидарностей первого типа, данный тип не накапливает солидарное чувство, а, напротив, производит все более изощренные инструменты для *разрушения солидарностей* первого типа, а также своих конкурентов.

Политическая борьба все меньше становится борьбой политических партий и все больше – борьбой этих двух групп интересов. Отсюда – появление множества новых социальных движений, как альтруистического, так и эгоистического (утилитарного) типа.

Критический случай представляет собой организованный беспорядок как специфическая форма сосуществования риск-производителей и риск-потребителей. Никакого другого «нормального» порядка здесь нет. Поэтому критический случай должен структурироваться и анализироваться как форма социального порядка: его базовые ценности и нормы, субъекты, структура, ресурсы, сфера охвата, механизмы осуществления санкций, способы институционализации и повседневные практики.

Общество не может существовать на принципах беспредела. Но и воспитанные, взращенные им люди не могут вмиг измениться. Поэтому беспредел будет постепенно трансформироваться в «порядок», но скорее всего поначалу основанный на законах «зоны», потом – «черного», теневого, «серого» бизнеса и т.д. Экономическая и политическая практики повседневно демонстрируют свою двойственность, двуликость в производстве материальных благ и социальных действий. Как мы уже не раз отмечали, обратный ход гораздо более труден и долог, нежели прямой.

8. Где же выход?

Подобные экономические и политические тупиковые ситуации множатся по всему миру. Современная Европа и ее «круг нестабильности» (от Греции до Латвии), цепь государств Северной Африки, Япония, Афганистан и, наконец, Россия показывают, что либеральная рыночная модель,

основанная на применении жесткой силы, себя изжила. Глобальная экологическая ситуация показывает, что следование этой модели грозит гигантскими экономическими потерями и социально-экологическими конфликтами. А главное, становится ясным, что *жизнь в кредит* или, что то же самое – потребительская идеология, (неважно, отдельного государства или отдельного человека), эта основа либеральной модели экономики, также есть критический тупик.

Значит, *производство рисков должно быть существенным образом сокращено.* Это означает, что риск-производители и риск-потребители должны договориться о переходе на иную модель общественного устройства. Это не может произойти сразу, но это – стратегическая задача для противоборствующих сторон. Иначе – война всех против всех с глобальным разрушением среды обитания человека. Сокращение государственных расходов, «опора на собственные силы», ограничение сверхдоходов высшего менеджмента, ограничение жизни в кредит, равно как и потребления рядовых граждан, увеличение пенсионного возраста, глубокая переработка природных ресурсов, развитие альтернативной энергетики, ужесточение налоговой политики – все это знаки *уже начавшегося процесса сближения* позиций риск-производителей и риск-потребителей. Однако в этом процессе есть принципиальный недостаток – эти неотложные меры продиктованы стремлением сохранить status quo *за счет* риск-потребителей.

Итак, у уже начавшегося трансформационного периода есть две задачи: тактическая – недопущение всеобщего хаоса; и стратегическая – переход к новому укладу жизни. Исходная позиция первого периода: согласие всех сторон «выложить свои карты на стол», т.е. получить достоверную картину настоящего. Затем длительный *переговорный процесс*, который уже по существу начался, но процесс *публичный*, т.е. с обязательным включением в него позиций риск-потребителей. Этот переговорный процесс сложен, так как страны и общественные силы в нем участвующие, находятся на разных фазах исторического процесса. Значит, необходимо найти «точки взаимопонимания», что возможно лишь при условии делиберативной демократии. До сих пор все переговорные процессы основывались на принципе *взаимной выгоды*. Теперь во главу угла придется поставить принцип *согласованного самоограничения*. Если этого удастся достичь, то возникнет *новый тип* социального порядка и социальной солидарности: организаций, групп и людей, производящих и потребляющих в границах необходимого и достаточного. Креативные потребности человека ограничить невозможно, но их реализация должна идти в рамках этического «коридора»: не навреди другим и природе. Дискурс скромности, который сегодня носит преимущественно демонстративный характер, должен стать императивом реального поведения людей и организаций.

Возможно, первыми шагами на этом пути будут (широко понятая) корпоративная солидарность и существующие социальные сети, но это уже вопросы последующего исследования.

О.А. Усачева

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СЕТЕЙ СОЛИДАРНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ[1]

Постановка проблемы

Летом 2010 г. на территории 22 регионов РФ сильнейшие лесные пожары частично или полностью уничтожили около 150 населенных пунктов, погибли более 50 человек, был нанесен серьезный урон не менее чем 60 федеральным заповедникам и национальным паркам[2]. Примерно с середины лета, когда ситуация начала принимать катастрофический характер, граждане, независимо от государственных структур, стали объединяться в группы для тушения лесных и торфяных пожаров, оказания помощи погорельцам, а позже – для разбора горельников и других коллективных действий. Низовая мобилизация отчасти происходила по инициативе экологических некоммерческих организаций (НКО), но во многом это было самостоятельным решением граждан, не являвшихся до того момента сторонниками или членами какой-либо НКО. Многие из этих людей вели собственные блоги в Интернете, общались на форумах и в социальных сетях, но не представляли собой реальную группу единомышленников, пока не произошла катастрофа. Именно она заставила людей объединяться в сети для осуществления солидарных действий.

Формирование множества гражданских объединений и эффективность их деятельности в период экологической катастрофы летом 2010 г. свидетельствуют о возросшем гражданском потенциале российского общества. Условия и причины мобилизации гражданских сетей будут рассмотрены в данной статье.

---

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

[2] Заключение Общественной комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в России в 2010 году. – Режим доступа: http://www.yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/09/14

Аналитические инструменты описания возникших гражданских сообществ

При анализе возникновения различных гражданских общностей в экстремальных условиях одним из наиболее подходящих объяснительных инструментом может служить предложенная О.Н. Яницким концепция риск-солидарностей[1] в рамках теории общества риска[2]. Теории «общества риска» и рефлексивной модернизации рассматривают производство и потребление рисков как фактор изменения социальной структуры общества и формирования общностей жертв риска, а также людей, солидарных с ними, но не понесших ущерба. Формирование риск-солидарностей является одним из возможных ответов на вызовы общества риска. Ч. Тилли, а позже М. Диани определяют солидарность через плотность социальных сетей и силу коллективной идентичности[3]. Именно в экстремальных условиях, в частности в периоды участившихся экологических катастроф, люди начинают объединяться в сообщества и актуализируют свой социальный капитал, накопленный ранее в социальных сетях. Проблемы идентификации в связи с возникновением общественных движений уже давно рассматриваются в западной социологии[4].

Риски выступают как новый фактор социальной стратификации: общество делится на производителей и потребителей рисков. Соответственно, выделяются два типа риск-солидарностей: солидарность производителей рисков и жертв этих рисков. Первый тип солидарности носит агрессивный характер и определяется как общность «людей, силовым образом “приватизирующая” в своих эгоистических интересах национальные ресурсы и воспроизводимые структуры общества, включая его социальный порядок». А второй тип, т.е. «солидарность жертв риска, – это общности людей, защищающих свое здоровье и безопасность»[5]. Солидарности потребителей риска создаются «снизу» и носят альтруистический характер, так как их участники озабочены не только своей личной безо-

---

[1] *Яницкий О.Н.* Риск-солидарности: Российская версия // ИНТЕР. – М., 2004. – № 2–3. – С. 52–62.

[2] *Beck U.* Risk society: Toward a new modernity. – L.: Sage, 1992; *Beck U., Giddens A., Lash S.* Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1994: *Luhmann N.* Risk: A sociological theory. – N.Y.: de Gruyter, 1993.

[3] *Tilly Ch.* From mobilization to revolution. – Reading (MA): Addison-Wesley, 1978. Diani M. Analysing social movement networks // Studying collective action / Ed. by M. Diani, R. Eyerman. – L.: Sage, 1992.

[4] *Obershall A.* Social movements: Ideologies, interests and identities. – New Brunswick (NJ): Transaction, 1993; *Johnston H., Laraña E., Gusfield J.R.* Identities, grievances and new social movements // New social movements: From ideology to identity / Ed. by E. Laraña, H. Johnston, J.R. Gusfield. – Philadelphia (PA): Temple univ. press, 1994. – P. 3–35.

[5] *Яницкий О.Н.* Указ. соч. – С. 53.

пасностью, но и безопасностью общества в целом. Эти общности, как и большинство гражданских объединений, имеют сетевую структуру.

В организационном отношении гражданские сети следует понимать как систему связей соучастия и взаимного членства между организациями, формально независимыми от государства, а также отдельными индивидами, действующими в пользу коллективных и общественных интересов[1]. Подобные сети имеют несколько основных характеристик: независимость членов, наличие нескольких лидеров (сетевых узлов) и объединяющей цели, добровольность связей, множественность уровней взаимодействия[2]. В свою очередь, сеть рассматривается не только как структура, но и как источник основного ресурса гражданского общества – социального капитала. Его объективированную структурную основу, по мнению П. Бурдье, и формируют сети социальных связей, которые используются для транслирования информации, экономии ресурсов, взаимного обучения правилам поведения и т.д.[3] Как показывает практика, в экстремальных условиях нарабатывается новый социальный капитал и актуализируется уже наработанный. В настоящее время площадкой и инструментом для его актуализации, возникновения новых связей и координации деятельности групп солидарности зачастую выступают Интернет и другие современные средства связи, такие как мобильная телефония, тем более что перечисленные ИКТ ослабляют зависимость от сообщений традиционных СМИ[4] и обеспечивают горизонтальную коммуникацию гражданских акторов.

Гражданская мобилизация в условиях экологической катастрофы

Пожары 2010 г. вызвали беспрецедентную для современной России волну гражданской активности. По оценке О.Н. Яницкого, «со столь массовой, независимой от государства, добровольной, благотворительной, гуманитарной деятельностью граждан Россия еще не сталкивалась»[5]. Сравнивая масштабы мобилизации, О.Н. Яницкий пишет, что российское общество «вернулось» в годы перестройки[6], но теперь «поднялись» не

---

[1] *Baldassarri D., Diani M.* The integrative power of civic networks // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2007. – Vol. 113, N 3. – P. 735–80.

[2] *Чучкевич М.М.* Что такое сетевая организация? – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1999.

[3] Цит. по: *Радаев В.В.* Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. – М., 2002. – Т. 3, № 4. – С. 26.

[4] Inroduction: Social movements and ICTs / Van de Donk W., Loader B.D., Nixon P.G., Rucht D. // Cyberprotest: New media, citizens and social movements / Ed. by W. van de Donk, B.D. Loader, P.G. Nixon, D. Rucht. – L.: Routledge, 2004.

[5] *Аверкиев И., Бедерсон В., Першакова Е.* Люди на пожарах: Общественное участие в борьбе с пожарами и их последствиями летом 2010 года: Гражданские смыслы и результаты. – Режим доступа: http://www.pgpalata.ru/actual/0023

[6] *Яницкий О.Н.* Мобилизационная структура гражданского общества. – Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=1924

только убежденные демократы, экоактивисты, «закоренелые общественники», но и те, кто обычно не участвует в коллективных действиях. Люди включались в спасательные операции и оказывали благотворительную помощь независимо от их социального статуса, места жительства, принадлежности к формальным организациям. Многие из «новичков-активистов» оказались активными пользователями Интернета – блогерами, участниками различных виртуальных сообществ и социальных сетей. Произошло очевидное расширение традиционного состава активистов, добровольцев и благотворителей. Среди них были те, кто непосредственно участвовал в тушении пожаров и ликвидации их последствий (часть этих людей продолжила аналогичную деятельность и в 2011 г.), и те, кто распространял информацию, собирал денежные и вещевые пожертвования, проводил координацию действий. Среди последних наиболее активными оказались блогеры, на время перепрофилировавшие свои интернет-дневники (doctor_Liza, i_chersky, annabaskakova, gua_nyin и др.), модераторы сайтов (например, форум на сайте г. Выкса в Нижегородской области «Виртуальная Выкса» и «Лесной форум» Гринпис России) и интернет-сообществ (pozar_ru, gr_russia и др.), лидеры экоНКО (например, Гринпис, «Дронт», «Точка Роста» и Дружина охраны природы МГУ и др.). Кроме того, была выявлена большая группа людей, которых можно определить скорее как жертвователей, а не добровольцев. Узнав о масштабах катастрофы, жители крупных городов, непосредственно не затронутых пожарами, живо отреагировали, начав собирать гуманитарную помощь и денежные пожертвования для оказания помощи пострадавшим. Это был «*достаточно активный поток. Народ-то действительно неравнодушен*» [*Из интервью с Каюмовым А.А., лидером экологического центра «Дронт»*].

Люди мобилизовались на двух площадках. Во-первых, в самих поселениях происходила координация местных сообществ для борьбы со стихией, включая помощь пострадавшим непосредственно на территориях выгоревших деревень и поселков (сюда же можно отнести информационные площадки, которые организовывали общественные организации в городах). Местные администрации не всегда оперативно реагировали на сигналы лесников и простых граждан об опасности возникновения новых очагов пожаров. Вполне объяснимо, что и многие неподготовленные местные жители, находясь в состоянии паники, не смогли отстоять свои дома и постройки.

Тушение лесных пожаров формально находится вне полномочий МЧС («*МЧСники в лес вообще не ездили, они все стояли только у населенных пунктов. В лесу тушили только одни лесники*» [*Из интервью с Андреевым А.В., охотоведом в п. Белоомут Московской области*]). Поэтому вся ответственность легла на плечи небольшого количества оставшихся у дел после осуществления реформы лесного хозяйства лесников и других представителей лесных служб, которые без помощи добровольцев физически не могли бы справиться со стихией. Необходимо также учитывать, что

помимо отсутствия необходимого количества лесных работников во многих лесничествах отсутствовала и необходимая техника. Справляться приходилось малыми силами. Так, например, вблизи поселка Белоомут тушением пожаров занимались восемь лесников, не имеющих специальной техники, охотовед, который привлек к этому охотников, мобилизовав свой, накопленный годами социальный капитал: «*У меня инициатива была чисто самостоятельная… охотники, как всегда, отзываются на мои просьбы*» [*Из интервью с Андреевым А.В., охотоведом в п. Белоомут*].

В период катастрофы стала проявляться интересная тенденция: добровольцы, объединившиеся для тушения пожаров в разных областях страны, почувствовали свою значимость и силу, поняли, что их действия приносят реальную пользу и от них многое зависит. Это чувство заставляло многих людей продолжать свою добровольческую деятельность и после летних событий: «*…люди, которые активно участвовали в тушении пожаров, в этих самоорганизационных процессах, по окончанию они же никуда не делись! Они продолжают рваться в бой*» [*Из интервью с лидером экоНКО*]. В кризисный период добровольцы, закончив тушение пожаров в одном регионе, перемещались в другой. Таким образом, по словам лидера одной из экоНКО, происходила межрегиональная координация.

Во-вторых, проявился огромный потенциал виртуальной мобилизационной платформы, где объединялись добровольцы, которых стихия непосредственно не затронула (чаще всего это были жители больших городов). Огромную роль в организации помощи пострадавшим и координации деятельности групп, тушивших пожары, сыграли виртуальные сетевые неформальные сообщества, которые за период пожаров приобрели корпоративные черты – свой кодекс, правила и нормы. В первую очередь речь идет о блогосфере, которая продемонстрировала очень высокий мобилизационный потенциал. Благодаря публичным виртуальным площадкам совокупная мобилизация оказалась более массовой; здесь находились соратники для тех людей, кто в одиночку, возможно, не собрался бы участвовать в тушении пожаров или в оказании помощи пострадавшим. На этих площадках «люди впервые за долгие годы не просто знакомились и “общались” <…> а сорганизовались для конкретной помощи конкретным людям»[1]. Кроме того, внутри виртуальных сетей информация распространялась намного быстрее, чем в традиционных СМИ, и часто отличалась от той, которую выдавали официальные источники, так как это был запрос снизу, от самих пострадавших. Официальные источники существенно занижали масштаб катастрофы и ее последствий во многом из-за того, что статистическая информация, на основании которой принимаются решения, основывается на данных наземных наблюдений, а тех людей, кто мог бы на местах обнаруживать очаги пожаров, убрали из леса. Гражданские группы, в свою очередь, пользовались разными типами информации –

[1] *Яницкий О.Н.* Мобилизационная структура гражданского общества. – Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=1924

данными местных жителей, а также результатами космического мониторинга пожаров. Таким образом, расхождения в данных, полученных государственными службами и гражданскими группами, могли исчисляться десятками раз.

Люди объединялись в виртуальные сообщества, обсуждая ситуацию в эпицентрах катастрофы, возможные варианты помощи пострадавшим, создание групп экстренного реагирования, а потом переносили свои виртуальные контакты в реальность, создавая другие группы для быстрой и адресной реализации согласованных в сети планов.

Интернет стал и необходимой информационной площадкой, и ресурсом гражданских сетей. Использование информационно-коммуникационных технологий ускорило информирование и коммуникацию, дало возможность оперативно, своевременно реагировать на экстренные вызовы, обеспечило массовость участия граждан в ликвидации пожаров и реабилитации пострадавших. Как сказал лидер крупной экоНКО, «*сетевые технологии сыграли громадную роль, и это тот инструмент, который реально… в ближайшие годы будет основным в самоорганизации <экологического> сообщества*». Мобильная телефония сделала работу добровольцев, сотрудников государственных служб и заповедников более оперативной и эффективной. Так, например, спасая от пожара Керженский заповедник в Нижегородской области, его сотрудники использовали исключительно мобильную связь, так они постоянно перемещались от одного очага пожара к другому: «*…работали удивительно дружно. Отчеты… в некоторых заповедниках писали по 30 писем, а мы, когда начали тушить, вообще у нас никаких не было бумаг, вся связь по сотовому телефону… днем и ночью, в любое время суток* [*Из интервью с управляющей Керженским заповедником в Нижегородской области, Коршуновой Е.Н.*]. Также сотрудники заповедника постоянно пользовались Интернетом для просмотра обновляемых карт пожаров.

Интернет и другие современные ИКТ оказались эффективными инструментами для координации и консолидации в отличие от традиционных СМИ – телевидения, газет, радио.

Все описанные гражданские сообщества и группы добровольцев объединялись вокруг одного или нескольких лидеров, взявших на себя ответственность за координацию деятельности сторонников и обладающих некоторыми ресурсами – например, блогом, который читает множество пользователей Интернета, – статусом модератора сайта или форума, доступной информацией, личными качествами, присущими лидеру[1], актуализированным социальным капиталом, накопленным в предыдущие годы. Значительная роль принадлежала актуализированным связям, в том

[1] *Davydova S.* The social roles of a Russian environmental movement leader // Modernization in Russia: Challenges to research and education / Ed. by O. Yanitsky. – Moscow; Barcelona: Taus, 2008. – P. 40–51.

числе личным, экологических лидеров, причем не только в своем сообществе, но и с представителями государственных служб и бизнеса.

Большую роль в мобилизации граждан сыграли экоНКО. В условиях катастрофы они были вынуждены отчасти переориентировать направление своей деятельности и совмещать исследовательские и другие работы с организацией помощи пострадавшим и содействием тушению пожаров в заповедниках и других природных территориях. Так, например, каждый день сотрудников нижегородской экоНКО «Дронт» начинался с проверки международной карты пожаров MODIS, открытой на период пожаров в Интернете для общего доступа («*мы с утра начинали отслеживать динамику: где? что? Это такая фоновая вещь*»). Помимо мониторинга новых очагов пожаров, экоНКО также помогали добывать материальные ресурсы: различные средства для борьбы с пожарами – от бензопил до мотопомп. Для этого лидерам организаций приходилось мобилизовать свой накопленный за годы работы с различными структурами (общественными организациями, бизнесом, властью) социальный капитал. Они обращались за помощью к представителям власти и бизнеса, координировали деятельность добровольцев, принимая звонки и объясняя, где и какая нужна помощь.

Интересны примеры образовательной и тренинговой деятельности экоНКО. Летом 2010 г. Гринпис России, Дружина охраны природы МГУ и некоторые другие организации проводили курсы для добровольцев по тушению пожаров[1], вывешивали на своих сайтах рекомендации по защите населенных пунктов от пожаров[2]; также Гринпис собирал пожертвования для закупки пожарного оборудования (ранцевых огнетушителей, пожарных рукавов, переносных мотопомп и т.д.) и экипировки для добровольцев. В ходе обучения проводилось патрулирование территорий заказников (*например, заказника «Журавлиная роща» в Талдомском районе Московской области*). Некоторые добровольческие группы, объединившиеся для борьбы с пожарами в 2010 г., продолжили свою работу и год спустя, но уже более организованными, технически и морально подготовленными[3]. Однако к этому времени государство начало регламентировать деятельность добровольных пожарных дружин: вступил в силу закон о добровольной пожарной охране (*ФЗ от 06.05.2011 № 100 «О добровольной по-*

---

[1] Нужны добровольцы для обучения тушению пожаров (11.08.2010). – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/4897470/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=pozhry_12.08.10%20%281%29&utm_content

[2] Рекомендации по защите сельских населенных пунктов и дач от пожаров на прилегающих природных территориях. – Режим доступа: http://www.forestforum. ru/viewtopic.php?f=9&t=7581&start=0

[3] См., например: Окский противопожарный семинар. – Режим доступа: http://gp-russia.livejournal.com/1445272.html#cutid1; Добровольцы передали эстафету МЧС (12.07.11). – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/forests/blog/35693/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content

жарной охране»), который, по мнению специалистов по охране природы, не способствует эффективной работе добровольцев, а, скорее, препятствует ей (*из высказывания А. Ярошенко, руководителя лесной программы Гринпис России на семинаре «Лес. Люди. Огонь» 21 мая 2011 г., Москва*). Тем не менее созданные дружины проводили весенние и осенние противопожарные экспедиции в разных регионах России.

На Западе, в частности в США, также «*есть то, что называется "институт общественных пожарных"*». Но эти люди, в отличие от российских добровольцев, проходят обучение и получают деньги за эту свою деятельность. *«Они в жизни занимаются кто чем: кто продавец, кто в банке, кто фермер, – но они являются членами вот этой общественной пожарной дружины»* [*Из интервью с управляющей Керженским заповедником в Нижегородской области Коршуновой Е.Н.*].

Последствия катастрофы имеют и некоторые относительные плюсы, связанные с взаимодействием гражданских организаций и государственных служб. Наученные печальным прошлогодним опытом, экоНКО и государственные структуры перед летним сезоном 2011 г. решили проводить совместные учения волонтеров[1]. Осенью 2010 г. Гринпис и другие экоНКО проводили акции по сбору желудей (например, акция «Миллион желудей»[2]), чтобы часть из них посадить в государственных лесных питомниках и часть – оставить до следующей весны и, таким образом, хоть как-то компенсировать огромные экологические потери. ЭкоНКО также развернули информационную кампанию по привлечению внимания к виновникам катастрофы 2010 г. По их мнению, одной из главных причин пожаров такого огромного масштаба стала реформа лесного хозяйства, фактически уничтожившая лесную охрану. ЭкоНКО призывали население поддержать требование экологического сообщества внести изменения в лесной кодекс. Тогда их поддержали более 40 тыс. россиян, подписавших обращение к президенту РФ Д.А. Медведеву, которое было передано ему лично.

Причиной лесных и торфяных пожаров катастрофического масштаба, по мнению общественников, стало в первую очередь прекращение профилактической работы по их предупреждению и разрушение механизмов выявления и тушения пожаров на ранних стадиях, т.е. ликвидация государственной лесной охраны. Усугублялась ситуация еще и неопределенностью статуса многих территорий и зон ответственности различных ведомств и организаций за тушение пожаров[3].

---

[1] МЧС и Гринпис будут вместе учить волонтеров тушить лесные пожары (19.05.2011). – Режим доступа: http://eco.ria.ru/nature/20110519/376882764.html

[2] «"Миллион желудей" нужно посадить!» – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/24-04-2011-acorns/

[3] Заключение Общественной комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в России в 2010 году. – Режим доступа: http://www.yabloko. ru/mneniya_i_publikatsii/2010/09/14

Государственные службы не всегда справлялись с тушением пожаров и оказанием помощи погорельцам. Происходило это отчасти из-за нехватки кадров, отчасти из-за несоответствия полученной информации реальной ситуации. По мнению общественной комиссии, с весны Рослесхоз, МЧС и региональные власти занижали масштабы пожаров и возможные угрозы, поэтому и адекватно отреагировать на катастрофу они не могли. Минздравсоцразвитие и региональные власти также оказались неготовыми к оказанию помощи населению: наблюдалась нехватка медицинских препаратов, масок, кислородных подушек и баллонов, в условиях задымленности в больницах из-за отсутствия кондиционеров прекращались плановые операции и т.д. Эти трудности послужили дополнительным стимулом гражданской мобилизации.

Нет сомнений, что летняя мобилизация была проявлением гражданской активности в интересах широкого круга лиц, не связанной с идеологическими установками и не направленной на коммерческую или иную выгоду. Иначе говоря, доминирующим мотивом участия был альтруизм. По мнению исследователей Пермской гражданской палаты, были и другие причины участия, например, наработка авторитета или социального капитала и даже азарт, так как для некоторых «бойцов» добровольческих команд участие в тушении пожаров было своего рода аналогом экстремального туризма[1]. Во многом отдельных активистов стимулировали к действию неудачные попытки властей справиться со стихией и ее последствиями на местах или даже замалчивание масштаба данной катастрофы. Работу государственной машины, не сумевшей быстро и эффективно отреагировать на катастрофу, на каком-то этапе начала выполнять другая система – эмерджентно самоорганизовавшиеся граждане, которые по отношению к этой машине действовали совершенно самостоятельно и независимо. Роль добровольцев в тушении пожаров оказалась вполне сопоставимой с действиями государственных структур. По оценкам экспертов, только в профилактических мероприятиях, таких как вспашка противопожарных полос вокруг поселков, лесов и дорог, ночных дежурств в поселках и т.д., участвовали несколько миллионов человек[2]. Гражданские активисты оказались очень изобретательными, смелыми, открытыми к новациям и, по сути, стали лидерами противопожарной кампании и оказания гуманитарной помощи. Их методы и формы деятельности зачастую оказывались более эффективными, чем деятельность государственных структур. Тем не менее государственные и гражданские акторы в определенный момент стали объединяться для достижения общей цели. Так, на-

[1] *Аверкиев И., Бедерсон В., Першакова Е.* Люди на пожарах: Общественное участие в борьбе с пожарами и их последствиями летом 2010 года: Гражданские смыслы и результаты. – Режим доступа: http://www.pgpalata.ru/actual/0023

[2] Заключение Общественной комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в России в 2010 году. – Режим доступа: http://www.yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/09/14

пример, «в ходе тушения пожаров государственные и гражданские организации действительно взаимодействовали, однако лишь в узком спектре форм помощи и только по унифицированным инструкциям»[1].

Пожары «преподали» серьезный урок российскому обществу: «*Люди – очень большое число людей, – поняли, что... мы должны и, главное – можем сорганизоваться и налаживать свою жизнь*» [*Из интервью с Каюмовым А.А., лидером экоНКО «Дронт»*].

Проанализировав состояние сообществ, сформировавшихся летом 2010 г., можно утверждать, что эти сети гражданской солидарности претерпели некоторую трансформацию, но остались отмобилизованными. Часть их участников снизила свою общественную активность, но многим роль активистов пришлась впору, и они продолжили добровольческую деятельность летом 2011 г., когда требовалась помощь в тушении лесов, заповедников и других особо охраняемых природных территорий.

Виртуальные сообщества по-прежнему продолжают функционировать, расширив поле своей деятельности и став в широком смысле сообществами экстренного реагирования (например, деятельность pozar_ru стала еще более широкой, и сегодня участниками сообщества являются 1200 человек).

Несомненно, что деятельность «новоиспеченных» активистов продиктована как альтруистическими мотивами, так и стремлением к особого рода личной «выгоде», поскольку они получили огромный опыт, который невозможно было бы приобрести в других жизненных обстоятельствах за такой относительно короткий срок: «…*спорный вопрос, чего в этой деятельности больше – пользы для себя или для окружающего. Я вот не могу однозначно ответить на этот вопрос. Столько разного для себя лично я приобрела за эти годы добровольчества*...»[2].

Выводы

Исходя из сказанного, можно сделать несколько выводов о формировании солидарных групп и гражданских сетей в экстремальных условиях:

1) стало очевидным, что созданные в период экологической катастрофы в 2010 г. гражданские сети основаны на чувствах солидарности и зачастую альтруизма;

2) сетевая гражданская мобилизация все чаще происходит с использованием ИКТ, что, в свою очередь, влияет на структуру соответствующих сетей, ускоряет коммуникацию между их членами, вовлекает в нее большое количество людей, расширяет охват территории, на которой осущест-

---

[1] *Яницкий О.Н.* Пожары 2010 г. в России: Экосоциологичесий анализ // СоцИс. – М., 2011. – № 3. – С. 3–12.

[2] Из комментариев в блоге одной из активисток: – Режим доступа: http://annabaskakova.livejournal.com/390409.html

вляется мобилизация добровольцев и ресурсов, делает более успешным процесс координации действий сформированных внутри сети сообществ;

3) гражданские сети, создавая платформу для распространения информации, являются более открытыми, прозрачными и быстрее реагирующими на внешние вызовы, чем государственные службы;

4) эмерджентно мобилизовавшиеся гражданские объединения оказались совершенно самостоятельны и независимы от государственной машины, которая не была готова быстро и эффективно отреагировать на катастрофу, и выступили для нее в качестве поддерживающей стороны и равноправного партнера в этой сложной ситуации;

5) гражданские сети продуцируют социальный капитал индивидов, инициативных групп и социальных движений – необходимый ресурс гражданского общества, который в будущем сможет использоваться для более эффективной и быстрой мобилизации, повышения возможностей индивидов и их групп, облегчения доступа к необходимым ресурсам и т.д.;

6) в 2010 г. произошло расширение традиционного состава активистов, которые действовали прежде всего на альтруистической основе, вне зависимости от их социального статуса, места жительства и принадлежности к формальным организациям. Произошло превращение значительной части населения из «обывателей» в активистов[1]; стал очевиден рост социального потенциала граждан, участвующих в сети.

[1] *Клеман К., Мирясова О., Демидов А.* От обывателей к активистам: Зарождающиеся социальные движения в современной России. – М.: Три квадрата, 2010.

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (г. ЛАС-ВЕГАС, 19–23 АВГУСТА 2011 г.), СЕКЦИЯ «АЛЬТРУИЗМ, СОЛИДАРНОСТЬ И МОРАЛЬ»

А.Б. Гофман

ЛАС-ВЕГАС КАК ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: ЗАМЕТКИ РОССИЙСКОГО УЧАСТНИКА ЕЖЕГОДНОГО СОБРАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 2011 г.[1]

Вы думаете, Лас-Вегас – столица азартных игр и развлечений? Ошибаетесь! Это центр социологической мысли! Во всяком случае, социологической мысли США. Во всяком случае, иногда. Точнее, 19–23 августа 2011 г. Именно в это время в этом месте состоялось Ежегодное собрание (meeting) Американской социологической ассоциации.

Надо заметить, что столь экзотическое для проведения научного мероприятия место, как Лас-Вегас, было выбрано не сразу. Первоначально оно должно было состояться в Чикаго, городе, широко известном своими социологическими традициями. Однако затем оно было перенесено – из-за неурегулированного конфликта между профсоюзами и отелями Чикаго. Заседания проходили в знаменитом и поражающем, помимо прочего, своими циклопическими размерами Дворце Цезаря (Caesars Palace).

Впрочем, не следует думать, что ранее Лас-Вегас вообще не имел никакого отношения к социологии. В нем имеется Университет штата Невада, в университете – вполне солидный социологический факультет, а на факультете работает известный в США и в России профессор Дмитрий Шалин. Когда-то, на рубеже 60–70-х годов мы с Димой учились на одном курсе в аспирантуре Института социологии РАН у любимого нами, незаб-

[1] Обзор подготовлен в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

венного Игоря Семеновича Кона. К сожалению, в предотъездной суете мне не удалось связаться с Димой заранее, а на самой конференции я не смог его увидеть.

В отличие от некоторых российских социологов, которые никак не могут решить, какой по счету всероссийский конгресс они хотят созвать, третий или четвертый, наши американские коллеги точно знают, в который раз они собрались в августе 2011 г., – это Собрание 106-е.

Несколько слов о самой Американской социологической ассоциации (ACA), ежегодное Собрание которой состоялось в Лас-Вегасе. Ассоциация (первоначально она называлась «Американское социологическое общество») была основана в 1905 г. Ее первым президентом стал один из пионеров американской социологии Лестер Уорд. В дальнейшем эту должность в разное время занимали такие известные социологи, как Уильям Самнер, Чарльз Кули, Роберт Парк, Уильям Томас, Эмори Богардус, Джордж Ландберг, Толкотт Парсонс, Герберт Блумер, Роберт Мертон, Пол Лазарсфельд, Питирим Сорокин, Льюис Козер, Эрвинг Гофман и др. Ассоциация представляет собой некоммерческую (non-profit) организацию, штаб которой находится в Вашингтоне. Ее главная задача состоит в развитии и популяризации социологии как научной дисциплины и профессии для достижения общественного блага. Эта организация насчитывает более 21 тыс. членов и представляет собой самую большую профессиональную социологическую ассоциацию в мире. Ее членами являются социологические факультеты университетов и колледжей, исследователи, студенты и практики. Примерно 20% из них работают в правительственных учреждениях, в бизнесе и некоммерческих организациях. Ассоциация издает, в частности, десять профессиональных журналов и других периодических изданий, среди которых «American sociological review», «Contemporary sociology», «Journal of health and social behavior», «Teaching sociology».

В ежегодных собраниях Ассоциации последних лет принимают участие примерно 6 тыс. человек, в том числе иностранные гости. Структура и деятельность ACA вполне отражают особенности общества США и специфику его демократических институтов. Я имею в виду, среди прочего, подчинение работы Ассоциации определенным формальным правилам, эффективно работающий штат, значимую роль репутации руководства, его реальную выборность и регулярную (ежегодную) сменяемость, делегирование ему полномочий и контроль «снизу вверх» и т.п.

Руководство Ассоциацией, и в частности должность президента, рассматриваются как почетная обязанность, основанная на признанном научном авторитете, на безупречной научной и этической репутации. Пост президента – это хотя и важная, но временная функция, а не бессрочная синекура или способ реализации определенных личных и групповых (экономических, властных и т.п.) целей. Последнее, к сожалению, слишком хорошо знакомо российским социологам.

С августа 2011 г. по август 2012 г. пост 103-го президента АСА будет занимать ранее избранный на этот пост профессор Эрик Олин Райт (Wright) из Висконсинского университета в Мэдисоне, представитель «аналитического марксизма», специалист в области социальной стратификации; а с августа 2012 г. по август 2013 г. функции президента будет исполнять избранная на последнем Собрании профессор Стэнфордского университета, специалист в области гендера и гендерной стратификации Сесилия Риджуэй (Ridgeway).

В качестве темы собрания 2011 г., предложенной Программным комитетом, был выбран «Социальный конфликт: Множественные измерения и арены». Обосновывая этот выбор, Программный комитет подчеркнул, что социальный конфликт постоянно присутствует не только в заголовках последних новостей, не только на поверхности, но и в глубинах социальной жизни. Он есть везде, где имеет место изменение, борьба или господство. Это явление имеет множество измерений, изучаемых различными научными дисциплинами. Но именно для социологии конфликт всегда был и остается основным предметом изучения, будь то классы, межрасовые отношения, этничность, гендер или сексуальность. Это подчеркнул в своем приветственном обращении к участникам Собрания 102-й (теперь уже бывший) президент АСА и руководитель Программного комитета, профессор Пенсильванского университета Рэндалл Коллинз, социолог, широко известный в мире, в том числе в России (удостоенный, кстати, в Лас-Вегасе одной из премий за монографию «Насилие: Микросоциологическая теория»[1]).

Для Собрания АСА 2011 г. Программный комитет предложил сосредоточить внимание на следующих сюжетах:

- Экономическое классовое неравенство, его причины и динамика в связи с такими явлениями, как капитализм, собственность, труд, здравоохранение, их сравнительные и международные аспекты.
- Революция, распад государств, война, терроризм и антитерроризм, а также ненасильственные формы конфликта.
- Социальные движения и их роль во всякого рода конфликтах.
- Этнические и расовые конфликты; религиозные конфликты различного масштаба; конфликты, связанные с изменениями и использованием окружающей среды.
- Политика в области сексуальности, сексуальные движения, работники секс-индустрии; гендерные конфликты, включая гендерный компонент насилия, объектом которого часто являются женщины (серийные и массовые убийства, изнасилования, домашний терроризм).
- Банды и преступные организации, включая международные.
- Дети в конфликтах; детское хулиганство; конфликт и насилие в школах и учебных помещениях.

[1] *Collins R.* Violence: A micro-sociological theory. – Princeton (NJ); Oxford: Princeton univ. press, 2008.

• Новые технологии видеонаблюдения и социального контроля; конфликт в киберпространстве.

• Политические и организационные конфликты; скандалы.

• Конфликт между институциональными аренами, такими как работа и семья.

• Микроинтеракциональный конфликт.

• Теории конфликта, включая обращение к социологам-классикам.

• Конфликт внутри социологии; интеллектуальный и идеологический конфликт; конфликт в культуре и различных областях культурной индустрии.

• Процессы и способы разрешения или какого-либо иного завершения конфликтов различного рода и уровня.

Важное место в Программе 106-го Собрания АСА заняли три пленарных заседания, проходивших под названиями: 1) «Прогуливаясь на прогулке и разговаривая разговоры: Работа в социологических традициях» («walking the walk and talking the talk: Working in sociological traditions»); 2) «Изменяющийся ландшафт политики в области сексуальности»; 3) «Пятьдесят лет развития исследований социальных движений». Кроме того, состоялись специальные заседания, инициированные президентом (special presidential panels), посвященные крушению Советского Союза, сравнительному изучению мафий и будущему капитализма. Первое из перечисленных заседаний организовал и вел президент Международной социологической ассоциации, профессор Университета Беркли (Калифорния) Майкл Буравой. На этом заседании выступили известные специалисты в области истории и социологии России: Стивен Коткин (Принстонский университет) с докладом «Кто убил коммунизм (дворецкий, подсвечником?)» [«Who killed communism (the butler, with the candlestick?)»]; Георгий Дерлугьян (Северо-Западный университет, Чикаго), получивший в прошлом году в России премию «Общественная мысль», ежегодно присуждаемую Институтом общественного проектирования, с докладом «Кто сделал это? Классовый анализ»; Нэнси Рис (Университет Колгейт) – «Авторитарный капитализм и условия жизни при постсоциализме»; Теодор Гербер (Висконсинский университет в Мэдисоне) – «Изменения и преемственность там, где мы меньше всего ожидали: Стратификация и формирование семьи в постсоветской России».

Программа включала в себя сотни сессий (550 регулярных плюс 90 тематических и специальных), секционных заседаний, «круглых столов», приемов, церемоний, посвященных вручению многочисленных премий и наград, и т.д. У меня сложилось впечатление, что в отличие от аналогичных мероприятий подобного рода в России, Собрание АСА представляло собой хотя и тщательно подготовленное и организованное, но вполне децентрализованное действо. Здесь не было хорошо знакомых нам докладов (мудрого) руководства о небывалых достижениях социологов страны за отчетный период, а были многочисленные формальные и

неформальные встречи, дискуссии и общение коллег, друзей и единомышленников. Впрочем, последнее как раз имеет место и на наших конференциях и конгрессах, несмотря на все бюрократические извращения и ухищрения.

Лично я участвовал главным образом в работе секции «Альтруизм, мораль и социальная солидарность». Это совсем новая секция, она была создана и получила официальный статус в АСА непосредственно на Собрании в Лас-Вегасе, прежде всего благодаря усилиям ее организатора и вдохновителя, профессора Университета штата Калифорния (Нортридж) Винсента Джеффриса. Подготовка к этому событию заняла более двух лет. Для официального признания и регистрации этой секции необходимо было участие в ней не менее 300 членов, что потребовало, конечно, значительных организационных и пропагандистских усилий. Еще до начала ежегодного собрания было выпущено несколько выпусков бюллетеня «Newsletter of the Altruism, morality, and social solidarity section-in-formation of the American sociological association» (переименован в «Altruism, morality, and social solidarity forum»).

Именно профессор Джеффрис пригласил для участия в работе этой секции и Собрания АСА в целом российских социологов, включая заведующего кафедрой общей социологии НИУ Высшей школы экономики Никиту Покровского, заведующего отделом социологии и социальной психологии ИНИОН РАН Дмитрия Ефременко, аспирантку НИУ-ВШЭ Ксению Лазебную и автора этих строк. К сожалению, профессора Покровский и Ефременко по объективным причинам не смогли принять непосредственного участия в работе Собрания АСА. Тем не менее они активно занимались предварительной подготовкой деятельности секции.

Необходимо отметить также участие в работе секции исполнительного директора Фонда Питирима Сорокина, базирующегося в Винчестере (Массачусетс) Павла Кротова. Его участие, так же как и российских социологов вообще, было совсем не случайно. Дело в том, что создание данной секции явилось в определенной мере реализацией идей Питирима Сорокина, организовавшего полвека назад Гарвардский центр по изучению созидательного альтруизма. Вообще идеи Сорокина лежат в основе деятельности новой секции, что постоянно подчеркивает в своих статьях и выступлениях Винсент Джеффрис. Естественно также участие в ней ученика Сорокина, одного из патриархов американской теоретической социологии Эдварда Тирякьяна (Дьюкский университет), выступавшего на заседании секции в качестве дискутанта.

Важно и то, что понятие социальной солидарности традиционно занимает центральное место в российской социальной мысли и социологии. Достаточно упомянуть в связи с этим труды Петра Лаврова, Михаила Бакунина, Николая Ножина, Николая Михайловского, Льва Мечникова, Петра Кропоткина, Максима Ковалевского, труды русских «солидаристов» XX в. (Сергей Левицкий, Роман Редлих и др.). Использование и развитие

идей этих и других российских мыслителей в той теоретической тенденции, которую обосновывают и намерены разрабатывать участники новой секции, представляются в высшей степени интересными и плодотворными.

Существует еще один фактор активного участия российских социологов в деятельности только что созданной секции АСА. Дело в том, что с 2011 г. коллектив исследователей, представляющих главным образом Сообщество профессиональных социологов (СопСо), кафедру общей социологии НИУ-ВШЭ и отдел социологии и социальной психологии ИНИОН РАН, приступил к реализации научно-исследовательского проекта (поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований), который посвящен изучению различных аспектов социальной солидарности (руководитель проекта – Дмитрий Ефременко). Очевидно, что взаимодействие и сотрудничество данного коллектива и новой секции АСА может оказаться чрезвычайно плодотворным для осуществления научных целей обеих исследовательских команд, тем более что они объединены одновременным участием некоторых социологов в них обеих и рядом общих теоретико-социологических и историко-социологических позиций.

В целом секция «Альтруизм, мораль и социальная солидарность» провела в Лас-Вегасе три официальных заседания.

Одно из них было посвящено организационным вопросам создания секции и как раз перспективам отмеченного сотрудничества между ней и участниками проекта СопСо, а также Фондом Питирима Сорокина. Обсуждались различные аспекты совместного российско-американского проекта сотрудничества в данной области. Ранее этому была посвящена специальная заметка в августовском номере бюллетеня новой секции[1]. В частности, речь шла о том, чтобы провести два тематических рабочих совещания в США и России, затем издать сборник статей в России и, наконец, учебное пособие или (что показалось мне более реальным) коллективную монографию в США, посвященные теме альтруизма, морали и социальной солидарности.

На втором заседании (434-й «специальной сессии» Программы) «Нынешние перспективы в области альтруизма, морали и социальной солидарности» с докладами выступили некоторые участники новой секции. После вступительного слова Винсента Джеффриса доклад сделал видный американский социолог-теоретик, хорошо известный и высокоценимый не только в США, но и в России, Джеффри Александер. Тема его доклада, с большим вниманием и интересом воспринятого многочисленными слушателями, – «Об альтруизме, морали и гражданских и негражданских солидарностях: Мораль как культурная система». Другой доклад, «Культурные модели и альтруизм», представил профессор Университета Беркли (Калифорния) Стивен Вэйси (Vaisey), удостоенный, кстати, премии АСА за лучшую статью в области социологической теории, опубликованную в

[1] Altruism, morality and social solidarity forum: A forum for scholarship and newsletter of the AMSS section of ASA. – Wash., 2011. – Vol. 3, N 1.

последнее время. Автор этих строк сделал доклад на тему «Традиция, мораль и солидарность в теории Дюркгейма». Наконец, как уже отмечалось, в качестве дискутанта выступил видный американский теоретик, ученик Питирима Сорокина Эдвард Тирякьян (Дьюкский университет).

Третье, завершающее заседание секции состоялось в последний день конференции, 23 августа. Частично оно носило организационный характер и касалось официального оформления и статуса секции в рамках АСА. Кроме того, на нем выступили с докладами четверо молодых участников секции, в том числе сотрудница и аспирантка кафедры общей социологии НИУ Высшей школы экономики Ксения Лазебная, которая представила доклад на тему «Роль символических медиаторов в современных социальных конфликтах: Новый взгляд на теорию социального символа Питирима Сорокина».

На мой взгляд, создание секции АСА, посвященной изучению альтруизма, морали и социальной солидарности, и начало ее деятельности следует оценить как существенный вклад в исследование важной проблемной области социологии. Несмотря на свою актуальность и наличие в ней серьезных теоретических традиций, эта проблемная область разработана совсем недостаточно. К настоящему времени массив исследований эгоистических аспектов социального поведения и социальных конфликтов в социологии весьма значителен, о чем, собственно, свидетельствует и тема 106-го Собрания АСА. И это вполне естественно, так как конфликты в настоящее время, как и в прошлом, – одна из главных социальных проблем. Однако большой удельный вес исследований по этой тематике в сравнении с исследованиями солидарности и альтруизма чреват серьезной аберрацией и в массовом, и в профессиональном сознании: в нем может сформироваться представление о том, что конфликт и эгоизм – это норма социальной жизни, тогда как солидарность и альтруизм – своего рода патология.

Такое представление, несомненно, ошибочно. Нет никаких оснований полагать, что конфликт более «нормален», чем солидарность, согласие и альтруизм. Кстати, последние также могут представлять собой социальную проблему, и далеко не всегда их следует отождествлять с общественным благом. Конфликт и солидарность составляют две неразрывно связанные между собой стороны социального взаимодействия, а потому они не могут быть поняты изолированно друг от друга. В общем, здесь есть что исследовать, данная проблемная область имеет важное научное и практическое значение и ее следует разрабатывать самым энергичным образом.

Следующее, 107-е Собрание Американской социологической ассоциации состоится в августе 2012 г. в г. Денвере.

Дж.Ч. Александер

МОРАЛЬ КАК КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА: О СОЛИДАРНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ И НЕГРАЖДАНСКОЙ

J.C. Alexander

Morality as a cultural system: On solidarity civil and uncivil[1]

Solidarity is a central dimension of social order and social conflict, yet it has largely been absent from influential theories of modern society. Most of the big thinkers, classical, modern, and contemporary, have conceived prototypically modern relationships as either vertical or atomised. Modernization is thought to have smashed affectual and moral fellow-feeling: Because of commodification and capitalist hierarchy (Marx), because of bureaucracy and individualistic asceticism (Weber), because of the growing abstraction and impersonality of the collective consciousness that allows egoism and anomie (Durkheim). Postmodernity is typically seen as liquefying social ties and intensifying narcissistic individualism (Bauman); or as creating new forms of verticality, for example the disciplinary cage (Foucault).

It might be objected that none of these influential modern and postmodern thinkers actually wanted to dispense with solidarity, and that each saw it as something that some future order might be able to restore, or at least should try. But their sociological contributions, the concepts they created and the empirical picture of modernity they painted, pointed towards and explained the dissolution of solidarity, not its maintenance and creation.

It would, of course, be foolish to deny the modern forces that dissolve solidarities. Classical, modern, and postmodern theorists have identified destructive tendencies. Any effort to theorize contemporary social systems must give them their dangerous due.

[1] Presented at the ASA meetings in Las Vegas, 23 August 2011, at a Special session inaugurating the new section on «Altruism, morality and social solidarity». The session and the section were organized by Vincent Jeffries.

It would be equally wrong-headed, however, to accept the idea that solidarity has disappeared as a fundamental dimension of social life. As such Pragmatist theorists as Cooley demonstrated, «primary» groups continue to provide intimate associations inside modernity. The face-to-face associations are the bread and butter of the ethnographic sociological tradition that emerged from the Chicago school, which demonstrates the continuing vitality of centrality of solidarity, without, however, usually evoking that term.

This American ethnographic tradition, however, is almost entirely microsociological. Neither the phenomenon of solidarity nor the intellectual idea of it can be found in the macrosociological traditions that, for better and often for worse, have withstood the test of time. This is not to say that there are not conceptual strands of it floating around, like an intellectual version of junk DNA. As Durkheim began to appreciate primitive religion, as he struggled to break free from the constraining yoke of modern rationalism, he spoke about *«le plaisur d'associer»* (see J-C Filloux, *Durkheim et le socialism*[1]), and even in his earliest work of macrosciology, *The Division of social labor*, he famously evoked the term. Parsons actually tried to make solidarity into one of his four boxes, but he identified too closely with social integration and rule following, suggesting the I-subsystem created not values but norms.

I have discussed the dearth of solidarity in our theoretical legacy from a critical point of view, implying that solidarity's presence in contemporary social life can hardly be doubted. My 2006 book, *The civil sphere*[2], makes the case that solidarity remains a central dimension of cultural, institutional, and interactional life in contemporary societies. The book is a systematic theory of civil solidarity, but it is also a polemic against how so much of contemporary social theory has tried to make solidarity disappear.

Solidarity should indeed be given new attention as a sociological concept, along with the morality and the possibilities for altruism the idea of solidarity implies. But my warning is this: We cannot make solidarity into an easy idea. We must «think the hell out of it». We must explore the weaknesses that are betrayed in traditional ways of thinking about solidarity, and face the real moral dangers that solidarity often poses in the world today.

We might begin by recognizing the «psychologizing» that discussions of altruism and morality often imply. From ancient times until today, altruism and morality have typically been understood as individual qualities, as issues of virtue and character (see Vincent Jeffries's scholarly piece on the virtue tradition). The idea is that people need to feel and think in an altruistic and moral manner. The implication is that moral individuals make moral societies.

But it seems to me that the very essence of sociology is to challenge such a suggestion. There is a micro-reductionism at work here, a failure to recognize the emergent properties of collective social organization. How far into the col-

[1] *Filloux J.-C.* Durkheim et le socialisme. – Genève: Droz, 1977.
[2] *Alexander J.C.* The civil sphere. – Oxford: Oxford univ. press, 2006.

lective and with what social organizational strength does moral «motivation» extend? Individuals can be altruistic to their friends and family, and immoral to members of other, less intimate and immediate circles. To what others among the innumerable others whom the scope of our actions effect do we extend the umbrella of our personal moral principles?

This is a critical philosophical issue. The communitarian tradition doesn't see extending micro, or local, morality as a major problem. But it is the very heart of Rawls' moral philosophy. In his famous thought experiment, the test of morality is not whether you are kind and generous to your friends, but what you would do once you wrap the «veil of ignorance» around your eyes, such that you enter into the «original position» where you know nothing about who you are, what your identity is, or what your interest is. What is moral is what is just: What demonstrates respect for the autonomy of every single individual in society, no matter what their position, virtue, or character.

Durkheim became the founding father of moral solidarity theory because he clearly understood this micro-macro distinction. Rather than being the communitarian *avant la lettre* that so many have tried to make of him, Durkheim sociologized Kant's analytical argument for universalism, speaking not of moral principles, virtues, or character but of *social* morality.

If there is a single take away message from Durkheim on morality, it is that morality is society writ large. If religion is a mirror in which the social is reflected, so is morality. Morality expresses social solidarity. It is composed of social values, organized around totemic symbolic figures like teachers and leaders, and energized by periodic social rituals.

The problem is that, while Durkheim follows Kant in his identification of moral principles with autonomy and rationality, he provides no way of distinguishing the kind of social morality organized around these principles from others. We can be moral and altruistic to one another when we share the same totem and participate in the same rituals, but these sociological processes can create horrific particularism, an insiders' morality that allows people, even compels them, to act *im*morally to those outside the restricted circle of the we.

We are back to our earlier problem. To emphasize the centrality of morality, altruism, and solidarity is either not enough or too much. We need a macro-theory that differentiates between different kinds of morality and solidarity. Sociologists know all about how societies are stratified and fragmented along every conceivable line. Each of these fragments sees itself as moral and others as not. This is provincial morality. What we are looking for is cosmopolitanism.

I have two propositions here: 1) A more universalizing and cosmopolitan morality depends on significance. The wider range of «others» that a society can make significant, the more stretched, universal, and inclusive our morality. 2) Significance is a function of signification: What is the nature of the symbolic discourse that circulates in society? How are moral signifiers extended to different classes of social signifieds?

All sorts of powerful symbolic discourses are primordially restrictive, inspiring rituals that simultaneously inflate solidarity while narrowing its scope. Think of racial and gender discourses, and civilizational and religious chauvinism. Think Samuel Huntington, but also some celebrations of difference politics on the liberal side.

What makes this ritualistic narrowing of solidarity particularly difficult to understand is that it is almost always intermixed with more expansive moral forms.

• Think about the ante-bellum Southern states, whose elites practiced respectful democracy among themselves, and often included white yeomen, while bestializing and excluding non-whites.

• Think of Apartheid South Africa, where whites treated one another in quite a universalistic way that exhibited democratic morality, even as they criminally subordinate blacks and Asians.

• Or supposedly modern Germans, whether conservative or socialist, and their horrendous treatment of their Jews. Or the very democratic and modern Swiss who pass laws against building mosques.

• Or the socialist French and British who propose laws to prevent Muslims from wearing religious clothing. Think of the racial othering in which liberal Americans engage, despite their best moral principles, in their streetwise life of the everyday.

• Think of the wars against one another that enlightened Western nations have waged and their colonization of non-Western peoples. The rationale has been: We are moral, they aren't. It is our moral duty to dominate the other so that we can make them moral, which often involves killing them as a result.

The idea of morality equating with solidarity and altruism is not correct. It must be complicated so that the stigmatized «other» can be brought back in, so that othering can be understand as intrinsic to morality as a cultural system.

We need to be able to see, and to study, how acting badly is morally compulsive, how people can, in everyday language, be moral and immoral at the same time. In order to do this, we must make the semiotic shift. Morality cannot be essentialized. From the sociological point of view, it is only not a normative order but a cultural system. Cultural systems are semiotic languages. Like every other meaningful sign system, moral principles are defined relationally. Moral meanings are binary: the good is defined by the bad, and vice-versa. Evility is part of morality every bit as much as the good. Yes, morality and solidarity are symbiotically connected. Understanding that morality is a binary, however, allows us to see that social rituals gain energy by polluting others as profane, not only by identifying «us» with the sacred.

This is why in my own work I have spoken about civil and uncivil solidarities. Since the beginning of the early modern nation-state, the history of the civil sphere has been a long and winding road. From religion, from the Enlightenment, from socialist and democratic movements, even from the idea of the nation itself there emerged the utopian idea that everybody, no matter who or

what they were, could be members of a broad, encompassing, and universalizing «civil» sphere. The hope was that a sphere of solidarity could be sustained that would be relatively independent of the restrictive solidarities and moralities that flourished alongside it, such as class arrogance, religious restriction, ethnic prejudice, regional antagonism.

Yet, while the civil spheres of modernizing Western nations did have significant democratic effects, they also supported incredibly inhumane restrictions and exclusions. The moral discourse of civil society is binary. It is just as concerned with defining anti-civil evil as civil good. It defines the virtues required for civil participation and the qualities that disqualify groups from civil membership. It excludes the latter on the moral grounds of protecting civil society itself.

• For centuries, it was inconceivable – on moral grounds – that putatively intemperate, uneducated workers could become active citizens. The same held true for supposedly irrational and diffident women and of course, even more harshly, for non-whites, who were thought to border on the animalistic. If you were not Christian, you were also out of luck.

• It's important to understand that these suppressions were carried out in the name of morality and solidarity.

• Read Kant's remarks on the moral and emotional incapacities (and that is putting it mildly) of Blacks and «Orientals» in his essay on The origins of the beautiful and sublime. It is depressing to see the thinker who represented the highest values of Enlightenment moral philosophy feeling he has to draw the line between civilization and barbarism. At the same time, one must acknowledge that Kant's essay on cosmopolitanism represented the first great challenge to the idea that civil morality could be restricted to the boundaries of the nation state.

Let me conclude by noting that the expansive reach of civil morality not only marks democratic boundaries of institutions but inspires radical social movements. In a democratic uprising, civil solidarity moves from abstract discourse to concrete enactment. I document exactly this kind of civil performance in my new book, *Performative revolution in Egypt: An essay in cultural power*[1]. The winter uprising overthrew Mubarak not because of material resources as the result of its cultural power. It gained this power by drawing into its ranks the widest possible gender, ethnic, religious, political, and religious representation. Civil solidarity became a reality for the first time, and the pulsating performances in Tahrir Square presented a democratic utopia in microcosm.

Exactly the same can be said for the «protest camps» that have been set up throughout Israel during the later weeks of summer, 2011. Young and old, women and men, settlers and peacenicks, secular and religious, and people from every social class – they have gathered together in the hundreds of thousands, organizing themselves democratically, to protest against the destruction inequal-

[1] *Alexander J.C.* Performative revolution in Egypt: An essay in cultural power. – L.; N.Y.: Bloomsbury academic, 2011.

ity that is undermining civil solidarity in Israel. This movement is not more moral or more altruistic than other movements. The settlers and the religious right are deeply moral, and altruistic to their own kind. What distinguishes the protest camps is the civil nature of their morality and their utopian hopes for expanding solidarity.

There is, however, another, more ominous moral element shared by these radical social movements in Egypt and Israel. While calling for more altruism and civil solidarity inside of their nations, each has had much more ambiguous orientations to other national solidarities outside. Democratizing Egypt has already given clear signs of pushing its foreign policy in a decidedly anti-Israel direction. For its part, Israel's protest camp movement has conspicuously failed to cite slogans from the peace movement. To maximize internal solidarity, it has included groups who support settlements and oppose trading land for Palestinian peace. Even the most expansive efforts to establish a more civil solidarity cannot escape from the binaries that define morality as a cultural system.

В. Джеффрис

СОЦИОЛОГИЯ ДОБРА И КОНЦЕПЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

V. Jeffries[1]

The sociology of the good and the concept of virtue

In his 1965 Presidential address to the American sociological association Pitirim A. Sorokin evaluated the state of the discipline. In so doing, he advocated an important vision of how sociology could progress as a science. This vision of future growth included the prediction that sociology would replace an emphasis on the study of social pathologies with a more balanced approach. Equal attention would be given to positive sociocultural phenomena, such as creativity and altruism[2].

This focus of scientific activity on the positive, or good, was previously elaborated by Sorokin[3]. A number of specific topical areas were suggested: increasing social harmony by discovering new resources for satisfying vital mental, moral and sociocultural needs, thereby alleviating the struggle for subsistence as a source of conflict; gathering and disseminating scientific evidence demonstrating the negative effects of crime and war as a means of reducing their occurrence; logically and empirically elaborating and substantiating the characteristics of a system of culture that would provide for the solidarity and unity of all human beings; investigating the nature of altruistic love and the techniques of altruistic transformation of individuals, institutions, and culture; developing deeper and more extensive knowledge of human nature, institutions, and culture that can serve as a basis for more effectively meeting basic human needs; providing scientific knowledge of which specific techniques of altruistic transformation are most effective for given individuals and situations; and increasing knowledge of how the adequacy of love, in terms of the effectiveness

---

[1] California state university, Northridge.

[2] *Sorokin P.A.* Sociology of yesterday, today and tomorrow // American sociological rev. – Wash., 1965. – Vol. 30, N 6. – P. 834–835, 838.

[3] *Sorokin P.A.* The ways and power of love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002. – P. 473–480.

of actions intended to benefit others, can be improved. This reorientation of sociology toward the study of the positive would enable the discipline to generate knowledge and understanding that could contribute significantly to the general social welfare.

This change in emphasis toward studying the positive, or good, has already taken place in psychology. After World War II the science of psychology focused on pathologies and ways of healing them. However, in recent years an intellectual movement espousing the study of human strengths, goodness, and flourishing has established a viable tradition referred to as «positive psychology»[1]. The aim of the positive psychology movement has been to correct the previous imbalance by studying positive human traits, and how they may function as preventives against pathologies. This «refocusing of scientific energy» has led to the study of phenomena such as love, forgiveness, the virtues, and human competency[2].

The nature of good

At the highest level of value generalization Sorokin identifies goodness, along with truth and beauty, as the «supreme» values. In his view «the main historical mission of mankind consists in an unbounded creation, accumulation, refinement, and actualization» of these values[3]. Wendell Bell[4] has characterized a «sociology of the good» as one focused on the investigation of values that appear to be universal, and an assessment of their beneficial effects.

Formulating a conception of the nature of the good, and the variety of its particular manifestations, requires a dialogue that would take place continuously within the discipline of sociology. This exploration of the nature of goodness is an important task of critical sociology in Burawoy's[5] holistic model of the discipline.

A general orientation adequate for this article is that «good» means the perfection of those beneficial properties that are proper to the essential nature of a given entity. The highest range of good is thus the fullest possible actualiza-

---

[1] *Snyder C.R., Lopez S.J.* Handbook of positive psychology. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 2005.

[2] *Seligman M.E.P.* Positive psychology, positive prevention and positive therapy // Ibid. – P. 8.

[3] *Sorokin P.A.* Integralism is my philosophy // Sorokin P.A. This is my philosophy. – N.Y.: Harper & bros, 1957. – P. 184.

[4] *Bell W.* Public sociology and the future: The possible, the probable and the preferable // Handbook of public sociology // Ed. by V. Jeffries. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2009. – P. 95–96.

[5] *Burawoy M.* For public sociology // American sociological rev. – Wash., 2005. – Vol. 70, N 1. – P. 4–28.

tion of all positive potentials[1]. The specific qualities of goodness thus differ according to the nature and potentials of the particular entity under consideration.

The triadic matrix and the study of the good

The substantive concerns of the scientific study of the good are inevitably shaped by the disciplinary context in which they are formulated. In sociology, the basic conceptual frame of reference of culture, society and personality provides the most general context for formulating ideas regarding the nature of the good and its particular manifestations. Thus the nature of the good in the human person is of necessity different than it is in society or culture, since each are distinct entities with different properties and processes.

Sorokin explicitly designated the concepts of culture, society, and personality as the basic frame of reference of sociology[2]. Parsons later located them in an interdisciplinary framework[3]. These foundational ideas were developed in the writings of the classical theorists[4].

Essential and universal components of the reality that is the subject matter of sociological analysis are identified by these concepts. Indeed, no single component can exist without the others. Therefore, to achieve the most complete and comprehensive sociological analysis, each component of the «triadic matrix» must be referred to the others[5].

Each of these general concepts designates aspects of reality that include numerous, varied, and distinct phenomena. Accordingly, different concepts are necessary to identify and analyze specific phenomena within the abstract domain of each of these three general concepts. Similarly, different conceptions of the good are necessary depending on the particular focus of study.

The sociology of the good: alternative formulations

The idea of the sociology of the good thus entails different sociological phenomena at different levels of analysis. Recent examples of phenomena

---

[1] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 663; *Aquinas Th.* Commentary on Aristotle's *Nicomachean ethics*. – Notre Dame (ID): Dumb Ox books, 1993. – P. 4, 41.

[2] *Sorokin P.A.* Society, culture and personality. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – P. 63–64; *Sorokin P.A.* Sociological theories of today. – N.Y.: Harper & Row, 1966. – P. 636–637.

[3] *Parsons T.* An outline of the social system // Theories of society / Ed. by T. Parsons, E. Shils, K.D. Naegele, J.R. Pitts. – N.Y.: Free press, 1961. – Vol. 1. – P. 30–79; Toward a general theory of action / Ed. by T. Parsons, E.A. Shils. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1951.

[4] *Parsons T.* The structure of social action. – N.Y.: Free press, 1968.

[5] *Sorokin P.A.* Society, culture and personality. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – P. 64.

viewed as positive or good include: generosity[1]; unlimited love[2]; virtue[3]; human rights[4]; individual and intergroup forgiveness[5]; global altruism[6]; and universalizing solidarity[7].

Ideas of the good can be placed within a broad and integrated theoretical and research framework. In this systemic context, multiple conceptions of the good serve as fundamental organizing ideas at different levels of analysis. The works of Pitirim Sorokin and Eric Olin Wright provide examples of such systemic sociologies of the good.

Pitirim Sorokin specifies the nature of goodness at both the personality and sociocultural levels of analysis[8]. His foundational premise is the beneficial nature of altruistic love. At the level of personality, this form of love is a curative, life-giving, integrative, and creative power in the lives of individuals. This love entails unselfishness, sacrifice, cooperation, and giving of self for the welfare of others. It is inseparably linked with the idea of the goodness of individuals[9].

At the level of interaction, altruistic love is manifested in some, but not all, instances of solidary interaction[10]. In this form of interaction the intentions and behavior of the interacting parties concur and facilitate the realization of their objectives[11]. Solidarity can vary in intensity and extensity. The characteristics of altruistic love are usually manifested only in instances of solidary interaction that involve higher levels of intensity and extensity.

At the more complex and sociocultural level of social relationships, the ideal type of familistic social relationships most closely parallels the characteristics of altruistic love as they are manifested in interactional patterns and normative and value systems[12]. Familistic social relationships are characterized by

---

[1] Science of generosity. – Mode of access: http://www.generosityresearch.nd.edu

[2] *Post S.G.* Unlimited love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2003.

[3] *Jeffries V.* The integral paradigm: The truth of faith and the social sciences // The American sociologist. – N.Y., 1999. – Vol. 29, N 3. – P. 36–55; *Levine D.N.* Visions of the sociological tradition. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1995; *Smith Ch.* What is a person? – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2010.

[4] *Blau J., Moncada A.* Human rights. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2005; *Howard-Hassmann R.E.* Public sociology and universal human rights // Handbook of public sociology / Ed. by V. Jeffries. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2009. – P. 357–373.

[5] *Oliner S.P.* Altruism, apology, forgiveness and reconciliation as public sociology // Ibid. – P. 375–390.

[6] *Tiryakian E.A.* Global altruism: Some considerations // Ibid. – P. 409–427.

[7] *Alexander J.C.* The civil sphere. – N.Y.: Oxford, 2006.

[8] *Jeffries V., Pitirim A.* Sorokin's integralism and public sociology // The American sociologist. – N.Y., 2005. – Vol. 36, N 3–4. – P. 72–76.

[9] *Sorokin P.A.* The ways and power of love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002. – P. 47–79.

[10] Ibid. – P. 13.

[11] *Sorokin P.A.* Society, culture and personality. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – P. 93–99.

[12] Ibid. – P. 99–102, 109–110.

a strong sense of unity, a willingness to sacrifice self to benefit others, and a normative system stipulating an unlimited ethical motivation toward providing for the needs of the group and each of its individual members. In purest form, these social relationships are most often found found in harmonious families, although they can also predominate in various other groups, such as close friends, religious organizations, or military units. Conversely, many families seldom or rarely manifest familistic social relationships in their culture or interaction.

Altruism, solidarity interactions, and familistic social relationships are sustained by a culture in which the ethical and normative systems emphasize cooperation, helping, and mutual aid[1]. When these norms are universal, they are generally effective in controlling behavior[2].

The study of the good in Sorokin thus focuses on creative and unselfish love. As a sociological variable it is identified as altruistic love at the level of individual personality and as solidarity and familistic relations at the sociocultural level. The normative system of culture is universal, effective, and supportive. This conception of the good is the foundation of a detailed program of altruistic transformation[3], sociocultural reconstruction[4], and the reorientation and restructuring of the exercise of power in societies[5].

Another perspective on the sociology of the good is provided by Erik Olin Wright's (2010)[6] model of emancipatory social science. The fundamental premise of this model is that the search for scientific knowledge has a moral purpose: eliminating oppression and creating conditions for human flourishing[7]. The good to be sought is identified as justice, entailing two forms, social and political. In social justice, access is available for the means necessary for human flourishing, viewed as the development of the various and different talents and capacities of individuals. In political justice, people have access to the means to participate in decisions that affect their lives, both as separate persons and collectively.

This idea of good in terms of the lives of individuals provides the basis for evaluating and potentially changing structures and institutions. Changes at this sociocultural level are necessary to achieve greater justice[8]. Foremost in

---

[1] *Sorokin P.A.* Society, culture and personality. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – 119–144.

[2] *Sorokin P.A.* The conditions and prospects for a world without war // On the practice of sociology / Ed. by B.V. Johnston. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1998. – P. 279–291.

[3] *Sorokin P.A.* The ways and power of love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002.

[4] *Sorokin P.A.* The crisis of our age. – N.Y.: Dutton, 1941; Sorokin P.A. The reconstruction of humanity. – Boston (MA): Beacon press, 1948.

[5] *Sorokin P.A., Lunden W.* Power and morality. – Boston (MA): Extending horizons, 1959.

[6] *Wright E.O.* Envisioning real utopias. – N.Y.: Verso, 2010.

[7] Ibid. – P. 10.

[8] Ibid.

these is the transition to an economic structure based on democratic socialism. In this form of economic structure power is derived primarily from voluntary associations located in a developed civil society. Democratic socialism is posed as an alternative to capitalistic economic systems, in which private ownership of the means of production is the primary source of power, and statism, in which the state is the primary source of power[1].

The realization of the normative purpose of sociology is achieved through a model of practice entailing three basic tasks. The first task, diagnosis and critique, assesses the degree to which existing structures and institutions harm individuals, and seeks to identify the relevant causal mechanisms. The second task of sociological analysis is the proposal of alternative structures and institutions that would more adequately provide for the conditions necessary for the stipulated good of the forms of justice. The final task is the exploration of the problematics of transformation and formulation of strategies and tactics to achieve movement toward sociocultural conditions conducive to greater social and political justice[2].

Each of these theorists formulates multiple conceptions of the good that are located at different levels of analysis. Each also provides a program for reaching the stipulated goods. Yet the two systems of sociology and their focus are distinctive and different. The sociology of the good thus transcends any particular theoretical approach or particular conception of the good. What is common is a clearly articulated vision of the good and a theoretical and research agenda that can facilitate the participation of sociology in providing vital knowledge and understanding to the general society.

On the concept of virtue

In exploring the nature of the sociology of the good this article focuses on the concept of virtue. In contemporary writings, the virtues are typically defined as personality traits that provide impetus to judgments, choices, and behavior. The virtues are regarded as entailing dispositions and behaviors that are manifestations of human excellence and flourishing of various types[3].

The idea of virtue represents one of the oldest and most persistent ideas in the history of speculative thinking[4]. From a historical perspective, analysis of the nature and effects of the virtues dates to Classical Greek and Roman philosophy, and to early Judaism and Christianity. The identity and nature of the virtues was explored further during the Middle Ages. Foundational schemes of

---

[1] *Wright E.O.* Envisioning real utopias. – N.Y.: Verso, 2010. – P. 110–128.

[2] Ibid. – P. 11–29.

[3] *Peterson Ch., Seligman M.E.P.* Character strengths and virtues. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004. – P. 87.

[4] *MacIntyre A.* After virtue. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1984; Pieper J. The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966.

the virtues such as those of Aristotle[1] and Aquinas[2] focus attention on fundamental and continually recurring aspects of human motivation and behavior. The latter part of the twentieth century was characterized by a widespread and pronounced revitalization of interest in virtue ethics, which persists to this time[3]. Studies of the virtues have become an ongoing research topic in psychology in recent years[4].

Traditionally, virtues have been viewed as representing human goodness and as the criteria of greater perfection[5]. Since virtue is a disposition that is directed toward the good, it is consistent with the true nature of human beings[6]. As acts, virtues are choices that can become operative habits with repetition. As such, they increase the goodness of the individual and contribute to the perfection of various positive potentialities of human nature[7].

The writings of Aquinas[8] present a comprehensive and logically systematic scheme of the virtues. In this scheme a distinction is made between «primary», or basic, virtues and «secondary» virtues. A secondary virtue is a «part» of a given primary virtue. This is the case because secondary virtues represent a more specific application of the essential characteristic of the primary virtue of which they are a part. Based on Aquinas' writings, five primary virtues are: temperance, fortitude, justice, charity, and prudence[9]. This scheme identifies a full spectrum of attitudes and behaviors that are inherent to human beings and to social interaction. The five primary virtues are defined, along with some of their attendant secondary virtues.

Temperance. The essence of temperance is restraint, moderation, and discipline with respect to the appetites, passions, and the desire for pleasure[10]. This foundational characteristic can be manifested in a number of more specific orientations. The secondary virtue of meekness is the exercise of restraint and discipline in the moderation, control, and positive use of the passion of anger. Another secondary virtue, humility, is an objective recognition of one's own

---

[1] *Aristotle.* The basic works of Aristotle. – N.Y.: Random house, 1941. – P. 928–1112.

[2] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 817–894, 1263–1879.

[3] *Smith Ch.* What is a person? – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2010. – P. 385.

[4] *Peterson Ch., Seligman M.E.P.* Character strengths and virtues. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004.

[5] *MacIntyre A.* After virtue. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1984; Pieper J. The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966.

[6] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 897.

[7] Ibid.–819–827.

[8] Ibid.–817–894, 1263–1879.

[9] *Jeffries V.* Virtue and the altruistic personality // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 1998. – Vol. 41, N 1. – P. 151–166; *Jeffries V.* Virtue and marital conflict: A theoretical formulation and research agenda // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 2000. – Vol. 43, N 2. – P. 231–246.

[10] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 1757–1879.

limitations and failings, and a complementary recognition and deference to the good qualities of others. Sobriety and chastity are also parts of temperance.

Fortitude. The criterion of fortitude is steadfastness in pursuing the good in spite of difficulty, adversity, opposition, or danger[1]. Patience and perseverance are parts of fortitude. Patience involves persistence in seeking the good despite sorrows, especially the sorrows brought about by the actions of others. Perseverance pertains to the bearing of difficulties in pursuit of the good over a long period of time.

Justice. Rendering to others their basic rights, or dues, is the fundamental characteristic of justice[2]. This virtue includes both fairness, according to some kind of equality, and the effort to fulfill responsibilities to others. In this general sense, justice gives recognition to the rights of others. Friendliness, gratitude, and truthfulness are secondary parts of justice.

Charity. The essence of the virtue of charity is the love of benevolence, in which good is wished to another[3]. This virtue includes a variety of acts intended to do good to another. Appropriately meeting the needs of others, correcting them when necessary, forgiving them, and tolerating their faults and imperfections, are all manifestations of charity. Charity goes beyond the obligation of justice in that it entails benefitting others irrespective of their merit[4].

Prudence. Prudence is an intellectual virtue[5]. The other primary and secondary virtues define what is good. Prudence entails the use of reason and objectivity to choose the most suitable means to realize the good. The exercise of prudence thus perfects the ability to make right choices. Secondary parts of this virtue are docility, an openness to the viewpoints of others, and solicitude, a watchfulness and alertness in seeking to realize the good.

The virtues are attributes of the personality and behavior of individuals, yet they are inevitably implicated in varying degrees in the countless sequences of interaction that constitute group life. They are both independent and dependent variables: they influence the quality and direction of interaction, and are also formed partly through that interaction. Two substantive areas in which the concept of virtue has great analytical potential are the study of love and the study of morality.

---

[1] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 1699–1755.

[2] Ibid. – P. 1423–1698.

[3] Ibid. – P. 1263–1305.

[4] *Kohlberg L.* The philosophy of moral development. – San Francisco (CA): Harper & Row, 1981. – P. 311–372.

[5] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 817–894, 1263–1879. See also: *Pieper J.* The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966. – P. 3–40; *Selznick Ph.* The moral commonwealth. – Berkeley: Univ. of California press, 1992. – P. 60–61.

Benevolent love and the concept of virtue

Love is multidimensional. On the basis of his comprehensive study of the history of ideas about the nature of love, Singer[1] characterizes two basic forms of love, «appraisal» and «bestowal». Despite differences in terminology and emphasis, conceptions of the nature of love, ranging from Plato to contemporary writings, identify one or both of these ideal types. Though analytically distinct, both forms of love are present in varying degrees in the psyche of individuals and in social interaction[2].

Appraisal is a love based on self-gratification. The utility of the other for the satisfaction of one's desires, appetites, and needs is of primary concern[3]. In contrast, bestowal is a love in which the general well being of the other is of primary concern. The other is accepted as he or she is, with faults and failings. Benevolence is a necessary condition for bestowal, and is manifested in caring for the interests and welfare of the other, respect of individuality, protection of the other, and self-sacrifice[4]. This same basic distinction between receiving and giving love is evident in both contemporary theories of love and in empirical research[5].

Bestowal has traditionally been identified as benevolent love. This form of love is the focus of this article. Benevolence is the love considered by Aristotle[6] in his analysis of true friendship, and by Aquinas[7] in his analysis of charity. The concept of benevolent love is also generally comparable to various definitions of altruism in the interdisciplinary field of prosocial and altruistic behavior[8].

The essential nature of benevolent love is that good is wished to the other, and appropriately manifested in behavior intended to benefit the other in some manner. Such a general idea obviously has many different and more spe-

---

[1] *Singer I.* The nature of love. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1984. – Vol. 1: Plato to Luther. – P. 33–38; *Singer I.* The nature of love. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1987. – Vol. 3: The modern world. – P. 157–158.

[2] *Jeffries V.* Virtue and marital conflict: A theoretical formulation and research agenda // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 2000. – Vol. 43, N 2. – P. 231–246; *Rubin Z.* Liking and loving. – N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1973. – P. 214; *Singer I.* The nature of love. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1987. – Vol. 3: The modern world. – P. 389–406.

[3] *Singer I.* Op. cit. – P. 390–396.

[4] *Singer I.* The nature of love. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1984. – Vol. 1: Plato to Luther. – P. 5–11; *Singer I.* The nature of love. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1987. – Vol. 3: The modern world. – P. 392–396.

[5] *Jeffries V.* Virtue and attraction: Validation of a measure of love // J. of social a. personal relationships. – L., 1993. – Vol. 10, N 1. – P. 99–112.

[6] *Aristotle.* The basic works of Aristotle. – N.Y.: Random house, 1941. – P. 1058–1102.

[7] *Aquinas Th.* Summa theologica. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – P. 1263–1335.

[8] *Jeffries V.* Virtue and the altruistic personality // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 1998. – Vol. 41, N 1. – P. 151–166.

cific manifestations, both psychological and behavioral. What is beneficial to the other can vary widely in content, and also according to both time and situational context[1]. A deeper understanding of the nature of benevolent love and its empirical referents thus requires an enumeration of its component parts.

One perspective through which this problem can be approached is to consider that the foundational components of benevolent love are the virtues. In personality theory, the virtues can be viewed as schemas. As such they are psychic structures that involve particular ways of thinking and acting, and are a basis for understanding and evaluating. They are stored in memory, exist at both unconscious and conscious levels, and can be activated by psychic or social sources[2].

Because of its content as an idea, each virtue provides for a particular way of benefitting the other, and thus loving them. Each virtue can be regarded as both initiating and maintaining behaviors in response to the particular nature of the need of the other and the situational context.

Temperance, along with its various manifestations of self-control in related secondary virtues, limits behavior that is often contradictory to love. It further provides the discipline and stability necessary for giving to another in a consistent manner. Without temperance, it is difficult for the other virtues to develop and be established as consistent habits that express the different manifestations of benevolent love[3].

Fortitude is relevant to a love in which the good of the other is sought because benefitting another is by its very nature a sustained activity that inevitably involves some degree of difficulty, hardship, and occasionally danger. Fortitude enables benevolent love to remain viable under such circumstances.

Justice provides for fulfilling basic responsibilities that are frequently an integral part of loving another. Justice requires a fundamental good will and fairness that is particularly important in situations of dealing with individual and group differences, and in relation to out-groups.

Manifestations of charity such as meeting needs, forgiving, giving counsel, and correction are necessary to do good to others under given circumstances. Such actions are often considered as representing the essence of love.

Prudence is the rational element necessary to make the best decisions about how to manifest the intent to love another, or to give love in a particular

---

[1] *Jeffries V.* Virtue and marital conflict: A theoretical formulation and research agenda // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 2000. – Vol. 43, N 2. – P. 231–246.

[2] *Brewer W.F., Nakamura G.V.* The nature and functions of schemas // Handbook of social cognition // Ed. by R.S. Wyer, T.K. Srull. – Mahwah (NJ): Erlbaum associates, 1984. – P. 119–160.

[3] *Pieper J.* The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966. – P. 145–206.

instance[1]. Making the right choices of how best to benefit others is the foundation of an adequate practice of love[2].

In summary, the love of benevolence is the attempt to benefit other persons through caring, giving, and in some instances sacrificing of self. Each virtue makes a particular contribution to the ability of the individual to consistently practice benevolent love in his or her relations with others. The relevance of particular virtues varies according to the situation. For example, at one time this love will call for the practice of justice; another time it will call for the exercise of fortitude, and so forth. The full and consistent expression of the love of benevolence requires the manifestation of all the virtues[3].

The idea of benevolent love as virtue has the potential to make important contributions to understanding sociological phenomena. It specifies different dispositions and manifestations of seeking to do good to the other. In so doing, it opens new perspectives for the study of the structure and dynamics of interaction and intergroup relations in a variety of contexts. Except for the framework provided by the analysis of altruism and prosocial behavior, sociologists have failed to develop and apply a generalized concept of love that entails seeking the welfare of the other. For example, Bahr and Bahr[4] note that self sacrifice as a giving of self for the benefit of others is a basic part of both family life and social life generally. Yet a concept of sacrificial love is virtually absent from family theory, an area where it is obviously relevant.

Morality and the concept of virtue

The ideas of Emile Durkheim are foundational in the sociological study of morality. There are interesting parallels between Durkheim's[5] concept of morality and its components and the virtues.

In the most general sense, Durkheim[6] maintains that morality is a system of rules that directs and determines conduct in a variety of situations. Two aspects of these rules are essential. First, morality entails the idea of duty. Second, morality is also «a morality of the good, since it assigns to human activity an

---

[1] *Pieper J.* The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966. – P. 3–40.

[2] *Sorokin P.A.* The ways and power of love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002. – P. 17–19.

[3] *Jeffries V.* Virtue and the altruistic personality // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 1998. – Vol. 41, N 1. – P. 151–166; *Jeffries V.* Virtue and marital conflict: A theoretical formulation and research agenda // Sociological perspectives. – Berkeley (CA), 2000. – Vol. 43, N 2. – P. 231–246.

[4] *Bahr H.M., Bahr K.S.* Families and self-sacrifice: Alternative models and meanings for family theory // Social forces. – Oxford, 2001. – Vol. 79, N 4. – P. 1231–1258.

[5] *Durkheim E.* Sociology and philosophy. – Glencoe (IL): Free press, 1953; *Durkheim E.* Moral education. – N.Y.: Free press, 1961.

[6] *Durkheim E.* Moral education. – P. 24.

end that is good»[1]. Understanding the elements of morality does not involve «a complete listing of all the virtues, or even the most important»[2], but rather a consideration of the fundamental mental dispositions that are the foundations of moral life. There are three: discipline, attachment to social groups, and autonomy, or self-determination[3].

Discipline is the foundational element of morality[4]. It promotes regularity in conduct by limiting and constraining. It entails restricting inclinations, suppressing appetites, moderating tendencies, and exercising self-control. Discipline thus involves subjecting passions, desires, and habits «to law» and developing «self-mastery»[5]. Discipline «gives the unity and continuity» that are the «essential preconditions of personality»[6]. The practice of discipline teaches the individual that conduct should follow enduring principles that are ordered to determinate goals.

Attachment to groups is the second component of morality[7]. Morality involves goals that go beyond individual interests to the pursuit of impersonal ends. Their object is society, in terms of the collective interest. These «general interests of humanity» include «an access to justice», a correspondence between merit and conditions of life, and «preventing individual suffering»[8]. Charity is an interest in the welfare of others on a «person to person» basis[9]. Charity at this level has only «a secondary and subordinate place in the system of moral behavior»[10]. However it «has moral value… because it points to a moral propensity to sacrifice, to go beyond one's self, to go beyond the circle of self-interest»[11]. Collective action that is concentrated and organized is necessary to affect society and remedy social evils. Therefore, «genuinely moral ends» are collective and involve attachment to groups, which are the «truly moral force»[12]. Morality involves identification with all groups, but the nation has «pre-eminence»[13]. Collective action in groups «takes on a higher moral character precisely because it serves more impersonal, more general ends»[14].

---

[1] *Durkheim E.* Moral education. – P. 122.

[2] Ibid. – P. 21.

[3] *Durkheim E.* Sociology and philosophy. – Glencoe (IL): Free press, 1953; *Durkheim E.* Moral education. – N.Y.: Free press, 1961.

[4] *Durkheim E.* Moral education. – P. 17–63.

[5] Ibid. – P. 46.

[6] Ibid.

[7] Ibid. – P. 55–94.

[8] Ibid. – P. 77.

[9] Ibid. – P. 82.

[10] Ibid. – P. 83.

[11] Ibid.

[12] Ibid. – P. 82.

[13] Ibid. – P. 80.

[14] Ibid. – P. 84.

The third element of morality is autonomy, or self-determination. It is constituted especially by the application of reason as a part of morality. Autonomy involves individuals deliberating and choosing in the application of moral principles. Morality thus entails «an enlightened assent» to a moral code because «we deem it good»[1]. Adherence to a moral order is ideally based on knowledge of the «nature of things»[2]. Assessing the extent to which the existing moral order conforms to this reality, rather than being pathological, is an aspect of the exercise of autonomy. Morality involves a reasoned and free choice in view of this knowledge. These aspects of autonomy are also exercised in the necessity of individual initiative in applying moral rules in particular situations[3].

There are clear parallels between the five virtues emphasized in this article and Durkheim's three elements of morality. The primary virtue of temperance is essentially similar to the concept of discipline. The virtue of fortitude appears to be implied in Durkheim's mention of attributes of discipline such as effort, enduring goals, and self-mastery as ongoing dispositions of the moral life. Firmness in facing difficulties and hardships, the essence of fortitude, seems an inevitable requirement in developing and maintaining these dispositions over time.

Justice and charity are both explicitly mentioned by Durkheim as aspects of the second element of morality, attachment to groups. His ambivalence toward charity is focused on levels of analysis. Higher moral value is given to group activity. Yet, it appears the spirit of self-sacrifice and concern for the welfare of others characteristic of charity are still motivational forces giving impetus to individuals' involvement in collective action at meso or macro levels.

The emphasis Durkheim places on rational deliberation and individual choice in morality is similar to the essence of the virtue of prudence. Prudence is the operation of reason in making the best choices consistent with morality. Traditional ideas of this virtue emphasize reason, deliberation, objectivity, and openness to the ideas of others in making moral choices. In this sense prudence orders and commands the other virtues[4]. The capacity to choose is a fundamental aspect of human nature that is inherently involved in moral development[5]. Traditional ideas of the virtue of prudence thus closely parallel Durkheim's analysis of autonomy / self determination and its functions in the moral life.

Durkheim's analysis of morality is focused at the level of «fundamental» and «general dispositions» that are «at the root of the moral life» and «adapt

---

[1] *Durkheim E.* Moral education. – P. 115, 120.

[2] Ibid. – P. 116–117.

[3] Ibid. – P. 21.

[4] *Pieper J.* The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966. – P. 3–40.

[5] *Selznick Ph.* The moral commonwealth. – Berkeley: Univ. of California press, 1992. – P. 148–182.

themselves readily to the particular circumstances of human life»[1]. These dispositions are contrasted to the virtues, which are regarded by Durkheim[2] as more specific and numerous. How the virtues fit into this more general scheme indicates the correspondence of the traditional virtues of temperance, fortitude, justice, charity, and prudence with Durkheim's formulation. The correspondence is high, ranging from similarity in the case of temperance and prudence, to recognition as components in the case of justice and charity, to implied presence in the case of fortitude. The idea that duty and good are foundational aspects of morality is common to both Durkheim's analysis and to conceptions of virtue.

Wallwork's[3] account of Durkheim's historical analysis of pedagogical ideals in various periods of Western civilization, first presented in lectures at the Sorbonne in 1904–1905, reinforces a view of parallels between virtue theory and Durkheim's formulation of morality. The aims and content of pedagogy in the early and late Middle Ages were regarded by Durkheim as a genuine and unique synthesis of religious and secular ideas. The Christian education of these periods emphasized formation of the total person. The goal was to direct individuals toward the pursuit of a life of duty. The development of the spiritual self in its totality was central to this formation. The Scholasticism of the late Middle Ages incorporated the ideas of Aristotle into the synthesis. Durkheim's familiarity and appreciation of the ideas of this period provide further indication that he was conversant with the theory of virtues developed by Aristotle, and reformulated by Aquinas in the late Middle Ages.

In summary, it appears reasonable to assume that traditional schemes of the virtues influenced Durkheim's views of the nature and components of morality, probably to a considerable degree. On this basis, the sociological study of the virtues as a moral code can be viewed as a continuation and elaboration of Durkheim's foundational work. This historical viability of conceptions of virtue also indicates their status as moral universals.

Moral universals. The existence of «moral universals» in the form of general values or principles is supported by the analysis of cultures[4]. Though they may be expressed in specific rules and practices which differ in different societies, the «universals show that human societies are everywhere much the same in their appreciation of basic morality»[5]. This basic morality emerges from three sources: human nature, requirements of group life, and limited alternatives[6].

---

[1] *Durkheim E.* Moral education. – N.Y.: Free press, 1961. – P. 21.

[2] *Durkheim E.* Moral education. – N.Y.: Free press, 1961. – P. 21.

[3] *Wallwork E.* Durkheim: Morality and milieu. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1972. – P. 130–150.

[4] *Bell W.* Foundations of future studies. – New Brunswick (NJ): Transaction publishers, 1997. – Vol. 2. – P. 171–227; *Selznick Ph.* The moral commonwealth. – Berkeley: Univ. of California press, 1992. – P. 96–98.

[5] *Selznick Ph.* The moral commonwealth. – P. 96.

[6] Ibid. – P. 97–98.

The idea of morality depends on some theory of the good[1]. For example, Selznick[2] proposes a «certain kind of well being» that involves «the enhancement of fellowship» as the general criteria of the good. Both the integrity of the individual, and the interests of others deriving from the social nature of human existence, are encompassed in this conception of the good. It is manifested through the virtues. In this fundamental sense the virtues entail what is good in the character of human beings[3].

A similar dual emphasis on social and individual good can be observed in the moral codes of the world religions. Starting at the most abstract level, all major world religions emphasize «the moral ideal of generous goodwill, love, compassion epitomized in the Golden Rule»[4]. This doing good to others is accompanied in major religious traditions by the norm of effort toward personal transformation toward greater goodness[5]. The virtues can be regarded as enumerating a comprehensive scheme of this positive form of the Golden Rule[6]. The virtues also express and enumerate classical philosophical conceptions of morality[7].

Research by Peterson and Seligman[8] provides evidence of moral universals in beliefs about the identity of human strengths and virtues. A historical and cross-cultural literature search in the realms of philosophy, religion, politics, and education was conducted. The focus was to look for uniformities regarding notions of an exemplary life or person. Traditions of three areas were examined: China, including Confucian and Taoist virtues; South Asia, including Buddhist and Hindu virtues; and the West, including Athenian, Judeo-Christian, and Islamic virtues.

On the basis of this survey of influential religious and philosophical traditions, six «core virtues» that are universally valued by moral philosophers and thinkers in different historical periods and cultures are identified: courage, justice, humanity, temperance, transcendence, and wisdom[9]. Though there are

---

[1] *Selznick Ph.* The moral commonwealth. – P. 98.

[2] Ibid. – P. 33.

[3] Ibid. – P. 32–35, 148–151; *Smith Ch.* What is a person? – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2010. – P. 384–433.

[4] *Hick J.* An interpretation of religion. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1989. – P. 316; see also: *Catoir J.T.* World religions. – N.Y.: Alba house, 1992; *Hunt A.B., Crotty M.E., Crotty R.B.* Ethics of the world religions. – San Diego (CA): Greenhaven press, 1991.

[5] *Hick J.* Op. cit. – P. 36–55.

[6] *Jeffries V.* The integral paradigm: The truth of faith and the social sciences // The American sociologist. – N.Y., 1999. – Vol. 29, N 3. – P. 36–55.

[7] *Levine D.N.* Visions of the sociological tradition. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1995. – P. 105–120.

[8] *Peterson Ch., Seligman M.E.P.* Character strengths and virtues. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004. – P. 3–52.

[9] Ibid. – P. 33–52.

some differences in terminology, these virtues are basically similar to the virtues of Aquinas presented in this article[1].

Normative culture, individual morality, and the virtues. The normative culture of a group defines the appropriate modes of conduct for its members. It specifies rights and duties, and the relations of group members to each other, in a variety of situations. It also specifies relations toward those outside the group. Two types of norms are most important, law-norms and moral norms. The former are considered obligatory, the latter are urged or recommended, but not required. For the individual, group norms are the primary guide to conduct. They can, and often do, become convictions that provide normative and emotional motivation. Particular norms may vary, being obligatory in some groups, or to some individuals, and recommended in other cases[2].

The virtues can serve to specify the content of the good, and of obligation, and thus of morality[3]. In fact, there is a long history of this usage, both with respect to cultural moral codes and individual morality[4]. In most instances, the virtues have been regarded as moral norms, and thus recommended but not required. In others, however, one or more of the virtues have been considered obligatory.

The study of morality is far more comprehensive than that of the virtues. Other moral codes of the good have been important in the traditions of philosophy and of the world religions. In some instances, behavior that directly contradicts traditional conceptions of the good, such as the virtues, has been defined as desirable and good[5]. In other instances the virtues have been embedded in more basic codes and assumptions that severely limit their application or contradict their basic meaning[6]. All of these variations are basic topics in the study of morality. The universe of moral codes needs to be described, its content needs to be categorized, and the causes and effects of different moralities need to be investigated. The study of the traditional virtues is an important part of this broader framework.

---

[1] *Peterson Ch., Seligman M.E.P.* Character strengths and virtues. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004. – P. 47–48.

[2] *Sorokin P.A.* Society, culture and personality. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – P. 70–85.

[3] *Jeffries V.* The integral paradigm: The truth of faith and the social sciences // The American sociologist. – N.Y., 1999. – Vol. 29, N 3. – P. 36–55.

[4] *MacIntyre A.* After virtue. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1984; *Peterson Ch., Seligman M.E.P.* Character strengths and virtues. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004.

[5] *Alexander J.C.* Toward a sociology of evil: Getting beyond modernist common sense about the alternative to «the good» // Rethinking evil / Ed. by M.P. Lara. – Berkeley: Univ. of California press, 2001. – P. 170–172.

[6] *Ferrera A.* The evil that men do: A meditation on radical evil from a postmetaphysical point of view // Ibid. – P. 173–188.

Conclusion

The concept of virtue has potentially great importance for sociology for a number of reasons. First, the virtues are a basic potential of all human beings. In this sense they are a universal attribute of personality, though actualization can vary over a wide range in the degree and configuration of its development[1]. Second, the virtues entail a multidimensional manner of relating to others, as enumerated in a general sense in the primary virtues. They are thus inherently involved in a considerable amount of the basic process of social interaction as it takes place through space and time and in different social situations. Third, the broad range of behaviors included in the virtues is potentially relevant to interaction in many different kinds of groups, ranging from families, to formal organizations, to global society. Fourth, the degree and configuration of the virtues manifested in interaction can be regarded as both cause and effect of some of the characteristics of groups and institutions. Fifth, the virtues can be linked to historical and worldwide traditions of the good, providing additional relevance to both policy and public sociologies based on knowledge and understanding of the virtues.

The study of the virtues can be placed in a broader approach to sociological research and theoretical development in which the virtues serve as a normative standard of good. In his description and analysis of the «Hellenic tradition» Donald Levine[2] maintains there is something «deeply attractive in Aristotle's vision of the good society and the kind of social science needed to promote it». This vision rests on the assumption that human nature is goal-directed toward perfection, which is reached through acquiring the habits of virtue. This is accomplished through the mechanism of human choice, directed by the use of reason, and by social environments that encourage the development of the virtues. The envisioned social sciences would study the general properties of human action, and those specific to various domains. In these different investigative contexts the «object would be one and the same: to arrive at prescriptive suggestions for ways to socialize… into optimal moral habits and reflective competences»[3]. The social sciences would also be focused on how to structure the relations between the parts of society to «achieve survival, justice, and the optimal achievement of its purposes»[4].

---

[1] *Krebs D.L., Van Hesteren F.* The development of altruistic personality // Embracing the other / Ed. by P.M. Oliner, S.P. Oliner, L. Baron, L.A. Blum, D.L. Krebs, M.Z. Smolenska. – N.Y.: New York univ. press, 1992. – P. 142–169; *Sorokin P.A.* The ways and power of love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002.

[2] *Levine D.N.* Visions of the sociological tradition. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1995. – P. 120.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

A recent work by Christian Smith[1] also examines the virtues as subject and as normative standard of evaluation. A normative understanding of both individuals and society can be formed in reference to the virtues. The good for human persons is to flourish by «achieving the essential nature of their true human personhood as fully as possible»[2]. The dispositions and habits that exemplify the good in human nature are the virtues[3]. Concern for the flourishing of others and «selflessness» are an integral part of the morality of the virtues[4]. The social good of societies is to «facilitate and foster through its institutions and structures» this good of human nature[5]. Societies that do this can be considered as good, those that do not as bad.

In summary, the idea of virtue can make an important contribution to sociological analysis. It can be incorporated into sociological traditions both as subject of study, and as normative standard of the good. As a subject of study, the virtues can be used as an enumeration of the components of benevolent love, in which the object is the welfare of the other. Viewed as a moral code, the study of the virtues parallels the Durkheimian tradition of the components of morality, and includes philosophical and religious traditions that can be regarded as universal. As a normative standard for sociological analysis, the virtues exemplify centuries of worldwide traditions regarding the greater perfection and good of human nature and of individuals. The concept of virtue can thus contribute to the moral purpose of the practice of sociology.

The principal theme of this article is a consideration of the nature and potentials of a sociology of the good. The study of the virtues is only one focus, centered primarily at the level of individual personality, within this more inclusive, diverse, and comprehensive perspective. The full scope of the sociology of the good includes the study of phenomena at the micro, meso, and macro levels. The study of the good transcends particular theoretical and research traditions. It also transcends particular conceptions of the good. Variations in underlying theoretical traditions, and in the identification of the good at different levels of analysis, are illustrated by the previously considered systems of sociology of Pitirim A. Sorokin and of Erik Olin Wright.

A systematic consideration of the nature and variable forms of the good, their locations in the sociological universe, and their causes and effects would add greatly to the theoretical and research scope of sociology as a science. It would supplement the analysis of problems with the analysis of the positive, desirable, and good. This study of the good would produce knowledge and understandings directly relevant to the betterment of the general society. This article can be viewed as an invitation to further explore the characteristics, func-

[1] *Smith Ch.* What is a person? – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2010. – P. 384–433.

[2] Ibid. – P. 400.

[3] Ibid. – P. 402.

[4] Ibid. – P. 406–408.

[5] Ibid. – P. 386.

tions, and potential contributions of a comprehensive and developed sociological study of the good.

Acknowledgements

Thanks are due to Wendell Bell, Cecelia Jeffries, and Matthew Lee for their comments on an earlier draft of this article.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

П.А. Сорокин

РОЛИ СХОДСТВА И НЕСХОДСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И АНТАГОНИЗМЕ (ГЛАВА 7 КНИГИ «ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ: ИХ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА: СИСТЕМА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ»)[1] (Перевод с англ.)[2]

I. Практическая значимость проблемы

Как и многие предыдущие поколения, мы вновь столкнулись с вопросом о той роли, которую играют сходство и несходство в солидарных и антагонистических взаимоотношениях, в явлениях социальной сплоченности и разобщенности и в творчестве и творческом бесплодии людей и групп. В десятке важных социальных областей эта проблема подстерегает нас как не только теоретическая, но и насущная практическая проблема. Так, например, должен ли человек, чтобы жить в «счастливом, прочном и долгом браке», подбирать партнера, схожего с ним по расе, телосложению, цвету кожи, весу, национальности, вероисповеданию, социально-экономическому статусу и т.д., или такой брак требует несхожего партнера? Если требуется схожий или несхожий, то какого рода сходства и различия особенно для этого важны? Если необходимо сочетание сходств и различий, то какого рода сочетание и каких именно сходств и различий будет наилучшим? Таким образом, эта проблема решительно вторгается в сферу семьи и брака и становится одной из первоочередных по практиче-

[1] *Sorokin P.A.* The roles of similarity and dissimilarity in social solidarity and antagonism // Sorokin P.A. Society, culture and personality: Their structure and dynamics: A system of general sociology. – N.Y.; L.: Harper a. bros, 1947. – Ch. 7. – P. 132–144.

[2] Перевод выполнен в рамках проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

ской важности для всех людей, находящихся в возрасте, подходящем для вступления в брак.

Не менее настоятельно она о себе заявляет практически во всех других областях социальной сплоченности и единства. Должны ли мы, чтобы иметь солидарную и единую социальную группу, стремиться к построению такой группы из членов, схожих друг с другом по расовым или социокультурным характеристикам, или желаемые единство и солидарность будут лучше достигаться с помощью расового и социокультурного разнообразия ее членов? Если желанная цель может быть лучше достигнута каким-то одним из этих путей, то какого рода сходства и несходства будут особенно важны для той или иной конкретной социальной группы?

«Проблема меньшинств» – одна из самых насущных проблем нашей эпохи. Любое решение ее в терминах «ассимиляции и амальгамации» будет предполагать веру в ту форму социального единства и солидарности, которая основана на сходствах. С другой стороны, решение ее в терминах сохранения и развития расового и социокультурного разнообразия предполагает веру в солидарность и единство, основанные на различиях. То же можно сказать и о культурной плодотворности людей и социальных групп. При прочих равных условиях, взрывается и расцветает ли творческий дух в основном в группах со схожим мышлением, идентичным «сознанием рода» и единообразной и стандартизированной культурой (религией, искусством, политическим кредо, научными и философскими взглядами и т.д.)? Или же он расцветает для всех членов прежде всего в группах со множеством разных культурных течений, религиозных сект, научных и философских школ, политических фракций, разнородных художественных подразделений и т.д.?

Эти замечания были призваны показать насущную теоретическую и практическую значимость данной проблемы для нашего времени.

II. Основные теории

Теперь бросим взгляд на то, какого рода ответы на эти вопросы были предложены теми, кто изучал их в различных областях. Эти решения легко разбиваются на три основных класса, предложенных мыслителями былых обществ, столкнувшимися с данной проблемой, и хорошо подытоживаются у Аристотеля. Он говорит:

«О дружбе немало бывает споров. Одни полагают ее каким-то сходством и похожих людей – друзьями, и отсюда поговорки: “Рыбак рыбака...” и “Ворон к ворону...” и тому подобные. Другие утверждают противоположное: “Все гончары” – [соперники друг другу]. Для этого же самого подыскивают [объяснения] более высокого порядка и более естественнонаучные, так Еврипид говорит: “Земля иссохшая вожделеет к дождю, и величественное небо, полное дождя, вожделеет пасть на землю”; и Гераклит: “Супротивное сходится”, и “Из различий прекраснейшая гармо-

ния", и "Все рождается от раздора"; этому [мнению] среди прочих противостоит и Эмпедоклово, а именно: "Подобное стремится к подобному"»[1].

Если добавить к этим противоположным друг другу взглядам третий, утверждающий, что решающее значение для дружбы, солидарности, любви, гармонии и единства имеет некоторая комбинация сходств и различий, то мы получим все три основных решения, предложенных на настоящий момент. Во-первых, существует теория, утверждающая, что сходство служит основой солидарности во всех видах групп, начиная с брака и заканчивая государством и другими обществами. Вариантами этого решения являются теория «единомыслия» и «сознания рода» Ф. Гиддингса, нацистская теория «одной крови, одной расы, одной нации, одного государства», все теории неизбежности трений и конфликтов между разными расовыми, этническими и социокультурными группами, вплоть до теорий поборников «гомогамии в браке».

Во-вторых, есть теория, что устойчивая, длительная и плодотворная солидарность существует прежде всего, если не исключительно, в группах, образованных из разнородных расовых, этнических или социокультурных (религиозных, научных, артистических, профессиональных, экономических и т.д.) элементов. Все эти теории, утверждающие, что в браке и дружбе «противоположности притягиваются», что долгая и свободная солидарность возможна лишь в обществах с «общественным разделением труда», что скрещивание разнородных культурных элементов является необходимым условием общественного или индивидуального творчества, что единственной разумной политикой в отношении меньшинств является содействие им в сохранении их особых и уникальных черт, что наиболее плодотворны и долговечны общества, представляющие «единство в разнообразии», – эти и многие другие теории суть лишь вариации этого второго решения. Образцы его мы дальше еще рассмотрим.

Наконец, третье решение дает нам два основных варианта. В одном из них утверждается, что всякая реальная солидарность основывается не на сходстве или различии, а на некоторой их комбинации. То же считается применимым и к социальным антагонизмам и напряжениям. С точки зрения этой теории обе другие ущербны фактически и ошибочны логически. Другой вариант этой точки зрения представлен всеми теориями, допускающими два разных вида солидарности, один из которых основан на сходстве, а другой – на различии. Обе солидарности реальны, но во многом отличны друг от друга. Широко известные «механическая» и «органическая» солидарности Э. Дюркгейма, солидарности *Gemeinschaft* и *Gesellschaft* Ф. Тённиса, а также разные сплоченности, подразумеваемые у

[1] *Aristotle.* The Nicomachean ethics / Trad. by H. Rackham. – N.Y.: G.P. Putnam's sons, 1926. – Bk. 8, Pt. 16. – P. 454. (Цит. в пер. Н.В. Брагинской по изданию: *Аристотель.* Никомахова этика // Аристотель. Сочинения. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4. – С. 220. Местоположение цитируемого отрывка указывается у Сорокина неверно, он содержится в кн. восьмой, ч. 2. – *Прим. пер.*).

многих социологов понятиями «сообщество» и «ассоциация», являются примерами этого варианта третьего решения.

III. Роль сходства / несходства в брачной солидарности

Теперь критически разберемся в том, какая из этих соперничающих теорий верна. В настоящее время мы располагаем значительным объемом эмпирических данных, которые позволяют нам проверить их достоверность. Если эти данные правильно проанализировать, то они также раскроют нам подлинную сложность этой проблемы, которой многие часто не замечают. Нашу проверку можно начать с данных, относящихся к выбору брачного партнера и к возможной стабильности брака и счастью в браке. Счастливый и стабильный брак есть одна из наиболее общих и наиболее интенсивных форм межличностной солидарности. Даже недолговечный брачный союз будет иметь эту интенсивную солидарность на начальных своих стадиях. Поэтому фактические свидетельства из этой области становятся крайне значимыми для нашей проблемы. Если бы эти данные показывали, что выбор брачного партнера управляется главным образом сходством и что счастливыми и стабильными обычно оказываются браки между сторонами, схожими друг с другом, то такое единообразие свидетельствовало бы в пользу теории сходства. Если бы данные показали иную ситуацию, то они бы очевидным образом подтверждали либо теорию несходства, либо теорию сочетания сходства / несходства. Начнем с выбора в браке. Подчиняется ли он правилу «подобное порождает подобное» или следует правилу «противоположности притягиваются»?

Преобладающий ответ, похоже, свидетельствует в пользу брака между подобными (гомогамии или ассортативного скрещивания). Значительное число исследователей сравнивали помолвленные или супружеские пары с точки зрения их расы, телосложения, веса, черепного индекса, цвета глаз и волос, возраста, здоровья, долголетия и других физических характеристик, под углом зрения их интеллекта, темперамента, национальности, религии, образования, экономического и профессионального статуса, по семейному происхождению, вкусам, манерам, нравам и другим психологическим и социокультурным особенностям. Результат, полученный в большинстве исследований, таков, что действительная доля сходства в исследованных характеристиках значительно выше той, которой следовало бы ожидать, если бы никакого особого притяжения подобного к подобному не было[1]. Будучи измеренным с помощью коэффициента кор-

[1] См. обзоры таких исследований: *Burgess E., Wallin P.* Homogamy in social characteristics // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1943. – Vol. 49, N 1. – P. 109–124; *Anderson C.A.* Our present knowledge of assortative mating // Rural sociology. – Bellingham, 1938. – Vol. 3. – P. 296–302; *Jones H.E.* Homogamy in intellectual abilities // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1929. – Vol. 35, N 3. – P. 369–382; *Richardson H.M.* Studies of mental resemblance between husbands and wives and between friends // Psychological bull. – Wash., 1939. – Vol. 36, N 2. – P. 104–120.

реляции или сопряженности, сходство в физических чертах пар оказывается около 0,2, в психологических чертах – около 0,4–0,5. Измеренное с помощью коэффициента φ, сходство в различных социокультурных характеристиках колеблется между 0,1 и 0,5. Лишь в немногих исследованиях результаты не показывают ни гомогамии, ни гетерогамии (притяжения несхожего).

Должны ли мы из этого заключить, что в помолвленных и супружеских парах есть особая тяга к подобному, что это универсальное правило и, по словам К. Пирсона, одного из пионеров изучения моногамии, «мы не можем сомневаться в том, что в случае человека подобное действительно тяготеет к сочетанию с подобным»[1] и что эти исследования демонстрируют значимость сходства как первейшего условия солидарности любой другой группы?

Несмотря на весьма единообразные результаты, такие выводы были бы поспешными. 1. Ряд соображений технического характера предостерегает нас от поспешного принятия таких выводов: а) коэффициенты корреляции в большинстве исследований, затрагивающих много черт, довольно низкие и вряд ли статистически значимы; б) в разных исследованиях коэффициенты для сходства в одних и тех же чертах не согласуются друг с другом – то высокие, то низкие, иногда положительные, а иногда отрицательные; в) в некоторых исследованиях, например исследованиях Кречмера и некоторых других, результаты свидетельствуют в пользу гетерогамии; г) объективность коэффициентов и выводов во многом искажают произвольные допущения, произвольное приписывание разных весов разным позициям и другие субъективные суждения, лежащие в основе объективно выглядящих цифр. По этим техническим причинам достоверность полученных результатов становится весьма спорной.

2. Другие соображения и факты делают очень спорным существование какого-то особого таинственного «притяжения подобного к подобному». Его природа навряд ли вообще анализировалась его поборниками и остается по существу неведомой. Более того, даже во вроде бы гомогамных браках остается неизвестно, вызвана ли кажущаяся моногамия этим мистическим притяжением или просто фактом ограниченной сферы доступного контакта и взаимодействия для каждой из сторон. Двое людей, которые не встречаются и не входят в контакт, явно не могут друг в друга влюбиться, совершить помолвку и пожениться. Доступность контакта и длительное взаимодействие сторон – необходимые условия последующего обручения и брака для пар, женящихся по собственному выбору и согласию. Люди, живущие в далеких друг от друга местах, не имеют такого шанса повстречаться друг с другом, влюбиться и пожениться, какой имеют люди, живущие по соседству друг с другом. Это не означает наличия особого мистического притяжения между людьми, живущими в простран-

[1] *Pearson K.* Grammar of science. – L.: Black, 1902. – P. 431.

ственной близости, и отталкивания между людьми, живущими вдали друг от друга. Это означает всего лишь то, что стороны, живущие в одном районе, имеют совершенно иную возможность встреч, контактов и взаимодействия, нежели те, кто живет в удаленных друг от друга местах. Именно поэтому – а не благодаря какому-то мистическому притяжению подобного к подобному – подавляющее большинство браков заключается между лицами, живущими в одной округе. В Филадельфии из 5 тыс. браков, изученных за период с 1885 по 1931 г., 67,3% были браками между людьми, жившими в пределах 20 или менее кварталов друг от друга. Из них 49,9% браков были браками между сторонами, жившими в пределах 9 или менее кварталов друг от друга[1]. Схожим образом в Нью-Хейвене 76% браков в 1940 г. были заключены между людьми, жившими в 20 или менее кварталах друг от друга, а 35% – в пределах 5 кварталов[2]. Несколько других исследований представляют схожую картину. То, что такая ситуация обусловлена не особым притяжением подобного к подобному, а скорее большей доступностью контакта для людей, живущих в пространственной близости, негативно подтверждается фактом крайней редкости браков между людьми, которые, живя в пространственной близости, не соприкасаются и не взаимодействуют друг с другом по причине «социальных препятствий для взаимодействия», существующих, например, между богатыми и бедными, бомондом и аутсайдерами и т.п. Резкие различия в социальном статусе, благосостоянии, вероисповедании, языке, расе, а также во множестве других социокультурных черт являются такими же большими препятствиями для встреч, перемешивания и взаимодействия возможных женихов и невест, как и пространственная изоляция. Как правило, бедные взаимодействуют в основном с бедными, богатые – с богатыми, итальянцы или поляки в первом поколении иммигрантов – в основном с другими итальянцами или поляками. Следовательно, для «социально разделенных» людей возможность влюбиться и жениться несоизмеримо меньше, чем для людей одного социального круга. Это объективное различие в доступности, частоте и близости контактов служит адекватным объяснением обычного преобладания так называемых гомогамных браков над гетерогамными. Гипотеза притяжения подобного к подобному была бы доказана лишь при условии, что в мире потенциальных партнеров с равнодоступным для каждого контактом и взаимодействием со всеми другими было бы обнаружено, что люди чаще заключают браки с теми, кто на них похож. До сих пор ни одно из исследований в этой особой области не дало нам такого результата.

Объективный фактор неравных возможностей вхождения в контакт и взаимодействия во многом объясняет преобладание браков итальянцев с

---

[1] *Abrams R.H.* Residential propinquity as a factor in marriage selection // American sociological rev. – N.Y., 1943. – Vol. 8, N 3. – P. 288–294.

[2] *Kennedy R.* Premarital residential propinquity // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1943. – Vol. 48, N 5. – P. 580–584.

итальянками, евреев с еврейками, поляков с полячками, богатых с богатыми, католиков с католиками и многие другие формы так называемой гомогамии. Значительный массив данных вполне подтверждает эту теорию и явно противоречит теории особого притяжения подобного к подобному. Если бы такая гипотеза была верной, то нам следовало бы ожидать, что она будет универсальной, одинаково действенной для разных людей и групп. Между тем мы находим, что в одном из миннесотских округов из 1000 супружеских союзов браки итальянцев с итальянками составляют 828 (для мужей) и 970 (для жен) случаев, браки поляков с полячками – соответственно 815 и 910 случаев, браки венгров с венгерками – 856 и 849, в то время как британцы, канадцы и немцы дают нам всего от 295 до 421 «гомогамного» брака[1]. Если таинственное притяжение подобного к подобному на самом деле есть, то по какой-то еще более таинственной причине это притяжение действенно для итальянцев и поляков, но недейственно для британцев, канадцев и немцев, которые оказываются в значительной степени свободными от его власти. Реальное объяснение этого различия, конечно, гораздо проще и никакого таинственного притяжения не предполагает. Итальянцы, поляки и венгры, будучи в целом более поздними иммигрантами с особым социокультурным бэкграундом, гораздо меньше «амальгамированы» и ассимилированы и продолжают взаимодействовать внутри своих национальных групп гораздо больше, чем британцы или немцы; отсюда и разница. Это объяснение подтверждается тем фактом, что доля смешанных браков, гетерогамных в этническом отношении, в последующих поколениях гораздо выше, чем в первом или втором[2].

Такой же результат дают нам и другие исследования. Исследование межнациональных и межрелигиозных браков в Нью-Хейвене, проведенное Р. Кеннеди, показывает, во-первых, что доля «гомогамных» браков между людьми одной национальности упала с 91,2% в 1870 г. до 75,9% в 1900 г. и до 63,6% в 1940 г. Объяснить это уменьшение гомогамии предполагаемым падением силы нашего таинственного притяжения явно невозможно. В этом случае вопрос «Почему уменьшилась сила притяжения?» явил бы нам почти неразрешимую проблему. Во-вторых, это же исследование показывает, что доля религиозно гомогамных браков сильно различается в разных группах: если евреи заключают браки с евреями почти в 100% случаев (97 и 94% в 1930 и 1940 гг.), то католические религиозно гомогамные браки показывают только 83%, а протестантские браки – всего 78%[3]. Здесь наше таинственное притяжение опять же по неведомой причине действует, похоже, по-разному в разных религиозных группах. Эти соображения и

---

[1] *Nelson L.* Intermarriage among nationality groups // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1943. – Vol. 48, N 5. – P. 585–593. См. также: *Kolehmainen J.* A study of marriage in a Finnish community // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1936. – Vol. 42, N 3. – P. 376.

[2] См. данные в упомянутом выше исследовании Дж. Колемайнена.

[3] *Kennedy R.* Single or triple melting pot? // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1944. – Vol. 49, N 4. – P. 331–340.

данные вряд ли оставят какие-либо сомнения в том, что даже в так называемых гомогамных браках реальной причиной гомогамии часто оказывается не наше таинственное притяжение подобного к подобному, а различия в доступности контакта и взаимодействия для соответствующих сторон, а также некоторые другие факторы, которые мы обсудим дальше.

3. Следующий набор свидетельств, предостерегающих от принятия сходства как решающего фактора отбора супруга или «счастья в браке», – это то, что сходство (или несходство) мужа и жены во множестве характеристик не демонстрирует высокой корреляции со счастьем или несчастьем в браке. Л.М. Терман с коллегами не получили значимой связи между сходством или несходством мужа и жены и счастливыми или несчастными браками[1]. Это же исследование показывает, что степень сходства мужа и жены оказывается сравнительно высокой в счастливых и несчастных браках офисных клерков и юристов и очень низка в браках химиков и сертифицированных аудиторов[2], и это различие, если оно типично, вряд ли можно примирить с гипотезой таинственного притяжения или первостепенной значимости сходства для счастья в браке.

Исследование Э. Бёрджесса и Л. Котрелла выявило отчасти значимую корреляцию счастливых браков с согласием мужа и жены относительно ряда вещей и несчастных браков с разногласиями; но согласие и разногласие есть нечто совершенно иное, нежели сходство и несходство сторон в той или иной физической или социокультурной характеристике. Кроме того, даже в случае согласия коэффициенты корреляции были лишь умеренно значимыми (от 0,2 до 0,5). Если обратиться к деталям, то в этом исследовании они обнаружили, что согласие в религиозных вопросах имеет низкую корреляцию со счастьем в браке, в то время как исследование Бёрджесса – Уоллина обнаружило, что сходство вероисповедания имеет самую высокую корреляцию с выбором брачного партнера[3]. Это расхождение делает несколько спорными оба вывода и опять же предостерегает от принятия теории гомогамии и сходства.

4. Еще один набор противоречивых данных представлен широко распространенными феноменами экзогамии, сопровождаемыми запретом на браки между близкими кровными родственниками. Если бы сходство и тяга подобного к подобному были решающим фактором выбора брачного партнера и сплоченного и счастливого брака, то такие нравы, полностью противоречащие принципу сходства, просто не могли бы появиться и быть широко практикуемыми. В еще меньшей степени они могли бы сохраняться столетиями в огромном множестве групп, поскольку для заключения

---

[1] *Terman L.M.* Psychological factors in marital happiness. – N.Y.: McGraw–Hill, 1938. – P. 19 ff.

[2] Ibid. – P. 19.

[3] *Burgess E., Cottrell L., jr.* Predicting success or failure in marriage. – N.Y.: Prentice–Hall, 1939. – P. 50 ff. Ср.: *Burgess E., Wallin P.* Homogamy in social characteristics // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1943. – Vol. 49, N 2. – P. 124.

брака они открыто требуют несхожих сторон. Их существование со всей ясностью свидетельствует против первостепенной важности сходства и притяжения подобного к подобному.

5. Решающий ряд свидетельств против теории, согласно которой солидарность и любовь в браке или в любой другой социальной группе базируется всегда и всецело на сходстве, являет сам факт сильнейшей любви, солидарности и верности между людьми *разных* полов – будь то в браке или вне брака. Гомосексуальная любовь всегда представляла незначительную часть на фоне гетеросексуальной любви. Этот простой факт означает, что в браке и в семейных группах бисексуальная гетерогенность сторон является правилом, а их гомогенность – исключением.

Совокупности этих данных достаточно, чтобы продемонстрировать, что теория сходства и гомогамии как специфического притяжения подобного к подобному является недоказанной и в высокой степени спорной.

Отказ от теории гомогамии и сходства как первостепенного фактора выбора брачного партнера или счастья и стабильности в браке не означает принятия противоположной теории притяжения противоположностей и различий как основы прочной и счастливой брачной солидарности. Широко распространенное правило брачной эндогамии, как и многочисленные факты, подчеркиваемые сторонниками гомогамии в браке, явно противоречат такой теории и делают ее даже еще более неприемлемой, чем теория сходства. Как мы уже увидели, поляки и итальянцы женятся в основном на полячках и итальянках. То же касается и других национальных групп. Иудеи, католики и протестанты женятся в основном на иудейках, католичках и протестантках. Богатые женятся главным образом на богатых, бедные – на бедных, негры – в основном на негритянках и т.д. Таким образом, имеется мало оснований для генерализации теории несходства и гетерогамии.

IV. Предварительный анализ

Если не могут быть приняты ни теория сходства, ни теория несходства, ни гомогамия, ни гетерогамия, то что тогда остается? Очевидно, есть третья теория, предлагающая некоторую комбинацию схожих и несхожих черт в качестве основания солидарности как таковой, выбора брачного партнера и особенно счастья в браке.

Корпус данных, свидетельствующих в пользу такого тезиса, был дан изучением близких друзей, или приятельских пар, с этой точки зрения. Изучение 300 пар близких друзей показало, что в 2962 поведенческих чертах друзья были схожими, а в 1484 – несхожими. В 88% их стандартов и идеалов они походили друг на друга, и сходство уменьшалось до 50% в хобби, читательских привычках и покупательских привычках[1].

[1] *Bogardus E., Otto P.* Social psychology of chums // Sociological a. social research. – N.Y., 1936. – Vol. 20. – P. 260–270; *Bogardus E.* Social distance // Sociological a. social research. – N.Y., 1938. – Vol. 22. – P. 466–467.

Довод в пользу комбинации схожих и несхожих черт подтверждается также противоречивыми результатами других исследований дружбы в связи со сходством / несходством в характеристиках. Чэлмен, Флемминг, Уислоу, Ричардсон и другие обнаружили некоторые сходства между друзьями у детсадовских детей, школьников и взрослых; но в других отношениях друзья были несхожими. С другой стороны, Пинтнер, Форлано, Фридман и другие обнаружили очень низкую корреляцию между друзьями и их сходствами[1].

Что касается брачной солидарности, то несходство всегда присутствует в ней, прежде всего, в самом факте полового различия, не говоря уже о других несходствах между сторонами, проистекающих отчасти из биологического полового различия, отчасти из социокультурных и личностных условий. Аналогичным образом сходство в отношении важнейших ценностей обеих сторон кажется необходимым для того, чтобы солидарность брака была сильной, прочной и длительной. Хотя данные, приводимые сторонниками гомогамии, не доказывают их тезиса, они все же показывают, что в «счастливых» браках присутствует более высокая степень сходства и согласия между сторонами, нежели в браках несчастных или расторгнутых.

Уже упомянутое исследование Бёрджесса – Котрелла демонстрирует корреляцию согласия между сторонами (в управлении финансами, отдыхе, вопросах веры, друзьях, близких отношениях, жизненной философии и т.д.) со счастьем в браке; коэффициенты корреляции варьируют в диапазоне от 0,3 до 0,7. Аналогичным образом исследование Термана показывает, что из 545 изученных черт в 130 чертах счастливый брак обнаруживал

[1] См.: *Challman R.C.* Factors influencing friendships among pre-school children // Child development. – Malden (MA), 1932. – Vol. 3, N 3. – P. 146–158; *Flemming E.G.* Best friends // J. of social psychology. – N.Y., 1932. – Vol. 3, N 3. – P. 385–390; *Winslow C.H.* A study of the extent of agreement between friends' opinions and their ability to estimate the opinions of each other // J. of social psychology. – N.Y., 1937. – Vol. 8, N 4. – P. 433–442; *Richardson H.M.* Community of values as a factor in friendships of college and adult women // J. of social psychology. – N.Y., 1940. – Vol. 11, N 2. – P. 302–312; *Pintner R., Forlano G., Freedman H.* Personality and attitudinal similarities among classroom friends // J. of applied psychology. – Wash., 1937. – Vol. 21, N 1. – P. 48–65; *Pelletieri A.J.* Friends. – Nashville (TN): Y.M.C.A. Graduate school, 1935; *Partridge E.D.* A study of friendship among adolescent boys // J. of genetic psychology. – Wash., 1933. – Vol. 43. – P. 472–477; *Williams P.E.* A study of adolescent friendship // Pedagogical seminary. – Wash., 1923. – Vol. 30. – P. 343–346; *Seagoe M.V.* Factors influencing the selection of associates // J. of educational research. – Bloomington (IL), 1933. – Vol. 27. – P. 32–40; *Cattell R.B.* Friends and enemies // Character a. personality. – Malden (MA), 1934. – Vol. 3, N 1. – P. 54–63; *Furfey P.* Some factors influencing the selection of boys' chums // J. of applied psychology. – Wash., 1929. – Vol. 11, N 1. – P. 47–51; *Hagman E.P.* The companionship of preschool children. – Iowa City: Univ. of Iowa press, 1933. – (University of Iowa studies in child welfare); *Jenkins G.G.* Factors involved in children's friendships // J. of educational psychology. – Wash., 1931. – Vol. 22, N 6. – P. 440–448; *Van Dyne E.V.* Personality traits and friendship formation in adolescent girls // J. of social psychology. – N.Y., 1940. – Vol. 12, N 2. – P. 291–305.

более высокую степень согласия между сторонами, чем несчастный или расторгнутый[1]. Из повседневных наблюдений мы знаем, что прочный и счастливый брак вряд ли возможен между людьми, совершенно непохожими друг на друга во всех важных чертах и ценностях. Такие супружеские пары представляли бы собой не более чем двух чужих друг другу людей, живущих под одним кровом. Ни глубокое единство, ни глубокая верность и взаимопонимание, ни сплавление личностей в единое «мы» невозможны при таких условиях. Подведем итог: в любом браке присутствует некоторого рода сочетание сходств и различий; из них некоторое сочетание черт сходства и различия является решающим фактором удачного выбора брачного партнера и счастливого и стабильного брака как такового.

Этим выводом мы внесли ясность в область односторонних теорий, касающихся солидарности и единства супругов в браке, но не решили самой проблемы. Ее решение требует ответа на вопрос: какие именно сходства и различия и какое их сочетание способствуют счастливому, солидарному и прочному браку? Адекватный ответ на этот вопрос требует нескольких предварительных шагов. 1. Мы должны признать, что существуют тысячи сходств и различий между любыми двумя людьми разного пола. 2. *Не все схожие и несхожие черты одинаково действенно генерируют солидарность или антагонизм между* такими взаимодействующими сторонами. Некоторые черты, такие как, сходство в предпочтении коричневых туфель черным или несходство в предпочтении сигарет «Честерфилд» одной стороной и сигарет «Кэмел» другой, вряд ли оказывают ощутимое воздействие на солидарности и антагонизмы большинства взаимодействующих людей. С другой стороны, такая черта, как несходство в вероисповедании, была в Средние века очень действенной в этом отношении, вызывая, как правило, острую враждебность к еретикам, раскольникам и язычникам и солидарность между членами одной и той же христианской религии. Это значит, что прежде чем отвечать на наш вопрос, мы должны выяснить, какие из сходств и различий действенны, а какие нейтральны и не оказывают никакого влияния. Только влиятельные черты и их действенные комбинации являются для наших целей важными.

3. Следующий шаг состоит в осознании того, что *вряд ли какая-либо черта сходства или различия единообразно становится действенной и порождает солидарность или антагонизм сама по себе, вследствие своих биофизических свойств и независимо от социокультурного мира, в котором она дана*. Религиозное сходство или различие очень важно в религиозном обществе, таком как средневековая Европа. Во взаимодействии атеистов и неверующих или в безрелигиозном обществе оно становится нейтральным и не порождает ни антагонизма, ни солидарности. Расовое сходство или несходство очень важно для обществ и лиц, придающих большую ценность расе, как, например, в кастовом обществе Индии, древ-

[1] *Burgess E., Cottrell L.* Op. cit. – P. 48 ff; *Terman L.M.* Op. cit. – P. 26 ff.

нееврейском обществе и колониальном американском обществе. Оно перестает быть значимым для людей и обществ, придающих ему мало ценности или не придающих вовсе никакой ценности; таковы, например, российское общество на протяжении нескольких столетий, раннее общество голландских поселенцев в Африке, Бразилия и многие другие[1]. В таких обществах люди разных рас вступают в смешанные браки, и такие браки вряд ли демонстрируют какую бы то ни было особую солидарность или антагонизм, которые отличали бы их от браков между людьми, принадлежащими к одной расе. Сходство или несходство в политических взглядах очень значимо для людей и обществ, придающих им высокую ценность, например в нашем нынешнем обществе с его конфликтом между нацистами и антинацистами. Для людей и обществ, придающих мало ценности политическим взглядам, оно, в свою очередь, становится неважным и недейственным. Даже такие биологически важные характеристики, как сходство или значительное расхождение в возрастах супругов, очень действенны в обществах, придающих им высокую ценность, и гораздо менее действенны в обществах, где, как правило, девочки 8–12 лет выходят замуж за мужчин гораздо их старше (как, например, в Индии и во многих других обществах прошлого). То же самое верно практически для любой другой черты сходства или различия. Это значит, что мы не можем установить, какие черты сходства или различия *per se*, по биофизическим их характеристикам, являются универсально действенными или нейтральными. Любая черта сходства или различия действенна только для тех личностей, обществ и культур, которые придают ей большую значимость, для которых она представляет большую ценность в их тотальной системе ценностей; в противном случае она становится нейтральной и бездейственной. Таким образом, *действенность или недейственность черты сходства или различия зависит от системы ценностей соответствующих людей и групп*.

Черта, действенно порождающая солидарность или антагонизм для взаимодействующих сторон *C* и *D*, может становиться нейтральной для *M* и *N*, чья система ценностей отличается от системы ценностей *C* и *D*. Таким образом, *то, какие черты считаются значимым сходством или различием, а какие нет, будет определяться, главным образом, системой ценностей взаимодействующих сторон, их самоидентификацией с этими чертами или ценностями, а не их биофизической природой*. Мать и ее маленький сын очень отличны друг от друга анатомически, физиологиче-

[1] О доминирующем отношении к расовому сходству / различию у русских см.: *Sorokin P.A.* Russia and the United States. – N.Y.: Dutton, 1944. – P. 31 ff. О голландских колониях в Африке см.: *Millin S.G.* The South Africans. – L.: Constable, 1926. О межрасовых браках и отсутствии сколько-нибудь серьезной расовой дискриминации в некоторых ранних поселениях европейцев см.: *Park R.* Race relations and certain frontiers // Race and culture contact / Ed. by E.B. Reuter. – N.Y.: McGraw-Hill, 1934. – P. 57–88; *Lips J.* The savage hits back. – New Haven (ct): Yale univ. press, 1937. – Ch. 1, *passim*.

ски, психологически и социокультурно. Тем не менее это явное биофизическое и «объективное» различие не мешает им рассматривать себя как одних «мы», очень схожих, даже тождественных до высшей степени единения, а их жизням – слиться в сильнейшее солидарное единство. Идентичные братья-близнецы очевидно схожи во множестве анатомических, физиологических, психологических и социокультурных характеристик. Но если один из них станет коммунистом, а другой антикоммунистом, то это единственное различие «отменит» все их сходства и сделает их смертельными врагами. Подобного рода факты можно перечислять до бесконечности. Черты, считаемые взаимодействующими сторонами неважными, малоценными или вообще не имеющими ценности, нейтральны и недейственны, вне зависимости от всяких их «объективных», биофизических характеристик.

Из этих заключений вытекает еще один вывод, а именно: *никакое* сугубо объективное и механическое множество сходств и несходств между сторонами и их корреляция с солидарностью или антагонизмом, выбором брачных партнеров или счастьем в браке не дают и не могут дать надежной общей формулы их каузальной связи. Без соотнесения с системой ценностей взаимодействующих сторон никакое объективное сходство или различие не может быть ни действенным, ни нейтральным. Только будучи помещенным в соответствующую систему ценностей, оно становится либо действенным, либо нейтральным. Это объясняет, почему результаты, полученные разными исследователями брачной гомогамии и гетерогамии и счастья и несчастья в браке, были неубедительными, противоречивыми и не согласующимися друг с другом. В большинстве их различные черты сходства и несходства брались «объективно» и механически, без всякого систематического исследования систем ценностей изучаемых сторон. В результате в одних исследованиях черта *A* оказывается очень действенной для отбора супруга или счастья в браке, а в других – играющей очень незначительную роль или не играющей вообще никакой роли.

Например, в исследовании факторов брачной гомогамии Бёрджесса и Уоллина наивысшая корреляция демонстрируется сходством религиозной принадлежности и религиозного поведения (0,54), а в их исследовании счастья в браке религиозное сходство оказывается играющим одну из самых незначительных ролей (0,28). Исследование Термана тоже обнаруживает, что этот фактор несуществен для счастья в браке: разница в вероисповедании занимает 29-е место по частоте и 47-е по серьезности среди недовольств мужа и, соответственно, 22-е и 44-е места – среди недовольств жены. Этот результат, однако, еще более усложняется дальнейшими данными Термана, показывающими, что ни строгое религиозное воспитание, ни слабое, ни полное его отсутствие никак не способствуют счастью в браке, а умеренное религиозное воспитание, видимо, теснее всего связано с удачными браками. Согласно этому исследованию, особенно

нежелательно очень строгое религиозное воспитание для жен[1]. Эти расхождения усугубляются далее разной ролью, которую вероисповедание или любой другой фактор сходства и несходства играет в разных профессиональных группах, исследованных Терманом. В других исследованиях обнаруживается исключительно важная роль религиозного сходства в выборе брачного партнера. Упомянутое выше исследование Р. Кеннеди показывает, что в Нью-Хейвене евреи заключают браки между собой примерно в 97–94% случаев; важность этого фактора для католиков ниже (83%), а для протестантов – еще ниже (78–79%). Студентки университета штата Висконсин, происходящие из имущих классов, придают религиозной принадлежности своих потенциальных мужей очень большую значимость (среднее значение – 0.91), а студентки из профессиональных и фермерских классов – гораздо меньшую значимость (в среднем 0.64)[2].

Другие исследования дают еще более непостоянную картину роли религиозного сходства или различия в отборе брачного партнера и в счастье в браке. Прибавим к этому еще и такие факты, как, например, то, что в средневековой Европе религиозное сходство христиан было необходимым условием христианского брака; его требовали мирское и церковное право, нравы и личное счастье затронутых сторон. Рассмотрим еще ряд вариаций этих правовых и моральных требований, находимых в разных странах. В дореволюционной России, например, православные могли вступать в брак с любыми христианами (католиками, протестантами), но не могли заключать браки с нехристианами, если те не обращались в христианство. Другие российские граждане, как то евреи, язычники и т.д., могли заключать браки с любыми нехристианами. Когда принимаются в расчет все эти разнообразия, вся проблема того, насколько религиозное сходство важно для отбора партнеров или счастья в браке, становится совершенно неопределенной. Как мы увидели, разные исследования дают совершенно разные результаты и коэффициенты. Никакого единообразия в отношении его действенности не обнаруживается. Причину этого далеко искать не надо; поскольку религия обладает неодинаковой значимостью в системах ценностей разных людей и групп, то сходство или различие в вероисповедании с необходимостью имеет разные степени влияния на выбор брачного партнера и на счастье в браке или, если взглянуть шире, на порождение солидарности и антагонизма во взаимоотношениях между сторонами. На стороны, в ценностной системе которых вероисповедание занимает важное место, сходство или несходство в нем оказывает дейст-

---

[1] См.: *Burgess E., Wallin P.* Op. cit. – P. 124; *Burgess E., Cottrell L.* Op. cit. – P. 50–51; *Terman L.M.* Op. cit. – P. 96 ff, 230 ff.

[2] *McCormick T.C., Macrory B.E.* Group values in mate selection // Social forces. – Chapel Hill (NC), 1944. – Vol. 22, N 3. – P. 315–317. См. также: *Biesanz J., Biesanz M.* Mate selection standards of the Costa Rican students // Social forces. – Chapel Hill (NC), 1943. – Vol. 22, N 2. – P. 194–199; *Baber R.* Some mate selection standards of college students and their parents // J. of social hygiene. – Albany (NY), 1936. – Vol. 22, N 3. – P. 115–125.

венное влияние. А для тех сторон, в системе ценностей которых оно незначимо, оно становится нейтральным и недейственным.

То же самое можно сказать практически о любой черте сходства или различия из числа изученных. Берущиеся объективно и механически, без соотнесения с системами ценностей затронутых сторон, все они оказываются в разных исследованиях играющими совершенно разные роли. Даже такая чисто физическая черта сходства / различия, как зараженность супругов туберкулезом, дала в двух разных исследованиях Поупа коэффициенты 0,32 и 0,17, в исследованиях Горинга[1] – 0,01 и 0,16, в исследовании Элдертона – 0,30; как видите, разброс коэффициентов значительный. Таким же образом сходство в алкоголизме дает разброс коэффициентов в диапазоне от 0,27 до 0,44 и 0,70 в исследованиях Горинга, Шустера и Элдертона. Сходство в сумасшествии дало коэффициенты от 0,06 и выше (Горинг), а сходство в интеллекте – от 0,08 до 0,38 и выше (Вудс, Элдертон). Еще больше это верно в отношении практически всех социокультурных и психологических черт. Например, если студентки университета штата Висконсин высоко ценили в потенциальных мужьях «образование» (третье место в ранговом порядке различных черт), то коста-риканские студенты ценили его гораздо ниже (13-е место по рангу). Если 20% студенток и 29% студентов Нью-Йоркского университета были готовы заключить брак с человеком низших моральных стандартов, чем их собственные, то среди коста-риканских студентов готовы были пойти на это всего 5% девушек и 9% юношей[2]. Это вновь показывает, что ценность, придаваемая одной и той же черте, бывает очень разной даже среди студентов одного университета; тем более она различается у разных этнических, расовых, национальных, профессиональных, экономических, образовательных, политических, религиозных, научных, художественных и прочих групп и личностей. Безнадежно искать такую объективную черту, которая вне соотнесения с ценностной системой вовлеченных людей была бы всегда либо действенной, либо нейтральной, порождая либо солидарность, либо антагонизм, либо счастье в браке, либо несчастье в нем.

V. Обобщенные гипотезы

Полученные таким образом выводы означают, что в конечном счете реальными факторами солидарности или антагонизма являются не просто внешние, объективные сходства или несходства соответствующих сторон, а скорее то место, которое они занимают в системе ценностей людей и групп, и характер этих систем ценностей. Из этого заключения вытекает несколько выводов. Они одинаково применимы как к солидарности и ан-

---

[1] *Goring C.B.* Studies in national deterioration. – L.: Dulau, 1909. – Vol. 5. – (Drapers' company research memoirs); *Pope E.G.* Studies in national deterioration. – L.: Dulau, 1908. – Vol. 3. – (Drapers' company research memoirs).

[2] См. цитированные выше работы Маккормика и Макрори, Бизанца и Бейбера.

тагонизму в браке, так и к другим солидарностям и антагонизмам в их связи с чертами сходства / различия.

То, какие черты (физические, биологические, психосоциальные) людей или групп будут рассматриваться взаимодействующими сторонами как схожие или несхожие, определяется не только и не столько объективными биосоциальными характеристиками этих черт, сколько природой социокультурного менталитета сторон, теми значениями и ценностями, которые они им навязывают и придают[1]. В упомянутом примере с матерью и ее сыном внешние различия между ними отменяются их социокультурным единством, сходством, даже идентичностью, их сильнейшим и теснейшим единением. Это «неосязаемое сходство» отменяет и делает незначимыми, а иногда даже несуществующими для затронутых сторон их многочисленные внешние различия. Миллионы христиан колоссально отличаются друг от друга сотнями способов. Однако до тех пор, пока они считают всех христиан детьми Божьими, созданными по Его образу и подобию, они становятся схожими во Христе. Возможно, это же верно и для миллионов коммунистов. Люди, конкурирующие за любовь одного и того же человека, за одни и те же богатство, награду или популярность, становятся похожими друг на друга, несмотря на множество внешних различий, и т.д.

Таким образом, социокультурные сходства и различия, как они воспринимаются затронутыми сторонами, могут не только отличаться от их внешних, биофизических сходств и различий, но и быть особыми по своей природе, будучи всегда смысловыми, а иногда даже трансцендентальными и мистическими (как, например, декларации «все люди равны», «все христиане схожи в том, что сотворены по образу и подобию Божию», «все герои», «все грешники и преступники»), часто неосязаемыми и несводимыми ни к какому внешнему сходству / различию, редко чисто внешними и воспринимаемыми чувственно. Они порождаются, формируются и определяются системой ценностей взаимодействующих сторон. Как таковые они мало связаны с чисто внешними, биофизическими сходствами или различиями.

Поэтому любые попытки изучать роль сходств или различий на основе внешне схожих или несхожих черт обречены на неудачу и не могут дать нам ни какой-либо закономерности, ни даже сколько-нибудь надежных выводов. Все они ущербны изначально, принимая ложное допущение тождественности внешних, биофизических сходств и различий социокультурным сходствам и различиям, которые на самом деле нечто совершенно иное. Этой ошибкой обусловлена ошибочность многих теорий в этой области.

---

[1] Это всего лишь частный случай уже изученного общего правила, согласно которому социокультурная природа явлений не совпадает с их биофизическими характеристиками и определяется не столько ими, сколько смыслом, который на них накладывается.

Согласно предыдущему пункту, если все взаимодействующие стороны (в браке, в группах меньшинств и большинства, в разных профессиональных, религиозных, политических, экономических, расовых, этнических и других взаимодействующих группах и личностях) рассматривают данные внешне схожие (или несхожие) черты – *A, B, C, D, N* (физические, биологические, ментальные, социокультурные) – как незначительные ценности или как не ценности вообще, как даже не заключающие в себе никакого сходства (или различия), то такие внешние сходства / различия практически не порождают ни солидарности, ни антагонизма. Только те сходства / различия, которые рассматриваются всеми или некоторыми из взаимодействующих сторон как реальные и важные ценности, будут действенными факторами солидарности или антагонизма.

Важное социокультурное сходство может рождать между сторонами как солидарность, так и антагонизм. Оно рождает солидарность, а) когда ценности, одинаково важные для взаимодействующих сторон, есть в изобилии и их хватает на всех, когда каждая сторона может иметь свою полноценную долю, не уменьшая долей других сторон. Милость Божья для христиан, национальная гордость для патриотов, престиж семьи, партии или союза – все они являются для их членов фактически неисчерпаемыми и ведут к солидарности членов; б) социокультурное сходство рождает солидарность также в том случае, если и когда эго взаимодействующих сторон уже слились в одно «мы». Чем больше ценности в этом единстве имеет отдельный член, тем богаче единое «мы» и тем больше становится доля каждого участника. При таком «мы» даже дефицитность важной ценности ведет к солидарности сторон. В качестве «мы» здесь может выступать хорошая семья, профсоюз, религиозное объединение, нация, политическая партия; в) солидарность порождается, если нормы сторон, управляющие их взаимоотношениями в области сходства, созвучны друг другу.

Важное социокультурное сходство порождает антагонизм сторон, а) когда ценности, рассматриваемые всеми сторонами как важные, дефицитны, а их нормы пропитаны эгоистической конкуренцией и не согласуются друг с другом; б) когда их нормы не согласуются друг с другом, а природа важной ценности не позволяет поделить ее между сторонами, и обладать ею может только один из них, например, в случае женитьбы на девушке, желаемой всеми сторонами.

Важное социокультурное различие может порождать как солидарность, так и антагонизм между социокультурно несхожими сторонами. 1. Если ценности (или черты) сторон совершенно несхожи, не имеют никакой общей почвы и не содержат ни одной ценности, одинаково рассматриваемой всеми сторонами как важная, то такие ценности не порождают ни солидарности, ни антагонизма. Ценности другой стороны считаются ничего не значащими увлечениями, а последние не провоцируют ни позитивной, ни негативной реакции. То же самое имеет место в том случае,

когда какие-то из ценностей сторон противоположны, но считаются неважными и несущественными.

2. Когда каждая из сторон считает важными свои ценности и нормы, когда эти ценности и нормы противоположны и когда одна сторона отрицает то, что утверждает другая, такое различие (смешанное со сходством в том, что все стороны считают ценности важными) порождает антагонизм между сторонами. Когда атеист и верующий, коммунист и антикоммунист считают важными собственные ценности и придают негативную важность ценностям оппонентов, они становятся антагонистами.

3. Когда основные ценности и нормы сторон схожи, а их вторичные ценности разнообразны и взаимно нейтральны, и особенно когда другие ценности взаимно дополняют друг друга, такое сочетание сходств и различий способствует солидарности затронутых сторон. Гетеросексуальный брак между сторонами, разделяющими общие основные ценности и отличными друг от друга только во второстепенных ценностях; общество, состоящее из разных расовых или этнических групп, каждая из которых обладает своими ценностями или чертами, но где все одновременно обладают общей системой ценностей и согласующимися нормами, образуя тем самым многоцветное единое целое; общество с развитым общественным разделением труда, но при этом с главной системой ценностей, общей для всех групп и сегментов, – вот конкретные типы такой солидарности. С другой стороны, если такая группа образуется из личностей и подгрупп с расходящимися ценностями и нормами и каждая личность (в браке) или подгруппа (в обществе) обладает ценностями и нормами, расходящимися с ценностями и нормами других, то такое общество представляет собой антагонистическое образование, когда разные ценности и нормы сталкиваются друг с другом, или в лучшем случае нейтральное образование, в котором личности и подгруппы безразличны друг к другу. Такое «единство» является исключительно непрочным и может от малейшей превратности распасться на куски. Общество, образующееся из большинства и меньшинства, не имеющих согласованной системы ценностей и норм, не может не стать антагонистическим. В таком обществе невозможен даже минимум взаимной терпимости как низшая форма солидарности.

Из сказанного следует, что сочетание базового сходства в основных ценностях и согласия в нормах соответствующих сторон с дополняющим их разнообразием в их второстепенных ценностях более всего способствует солидарным отношениям, при условии, что основные ценности изобильны или распределяются между сторонами согласно их согласующимся нормам.

Противоположность и несхожесть ценностей и норм сторон, когда они считаются значимыми (в позитивном или негативном смысле) и когда у сторон нет общей системы ценностей и норм, более всего способствуют порождению сильных антагонизмов. Именно такое сочетание схожего с несхожим (в котором все стороны считают собственные ценно-

сти позитивно значимыми, а противоположные ценности – негативно значимыми) всегда было причиной острейших антагонизмов – войн, революций, бунтов и многочисленных межиндивидуальных преступлений[1]. (См. гл. 33.)

Таковы основные закономерности порождения солидарности и антагонизма сходством / несходством в системах ценностей взаимодействующих сторон. Полученные таким образом выводы отличаются от господствующих мнений, а умозаключения переводят всю проблему в иную плоскость. Они показывают, что солидарность и антагонизм мало связаны со сходством или различием атомистически взятых и разрозненно трактуемых внешних биофизических и психологических черт. Приведенный выше анализ указывает на то, что решающим фактором является система ценностей и норм вовлеченных сторон. Эти системы определяют, какие черты будут важными и будут считаться реальным сходством, а какие – нет. Вышесказанное показывает также, что социокультурные сходства и различия могут порождать при тех или иных условиях и солидарность, и антагонизм.

VI. Критические замечания

В свете полученных нами выводов легко увидеть основные ошибки преобладающих теорий в этой области, таких как теории Э. Дюркгейма, Ф. Тённиса, исследователей отбора брачного партнера и счастья в браке, сторонников ассимиляции и амальгамации меньшинств и т.д. Здесь может быть полезным привести краткий перечень ошибок дюркгеймовской теории солидарности и антагонизма. С некоторой модификацией этот перечень можно применить и к другим теориям.

1. Дюркгейм ошибочно предполагает, что в примитивных обществах солидарность основана только или главным образом на сходстве чувств и представлений их членов, в то время как в развитых обществах она основана на различии этих чувств и представлений. На самом деле в обоих типах обществ солидарность основана на комбинации сходств и различий, согласно формулам, предложенным выше[2]. Поскольку общества с общественным разделением труда не координируют различия своих членов посредством общего фонда основных ценностей и норм, то такое несходство неизменно порождало антагонизм вместо солидарности. Самому Дюркгейму пришлось признать это в своих поздних работах.

2. Дюркгейм произвольно допускает, что члены обоих типов общества (с механической или органической солидарностью) считают себя схожими и несхожими именно в тех чертах, в которых они кажутся схо-

---

[1] Об этом см. в моей книге: *Sorokin P.A.* Russia and the United Stated. – N.Y.: Dutton, 1944. – Ch. 10, 11.

[2] См. обоснование этого и некоторые критические суждения в книге: *Gurvitch G.* Essais de sociologie. – P.: Sirey, 1938. – P. 68 ff.

жими и несхожими Дюркгейму. Фактически дело обстоит совершенно иначе.

3. Утверждение Дюркгейма, что члены обществ с механической солидарностью относят свою солидарность на счет сходства их чувств и представлений, в то время как члены обществ с органической солидарностью приписывают ее различиям их чувств и представлений, опять же совершенно догматично и идет вразрез с логикой и релевантными фактами.

4. Дюркгейм неправ в своем утверждении, что есть историческая тенденция перехода от механической к органической солидарности. На самом деле такая тенденция вряд ли когда-то существовала и не существует сегодня.

5. Многие из подчиненных утверждений Дюркгейма – как, например, его утверждение, что механическая солидарность связана с репрессивным правом, а органическая – с реститутивным правом и санкциями, – являются грубо ошибочными[1].

Любая теория, утверждающая, что солидарность всегда базируется только на сходстве или только на различии, без дальнейших уточнений и оговорок, пуста. Точно так же все теории, приписывающие антагонизм либо сходству, либо различию, несостоятельны. Как правило, и солидарные, и антагонистические отношения порождаются комбинацией социокультурных сходств и различий согласно конкретизированным выше принципам. Это означает, что солидарное общество может быть создано не только из «одной расы, одной нации, одного государства» с прилагающимися различиями его подгрупп, но и из множества разных расовых, этнических, политических и религиозных групп, когда у них наряду с их специфическими ценностями и нормами есть общий фонд основных ценностей и согласованных норм. Исторически общественное «единство в многообразии» было таким же обычным делом, как и моноэтнические, монорасовые, монорелигиозные и прочие «монолитные общества». Также это означает, что проблемы разных меньшинств могут быть решены не только посредством «амальгамации и ассимиляции», т.е. путем устранения различающих их черт и ценностей и переплавки их в черты и ценности большинства, но и путем стимулирования и развития специфических черт и ценностей меньшинств наряду с развитием фонда ценностей, общего для большинства и меньшинства. Если они имеют и практикуют ценностную норму взаимного уважения к их различиям, такая общая и единодушно принимаемая ценностная норма обеспечивает минимум общего фонда, необходимого для солидарного сосуществования разных личностей и групп.

---

[1] См. его критику с точки зрения фактов в моей книге: *Sorokin P.A.* Social and cultural dynamics. – N.Y.: American book company, 1937. – Vol. 2. – P. 593 ff. Эта критика в равной мере относится и к переформулировке Дюркгеймом его раннего обобщения в: *Durkheim E.* Deux lois de l'evolution pénale // L'année sociologique. – P., 1899–1900. – Vol. 4. – P. 65 ff.

Никакое изучение схожих и несхожих черт, взятых атомистически, без соотнесения с ценностными системами взаимодействующих личностей или групп, не может дать надежные результаты или реальные закономерности, заключенные в связи этих черт с солидарностью или антагонизмом сторон. Это в равной мере касается как брачного союза, так и профессиональных, экономических, религиозных, этнических, расовых, политических и прочих социальных групп. По причинам, названным выше, такое «бихевиористское» изучение дает в основном вводящие в заблуждение выводы и обобщения.

Пер. с англ. В.Г. Николаева под ред. Д.В. Ефременко

РЕФЕРАТЫ

Юл С.

СОЛИДАРНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ СПЛОЧЕНИЕ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА: К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПРИЗНАНИИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И КОНТЕКСТУАЛЬНОМ СУЖДЕНИИ[1]

Juul S.

Solidarity and social cohesion in late modernity: A question of recognition, justice and judgment in situation // European j. of social theory. – L., 2010. – Vol. 13, N 2. – P. 253–269.

Сёрен Юл (Университет Роскильде, Дания) обращается к анализу понятия «не допускающая исключений солидарность» (non-excluding solidarity) применительно к эпохе позднего модерна, характеризующейся высоким уровнем индивидуализации и культурной дифференциации общества. По мнению автора, социокультурные обстоятельства позднего модерна требуют новой формы солидарности, способной к генерированию социального сплочения перед лицом растущего ценностного и этнического плюрализма. Обновленное представление о солидарности должно положить конец противостоянию двух основных типов концептуального осмысления социальной справедливости в современной социологии и социальной философии – деонтологического, постулирующего справедливость в качестве высшей (абсолютной, универсальной) моральной ценности, и коммунитаристского, настаивающего на укорененности любой моральной философии в конкретных представлениях членов того или иного сообщества о том, что значит жить правильно. «Главный тезис настоящей статьи, – пишет автор, – состоит в том, что сегодня мы нуждаемся в теории, более конкретной, чем деонтологическая концепция справедливости, и вместе с

[1] Реферат подготовлен в рамках исследовательского проекта «Социальная солидарность как условие общественных трансформаций: Теоретические основания, российская специфика, социобиологические и социально-психологические аспекты», осуществляемого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 11-06-00347 а).

тем более абстрактной, нежели коммунитаристские перспективы благой жизни» (с. 254). Отправным пунктом для решения поставленной задачи датский социолог избирает концепцию социального признания Ансельма Хоннета. На базе критического сопоставления существующих сегодня вариантов теории признания и альтернативной им либерально-деонтологической позиции автор выдвигает ряд аргументов в защиту солидарности как «термина, покрывающего собой признание и справедливость» (с. 254).

Анализ специфики социальной солидарности, принадлежащей позднему модерну, предполагает реконструкцию ее исторических форм. Вслед за американкой Дж. Дин[1] Юл различает три эволюционных типа солидарности: аффективный, конвенциональный и рефлексивный. По мнению Дин, «современное общество неуклонно движется в сторону последней формы солидарности, постепенно оставляя в прошлом две первые» (цит. по: с. 255). В соответствии с предложенной классификацией, *аффективная* солидарность возникает в контексте тесных – семейных, родственных, соседских – отношений; в этих случаях моральная ответственность ограничивается кругом конкретных других, с которыми индивид вступает в эмоционально окрашенный контакт. Иными словами, поясняет мысль Дин С. Юл, аффективная солидарность – это совокупность чувств, которые не могут получить абстрактной формы выражения. «Поскольку социальные связи, объединяющие индивидов в конкретное “мы”, имеют сугубо эмоциональное содержание, данный тип солидарности не распространяется на “чужаков”, в отношении которых мы не испытываем сильных чувств» (с. 255). Таким образом, аффективная форма солидарности носит непосредственный и исключительно личностный характер.

Конвенциональная солидарность базируется на близости интересов, произрастая на почве общих традиций и ценностей, которые сплачивают группу либо сообщество; ее фундаментом нередко служат совместная борьба и общность устремлений. Этот тип солидарности находит выражение в общезначимых целях и тождественных убеждениях, объединяющих индивидов в качестве членов группы. В то же время конвенциональная солидарность группы налагает ограничения на свободу самовыражения своих членов: принадлежать к группе – значит подчиняться ее внутренним нормам и правилам. Таким образом, конвенциональная солидарность – это внутренняя взаимная моральная ответственность членов относительно сплоченной группы, которая объединяет «наших» и отвергает «тех, кто снаружи».

Рефлексивную форму солидарности Дж. Дин определяет как взаимное ожидание моральной ответственности применительно к самому контексту социальных отношений. Этот тип солидарности, развивающийся в условиях глобализации и нарастания этнического и культурного плюрализма в обществах позднего модерна, преодолевает ограниченность двух

[1] См.: *Dean J.* Solidarity of strangers. – Berkeley: Univ. of California press, 1996.

предшествующих форм общественного сплочения. По словам Дин, он является «универсальным идеалом единения людей вообще: “мы” здесь тождественно понятию “все мы”– в том смысле, что солидарность означает целостность идеального коммуникативного сообщества. Это предполагает признание нашей взаимной зависимости и общей уязвимости, констатацию нашей связанности друг с другом. В период нарастания процессов глобализации, (им)миграции и индивидуализации у нас есть и возможность, и потребность видеть отличие других как один из аспектов и факторов развития объединяющего нас сообщества» (цит. по: с. 255).

С. Юл разделяет сомнения своей американской коллеги в том, что традиционная солидарность может сохранять свою эффективность в качестве механизма общественного единения в современную эпоху. Очевидно, что сегодня назрела необходимость в «инклюзивной трактовке солидарности, которая не исключала бы и тех, кто отличен от большинства» (с. 255). Однако автор статьи категорически не согласен с итоговым заключением Дин, постулирующим рефлексивную солидарность в качестве универсального нормативного идеала. Более того, сам процесс конституирования солидарности позднего модерна в том виде, в каком его рисует Дин, представляется датскому исследователю весьма проблематичным или, по крайней мере, «туманным». Дж. Дин, следуя Ю. Хабермасу, считает, что потенциал сплочения, базирующегося на взаимной ответственности в контексте социальных отношений, заключен в коммуникативной практике социальных сообществ. Однако возникает вопрос: в какой мере абстрактный идеал коммуникативного сообщества может служить руководством в решении конкретных моральных проблем, сталкивающих общественные, групповые и индивидуальные интересы? Следует ли всегда и везде отдавать безоговорочное предпочтение моральному нормативу абстрактного сообщества в ущерб групповым интересам и ограниченным формам солидарности здесь и сейчас? По мнению Юла, идеал рефлексивной солидарности «отдает на откуп индивидуальному суждению решение вопроса о том, когда и с кем следует искать общий смысл и моральный принцип взаимодействия» (с. 256). Тем самым индивид постмодерна освобождается от оков конвенциональной солидарности, но одновременно лишается каких бы то ни было моральных ориентиров, кроме расплывчатого идеала коммуникативного сплочения. С этой точки зрения деонтологическую концепцию Дин следует квалифицировать как «попытку смягчить саму идею солидарности и сделать последнюю предметом индивидуального выбора», – замечает Юл (с. 256).

Если приверженцы либеральной деонтологии отстаивают принцип коммуникативного генезиса солидарности как укорененной в дискурсивной практике и сфокусированной на индивиде, то их оппоненты-коммунитаристы выступают за восстановление морального авторитета сообщества в эпоху индивидуализации социальной жизни. Именно в этом они усматривают главную задачу своего интеллектуального движения,

утверждая, что «моральная ответственность укоренена в сообществе… и именно сообщество как эхо моральных голосов сограждан определяет и предписывает нормативные стандарты моральных ожиданий»[1]. По мнению автора статьи, недостаток коммунитаристских концепций связан с отсутствием в них каких-либо оснований для критики самого сообщества как генератора ценностей и высшего морального арбитра. Опосредующим звеном между крайностями либеральной деонтологии и социально-философского коммунитаризма он считает концепцию социального признания А. Хоннета[2].

Являясь учеником Хабермаса, Хоннет расходится с ним в вопросе о природе нормативной теории. С его точки зрения, люди воспринимают моральные проблемы не как посягательство на абстрактные коммуникативные идеалы, а как дефицит своего признания в качестве самодостаточных и успешных социальных акторов, в полной мере осязаемый в конкретных жизненных ситуациях. Социальное признание выступает для Хоннета элементарной предпосылкой и необходимым условием формирования эффективной социальной идентичности индивида и, соответственно, его способности к самореализации, социальному участию и общественной интеграции. В рамках его теории, замечает Юл, «солидарность предстает как аспект организационной структуры общества, предоставляющей каждому индивиду равные шансы на полноценное социальное признание» (с. 256). При этом нормативный идеал признания не является чисто теоретической конструкцией, он подлежит постоянному тестированию в повседневной социальной практике членов общества – прежде всего тех, кто этим признанием обделен или борется за свое право на такое признание в тех или иных сферах общественной жизни. Понятие признания, по Хоннету, дает ключ к пониманию моральных мотивов, руководящих социальными устремлениями людей; оно также служит основанием для дифференциации разных форм социальной организации в зависимости от степени их соответствия усилиям самореализации и требованиям социальной справедливости.

Представляя теорию А. Хоннета, С. Юл подчеркивает, что она опирается на солидный интеллектуальный фундамент, включая диалектику индивидуального и социального в работах раннего Гегеля, эмпирическую социальную психологию Дж.Г. Мида и психоаналитические исследования Д. Уинникота. Наполняя эмпирическим содержанием философские построения Гегеля, Хоннет различает три сферы и три формы признания, детерминирующие разные способы социальной интеграции и самореализации индивида: любовь, право, солидарность. Признание в форме *любви* выступает условием формирования позитивного отношения к самому себе

---

[1] *Etzioni A.* The spirit of community: The reinvention of American society. – N.Y.: Simon & Schuster, 1994. – P. 267.

[2] См.: *Honneth A.* The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts. – Cambridge: Polity, 1996.

благодаря устойчивым и определенным аффективным связям. Его следствием становятся уверенность в собственных силах и ощущение личностной ценности, что позволяет индивиду совершать поступки, вступать в коммуникацию и участвовать в непосредственных сообществах. *Правовое* признание означает квалификацию индивида в качестве равноправного (равного с другими) члена сообщества и служит предпосылкой самоуважения. Обращение с индивидом в терминах равенства всех перед законом обусловливает его соучастие в социальной жизни. *Солидарность*, или общественное признание, – это предпосылка развития у индивида адекватной самооценки, чувства собственного достоинства и своей значимости как члена сообщества. Если правовое признание постулирует равенство перед законом всех граждан, независимо от их моральных принципов, то солидарность означает социальное признание ценности конкретного морального субъекта как носителя специфических нравственных убеждений.

Три сферы признания сопряжены с соответствующими областями и формами его дефицита, угрожающего личной идентичности индивида, его самореализации и полноценному равноправному участию в общественной жизни (в терминах Хоннета это выглядит как посягательство на телесность, права и формы жизни). Таким образом, резюмирует идеи Хоннета С. Юл, признание следует считать «неотъемлемым правом человека», поэтому «не допускающее исключений понятие солидарности» в первую очередь касается признания. «Мы все находимся под бременем *морального обязательства* (курсив С. Юла) признавать любого, кто встретится на нашем пути, даже если это будет чужак, не разделяющий наших представлений о благой жизни» (с. 258).

Этика признания А. Хоннета представляется автору статьи более содержательной, нежели идеал рефлексивной солидарности Дж. Дин. В качестве нравственного ориентира, способствующего социальной интеграции в условиях плюрализма, Хоннет предлагает образ абстрактного этического горизонта. Абстрактность в данном случае подразумевает максимальную открытость, способность охватить самые разные культурные и нравственные ценности, составляющие полифонию сообществ позднего модерна. Открытый этический горизонт конкретизирует и одновременно усложняет задачу социального признания, считает Хоннет. Солидарность становится не просто вопросом пассивной толерантности, но задачей эмоционального участия в этико-культурном партикуляризме «другого», готовности признать самое отличие «другого» в качестве условия реализации целей всего сообщества.

Недостатком теории Хоннета Юл считает «размытость суждений о фундаментальных предпосылках благой жизни», где будет реализован идеал социального признания (с. 261). Автор статьи согласен с критиками Хоннета, в частности с Н. Фрейзер[1], в том, что модель социального при-

[1] См.: *Fraser N., Honneth A.* Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. – L.: Verso, 2003.

знания оставляет за скобками понятие социальной справедливости, которое является оборотной стороной солидарности. «Нормативное представление о солидарности нового формата, – пишет Юл, – подразумевает осмысление этого феномена в терминах справедливого распределения – шансов на признание» (с. 262). Полемизируя с Хоннетом, Фрейзер отдает пальму первенства нормам социальной справедливости, отодвигая задачу самореализации на второй план. «Рассуждения Хоннета об универсальных предпосылках индивидуальной самореализации, – утверждает Фрейзер, – завершаются некорректным выводом о том, что все без исключения притязания на общественное признание должны удовлетворяться безоговорочно» (цит. по: с. 261). В связи с этим она предлагает заменить нормативное требование признания принципом «паритета участия», гарантирующим всем членам сообщества равные права в контексте социальной интеракции и «дебатов, касающихся признания». Справедливость в трактовке Н. Фрейзер имеет два измерения: первое связано с «перераспределением», обусловленным материальным неравенством; второе касается восполнения дефицита культурного признания, описанного Хоннетом. Не вдаваясь в детальный анализ аргументов Фрейзер, Юл обращает внимание на то, что нормативная теория солидарности в любом случае требует более конкретной, чем у Хоннета, классификации «притязаний на признание», причем такой, которая отвечала бы принципу социальной справедливости.

Существенным дополнением к теории А. Хоннета Юл считает идеи Р. Форста[1], полагая, что «им, возможно, суждено стать ядром обновленной концепции солидарности» (с. 264). Р. Форст согласен с Н. Фрейзер в том, что в теории Хоннета слишком мало внимания уделяется принципам социальной правомерности и процедурам восстановления социальной справедливости. Отправным пунктом его собственных рассуждений выступает дифференциация нормативных контекстов социальной жизни, в которых член сообщества предстает как этический индивид; субъект права; политический субъект или гражданин; моральная личность. «Связь блага и справедливости осуществляется здесь как сопряжение нескольких видов признания – этической идентичности, индивидуального права, демократических процедур и моральных принципов», – замечает Юл (с. 262).

1. *Этические* нормы, по Форсту, конституируют личностную идентичность индивида, задавая нормы надлежащего отношения к себе и к другим в пределах непосредственного этического сообщества. Они создают образ «моего мира», который одновременно является миром «значимых для меня других». Эти нормы и связанные с ними ценности не универсальны и не могут быть навязаны участником других сообществ, которые вправе иметь собственное представление о благой жизни.

2. *Правовые* нормы объединяют членов легального сообщества и функционируют в качестве внешнего регулятора и ограничителя свободы

[1] См.: *Forst R.* Contexts of justice: Political philosophy beyond liberalism and communitarianism. – Berkeley: Univ. of California press, 2002.

и самореализации, включая способы самовыражения. Они базируются на взаимном уважении граждан, придерживающихся разных этических убеждений, и являются предпосылкой социальной кооперации в тех или иных обусловленных обстоятельствах. Поэтому правовые нормы этически нейтральны по отношению к любой наличной интерпретации благой жизни.

3. *Политические* демократические нормы выступают в виде политической солидарности, или гражданства. Они подразумевают культурную толерантность и уважение принципа этического плюрализма. Демократический этос обеспечивает всем членам политического сообщества возможность самоутверждения в любой из сфер социальной жизни – в пределах некоторых общепризнанных процедур. Не ограничивая функции индивида только правовым его статусом, гражданство подразумевает также его добровольное участие в избранном историко-политическом проекте. Таким образом, подчеркивает Юл, гражданство у Форста – это «сообщество взаимной ответственности этически различных индивидов, признающих друг друга в качестве равных субъектов права и соучастников единого социального проекта» (с. 263). Опираясь на идею делиберативной демократии Хабермаса, Форст подчеркивает, что гражданская солидарность включает толерантность и уважение этико-культурного плюрализма; правовое равенство (равноправие); признание за всеми права голоса в публичных дискурсах; инклюзивность участия в общественной жизни вне зависимости от этических, социальных либо политических характеристик субъектов.

4. *Моральные* нормы вступают в действие тогда, когда прочие нормативные регуляторы неэффективны. Они не заменяют собой прочих норм, но состязаются с ними в случае, если этические, правовые или политические аргументы становятся уязвимыми с моральной точки зрения (например, посягают на принцип моральной автономии личности). «Моральные соображения не касаются того, что хорошо для “нас”, или правильно с точки зрения закона, или отвечает интересам общества, – подчеркивает Форст, – они предписывают нам способы обращения с другими как с собратьями»[1].

Абстрактные контексты справедливости Форста – это одновременно арена социальных столкновений и конфликтов разного типа, которые хотя бы отчасти представляют собой «борьбу за признание», замечает Юл. В тех случаях, когда нормы контекстуального признания приходят в столкновение (например, этические ценности социального меньшинства противоречат нормам права или гражданства), ответ следует искать в дискурсивной практике, т.е. в обмене мнениями между всеми членами сообщества. Опираясь на дискурсивную этику Хабермаса, Форст раздвигает горизонты его представления о социальном признании, ограничивающемся классификацией «другого» как равного дискурсивного партнера, замечает

[1] *Forst R.* Op. cit. – P. 268.

автор статьи. Аналитическое разделение социальных контекстов справедливости в теории Форста демонстрирует многомерность и многоаспектность процессов признания, осуществляющегося применительно к субъектам сообществ разного типа. Дифференциация нормативных сообществ, в свою очередь, ведет к дифференциации самого понятия солидарности как выходящего далеко за рамки своей укорененности в этической общности людей. Солидарность в интерпретации Форста «основывается на способности индивида войти в мир другого и продемонстрировать терпимость и открытость в отношении тех, кто не принадлежит к числу “наших”» (с. 264).

В заключение датский социолог обсуждает проблему практического применения нормативных теорий А. Хоннета и Р. Форста. Причисляя себя к адептам критической герменевтики и последователям Гадамера и Рикёра, Юл настаивает на трансформации абстрактных идеалов солидарности и справедливости в критические контекстуальные суждения, наполненные практическим смыслом. Под суждениями здесь имеется в виду не индивидуальная способность рационального осмысления мира, а «нечто, отражающее культурные коды современности… наподобие габитуса Бурдье». При этом суждение «не фиксировано, оно представляет собой поле битвы за ценности, дефиниции и восприятие реальности» (с. 265).

Применительно к теориям Хоннета и Форста, продолжает Юл, задача состоит в том, чтобы показать, как описанные ими нормативные идеалы могут быть переведены на язык практики, т.е. привнесены в повседневную жизнь общества позднего модерна, чтобы стать аргументом контекстуальных критических суждений. Для этого следует вспомнить, что в социальной практике применение любого универсального правила опосредуется конкретными убеждениями субъектов и наличной ситуацией, будь то приговор суда (руководствующегося, помимо закона, обстоятельствами правонарушения и его прецедентами) или моральный приговор (опосредованный нарративами, опирающимися на практическую мудрость). Трансформируя теоретические рассуждения Хоннета и Форста в практические контекстуальные суждения, Юл предлагает следующую кумулятивную концепцию солидарности в формате позднего модерна.

1. Описание солидарности в терминах межчеловеческих (интерсубъективных) отношений означает признание индивида, о котором идет речь, в качестве равного и достойного партнера интеракции.

2. Общество, которое может быть описано в терминах солидарности, базируется на справедливом распределении шансов своих субъектов на признание.

3. Справедливый порядок признания является предпосылкой социального сплочения и солидарности.

Е.В. Якимова

Чэн Ч., Ма С.К.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ В ГОНКОНГЕ

Cheung Ch., Ma S.K.

Coupling social solidarity and social harmony in Hong Kong // Social indicators research. – B., 2011. – Vol. 103, N 1. – P. 145–167

В статье исследователей из Городского университета Гонконга Чау Чэна и Стивена Кана Ма на основании теории обмена ресурсами (*resource exchange theory*) анализируются различные формы социальной солидарности и их связь с социальной гармонией. Под социальной солидарностью обычно понимается социальное взаимодействие людей во имя общей цели, в то время как социальная гармония – это здоровое состояние межличностных отношений в обществе. Высокая степень социальной солидарности и социальной гармонии в обществе способствует улучшению качества жизни населения[1]. Как отмечают авторы статьи, содействие социальной гармонии и согласию является официальным идеалом развития Китая[2].

Исследование посвящено отношениям между пятью формами социальной солидарности и социальной гармонии как в рамках всего гонконгского общества, так и на уровне индивидов. Отношения изучались с позиции влияния: 1) социальной солидарности на социальную гармонию; 2) социальной гармонии на социальную солидарность; 3) индивидуальной социальной гармонии на социальную гармонию общества; 4) социальной гармонии общества на индивидуальную социальную гармонию; 5) социального класса на социальную гармонию и социальную солидарность.

---

[1] *Phillips D.* Quality of life: Concept, policy and practice. – L.: Routledge, 2006; *Sturm D.* Solidarity and suffering: Toward a politics of relationality. – Albany: SUNY press, 1998.

[2] *Ho S.S.M., Chan R.S.Y.* Social harmony in Hong Kong: Level, determinants and policy implications // Social indicators research. – B., 2009. – Vol. 91, N 1. – P. 37–58; *Pramod C.R.* The spectacle of the Beijing Olympics and the dynamics of state–society relationship in PRC // China report. – L., 2008. – Vol. 44, N 2. – P. 111–137.

О необходимости поддержания в обществе социальной солидарности и гармонии говорится преимущественно в коммунитаристских теориях социального развития. Коммунитаризм предполагает, что люди способны добровольно вступать в социальные взаимодействия, связи, общение, чувствуя свою ответственность за общее дело[1]. Коммунитарные практики не являются игрой с нулевой суммой (*zero-sum game*), поскольку несут определенную пользу вовлеченным в них людям[2].

Чэн и Ма подчеркивают, что противоположные социальной солидарности и гармонии явления, в том числе аномия и отчуждение, являются для общества нежелательными и дисфункциональными, так как чужды человеческой природе[3]. Коммунитарные же тенденции, напротив, благотворно влияют на нравственное здоровье общества и обеспечение социального порядка (с. 146)[4]. О позитивном потенциале коммунитаризма говорит и гуманистическая теория, согласно которой социальная солидарность и гармония являются неотъемлемой частью человеческой натуры[5].

Интерес к социальной солидарности и гармонии актуален также в связи с ориентацией государственной политики Китая и западных стран[6], направленной на решение проблем социально-экономического неравенства, социальной разобщенности и падения нравственности[7]. Так, по данным

---

[1] *Sturm D.* Solidarity and suffering…Op.cit.; *Woolcock M., Narayan D.* Social capital: Implications for development theory, research, and policy // World Bank research observer. – Oxford, 2000. – Vol. 15, N 2. – P. 225–249.

[2] *Sturm D.* Solidarity and suffering… Op. cit.

[3] *Devine F., Roberts J.M.* Alternative approaches to researching social capital: A comment on van Deth's measuring social capital // International j. of social research methodology. – Abingdon, 2003. – Vol. 6, N 1. – P. 93–100; *Stewart M.J.* Social support: Diverse theoretical perspectives // Social science a. medicine. – Amsterdam, 1989. – Vol. 28, N 12. – P. 1275–1282; *Sturm D.* Solidarity and suffering… Op. cit.

[4] *Etzioni A.* A moderate communitarian proposal // Political theory. – L., 1996. – Vol. 24, N 2. – P. 155–171; *Frazer E.* The problems of communitarian politics: Unity and conflict. – Oxford: Oxford univ. press, 1999; *Lee S.* Liberal rights or / and Confucian virtues? // Philosophy East a. West. – Honolulu (HI), 1996. – Vol. 46, N 3. – P. 367–379.

[5] *Sheldon K.M., Kasser T.* Goals, congruence, and positive well-being: New empirical support for humanistic theories // J. of humanistic psychology. – L., 2001. – Vol. 41, N 1. – P. 30–50.

[6] *Chan J., Chan E.* Charting the state of social cohesion in Hong Kong // China quart. – L., 2006. – Vol. 187. – P. 635–658; *Ho S.S.M., Chan R.S.Y.* Op. cit.; *Kearns A., Forrest R.* Social cohesion and multilevel urban governance // Urban studies. – L., 2000. – Vol. 37, N 5–6. – P. 995–1017; *White D.* Social policy and solidarity, orphans of the new model of social cohesion // Canadian j. of sociology. – Edmonton, 2003. – Vol. 28, N 1. – P. 51–76.

[7] Social cohesion and living conditions in the Canadian Arctic: From theory to measurement / Duhaime G., Searles E., Usher P.J., Myers H., Frechetti P. // Social indicators research. – B., 2004. – Vol. 66, N 3. – P. 295–317; *Forrest R., Kearns A.* Social cohesion, social capital and the neighborhood // Urban studies. – L., 2001. – Vol. 38, N 12. – P. 2125–2143; *Maloutas T., Maloutas M.P.* The glass menagerie of urban governance and social cohesion: Concepts and stakes / concepts as stakes // International j. of urban a. regional research. – Oxford, 2004. – Vol. 28, N 2. – P. 449–465.

некоторых исследований, для малообеспеченных слоев населения характерен низкий уровень социальной гармонии и солидарности[1].

Формы социальной солидарности. Тему социальной солидарности смело можно отнести к хорошо изученным в общественных науках. Чэн и Ма, ссылаясь на результаты работ современных исследователей, выделяют пять форм социальной солидарности: механическую, органическую, распределительную, диалогическую и солидарность участия (*inclusive solidarity;* см. табл.)[2]. Как можно заметить, эта типология существенно расширяет ставший уже классическим функционалистский подход, который предполагает лишь две формы социальной солидарности – механическую и органическую (с. 147)[3].

Таблица (с. 147)

Концептуализация понятия «социальная солидарность»

Компонент	Формы социальной солидарности				
	механическая	органическая	распределительная	солидарность участия	диалогическая
Объект	идея	работа	ресурс	симпатия	идея
Действие	соглашение	производство	потребление	социальное общение (socializing)	разговор
Теория	функционализм	функционализм	материализм	интеракционизм	критическая
Система	культура	экономика	политическое устройство общества	сообщество	сообщество
Политика	образование	торговля	благосостояние	гражданская	СМИ
Принцип	консенсус	дополнительность	равенство	общность	разнообразие
Ресурс	соглашение	сотрудничество	материал	коллективное признание	понимание

[1] *Ho S.S.M., Chan R.S.Y.* Op. cit.; *Letki N.* Does diversity erode social cohesion? Social capital and race in British neighbourhoods // Political studies. – Oxford, 2008. – Vol. 56, N 1. – P. 99–126.

[2] *Calhoun C.* Imagining solidarity: Cosmopolitanism, constitutional patriotism and the public sphere // Public culture. – Durham (NC), 2002. – Vol. 14, N 1. – P. 147–171; *Crow G.* Social solidarities: Theories, identities and social change. – Buckingham: Open univ. press, 2002; Social cohesion and living conditions in the Canadian Arctic… Op. cit.; *Houtman D.* The working class and the welfare state support for economic redistribution, tolerance for nonconformity and the conditionality of solidarity with the unemployed // The Netherlands' j. of social sciences. – Assen, 2000. – Vol. 36, N 1. – P. 37–55; *Sturm D* Solidarity and suffering... Op. cit.; *Wilson L.* Developing a model for the measurement of social inclusion and social capital in regional Australia // Social indicators research. – B., 2006. – Vol. 74, N 3. – P. 335–360.

[3] *Durkheim E.* The division of labor in society. – Glencoe (IL): Free press, 1933. – 1st ed. 1893.

Характерная для традиционных обществ механическая солидарность основывается на сплоченности членов группы вокруг общих идей, убеждений, верований, ценностей, норм. Обществам с механической солидарностью свойственно критическое отношение к инакомыслию и разногласиям.

Более современная органическая форма солидарности базируется на принципе разделения труда и составляет суть капиталистического производства. Экономика, бизнес и сектор занятости – основные сферы функционирования этой формы солидарности, которая подразумевает автоматическое регулирование работы частей социального организма. Представления о механической и органической солидарности отвечают основным принципам теории функционализма.

Распределительная форма солидарности предполагает обеспечение равного доступа к социальным ресурсам. Этот тип солидарности опирается на идеи материалистической концепции, подчеркивающей примат материального производства по отношению ко всем другим сферам деятельности.

Инклюзивная солидарность, или солидарность участия, основанная на теории символического интеракционизма, предполагает участие людей в различных сообществах и гражданских инициативах[1]. Такой тип солидарности содействует достижению общей идентичности граждан и помогает бороться с предрассудками и дискриминацией[2].

Что касается диалогической формы солидарности, то ее главной целью является достижение взаимопонимания через общение[3]. Эта форма солидарности базируется на критической теории, в частности теории коммуникативного действия[4]. Данная концепция утверждает, что коммуникативное действие, направленное на достижение взаимопонимания, обеспечивает социальный порядок и прогресс. Диалогическая солидарность принципиально ориентирована не на единство, а на разнообразие мнений

---

[1] *Turner R.N., Hewstone M., Voci A.* Reducing explicit and implicit outgroup prejudice via direct and extended contact: The mediating role of self-disclosure and intergroup anxiety // J. of personality a. social psychology. – Amsterdam, 2007. – Vol. 93, N 3. – P. 369–388.

[2] *Esses V.M., Dovidio J.F., Armstrong T.L.* The immigration dilemma: The role of perceived group competition, ethnic prejudice, and national identity // J. of social issues. – Oxford, 2001. – Vol. 57, N 3. – P. 389–412; A test of the extended intergroup contact hypothesis: The mediating role of intergroup activity, perceived ingroup and outgroup norms and inclusion of the outgroup in the self / Turner R.N., Hewstone M., Voci A., Vonofakou C. // J. of personality a. social psychology. – Amsterdam, 2008. – Vol. 95, N 4. – P. 843–860.

[3] *Ellis R.D., Fischer N., Sauer J.B.* Foundations of civic engagement: Rethinking social and political philosophy. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2006.

[4] *Braaten J.* Habermas's critical theory of society. – Albany: SUNY press, 1991; *Habermas J.* The theory of communicative action. – Cambridge: Polity, 1987. – Vol. 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason. – 1st. ed. 1981.

и установок, т.е. подразумевает признание ценности каждого мнения (с. 148)[1].

Влияние социальной солидарности на социальную гармонию. Согласно теории обмена ресурсами, существует шесть видов социальных ресурсов, которыми можно обмениваться: любовь, услуги, товары, деньги, информация и статус. Авторы статьи предположили, что каждой форме солидарности свойственны «свои» ресурсы. Достижение соглашения друг с другом необходимо для механической солидарности, сотрудничество ожидается в обществах с органической солидарностью, обмен продуктами материального производства происходит в системе распределительной солидарности, солидарность участия требует коллективного признания, а диалогическая солидарность – понимания. Используя терминологию теории обмена ресурсами, можно сказать, что соглашение и понимание представляют собой информацию, сотрудничество имеет отношение к сфере услуг, материалы – это товары и деньги, а через признание, включенность в «мы-отношения» выражается чувство любви. В свете вышесказанного близким социальной солидарности становится понятие социальной гармонии, которое означает позитивные социальные отношения, основанные на чувстве терпимости и любви[2]. Таким образом, социальная гармония может быть ответом на солидарность. Авторы выдвигают гипотезу о том, что *социальная солидарность способствует социальной гармонии. В большей степени это касается солидарности участия.*

Влияние социальной гармонии на социальную солидарность. В свою очередь социальная гармония влияет на обеспечение солидарности в обществе. Например, ряд исследований демонстрирует, что толерантность, общительность, дружба, социальное участие людей способствуют социальной солидарности в целом (с. 149)[3]. Другим примером подобного «эффекта обмена» может стать решение о дружбе или даже о браке, которое складывается в результате позитивных социальных контактов[4]. Отсюда логически вытекает вторая гипотеза: *социальная гармония – индивидуальная или социетальная – способствует социальной солидарности.*

Взаимодействие индивидуальной и социетальной социальной гармонии. В рамках теории обмена ресурсами также можно проанализировать

---

[1] *Sturm D.* Solidarity and suffering: Toward a politics of relationality. – Albany: SUNY press, 1998.

[2] *Hwang K.K.* Chinese relationalism: Theoretical construction and methodological considerations // J. for the theory of social behavior. – Oxford, 2000. – Vol. 30, N 2. – P. 155–176.

[3] *Houtman D.* The working class and the welfare state support for economic redistribution, tolerance for nonconformity and the conditionality of solidarity with the unemployed // The Netherlands' j. of social sciences. – Assen, 2000. – Vol. 36, N 1. – P. 37–55; *Letki N.* Does diversity erode social cohesion? Social capital and race in British neighbourhoods // Political studies. – Oxford, 2008. – Vol. 56, N 1. – P. 99–126.

[4] *Rosenfield M.J.* A critique of exchange theory in mate selection // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2005. – Vol. 110, N 5. – P. 1284–1325; *SunWolf.* Peer groups: Expanding our study of small group communication. – Thousand Oaks (CA): SAGE, 2008.

взаимовлияния, происходящие между societальными и индивидуальными практиками социальной гармонии. Авторы статьи предлагают трактовать понятие социальной гармонии как обмен между индивидами собственными «гармониями». Тем не менее societальная социальная гармония, возможно, не так легко восприимчива к проявлениям социальной гармонии одного человека из-за влияния множества других людей. Поэтому можно предположить, что в основном социальная гармония общества влияет на социальную гармонию отдельных людей, а не наоборот. Таким образом, третья гипотеза гласит: *societальная социальная гармония влияет на индивидуальную социальную гармонию.*

Влияние societостатусных и демографических характеристик. Авторы статьи обращают внимание на то, что существует ряд факторов, влияющих на уровень социальной солидарности и гармонии в обществе, как то: принадлежность к определенному социальному слою, возраст, уровень образования, семейное положение, гражданство, степень религиозности[1]. Примечательно, что распространение таких практик может меняться со временем – идти на спад или увеличиваться (с. 150)[2].

Исследование в Гонконге: актуальность, методы и результаты. Чэн и Ма отмечают уникальность данного исследования. С одной стороны, Гонконг схож с другими мегаполисами экономическим развитием, западной формой социально-политической системы, вовлеченностью в процессы глобализации. С другой стороны, Гонконг отличается от других мегаполисов своими культурными традициями и географическими чертами[3]. Авторы статьи подчеркивают, что Гонконг имеет некоторые особенности, которые могут сдерживать проявления социальной гармонии и солидарности. Прежде всего, речь идет о неравенстве доходов, расовой однородности и чрезвычайной плотности населения[4].

---

[1] *Erickson B.* The distribution of gendered social capital in Canada // Creation and returns of social capital: A new research program / Ed. by H. Flap, B. Volker. – L.: Routledge, 2004. – P. 27–50; *Healy K., Hayne M., Hampshire A.* Gender, social capital and location: Understanding the interactions // International j. of social welfare. – Oxford, 2007. – Vol. 16, N 2. – P. 110–118; *Letki N.* Op. cit.; *Shapiro A., Keyes C.L.M.* Marital status and social well-being: Are the married always better off // Social indicators research. – B., 2008. – Vol. 88, N 2. – P. 329–346.

[2] *Hawdon J.E., Ryan J., Mobley C.* An evaluation of community anti-violence programs: Implications of some preliminary findings // Research in community sociology. – Bingley, 2000. – Vol. 10. – P. 163–185; *McPherson M., Smith-Lovin L., Brashears M.E.* Social isolation in America: Changes in core discussion networks over two decades // American sociological rev. – Wash., 2006. – Vol. 71, N 3. – P. 353–375.

[3] *Kuan H.C., Lau S.K.* Between liberal autocracy and democracy: Democratic legitimacy in Hong Kong // Democratization. – Abingdon, 2002. – Vol. 9, N 4. – P. 58–76.

[4] *Green A., Preston J., Sabutes R.* Education, equity and social cohesion: A distributional approach // Compare. – Abingdon, 2003. – Vol. 33, N 4. – P. 453–470; *Letki N.* Op. cit.; *Schulenberg J.L.* The social context of police discretion with young offenders: An ecological analysis // Canadian j. of criminology a. criminal justice. – Ottawa, 2003. – Vol. 45, N 2. – P. 127–157.

В 2008–2009 гг. был проведен телефонный опрос, основанный на случайной выборке и охвативший 1093 гонконгских китайца в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился будними вечерами. Средний возраст респондентов составил 40,8 лет; 57,2% опрошенных – женщины, 56,1% замужем / женаты, 39,2% никогда не состояли в браке, 64% относят себя к неверующим, 74,4% являются уроженцами Гонконга. Подавляющее большинство респондентов – нанятые работники (59,2%), в то же время среди них есть безработные, работающие на контрактной основе фрилансеры, работодатели и лица, совмещающие должности работодателя и наемного сотрудника. В среднем продовольственные расходы опрошенных составляют около четверти (24,4%) семейного бюджета (с. 151).

Один раздел анкеты включил суждения о практиках социальной солидарности за последние полгода. Другой раздел составили вопросы о проявлении индивидуальной и социетальной социальной гармонии в прошлом месяце. Третий раздел посвящен практикам социальной гармонии в прошлом году. Ответы ранжировались по пятибалльной шкале – от «очень мало» до «очень много» (с. 152).

Две шкалы индивидуальной социальной гармонии (в прошлом месяце и году) включили шесть показателей, из которых три признавались позитивными и три – негативными. К позитивно окрашенным индикаторам были отнесены: «Дружелюбная беседа с незнакомыми людьми», «Прощать другим промахи в общении», «Дружелюбное общение с людьми разного происхождения». Негативными признаками стали следующие: «Отказ в помощи незнакомцам», «Оскорбление незнакомых людей», «Быть в дисгармонии с окружающими». Коэффициенты надежности (*reliability coefficients*) двух шкал составили 0,618 и 0,595[1].

Шкалу социальной гармонии гонконгского общества в прошлом месяце и году (коэффициенты надежности = 0,663 и 0,740) также составили позитивно и негативно выраженные признаки. К первым были отнесены следующие: «Люди, помогающие друг другу», «Люди, проявляющие толерантность по отношению друг к другу», «Гармония в обществе». Отрицательными считались показатели: «Люди, ссорящиеся друг с другом», «Наличие разобщенности в обществе», «Конфликт в обществе».

Шкала механической солидарности состоит из комбинации шести позитивно («Общие взгляды с соседями», «Общие взгляды с правительством», «Общие взгляды с молодежью») и негативно выраженных показателей («Конфликты со старшим поколением в связи с несовпадением взглядов», «Конфликты, вызванные несогласием со СМИ», «Конфликты, вызванные несогласием с общественными взглядами»). Коэффициент надежности равен 0,597.

[1] Напомним, что коэффициент надежности определяет меру точности, с которой проводится тестирование некоторого признака. Высокое значение данного показателя говорит о надежности шкалы (пояснение мое. – *М.Я.*).

Также шесть пунктов составляют шкалу органической солидарности (коэффициент надежности = 0,632): «Сотрудничество с другими для завершения какого-либо дела», «Практическая помощь друг другу», «Взаимодополняемость в делах» (позитивные), «Конкуренция с другими людьми», «Использование практик, вызывающих контрдействия со стороны других», «Конфликты с окружающими» (негативные).

Распределительная солидарность (коэффициент надежности = 0,714) измерялась с помощью следующих индикаторов: «Использование общественных мест (например, парков, бассейнов) совместно с другими», «Наслаждение жизнью вместе с другими», «Иметь то же самое, что и большинство окружающих» (позитивные), «Завидовать имуществу других», «Жизнь сложнее, чем у других», «Жизнь ниже среднего уровня» (негативные).

Солидарность участия (коэффициент надежности = 0,664) измерялась в зависимости от отношения респондентов к следующим признакам: «Общение с людьми высокого социального статуса», «Общение с людьми разных социальных слоев», «Общение с людьми разного происхождения» (позитивные) и «Быть отвергнутым обществом», «Быть изолированным от общества» (негативные) (с. 153).

Позитивно выраженными показателями диалогической солидарности (коэффициент надежности = 0,558) стали: «Общение с теми, кто выше по статусу», «Общение с теми, кто ниже по статусу», «Общение с массмедиа». Два признака были отнесены к негативным: «Иметь взгляды, игнорируемые другими», «Наличие трудностей в общении».

Для проверки указанных выше гипотез применялся метод структурного моделирования (*structural equation modeling*). В основу анализа была положена базовая модель, в которой представлены формы социальной гармонии и социальной солидарности (эндогенные переменные) и социально-демографические характеристики в виде возраста, половой принадлежности, уровня образования, семейного положения, типа занятости и пр. (экзогенные факторы) (с. 154).

В результате обнаружилось положительное влияние четырех – участия, органической, распределительной и диалогической – из пяти форм социальной солидарности (в течение последних 6 мес.) на состояние индивидуальной социальной гармонии в прошлом месяце, что подтверждает первую гипотезу. Из всех указанных форм социальной солидарности наиболее сильным оказалось влияние солидарности участия, что также совпадает с первой гипотезой.

Социальная гармония общества в значительной степени определяет индивидуальную социальную гармонию. И напротив, индивидуальная гармония не имеет значимого влияния на проявление социальной гармонии общества. Это подтверждает третью гипотезу (с. 156). Влияние же возраста, пола, уровня образования и других экзогенных факторов на про-

явление индивидуальной и социетальной социальной гармонии в целом невелико.

Все пять форм социальной солидарности, демонстрируемые в последние полгода, оказались зависимыми от прошлогодних практик индивидуальной социальной гармонии. Более того, социальная гармония общества (за прошлый год) повлияла на четыре из пяти форм социальной солидарности, это влияние не коснулось лишь распределительной формы солидарности. Таким образом, вторая гипотеза также получила подтверждение. Из социостатусных и демографических показателей наиболее заметно воздействие образования, влияющего на солидарность участия, а также на распределительную и диалогическую формы солидарности (с. 158).

Выводы. Подтверждение всех гипотез говорит о приемлемости теории обмена ресурсами для изучения социальной гармонии и солидарности. Согласно этой концепции, социальная гармония и солидарность «обмениваются» друг с другом ресурсами в соответствии с принципами взаимности и справедливости. Подобные ресурсы обычно выражаются в форме социальной поддержки, коллективного признания и симпатии. Так, ответом на проявленную «солидарность», как правило, бывает «гармоничное» поведение. В свою очередь, распространение социальной гармонии в обществе, скорее всего, повлечет за собой адекватные ответные практики, а участники подобного взаимообмена вступят в «круговую поруку добра» (*virtuous circle*). Исследование показало также, что с гармонией в обществе наиболее связана солидарность участия, тогда как механическая солидарность не способствует распространению социальной гармонии и неуместна в современном индустриальном, индивидуализированном и секулярном мире (с. 160).

Авторы отмечают, что проведенное исследование является поисковым, дает сведения о возможных причинно-следственных связях между изучаемыми явлениями и не претендует на широкомасштабные выводы. К тому же на результаты мог повлиять «культурный контекст» исследования, ограниченного выборкой уроженцев Гонконга. По мнению авторов, представляются важными дальнейшие исследования, призванные проверить релевантность теории обмена ресурсами для объяснения связи социальной гармонии и солидарности.

М.А. Ядова

III. СОЦИОЛОГИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

СТАТЬИ

Е.Л. Омельченко

ОТ СЫТЫХ НУЛЕВЫХ – К МОЛЧАЛИВЫМ ДЕСЯТЫМ: ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ УРОКИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ НАЧАЛА XXI в.

Смысл статьи – взглянуть на первое десятилетие XXI в. через призму основных изменений, происходящих в молодежных культурах и повседневных практиках, а также в дискурсивных представлениях россиян о молодежи. С этой целью я обращаюсь к ключевым событиям / вызовам этого периода, чтобы посмотреть, как отвечала на них молодежь. В качестве перелома / рубежа нулевых выбран финансово-экономический кризис 2008 г., во многом изменивший молодежный ландшафт российских городов.

Молодежь как объект анализа, воспитания и контроля волнует всех взрослых агентов общества. Обычно она попадает в центр внимания политиков, журналистов и исследователей, когда речь заходит о серьезных социальных катаклизмах, переменах, спонтанных молодежных волнениях[1]. Интенсивность интереса к молодежной теме зависит от событий, которые вызывают панику, ставят под сомнение возможность прогноза будущего и сохранения достигнутого статус-кво политическими группами, находящимися у власти. Подобные события актуализируют вопрос о возможной мобилизации молодежи в целях контроля над ситуацией и предотвращения массовых протестов и революционных инноваций.

Зачем социологам «поколение»?

Понятие «поколение» занимает несколько маргинальное положение в западных академических исследованиях, посвященных социальным и

[1] Завершение работы над этой статьей совпало с массовыми молодежными волнениями в Великобритании. Реакции на них английских политиков, журналистов и общественности в очередной раз продемонстрировали механизм формирования внимания к молодежному вопросу и кризисное состояние политики в отношении молодежи в целом, причем не только в Великобритании.

культурным переменам[1]. Это выглядит довольно парадоксально на фоне производства все новых и новых поколенческих имен – соперничающих и часто повторяющих друг друга. Такие имена, как поколение X, Y, NET, TEXT и другие, циркулируют в СМИ и повседневном дискурсе для описания разных аспектов опыта молодежи[2]. Дж. Эдмундс и Б. Тернер писали о том, что террористические атаки 11 сентября на Нью-Йорк и Вашингтон должны привести к формированию нового, «сентябрьского поколения», которое бросит вызов культурной гегемонии поколения шестидесятников. Эти исследователи выступают за реабилитацию термина «поколение», считая его крайне актуальным для понимания происходящих в современных обществах перемен: «Не классы, а поколения сформировали современное культурное, интеллектуальное и политическое мышление»[3]. Их понимание «поколения» опирается на идеи Карла Манхейма о формировании поколенческого сознания благодаря переживанию общего опыта исторической травмы[4]. Используются идеи о формировании коллективной памяти и ритуалов в поддержке подобного сознания, а также мысль Пьера Бурдье о социальных и культурных сдвигах как результатах межпоколенческой борьбы за скудные ресурсы[5]. Концепция поколения чаще всего используется в социологии молодежи; именно к молодым, проживающим в молодости события *особой значимости*, чаще всего применяются образные поколенческие конструкты-ярлыки, схватывающие общую, знаменательную черту изменений. Этот термин часто используется и в популист-

---

[1] См.: *Edmunds J., Turner B.*S. Generations, culture and society – Buckingham; Philadelphia (PA): Open univ. press, 2002.

[2] *Омельченко Е.Л.* Поколение TEXT: Новые имена молодежной культуры // Рекламные идеи. – СПб., 2008. – № 2. – С. 106–111.

[3] *Edmunds J., Turner B.S.* Op. cit. – P. 118.

[4] При всей метафоричности понятия *поколение* и возникающих дискуссий, его использование в выбранном контексте представляется полезным. Теоретическое обоснование проблемы *поколения* впервые появляется в работах Карла Манхейма (*Mannheim K.* The problem of generations // Mannheim K. Essays on the sociology of knowledge. – L.: Routledge & Keagan Paul, 1952). Ему принадлежат основные ключевые понятия и описания социального феномена «коллективное проживание» судьбоносных исторических событий. Объединяет различные употребления понятия «поколение» компонент «времени», что в отношении социологии ученый называл «исторической локализацией». Поколения могут локализоваться: 1) по календарному принципу; 2) символически, через соотнесение с неким судьбоносным событием; 3) через идентификацию со значимой, культовой личностью, ставшей культурным кодом для маркировки живущих в тот же отрезок времени; 4) через символические приметы, культурные коды исторического этапа. Все исследователи, работающие с понятием, склонны видеть методологические проблемы в вопросе границ, разделяющих поколения, в критериях определения смысла каждого поколения и в поиске (идентификации) его имени. Поколения могут локализоваться по разным признакам в зависимости от решаемых с их помощью задач и от интересов тех акторов, кто наделен правом и властью номинирования.

[5] *Bourdieu P.* Language and symbolic power. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1991.

ских целях неакадемической публикой, что размывает его смысл, приводит к формированию стереотипов в общественном сознании об эссенциалистском значении опыта, приобретенного в определенном возрасте и в определенный исторический момент.

Стремление к обнаружению общих черт у людей, растущих и взрослеющих в один промежуток времени, в схожих обстоятельствах жизни, включенных в формально схожие социальные институты, получающих информацию через разделяемые большинством каналы, было характерно для большинства поколенческих конструктов XX и начала XXI в. Как группа становится поколением, что превращает «поколение» в категорию и знак времени – тема отдельного исследования. Может ли общее, пусть и катастрофическое событие сформировать общую идентичность, которая будет значимее происхождения, гендера, этнических, географических (локационных) различий внутри когорты, растущей вместе? Можно ли признать финансовый кризис некоей травмой, которая определяет поколение Р (рецессия), или определяющим стал политический ответ российской власти, объявившей «успешное преодоление кризиса»? Очевидно, что кроме общего возраста молодежь отличают этнические, религиозные, классовые и гендерные аспекты. Не менее значимы статусные и материальные различия для понимания ресурсов и компетенций, которыми обладают разные генерационные единицы. Смещение исследовательского внимания от собственного поколенческого опыта к практикам культурного потребления молодежи как поколенческим реакциям на конкретные проблемы, связанные с классовым / родительским происхождением, имело принципиальное значение и, по сути, определило целое направление субкультурных исследований молодежи[1]. При использовании поколенческого подхода может игнорироваться особая роль глобальных коммуникаций современности, которые способствуют возникновению поколенческого сознания благодаря глобальной общности опыта, а также ведущая роль СМИ в конструировании сознания молодежи через порождение, циркуляцию и отбрасывание поколенческих ярлыков. Так, например, медийное сопровождение кризиса отличалось различными интерпретациями образа «нового поколения Р». Любое понятие поколения должно учитывать дискурсивное продуцирование «поколенческого опыта» и строиться на осознании того, что молодые

---

[1] *Cohen Ph.* Rethinking the youth question: Education, labor and cultural studies. – L.: Macmillan, 1997.

Здесь я вынуждена отвлечься от критики классового редукционизма и гендерной слепоты, лежащих в основе идеи «молодежной субкультуры», которые вполне оправданы (*Bennett A.* Subcultures or neo-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and musical taste // Sociology. – L., 1997. – Vol. 33, N 3. – P. 599–617; *Muggleton B.* Inside subculture: The postmodern meaning of style. – Oxford: Berg, 2000). Однако теоретики поколения чаще всего игнорируют проблемы власти, сегментации и неравенства, которые возникают в связи с этим представлением (*Pilkington H., Jonson R.* Periphery youth relations of identity and power in global / local context // European j. of cultural studies. – L., 2003. – Vol. 6, N 3. – P. 259–285).

люди – как субъекты – понимают и артикулируют свой опыт не вне дискурсивной сферы, но критически работая с ней, используя или отвергая ее аргументацию. Таким образом, «поколенческий субъект» как некое коллективное тело, обладающее коллективным сознанием, должен пониматься шире, чем страта богемы или интеллектуалов. И очень важно проводить различие между собственно поколенческим опытом самой молодежи и ее политическими репрезентациями, выстроенными в соответствии с нуждами правящей элиты.

Рубеж десятилетий

С начала первого десятилетия нового века и вплоть до переломных 2006–2007 гг. проводились разнообразные исследования проблем молодежи. Так, например, изучалась структура ценностных предпочтений, исследователи говорили о росте прагматических и индивидуалистских настроений, возрастании значимости материальных ценностей, расширении зон потребительской активности, о завышенных образовательных притязаниях и карьерных амбициях[1] и пр., о расширении пространства «попсы» и гламура, противостоянии «гопников» и неформалов на культурных молодежных сценах[2]; о политическом нигилизме и «пофигизме», потере молодежью моральных обязательств перед обществом[3], массовом отказе от участия в публичной политике, падении электоральной активности. Тезис об аполитичности российской молодежи соседствовал с данными опросов, свидетельствующих о неуклонном росте лояльности различных молодежных групп первому лицу государства (президенту В.В. Путину). Уже в конце 1990-х годов было понятно, что, заручившись поддержкой молодежного большинства, лидер обеспечивает себе победу[4]. Молодежь была нужна власти. Это никак не сказывалось на финансировании социальных

---

[1] *Магун В.С., Энговатов М.В.* Межпоколенная динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного обеспечения: 1985–2001 гг. // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 261–327.

[2] Нормальная молодежь: Пиво, тусовка, наркотики / Под ред. Е.Л. Омельченко. – Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2005.

[3] *Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К.* Молодежь в обществе риска. – М.: Наука, 2001.

[4] «Голосуй или проиграешь» – лозунг предвыборной кампании Бориса Ельцина во время президентских выборов в России 1996 г., в которой была сделана ставка на молодежь. Рейтинг Ельцина в начале 1996 г. составлял 3–6%. Опросы ВЦИОМ показали, что если привлечь молодежь на избирательные участки, то около 70% ее голосов будет отдано Ельцину. В ходе этой кампании Б. Ельцин лично участвовал в выездных шоу. Были записаны два музыкальных альбома «Ельцин – наш президент» и «Голосуй или проиграешь».

программ, ориентированных на молодежь[1]. Интерес к молодежи как электоральному ресурсу и потенциально опасной массе проявлялся через широкомасштабные проекты молодежной мобилизации[2]. В экономической сфере молодежь присутствовала как постепенно формирующийся потребительский сегмент с чертами глобального, что демонстрировали слегка адаптированные западные рекламы массовых молодежных товаров.

Докризисная Россия была страной с все более увеличивающейся зоной бедности и уверенно растущей долей среднего класса, с новыми формами неравенства, связанного с доступностью высшего (качественного, бесплатного) образования на фоне расширения рынка платных образовательных услуг. В силу действия этих факторов усиливалась неоднородность молодежи, что порождало серьезные опасения. Особую тревогу вызывало массовое вовлечение молодежи в наркотические практики, как в столичных, так и в периферийных городах России[3].

Рубежом первого десятилетия, изменившим общий тон разговора о российской молодежи, стали события в июне 2002 г., когда футбольные фанаты и гопники устроили погром на Манежной площади после поражения нашей сборной в матче Россия – Япония. СМИ писали о неуправляемой агрессивной массе, об отсутствии моральных ограничений, угрозе немотивированных и бессмысленных молодежных бунтов. О росте ксенофобных и экстремистских настроений открыто заговорили после событий в Кондопоге в 2006 г.[4] Особое внимание было обращено на рост активности скинхедов на всем пространстве постсоветской России. К концу десятилетия скинхед-сцена пережила глубокий кризис и в настоящее время уже не представляет собой какого-то однородного движения. На это повлияли серьезные изменения в российском законодательстве[5] и противоречия

---

[1] Финансирование молодежной политики неуклонно снижалось вместе с определенной деградацией и самого института, постепенно превращавшегося в «бесплатное дополнение» к спорту, туризму и образованию.

[2] «Идущие вместе» – первое российское прокремлевское молодежное движение. Создано в 2000 г. Возглавлялось Василием Якеменко. Явилось предшественником многих современных молодежных организаций, таких как «Наши», «Молодая гвардия» и др.

[3] Волна «передозов» прокатилась по всем российским городам в начале десятилетия. НИЦ «Регион» провел серию исследований, посвященных путям «нормализации» наркотических практик в молодежной среде (см.: http://regioncentre.ru/resources/books/).

[4] В конце лета 2006 г. в Кондопоге (Карелия) произошли массовые беспорядки, получившие широкий резонанс в СМИ. В качестве повода назывался протест населения против убийства русских граждан уроженцами Чечни. Молодежь была названа СМИ основным участником беспорядков.

[5] Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» принят в 2006 г., Уголовный кодекс РФ в результате был дополнен двумя новыми статьями: ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» и ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации», изменена редакция ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

внутри скинхед-сцены, усилившиеся на фоне роста движения АНТИФА[1]. Особые страхи российской власти были связаны с чередой цветных революций на всем постсоветском пространстве, активным участником которых была молодежь. Параллельно этим событиям начали разрабатываться новые программы патриотического воспитания российской молодежи, стали публиковаться новые учебники истории России, легитимирующие имперские амбиции, началось активное молодежное партстроительство, усиленное мощным административным и бизнес-ресурсами.

В нарицательных именах молодых поколений конца XX в. присутствовали знаки неизвестности – X, Y, Z. Затем бурное развитие и совершенствование информационных каналов молодого поколения дали импульс символическому обозначению, почерпнутому из СМИ, – Text, MTV, Screen, IT, iPod. Одним из последних, докризисных имен чисто российского происхождения стало поколение Пу[2]…

Урок первый: *Патриотизм*

Реакция политиков и журналистов на события 11 декабря 2010 г. на Манежной площади[3] была неоднозначной. Политические оценки происшедшего были крайне противоречивыми, что можно расценить как провал молодежной политики, ориентированной на воспитание молодежи в духе националистически окрашенного патриотизма. Вослед событиям на Манежной последовали новые политические шаги. Начинают разрабатываться программы работы с экстремистски ориентированной молодежью, цель проектов – массовая молодежная мобилизация «по-советски»[4]. В политическую повестку дня был поставлен вопрос о возможности и последствиях неконтролируемых, агрессивных и неясных (по мотивам) выступлений. На мой взгляд, за фасадом этих событий скрывается важный вопрос: кому в России принадлежит право на «новый патриотизм», кто может уверенно

---

[1] Подробней об этом см.: *Омельченко Е.* АНТИФА против ФА: Молодежь по разные стороны баррикад, или Размышления о «новых» версиях патриотизма. – Режим доступа: http://www.polit.ru/analytics/2010/05/24/antifa.html

[2] Поколение Пу, или поколение Путина – сверхлояльное, с выраженными имперскими амбициями, высоким уровнем ксенофобии, высокими карьерными и образовательными притязаниями. (*Омельченко Е.Л.* Поколение TEXT: Новые имена молодежной культуры // Рекламные идеи. – СПб., 2008. – № 2. – С. 106–111.)

[3] Массовые беспорядки на Манежной площади в Москве произошли после убийства футбольного фаната представителями кавказской диаспоры. Преступники были пойманы, но отпущены милицией. В настоящий момент они снова арестованы, ведется следствие…

[4] В частности, в июне 2011 г. мэром г. Москвы Сергеем Собяниным была подписана московская программа «Не болей расизмом» (бюджет 110 млн. руб.) – типичный ответ бюрократии на реальные проблемы молодежи. Она сводится к проведению летних патриотических лагерей, школьных «уроков дружбы», «рейдов в места компактного проживания мигрантов», наружной рекламе.

себя чувствовать на улицах городов (в основном, больших) и кто может считать себя «россиянином»?[1]

В конце 1990-х годов я принимала участие в проекте, посвященном образу *Запада* в восприятии российской молодежи[2]. Цель исследования – понять, что значит *Запад* для разных молодежных сообществ; какие повседневные практики сопровождают реальную или мифическую вовлеченность молодежи; существует ли «слепое» следование *западным образцам* и что это за образцы. Исследование показало, что, во-первых, *Запада*, как целого, в восприятии молодежи не существует. Наиболее критичными к Западу оказались самые информированные, те, кто сам побывал за рубежом. Менее критичными и, значит, более восторженными были те, кто строил образы *Запада* по фильмам, слухам, ярким киногероям и поп-звездам.

Во-вторых, *Запад* географически мог располагаться как в Северной Америке или Европе, так и в Японии. Его местоположение и территориальный охват менялись в зависимости от личного опыта общения, уровня образования, доступа к информации.

В-третьих, мы обнаружили, что молодежные культурные сцены российских городов отличала общая тенденция. Для молодежи было важно самоопределиться в отношении *продвинутых* (субкультурщиков, неформалов) и *нормальных* (обычных, мейнстрим, гопников) и отнести себя / свою компанию к тем или другим. В этом самоопределении – один из значимых маркеров – место Запада в структуре их ценностей. *Продвинутые* были открыты новому знанию, культуре, опыту, хотя и более критичны в отношении отдельных культурных продуктов, а *нормальные* оказались более ориентированы на воспроизводство традиций локальности (своего круга, соседства, района, города).

И наконец, вместо образа исключительно привлекательного и манящего *Запада* мы обнаружили рост *стихийного патриотизма*, своего рода любви или тоски по России, основанной на детской обиде, что молодость и юность проходят в стране, «где все не так». В качестве защитной системы, помогающей построить непротиворечивую картину правильного мира, формировался позитивный и по-своему привлекательный *образ России*

---

[1] Сегодня этот вопрос приобретает еще большую остроту в свете «нового» подхода к национальному вопросу, который был сформулирован президентом Д.А. Медведевым 10 февраля 2011 г. Президент выдвинул тезис о необходимости создания единой российской нации – своеобразный дискурсивный ответ на события на Манежной площади и программа «устранения межэтнических конфликтов». Это очередная идея создать некое общекультурное пространство и решить тем самым национальный вопрос. Эффективность подобной риторики вызывает серьезную критику и сомнения в возможности реального влияния на ситуацию.

[2] Looking West? Cultural globalization and Russian youth cultures / Pilkington H., Omelchenko E., Flynn M., Bliudina U., Starkova E. – Philadelphia: Pennsylvania state univ. press, 2002; Неокончательный анализ... Ксенофобные настроения в молодежной среде / Под ред. Е.Л. Омельченко, Е.Л. Лукьяновой. – Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2009.

как зеркальное отражение того, что признавалось негативным на Западе. Образ жизни, образование, культурный уровень, личные коммуникации – все это представлялось на Западе лишенным самых важных для *российского человека* качеств душевности, искренности, теплоты, открытости. Мы назвали это *стихийным патриотизмом.* Сегодня, после завершения очередного проекта, посвященного образам России, я называю эти чувства *обиженным* патриотизмом. Если в начале XXI в. мы зарегистрировали «любовь к России», то в конце первого десятилетия, в новом проекте, мы зафиксировали рост «гордости» за Россию, что связано со специфическим набором определенных имперских амбиций и достаточно высоким уровнем бытовой ксенофобии[1].

При всей сложности вопроса патриотизма – это национальный вопрос, который после декабря 2010 г. звучит в России иначе. В нем отражаются отсутствие разделяемого обществом понятия справедливости, фундаментальный кризис доверия, массовый отказ молодежи от веры в публичную риторику политиков. Национально-патриотическая карта в ее новом варианте разыгрывается всеми игроками на выборах президента весной 2012 г. В эти политические игры обязательно вовлекается и молодежь, а размах процесса зависит от бюджетов выборных кампаний. Но молодежь, прошедшая через кризис и потерю доверия к власти, сегодня уже совсем другая.

Урок второй: *Кризис*

Первыми заговорили о новых тенденциях в молодежных реакциях на кризис западные исследователи, именно они стали использовать термин поколение R, имея в виду поколение рецессии – глобальное поколение XXI в., формирующееся в условиях финансово-экономического кризиса[2]. Это второе (после постсоветского) поколенческое имя, в котором находят выражение глобальные социально-экономические процессы. Предыдущие имена подчеркивали какие-то точечные характеристики, в частности появление или использование новых прогрессивных *возможностей*, в термине

[1] К настоящему моменту завершена полевая часть проекта «Национальные идентичности в России с 1961 г.: Традиции и детерриторизация» (Arts and humanities research council, 2007–2010 гг.); руководитель – профессор К. Келли. Исследование проходило в двух городах России (Воркуте и Санкт-Петербурге) и было посвящено анализу групповых и индивидуальных смыслов, которые молодежь вкладывает в понятие патриотизма. В настоящий момент завершается работа над книгой «Молодежь и новый русский / российский патриотизм», в которой будут представлены основные результаты проекта.

[2] «*Поколение R: Российская молодежь и финансово-экономический кризис в сравнительной европейской перспективе*», «*Новые молодежные солидарности*»: проекты, проведенные Центром молодежных исследований НИУ ВШЭ (СПб.) в 2009–2010 гг. при поддержке ЦФИ НИУ ВШЭ.

поколение R подчеркиваются изменения вследствие *потерь*[1]. Его использование помогает специфицировать постсоветское применительно к реальной ситуации и, с другой стороны, включает Россию в глобальный контекст. Кризис объединил молодежь разных стран и социальных позиций, наделив их мироощущение схожими переживаниями.

Однако, несмотря на включенность в глобальный контекст, каждая страна отличается своей специфической реакцией на кризис. В России – это усиление коррупции, усложнение доступа к высшему образованию, рост молодежной безработицы.

За последние два десятилетия Россия пережила несколько серьезных экономических кризисов, включая и дефолт 1998 г., комплексный социально-экономический шок, связанный с распадом СССР и крахом плановой экономики. Без сомнения, их воздействие на общественные настроения продолжает сказываться. По-прежнему велика доля тех, кто склонен рассчитывать на поддержку со стороны государства, выступает за перераспределение доходов, а также считает, что удача важнее упорного труда. Самые серьезные последствия кризиса 2008–2009 гг. проявятся не сейчас и не на будущий год, а лет через 20–30, когда представители поколения кризиса начнут приходить к власти[2]. Специалисты всех ведущих социологических центров страны признают, что по своим последствиям нынешний кризис не так остро переживается населением, как дефолт 1998 г. Для большинства россиян 2008–2009 гг. сложились вполне удачно. В августе 2008 г. многие полагали, что экономический спад будет весьма продолжительным, паника длилась недолго, и индексы социального самочувствия начали расти уже в марте 2009 г. Столь быстрые перемены вызвали разноречивые толкования. Для одних они стали примером хорошей приспособляемости россиян к трудным условиям, а для других свидетельствовали о переоценке угрозы рецессии.

1998 год встречало молодое поколение, мечтавшее добиться сразу всего – карьеры, денег и славы. Не зря период 1990-х годов называют в социологии молодежи «революцией притязаний»[3]. Докризисное поколение называли «поколением стабильности», подчеркивая, что среди моло-

---

[1] По последним выкладкам Немецкого статистического офиса и Евростата, молодежная безработица по всей Европе выросла на 25% за последние два с половиной года. Нынешний уровень молодежной безработицы в Европе – самый высокий за весь период сбора подобных статистических данных (*Steinberg S.* Record levels of unemployment for Europe's youth. – Mode of access: http://www.wsws.org/articles/2011/aug2011/euro-a13.shtml).

[2] Интересные идеи по новым характеристикам и чертам молодых поколений первого десятилетия XXI в. принадлежат творческой исследовательской группе ФОМ (руководитель Лариса Паутова): Молодежная сегментация: Опыт Фонда «Общественное мнение». – Режим доступа: http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/99/2010_5%2899%29_3_Pautova.pdf

[3] *Магун В.С., Энговатов М.В.* Межпоколенная динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного обеспечения: 1985–2001 гг. // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 261–327.

дежи появились совершенно новые социальные группы, которых десять лет назад почти не было. Молодежь второго десятилетия – это первое постсоветское поколение, у которого сложились не только особые политические взгляды, но и потребительские практики. Она не застала пустых полок в магазинах, продуктовых талонов и «колбасных» поездов в столицу. Но ей знакома проблема того, как сориентироваться в имеющемся изобилии. Шопинг становится особой культурной практикой, выполняющей важные социализирующие функции. Причем «традиционная» шопинг-культура дополняется новыми формами аутентичного потребления. Молодежь не попадает в число самых уязвимых групп населения. Чем моложе человек в России, тем лучше его материальное положение. К тому же считается, что молодым по силам использовать самые активные стратегии приспособления: осваивать новую профессию, находить дополнительные заработки, менять местожительство и т.п. Традиционно используемые в исследованиях такого рода индикаторы не всегда релевантны. Обычно основное внимание привлечено к трудовому поведению, фактическому уровню безработицы, доле тех, кто боится увольнения, т.е. к приметам нестабильности в плане занятости населения. Трудовые стратегии молодежи и раньше не отличались постоянством. Многие юноши и девушки предпочитают откладывать начало своей трудовой деятельности до тех пор, пока не найдут достойного, на их взгляд, места. Но и те, кто принялся за работу, остаются открытыми новым предложениям. Юноши и девушки не так держатся за место, как их родители.

Те, кому в 2008–2009 гг. было 15–19 лет, в максимальной степени оказались подверженными влиянию кризисных явлений. Это скажется на их поведении и практиках – к 2020 г., когда они начнут претендовать на взрослые статусы и занимать ключевые посты в политическом, культурном и экономическом истеблишменте.

Урок третий: Семья и дети

К очевидным последствиям кризиса в России можно отнести происходящие изменения в семейных отношениях, связанные с характером трат и потребления. Молодежь из средне- и высокоресурсных семей кризиса практически не заметила, в этом сказались особенности «семейной бухгалтерии». В большинстве российских семей существуют две параллельные кассы: домашняя (родительская) и своя (деньги детей). Весь удар потерь пришелся не на молодое поколение, поскольку в своем большинстве их деньги – даже если они и получают их от родителей – это другая система трат[1]. Специфически российским или постсоветским эффектом кризиса стало переформатирование ролей родителей и детей. Родители, в традици-

[1] В первую очередь это относится к внутрисемейной позиции школьников, студентов и молодых взрослых, начинающих свои трудовые карьеры. Молодые рабочие и профессионалы, пусть и в меньшей степени, чем взрослые, эффекты кризиса ощутили.

ях советских семейных паттернов, не только материально, но психологически и морально защитили детей от кризиса. А дети, в свою очередь, не заметили этого и не испытали никакой благодарности, мало что изменив в своих привычках и графике жизни. Влияние кризиса на семейные отношения скажется во временной перспективе, будет меняться характер межпоколенческих расчетов и поколенческих контрактов. Классовый конфликт как основа социального неравенства дополняется и усложняется возрастным конфликтом, где значимым становится неравенство вкладов и доступа различных поколений к социальным благам[1].

Насколько молодые несут ответственность за обеспечение старших, каким образом осуществляется «реальный подсчет вклада поколения» в умножение социальных благ? Согласно концепции «взаимных расчетов поколений» (generation accounting) современная молодежь и дети признаются более ущемленными по сравнению со старшими с точки зрения отношения к распределению значимых ресурсов. Новые режимы социальных расслоений связаны с изменениями в структуре рынка труда, соотношении бесплатного и платного начального, среднего и высшего образования. Поздние советские, постсоветские и современные поколения застали и пережили отличающиеся по периодам формы социальных изменений, что усложнило и без того пострадавшую в результате резкой смены социального строя систему «преемственности» поколений, поколенческих обязательств и расчетов. Эта тенденция особенно заметна в ситуации мирового кризиса, когда молодежь становится основной «экспериментальной группой», на жизненных траекториях которой в первую очередь отражаются социальные и экономические эффекты, сопровождающие рецессию. Наиболее уязвимыми оказываются самые незащищенные («жертвы в квадрате и кубе»): молодежь из бедных семей, сельская молодежь, жители депривированных территорий, молодежь моногородов и промышленных окраин. В России это особенно заметно в сфере высшего образования. Нынешнее поколение сталкивается с большей несправедливостью в доступе к качественному образованию, чем предыдущее. Не менее остро стоит вопрос и о перспективах структуры занятости.

Исследования особенностей *поколенческих контрактов* перспективны в отношении биографий современных семей. В современной России поколенческий контракт имеет многомерную структуру. Помимо традиционного распределения ожиданий между старшими и младшими (с интервалом в 25–30 лет), формируются новые неравенства внутри самого поколения молодых (интервал 5–10 лет). Нынешние 25–30-летние, уже занявшие определенные (престижные) рабочие места и позиции, не готовы уступить их в ближайшие 20–30 лет тем, кто идет за ними. При этом нынешние 18–20-летние, хорошо понимая это, культивируют в себе цинизм,

[1] *Семенова В.В.* Социальная динамика поколений: Проблемы и реальность. – М.: РОССПЭН, 2009; *Kohli M.* Aging and justice // Handbook of aging and the social sciences / Ed. by R.H. Binstock, L.K. George. – San Diego (CA): Elsevier, 2006. – P. 456–478.

состязательность и недоверие. В России ожидаются семейные трагедии *нового типа*. Родители будут продолжать надеяться и ждать помощи и заботы в старости или болезни, а дети начнут отказываться выполнять свои моральные обязательства, заменяя их рыночными практиками – юридическими формальными контрактами и договорами. Сформируется новый тип поколенческого контракта, который будет опираться не на моральное долженствование, а на формальные договоренности. Так, например, новый тренд защиты прав детей и внимание к различным типам родительства в немалой степени порождены ставшим очевидным противоречием между старыми формами поколенческих контрактов и новыми условиями жизни.

Падение рождаемости и биотехнологический бум породили нового потребителя – *детей*. Индустрия детства (включая здравоохранение, юридическое сопровождение, защиту прав ребенка и детства), культура, шоу-индустрия, детский туризм будут и дальше развиваться. Формируется список новых потребностей и семейных потребительских ниш, что порождает новые типы расслоения, исключений и социальной напряженности. Параллельно с этими процессами формируется новая социальная группа – молодые родители. С одной стороны, институционализация новой страты поддерживается государственной политикой увеличения рождаемости, производством и продвижением образцов многодетных молодых семей, расширяющейся индустрией детства. С другой стороны, социальный статус семьи в еще большей степени, чем прежде, будет определять стартовые условия и разную степень доступа к ресурсам взросления – экологии, безопасности, государственному патронажу (ясли, садики, врачи, юристы), образованию. Социальные сети молодых родителей в Интернете оказываются одними из самых активных, включенных и быстро реагирующих на социальные вызовы агентов. Их гражданская активность формируется на базовых и солидарно разделяемых ценностях обслуживания и воспитания детей. Сегодняшние молодые родители (в первую очередь из среднего класса) – потенциально высокопротестная группа.

Урок четвертый: *Интернет и социальные сети*

Структура расходов молодежи и старших поколений значимо отличается. В первом случае преобладают траты, связанные с проведением досуга и сферой демонстративного потребления. Последнее касается не только молодых людей из обеспеченных, но и из бедных семей, которые стремятся не отставать от сверстников. Исследования обнаруживают противоречивую ситуацию. С одной стороны, рост цен волнует молодых не меньше, чем взрослых, с другой – они не намерены снижать свои потребительские запросы. Молодежь, за исключением выходцев из самых бедных слоев, не очень заботит, насколько родителям бывает трудно обеспечить семью продуктами питания. Зато юношей и девушек тревожит то, сколько будет стоить сходить в ночной клуб и фитнес-центр, а также не повысят

ли расценки за Интернет и мобильный телефон. Молодежь оказывается изобретательна на разные альтернативные потребительские практики вроде вечеринок по обмену вещами, интернет-барахолок, покупок вещей вскладчину и их дальнейшего использования по очереди[1]. Молодые не испытывают паники по поводу произошедшего кризиса. Они легче, чем их родители, относятся к потере работы, уменьшению зарплаты и необходимости платить по кредитам. Экономические соображения, особенно для тех, у кого пока нет собственной семьи, не являются основополагающими. Самостоятельность даже работающей молодежи является весьма условной. Материальная помощь родителей продолжает служить для юношей и девушек главным подспорьем. К 25–30 годам молодые не перестают получать от родителей финансовые средства или другие блага, но их меньше заботит материальное положение самих родителей, о состоянии которого они часто бывают не осведомлены. Сами родители стремятся обезопасить молодежь от экономических трудностей, с которыми они столкнулись в нынешний кризис. Чем более тяжелые последствия приходится переживать семье, тем меньше родители посвящают детей в свои планы и проблемы. В свою очередь это приводит к недооценке молодежью той реальной ситуации, в которой оказалась их семья, и возможностей родителей справиться с ней.

Герои социальных и культурных сетей конца первого десятилетия, контактные сообщества повлияли на формирование новых типов коммуникаций и потребительских практик. В этом пространстве формируется новая структура потребления, занятости, системы профессий. Вхождение в те или иные сети начинает определять жизненные приоритеты. Самоопределение в отношении включения или невключения в ту или иную группу, принятия или непринятия кого-то в друзья, рассылки сетевой рекламы и вирусов – эти практики коммуникации становятся более значимыми. Марк Цукерберг, особенно благодаря успеху фильма «Социальные сети», – новый культурный герой молодежи в глобальном измерении. На смену анонимности, характерной для начала века, приходят индивидуальность, необычность, популярность самопрезентаций, фото- и видеосессии, дневники и блоговая литература. Сетевые разговоры отличаются замысловатостью, которая может компенсировать затрудненность или избегание разговора face to face. В сетевом пространстве все шире распространяются практики искренности, доверия и поддержки, гражданского участия, протестных и альтернативных рейтингов. Блогосфера, твиттер-коммуникации превращаются в мощные и оперативные каналы информации, опережая официальные СМИ не только по скорости, но и по качеству и достоверности информации. Мобильные телефоны все больше включаются в эти коммуникации, становясь частью сетевых сообществ. Телефон стал инст-

[1] *Ариф Э.М.* «Хватит покупать! Всего и так навалом!»: Пространства, свободные от коммерциализации, в среде российской молодежи // Бюллетень «ЭСФорум». – М., 2011. – № 1. – С. 5–9.

рументом нового типа письма, а не только разговора. Внутри «мобильника» решаются жизненные вопросы; потеря связи, выпадение из мобильного графика может восприниматься как реальная трагедия. Рекламные и PR-проекты переходят в Интернет, расширяются горизонтальные сообщества. Социальные сети существенно влияют на изменение рыночных отношений. В молодежной среде растет значимость немассовых, отличающихся продуктов, широкий доступ к которым стал возможным благодаря включению в солидарные сети. Социальные сети сегодня опережают моду, массовые бренды изменили потребительские профили и стали делать эксклюзив, а эксклюзив стал массовым. Растет популярность фри-маркетов, распространяются практики «отдам даром». Модным становится переработка – перешивание, переделывание, трансформации секонд-хенда – хенд-мейд и винтаж, распространяются обменные практики и непрофессиональные хобби-консультирование и экспертиза. Кризис усилил эти практики; так, например, в сетях шире стали распространяться обмен или продажа дорогих брендов. Рыночным ответом новым тенденциям становится создание новых рынков молодежного производства, где соединяются практики производства и потребления – просьюмеризм. Сети помогают распространению DIY-практик[1]. Этот тренд можно назвать *потребительски ориентированным антикапитализмом*. Одним из ключевых агентов новых рынков и коммуникаций становятся *постпанки*[2]. Время Интернета и сетевое время вторгается в обычный (привычный, традиционный) график жизни. Планирование жизни происходит в нескольких плоскостях. Компьютерная игра, сетевой контакт, общение по «аське» (ICQ) или скайпу включаются в дневной график, становясь не менее значимыми для удовлетворения от прожитого дня, чем выполненное задание по работе или учебе. Новые статусы завоевываются через количество друзей в Контакте и Facebook'е, поддержание которых столь же важно, как и получение морального поощрения от начальника. Трудовая дисциплина, контроль и ответственность начинают соотноситься с выполнением сетевых обязательств.

---

[1] Do it yourself – не только молодежная практика. Однако именно в молодежной среде она наделяется чертами знаковости и принадлежности к специфически современному направлению активности. Смысл – в выходе из-под рыночного контроля, управляющего потребительскими потребностями и формирующего массовые вкусы.

[2] Постпанк – это условное имя. Здесь важно подчеркнуть проявление характерного для панк-идеологии анархизма, отказ от формально-официальных телесных дисциплинарных режимов, предписанных статусу социальным порядком, использование специфических, актуальных форм выражения этих протестов, адекватных реальной экономической ситуации. Так, например, именно участники постпанк сцены практикуют в российских столицах бесплатную раздачу еды, кормят бомжей, создают гостиницы для бездомных животных и др.

Урок пятый: *География*

Глобальные измерения молодежных культур специфическим образом поменяли локальные ландшафты молодежных сцен и площадок российских городов. Интернет и включение в социальные сети позволяют преодолевать ограничения, предписанные территориальной «пропиской», при этом режим офлайн-жизни работает, и кризис только усиливает различия и углубляет противоречия. Молодежь конца десятилетия, пожалуй, не менее остро, чем в его начале, понимает, что «Москва – не Россия, Россия – не Москва». Региональное расслоение стало еще заметнее, общий культурный фон по-прежнему определяет локальные молодежные практики, доминирование тех или других активностей. Дело не только в различной скорости столичного и периферийного включения в модные тренды, но и в отличии классовых расстановок. Например, столичная молодежь среднего класса, которая до кризиса была и остается основным потребителем дорогой брендовой одежды, машин, поездок, после кризиса активней включилась в практики дауншифтинга. Представители этой группы чаще говорят о своем желании покинуть страну, стремятся использовать освободившееся от работы время для обучения и отдыха, бросая вызов карьере и биографии.

Кризис усилил расслоение молодежного потребительского рынка на видимых и невидимых участников. Условно их можно разделить на *вынужденных* и *добровольных «невидимок»*. *Вынужденные* по-прежнему остаются вне зоны интереса и внимания. Это молодые квалифицированные рабочие, молодые мамы, которым приходится сидеть дома с детьми и терять квалификацию, малоресурсные и исключенные группы – сельская молодежь, дети из семей с мигрантской историей, молодежь *трижды НЕ*: НЕ работающая, НЕ учащаяся и НЕ включенная в социальные программы. Среди *добровольных невидимок* – их в результате кризиса стало заметно больше – геймеры и сетеманы, участники домашних тусовок (домашние вечеринки стали преобладать над посещением кафе, баров и клубов), аудитории домашних кино- и видеопросмотров, а также квартирников, популярность которых возросла с кризисом.

Урок шестой: *Антикапитализм*

Дискурсивные представления о молодежи, циркулирующие в российском обществе, отражают структуру власти, определяются правом на приписывание той или иной роли молодежи в социальной структуре. Дискурсивные номинирования молодежи использовались разными агентами в различных целях, в том числе они были вновь артикулированы в контексте экономического кризиса.

Дискурс угрозы. В связи с кризисом дискурс угрозы производился через доказательства того, что потеря экономических возможностей и шансов на доступ к значимым ресурсам приведет молодежь к моральной и

нравственной деградации, а именно – духовной пустоте, социальному цинизму, отказу от ценностей гуманизма, к еще большему распространению потребительских зависимостей и коммерциализации близости, наркомании, алкоголизму, проституции[1]. Молодежная угроза конструировалась как ожидание особых форм насилия (протеста), как отказ от участия в публичной политике, электоральная пассивность (отказ от лояльности). Более мягкий вариант – *депривирующий дискурс:* молодежь ленивая, не хочет работать и чего-то добиваться в жизни.

Дискурс жертвы (виктимизация). Здесь молодежь рассматривается как жертва катастрофического влияния кризиса на протяжении многих лет. Взросление этого «потерянного» поколения будет сопровождаться особыми социальными симптомами: социальными фобиями, уходом в виртуал, социальным инфантилизмом.

Героизирующий дискурс. В этом контексте молодежь наделяется всеми необходимыми качествами для защиты себя, для того чтобы стать настоящими героями современности, уберечь себя и близких от последствий кризиса. Просоветский вариант – *дискурс надежды:* только молодежь в силах спасти страну от социальных катаклизмов.

В свою очередь молодежь начинает производить ответные дискурсы. Один из наиболее популярных и устойчивых, обнаруженных в ходе реализации проекта о влиянии кризиса на российскую молодежь, – это дискурс *антикапитализма.* Эта идея имела различные интерпретации, могла артикулироваться сходным образом подчас конфликтующими молодежными группами, что говорит о ее актуальности. Она может стать консолидирующим ядром для солидарности молодежи из самых разных слоев, субкультурных и политически ориентированных союзов и групп.

Урок седьмой: *Солидарности*

Понятие «солидарность», в отличие, например, от понятия «субкультура», обращено к особому типу коммуникации, осуществляемой посредством разделяемых идей и основанной на интуитивном доверии индивидов к группе, с которой их связывает нечто большее, чем возраст, стиль или общие практики досуга. Особое внимание при исследовании солидарностей обращается не столько на внутригрупповые коммуникации субкультурных и стилевых молодежных групп (потребительские и культурные предпочтения, телесный перфоманс, политические ориентации),

[1] В качестве характерного примера сошлюсь на следующее высказывание: «С нынешним молодым поколением уже ничего нельзя сделать – оно пропало. Это дети ограбленных в 90-е родителей, и теперь из них выходят скинхеды и нацболы. Надо спасать тех, кому сейчас два года, и тех, кто еще не родился» (Депутат Госдумы, кинорежиссер Станислав Говорухин на парламентских слушаниях 16 законопроектов, касающихся нравственного воспитания детей). Цит по: Новые известия. – М., 2008. – 3 июня.

сколько на межгрупповое взаимодействие в контексте городской жизни[1]. Солидарный подход помогает найти основы молодежных формирований, объединенных, во-первых, ценностями и идеями, разделяемыми *своим* кругом (реальным, виртуальным / воображаемым), а во-вторых, общим представлением об альтернативных, оппозиционных группах, которые считаются *чужими* и *врагами.* Поворот от изучения субкультурных и стилевых групп к исследованию солидарностей отвечает изменениям, происшедшим за десять лет. Основные их них – прозрачность субкультурных границ, миксовые практики, субкультурные карьеры, для которых характерны смены идентичностей. Новые типы молодежных формирований отражают подвижные коммуникации между культурным меньшинством и большинством (продвинутой и нормальной молодежью), различия в отношении молодежного мейнстрима к отдельным группам, «культурный разговор» разных молодежных групп друг с другом, симпатию и вражду внутри молодежного пространства. Интенсивность притяжений и отталкиваний (напряжений внутри межгрупповых коммуникаций) позволяет судить о ключевых ценностях и идеях, вокруг которых разворачивается символическая борьба. В этой борьбе отражаются поиски групповой и индивидуальной аутентичности и мера влияния дискурсивных практик (государственных, политических, медиа) на отдельных индивидов и группы в целом. В середине первого десятилетия XXI в. важными были отстаивание субкультурной принадлежности и символическая борьба за «правильных / настоящих» и «неправильных / ненастоящих» приверженцев стиля внутри различных культурных молодежных сцен, борьба за ресурсы субкультурного капитала. Сегодня более значима борьба за аутентичность и адекватность проигрывания тех или иных культурных ролей во взаимодействии с другими, альтернативными группами.

Несмотря на серьезные различия между молодежными группами и солидарностями конца десятилетия, можно обнаружить тренды, характерные для городских практик российской молодежи.

Экстремальность – стремление к рисковым практикам вплоть до нарушений границ социальных норм и предписаний: от ориентации на здоровый образ жизни до эпатажных публичных перформансов, нарушений закона и порядка, вызова общественному мнению. Способы проявления могут быть различными – целенаправленный поиск рисковых ситуаций, например распространение бойцовских клубов (неинституциализированных,

[1] В 2011 г. творческий коллектив Центра молодежных исследований ГУ–ВШЭ (СПб.) продолжает исследование городских пространств в контексте формирования новых молодежных солидарностей в рамках проекта «Молодежные солидарности в локальном и глобальном контексте: Экономика, политика, культура» (при поддержке ЦФИ ГУ–ВШЭ, 2011).

самодеятельных и аутентичных встреч для драк), популярность «ночных и дневных Дозоров»[1], стрит-трейсеров.

Борьба за аутентичность как поиск новых форм доверия. Стремление быть адекватным, соответствовать внутренним, контекстуальным смыслам «настоящего», разделяемого группой «своих», быть в теме, в разделяемом знании, разоблачать и преодолевать подделки и имитации.

Создание *перформативной идентичности* (воображаемой, фантазийной, реальной), что выражается в отказе от стилевых обязательств, предписанных статусу, игровых практиках, популярности групповых околоинтеллектуальных игр, разыгрываемых публично (например, «Мафии»). Вместе с массовым включением в социальные сети и значимостью правил, особенностей и смыслов формирования сетевой идентичности формируется пространство *новой искренности*, где системами доказательства открытости и «настоящего» становятся различные версии самопрезентаций через демонстрации круга друзей, культурных симпатий, ссылок, визуальной биографии повседневной жизни.

Стремление практически всех молодежных групп к *эстетизации и театрализации* повседневности через использование творческих техник и профессиональных навыков. Происходят активная профессионализация хобби, развитие эстетических ниш внутри субкультурных сегментов. Все эти тренды характерны для самых разных форм групповых коммуникаций, различия кроются в способах. Так, например, эти черты могут присутствовать и в компаниях новых молодых интеллектуалов, и в праздновании победы своей команды футбольными фанатами.

Урок восьмой: *Города и молодежь*

Во второй половине первого десятилетия XXI в. начинают развиваться практики переформатирования городского функционала, привычных социальных норм, стереотипов публичного показа. Коллективное молодежное тело, как и во всем продвинутом мире, начинает завоевывать городские пространства с целью их переопределения (трейсеры, скейбордисты). Вопрос удобности города для молодежи представляется крайне актуальным. Именно молодежь становится мощным городским субъектом потребления, от включенности в городские практики которого напрямую зависят лицо города сегодня и его будущее.

Интересен феномен формирования «современной» патриархальности, вокруг которого может объединиться молодежь различных культурных групп. Это может продвигаться как часть новой «протестной», реформаторской, индивидуально-приватной религиозности, как рост популярности идей социального и потребительского аскетизма, как обязательства помощи депривированным и отверженным группам или как со-

[1] Городские ночные игры, ставшие популярными после вышедших российских фильмов – «Ночной дозор» и «Дневной дозор» (2004, 2006 гг., реж. Тимур Бекмамбетов).

ставляющая нового русского / российского патриотизма. Отдельный интерес представляют новые религиозные сообщества молодежи, которые могут развиваться в направлении приверженности новым формам фундаментализма и агрессивно-националистическим ответвлениям неоязычества.

Использование солидарного подхода помогает увидеть новый тип взаимоотношений между мозаичным, но при этом вполне однородным большинством (мейнстримом) и независимым (либеральным) меньшинством. Эти коммуникации отличаются стилистическими заимствованиями друг у друга, большей, чем прежде, подвижностью границ между разными типами групповых идентичностей (например, субкультуризация гопничества и гламуризация панков). Сегодня на всех городских сценах России мы можем наблюдать самые разные интеракции: от соединения и солидарностей стилевых и мейнстримных групп – до отвержения и вражды. Во многом это связано с теми ролями, которые играет городское пространство – будь оно периферийное или центральное. Центр и Периферия – это транслируемые категории, не всегда, а часто вовсе не связанные с приписанными городским локальностям значениями. Свои периферии существуют для молодежи внутри самого центра (например, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге), также свои центры существуют и на периферия – в отдаленных городских спальных районах или пригородах. Символические границы между ними непостоянны, могут меняться в зависимости от практик, на них разворачивающихся, и смыслов, которые приписывают местам те группы, которые их оккупируют. Лишь условно можно говорить о гопотизации провинций и креативизации столиц, при этом в провинциальных городах есть креативные молодежные пространства, а в столицах есть гопническая молодежь. Возрастающую роль в характере коммуникации (солидарности или противостоянии) различных групп играют сегодня гендерные режимы молодежных сцен, практики презентации гендерной идентичности и сексуальности. Здесь также происходят активное экспериментирование и игра с полом (*аниме*), продвижение новых сценариев сексуальной свободы (*хипстеры*) или пропаганда аскезы (*стрейтэйджеры*), борьба за отстаивание «правильной / нормативной» маскулинности и фемининности (*готы, эмо, скинхеды, панки*).

Урок девятый: *Субкультурные рынки*

С субкультурными рынками за десятилетие произошли серьезные изменения, среди которых – молодежная *спортизация* городов, массовое развитие спортивных культур как таковых, соединение рисковых практик и городского пространства. Наблюдается более активное противостояние внутри традиционных спортивных культур между коммерческим, профессионализирующимся и альтернативным направлениями (натуральными, природными, аутентичными). Понятие постспорта как раз и фиксирует важные изменения внутри этих субкультурных сцен, спровоцированные

широким использованием особой рисковой экзотики этой молодежи для практик *культурного корпоратива (паркур)*.

Активно формируется новый тип идентичности – «горожанства», когда городской функционал переартикулируется, переформатируется в сторону «новой» власти – самих жителей в нашем случае – молодежи. Город осваивается и присваивается разными способами – через открытые перформансы, флешмобы, новые гражданские проекты. Отдельной и часто агрессивной формой завоевания города становятся протестные выступления. Эта публичная коммуникация происходит вокруг вопроса, кому принадлежит город. Более популярными становятся «взрослые» городские игры – стриттрейсеры, присваивающие себе ночные трассы городов, бойцовские клубы, встраивающие свои практики в контексты городских парков и зон отдыха, дневные и ночные дозоры, осуществляющие поиски «кладов» по городским картам и переартикулирующие назначения городских строений и площадок, городские путешественники, устраивающие соревнования по типу пионерских зарниц и превращающие улицы в пересеченные местности.

Динамика субкультурных рынков сказалась и на изменении потребительских предложений. Все более обособляются в качестве потребителей эксклюзивных, не массовых товаров современные готы, утонченно замысловатыми становятся потребительские пристрастия поклонников аниме (специфическая одежда, куклы, фильмы, практики кросспола). Хипстеры, пожалуй, одна из первых постгламурных субкультур, формируют спрос на эксклюзивные и при этом как бы вторичные товары (секонд-хенд, богемный винтаж, стеб-гламур), становятся одними из самых активных пользователей фото- и видеотехники.

В результате исследований, проведенных в рамках перечисленных выше проектов, мы сконструировали портрет поколения рубежа первого и второго десятилетий 2000-х. Это попытка с помощью интуиции сформировать некий образ, в котором соединяются основные, найденные или понятые нами, тенденции. Сложно было выбрать подходящие векторы, чтобы продемонстрировать пространство различий внутри молодежных групп. Некоторые приметы сегодняшнего дня очевидны – рост безработицы (официальной и скрытой) на молодежном рынке труда, расширение зоны платного образования, усложнение функционирования социальных лифтов, расслоение между молодежью столичных (финансовых вампиров) и периферийных (депривированных) территорий, усиление миграционных потоков. Другие приметы спрятаны в повседневных практиках проживания, в особенностях жизненных стратегий и карьер современной молодежи, в формировании новых идеалов и ценностей, в определении новых смыслов жизни и представлений о жизненном успехе.

Мы назвали поколение R – поколением *«адекватных» (Я+)*. В нем соединяются самоуверенность и эгоизм, нежелание что-либо делать – и

конкретные прагматичные цели[1]. Этот портрет фиксирует размывание монополии на символы и стиль одежды (субкультурный беспредел, расширение буферных зон между андеграундом и попсой), эксплуатацию родительской вины и участия (две раздельные кассы семейной бухгалтерии), стремление к творчеству (эстетизация, театрализация повседневности), *размытый* патриотизм (от стихийного, обиженного – через прагматический, выгодный – до гордо-пафосного, а также лояльность к власти, граничащая со стёбом) и гражданскую апатию. «Адекватные» могут быть гражданскими активистами и геймерами, сетевиками и «диванными» фанатами, продвинутыми ботаниками и стритрейджерами. Ключевой стержень поколения рубежа десятилетий: *адекватность* / «настоящесть» / «быть в теме» / разделять значимые смыслы со своими (своим кругом). Это могут быть как адекватные «пацаны», так и адекватные интеллектуалы.

Один из основных вопросов, с которыми взрослые обращаются мысленно или вживую к детям, – это вопрос мотива. Особую остроту он приобретает в ситуации расширения пространства молодежных протестов на всей территории Европы, в наибольшей степени ощутившей на себе последствия глобального кризиса. Кто должен в первую очередь ответить на эти вызовы современности и какие отметки получат взрослые, определяющие направление развития и владеющие правом называть молодежь поколенческими именами? Смогут ли уроки, преподнесенные молодежью, чему-то научить и сможем ли мы все избежать радикальных последствий молодежных протестов? Молодежь поколения «адекватных Я+» явочным порядком отстаивает свое право на *настоящее* (правду, искренность, доверие) и *удовольствие* (свое и понимаемое в контексте *своих*). Российская молодежь рубежа десятилетий отказывается учиться двоемыслию, она хочет перемен и правды.

[1] Самым привлекательным работодателем, согласно исследованиям, в современной России является Газпром, зарплаты служащих в котором остаются самыми высокими, получение работы в этом газовом монстре считается самым высоким карьерным достижением.

М.А. Ядова

«МОДЕРНИСТЫ» И «ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ» ПОСТСОВЕТСКОГО ПОКОЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БИОГРАФИЙ[1]

Постановка проблемы

В основе исследований жизненных путей лежит идея о том, что социальную и институциональную структуру общества можно выявить и проанализировать на основе изучения биографий членов этого общества[2]. В последнее время широкую популярность приобрели дискуссии о необходимости модернизации российского общества. Очевидно, что в процессе модернизации важная роль будет принадлежать молодежи, мировоззрение и поведение которой сформировались под влиянием постсоветских трансформаций. Особый интерес вызывает когорта россиян, родившихся в начале 1990-х годов и представляющих собой, по сути, первое несоветское поколение. Однако одного знания о том, какой системы ценностей – современной или традиционной – придерживается постсоветская молодежь, недостаточно. Необходимо понять, какие именно факторы повлияли на выбор молодыми людьми той или иной жизненной стратегии. На наш взгляд, это можно сделать, изучив индивидуальные биографии юношей и девушек, в том числе представителей контрастных групп респондентов – модерно- и традиционно ориентированных. Данная статья основана на результатах глубинных полуформализованных биографических интервью с 17–19-летними россиянами. Остановимся подробнее на порядке отбора участников интервью.

В конце 2008 – начале 2009 г. группой сотрудников Института социологии образования РАО был проведен социологический опрос, посвя-

[1] Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 10-03-00353 а (Модернисты и традиционалисты постсоветского поколения: Исследование индивидуальных биографий»).

[2] *Блоссфельд Ж.-П., Хьюнинк И.* Исследование жизненных путей в социальных науках: Темы, концепции, методы и проблемы // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2006. – Т. 9, № 1. – С. 15.

щенный проблеме соотношения современного и традиционного в ценностях постсоветской молодежи[1]. За основу современного типа поведения был принят тип действий, соответствующий основным характеристикам разработанной американским социологом А. Инкелесом аналитической модели «современной личности». В свое время А. Инкелес (совместно с Д. Смитом) обнаружил, что во всех обществах, испытывающих на себе влияние процессов модернизации, формируется так называемый современный тип личности. Современный человек – это активный член гражданского общества, с развитым чувством социальной ответственности, амбициозный и внутренне независимый, открытый новым идеям и опыту, отличающийся толерантностью к окружающим и уважительным отношением к законам[2]. Традиционными в нашем исследовании признавались качества, противоречащие современным.

Поскольку исследование Инкелеса показало, что модернизм индивида прямо пропорционален уровню его образования, было решено опросить юношей и девушек с разными социальными ресурсами, прежде всего образовательными. Объектом исследования стали московские старшеклассники и учащиеся колледжей как люди с потенциально различными типами будущей трудовой карьеры (N = 800 + 800)[3]. Основываясь на данных эмпирических исследований других авторов, мы предположили, что ученики 10–11-х классов, как правило, нацелены на получение высшего образования, а учащиеся колледжей – нет. Известно, что учащиеся колледжей являются преимущественно выходцами из слаборесурсных социальных страт, тогда как старшеклассники выросли в достаточно благополучных сильноресурсных семьях[4]. Таким образом, мы ожидали, что соотношение современного и традиционного в системах ценностей учащихся разных типов образовательных учреждений будет заметно различаться.

В первую группу опрошенных вошли ученики 10–11-х классов московских школ, из которых 48% учатся в 10-м классе и 52% – в 11-м. Вто-

---

[1] Данное исследование также выполнялось при поддержке РГНФ (проект 08-03-00268 а).

[2] *Inkeles A., Smith D.H.* Becoming modern. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1974. – P. 19–32, 289–302.

[3] Для поддержания гомогенности было решено по возможности выровнять обе подвыборки по полу и возрасту. Среди опрошенных учащихся колледжей – 52% мальчиков и 48% девочек, в подвыборке школьников это соотношение составляет соответственно 45 и 55%. Опрашивались юноши и девушки 15–18 лет. Средний возраст участников опроса в обеих группах – 16 лет.

[4] *Рощина Я.М.* Социальная дифференциация молодежи в российском профессиональном образовании // Отечественные записки. – М., 2006. – № 3. – Режим доступа: http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/applied_research/document7456.shtml

рую группу составили юноши и девушки, учащиеся на 1–2 курсах колледжей г. Москвы[1].

Для достижения исследовательских целей была разработана методика, в которую в числе прочих входили проективные вопросы, позволяющие выявить поведенческие установки респондентов в повседневных жизненных ситуациях. Участникам опроса предлагалось выбрать тот или иной вариант действия в заданной воображаемой, но достаточно конкретной ситуации. Специалисты полагают, что данные, полученные при помощи такой процедуры, наиболее высоко коррелируют с фактическим поведением. Большинство ситуаций имеет отношение к предложенной Инкелесом модели «современной личности»: поведенческие выборы соответствуют современному или традиционному типу поведения, в отдельных случаях являются нейтральными.

Факторная структура поведенческих установок молодежи

Для уменьшения количества переменных поведенческого блока был проведен факторный анализ ответов респондентов обеих подвыборок. Применялся категориальный факторный анализ (CatPCA) для работы с качественными данными[2]. В результате выделилось четыре фактора, так или иначе имеющих отношение к модели «современной личности»: *факторы участия*, *амбициозности*, *законопослушности* и *свободы* (см. табл.)[3].

Первый фактор, условно обозначенный как фактор *участия* (информативность – 18%), состоит из суждений, связанных с проявлением социальной ответственности и активной жизненной позиции. Человек, разделяющий соответствующие суждения, готов вмешаться, если увидит, как на его глазах грабят человека или бьют животное, а также намерен вернуть найденный чужой бумажник владельцу. Он предупредителен и толерантен: в метро склонен уступить место больному пожилому человеку, при

[1] Опрашивались только те, кто поступил в колледж после 9-го класса. Из них 83% учатся по программам среднего профессионального образования (СПО), а 17% – по программам начального профессионального образования (НПО). Профессии, которые получают представители этой группы, разнообразны: помощник машиниста электропоезда, столяр, электромонтажник, бухгалтер, товаровед, оператор ЭВМ, учитель начальных классов, социальный педагог и др.

[2] Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS (версия 13.0). Для получения более простой и понятной структуры данных сначала был проведен категориальный факторный анализ, а потом в модуле классического PCA выполнен факторный анализ с Варимакс-вращением для преобразованных переменных. О приемлемости данной процедуры см., например: *Linting M.* Nonparametric inference in nonlinear principal components analysis: Exploration and beyond. – Leiden: Leiden univ. press, 2007. – P. 36.

[3] В целом были выделены три группы респондентов, получивших высокие, средние и низкие значения по каждому фактору. В статье рассматриваются две крайние группы с высокими и низкими значениями.

выборе друзей не обращает внимания на их национальность. Такие действия во многом соответствуют так называемому helping behavior («помогающему поведению»).

Таблица

Факторные нагрузки суждений по четырем факторам, суммарно исчерпывающим 61% общей дисперсии[1]

Поведенческие намерения	F-участие 18%	F-амбициозность 17%	F-законопослушность 15%	F-свобода 11%
1	2	3	4	5
Если окажется свидетелем уличной кражи, постарается помешать вору	0,891	0,140	0,061	0,085
Вмешается, если станет свидетелем жестокого обращения с животным	0,843	0,069	–0,022	0,207
Если найдет потерянный бумажник, то сделает все возможное, чтобы вернуть его владельцу	0,810	0,273	0,315	–0,084
Уступит место больному пожилому человеку в метро	0,573	0,120	0,381	–0,117
При выборе друзей не обращает внимания на их национальность	0,428	0,220	0,138	0,054
Выбирает сложную работу, требующую ответственности и инициативности в противовес достаточно простой и однообразной	0,045	0,884	0,049	0,095
Предпочитает интересную работу высокооплачиваемой	0,025	0,798	0,237	0,099
Готов (а) (не боится) принять участие в конкурсе творческих работ учащихся	0,213	0,723	–0,063	–0,045
В случае возникновения трудностей при выполнении домашнего задания полагается прежде всего на свои силы	0,188	0,641	0,326	0,100
Не примет участия в махинации, если срочно понадобятся деньги на операцию близкому человеку	0,038	0,188	0,725	0,036
Не позволит родным дать взятку учителю даже в случае явного вымогательства (может обратиться к директору учебного заведения)	0,072	–0,114	0,690	0,353
Не будет покупать ворованную вещь даже по низкой цене	0,084	0,025	0,687	–0,206
Готов (а) оплачивать проезд в пригородной электричке, независимо от того, есть ли в ней контролер	0,134	0,261	0,676	–0,112

[1] Доверительный интервал – 95%. Критерий сферичности Барлетта (р-уровень – 0,000) указывает на то, что данные приемлемы для проведения факторного анализа. Критерий Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) составляет 0,8, что означает высокую степень адекватности факторного анализа к данной выборке.

Продолжение табл.

1	2	3	4	5
Если учитель якобы найдет «ошибку» в выполненной им (ею) работе, будет спорить с ним до тех пор, пока не убедит	0,185	0,104	–0,026	0,716
При выборе профессии не полагается на мнение родителей	–0,158	–0,036	0,060	0,695
Примет участие в политическом митинге в случае ущемления своих прав	0,203	0,184	–0,189	0,693

Как выяснилось, отношение к поведенческим установкам оказания помощи сплотило школьников и учащихся колледжей. В обеих группах значительное число респондентов разделяют составляющие этого фактора (41,3% школьников и 29,9% студентов училищ), хотя треть старшеклассников и их ровесников из колледжей не поддерживают нормы взаимопомощи (соответственно – 30,1 и 36,6%)***[1].

Фактор *амбициозности* (информативность – 17%) включил поведенческие намерения, соответствующие ценностям самореализации и профессионализма. Респонденты, обладающие высокими индивидуальными значениями по этому фактору, выбирают сложную работу в противовес достаточно простой и однообразной, предпочитают интересную работу высокооплачиваемой, не боятся принять участие в конкурсе творческих работ и склонны самостоятельно решать возникшие проблемы при выполнении домашних заданий.

Согласно полученным данным, суждения, характерные для фактора *амбициозности,* выбирают, как правило, школьники (47,6 vs 18,7% учащихся колледжей), а отвергает, напротив, молодежь с меньшим образовательным ресурсом (42,4 vs 24,9% старшеклассников) ***.

Разделяющие ценности *законопослушности* (информативность – 15%) не примут участия в махинации, если срочно понадобятся деньги на операцию близкому человеку, не позволят родным принести «подарок» учителю-взяточнику, не купят ворованную вещь даже по низкой цене и не воспользуются возможностью проехать «зайцем» в пригородной электричке.

Среди школьников высокие значения по поведенческому фактору законопослушности получили 41,4%, а в группе учащихся колледжей – всего лишь 25,8% респондентов. Количество не выбравших суждения данного фактора в подвыборках старшеклассников и студентов училищ примерно одинаково – около трети (31,2 и 36% соответственно)***.

Респонденты, остановившие свой выбор на поведенческих интенциях фактора *свободы* (информативность – 11%), не боятся ослушаться родителей или учителя, если считают их неправыми. Кроме того, они отли-

[1] *** Здесь и далее различия статистически значимы на уровне $p \leq 0{,}001$. Вероятность ошибки определялась при использовании теста хи-квадрат в программе SPSS в виде двусторонней асимптотической значимости.

чаются высоким уровнем протестной активности и в случае ущемления своих прав готовы принять участие в политическом митинге.

Закономерно молодежь с большим образовательным капиталом демонстрирует более сильные поведенческие ориентации на свободу, чем юноши и девушки из училищ (соответственно 40,1 и 26,6%), отвергают же составляющие данного фактора чаще всего представители слаборесурсной группы (ср.: 39,3 и 27,6%)***.

Несмотря на то что в сознании большинства опрошенных сочетаются модернистские и традиционалистские поведенческие установки, из общего числа респондентов мы выделили две полярные группы: «модернистов» и «традиционалистов»[1]. Итак, среди старшеклассников чуть более 20% опрошенных демонстрируют модернистские поведенческие намерения и лишь 7% – традиционалистские. В группе студентов колледжей «модернистов» совсем немного – 5,2%, а «традиционалистов» уже 15%***. Большинство же респондентов в обеих группах выбирают смешанный тип поведенческих намерений (см. рис.).

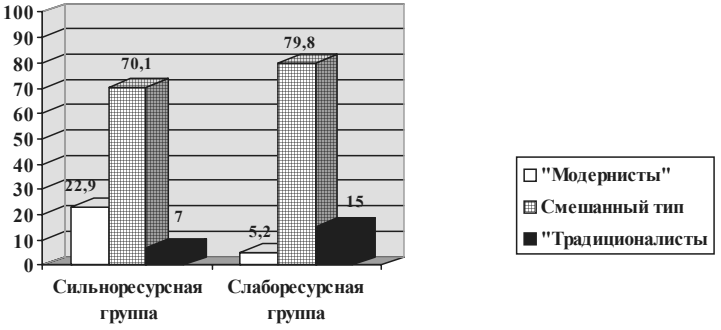

Рисунок.
Выбор стратегии поведения в зависимости от объема социальных ресурсов респондентов (%)

Схожесть поведенческих стратегий представителей разноресурсных групп молодежи, на наш взгляд, обусловлена некими общими мировоззренческими чертами, присущими в целом постсоветскому поколению. Однако необходимо отметить, что в группе сильноресурсных респондентов доля «модернистов» выше, чем «традиционалистов», а в подвыборке слаборесурсных картина обратная. Таким образом, гипотеза о существо-

[1] К «модернистам» были отнесены респонденты, получившие наиболее высокие значения как минимум по трем из четырех факторов, «традиционалистами» считались те, кто набрал наиболее низкие значения хотя бы в трех из четырех случаях.

вании связи между модернизмом индивида и его «ресурсоемкостью» получила подтверждение.

О методике биографического интервью

При изучении истории жизни человека основным методом получения информации является биографическое интервью. В период с сентября 2010 г. по январь 2011 г. с частью респондентов, отнесенных по результатам анкетирования к «модернистам» и «традиционалистам», были проведены индивидуальные полуформализованные глубинные интервью биографического характера[1]. При выборе тем для беседы мы опирались на подход, предложенный немецкими социологами Ж.-П. Блоссфельдом и И. Хьюнинком, которые полагают, что жизненный путь человека протекает при влиянии:

– жизненных путей других людей, с которыми человек состоит в более или менее тесных отношениях интеракции: родителей, партнеров, детей, друзей и т.д.;

– общественных институтов и организаций (промежуточных инстанций, государственных учреждений, трудовых организаций);

– условий жизни в социальных и региональных контекстах, в которых протекает жизнь индивида или которые чередуются во времени;

– сложившихся и изменяющихся общественных структур и исторических событий, которые представляют собой социоструктурные, политические, правовые, культурные и экономические условия организации жизни[2].

Для удобства вопросы в гайде интервью были распределены по нескольким тематическим блокам, посвященным детским и школьным годам респондентов, их взаимоотношениям с родственниками и друзьями, восприятию ими тех или иных политических событий, происходивших в нашей стране, и т.д.

За время, прошедшее с момента опроса, в жизни участников интервью произошли серьезные изменения: школьники успели окончить школу, учащиеся колледжей перешли на старшие курсы, кто-то из опрошенных обзавелся семьей, несколько девушек стали мамами. Все представители сильноресурсной группы (бывшие школьники), с которыми мы беседовали, успешно преодолели возникшую перед ними проблему статусного перехода и стали студентами вузов.

---

[1] Для участия в интервью были отобраны две группы – «модернисты» и «традиционалисты» (N = 24 + 24), выравненные по объему социального ресурса и полу респондентов. Возраст опрошенных – 17–19 лет. Интервью были очными и записывались на диктофон. Беседа занимала от 50 мин. до 1 ч. 45 мин.

[2] *Блоссфельд Ж.-П., Хьюнинк И.* Исследование жизненных путей в социальных науках: Темы, концепции, методы и проблемы // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2006. – Т. 9, № 1. – С. 18.

Влияние близкого окружения

На момент интервью большинство опрошенных жили с родителями, хотя несколько человек успели создать собственные семьи, официальные или так называемые гражданские. Беседа показала, что среди «традиционалистов» больше тех, кто вырос в неполной или неблагополучной семье. Впрочем, и по данным проведенного нами ранее анкетирования, «модернисты» по сравнению с «традиционалистами» обладают более весомыми социальными ресурсами: они, как правило, выросли в полных (64,4 vs 46,6%*[1]), средне- и высокодоходных семьях (76 vs 63,1%***), в которых один или оба родителя имеют высокий уровень образования (72,9 vs 55,1%***).

В 14 [лет респондентки. – М.Я.] умерла мать, в 16 – лишила родительских прав своего отца. Выходит, с 16 – сиротка. <…> С мамой жила до 8 лет, но она не принимала участия в моем воспитании, так как постоянно находилась в запое, после чего отец забрал меня с собой, и я жила с ним и мачехой. Он участия тоже не принимал, воспитывала мачеха, всегда «кнутом» и очень редко «пряником»… отца сама лишила, в суд подала и выиграла дело. <…> под опеку взяла бабушка по маминой линии.

Студентка колледжа, 18 лет (Т)[2]

– Мама уехала этим летом … от нас. Навсегда.
– А что случилось? Родители развелись, что ли?
– Да они в разводе уже как 17 лет. Жили вместе, а вот в этом году мама решила уехать.
– А ты как – живешь с папой или отдельно?
– Отдельно. Отец живет в этом же доме. А так я живу практически со своим молодым человеком. Наверное, уже третий год. Так что моя семья – это мой молодой человек.

Студентка вуза, 18 лет (Т)

– Они [родители. – М.Я.] развелись. Давно уже, когда брат младший родился. Мне было 3 года. Я его [отца. – М.Я.] не очень помню.
– Вы не общаетесь?
– Да нет как-то.

Студент вуза, 17 лет (Т)

Участников интервью спрашивали о людях из числа их близких, являющихся для них примером. Мы предположили, что в ближайшем окружении «модернистов» есть носители современных взглядов, в то время как «значимые Другие» «традиционалистов» придерживаются традиционных

[1] * – $p \leq 0{,}05$.
[2] (Т) – «традиционалист (ка)», (М) – «модернист (ка)».

принципов. В целом данная гипотеза подтвердилась. «Модернисты», отвечая на этот вопрос, часто говорили о людях социально активных, из разряда «сделавших себя», нестандартно мыслящих, много знающих и умеющих. Уважение «традиционалистов» вызывают, как правило, люди, наделенные чертами авторитарной личности: твердые до жестокости, умеющие настоять на своем и получить то, что нужно, любой ценой. Значительная часть «традиционалистов» убеждена, что пример брать не с кого: *«все плохие»*. Некоторые «модернисты» и «традиционалисты» отметили, что конкретного человека в качестве примера назвать не могут: им импонируют отдельные личностные качества разных людей.

Я всегда с детства стремилась быть как отец. <…> Он не из Москвы, он вырос в деревне. Из всех детей, из всех братьев-сестер, он единственный смог переехать в Москву, родить трех детей, построить свой бизнес. Ну, я всегда во всем хотела быть такой, как он. Отец всегда мне был, ну, не ближе мамы, а… Ну, мама – это одно, а отец всегда выступал не столько в роли отца, сколько в роли друга, что ли.

Студентка колледжа, 18 лет (М)

Дедушка по бате... Человек, который был всегда добр к людям, всегда помогал, был бессребреником, ну и просто через труд привил мне способность мыслить. Он никогда не сидел без дела. И мне говорил, что без дела сидеть мужику просто нельзя, всегда нужно что-то делать, учиться новому. А вообще мы с ним дом построили. Я с его подачи постоянно на даче помогал картошку копать, полить грядки, прополоть.<…> Ну и плюс один момент, который навсегда мне дедушку запомнил. Татуировочки в жвачках раньше были и сейчас есть такие временные.
Наклеил я один раз такую, и дедушка заметил, схватил меня за руку, взял нож и под холодной водой начал счищать. В детстве очень сильно напугал… и обиделся на него. Сейчас понимаю, что из-за этого момента больше никаких печатей, рубцов, и по-другому тело уродовать не хочу и не буду, просто как дань тому, что я понял, что дедушка хотел мне объяснить. Нужно другим выделяться, быть человеком, а не татуированной куклой, которая бежит за всем, что модно.

Студент вуза, 18 лет (М)

Нет, не бывает совершенных людей, нет такого, который для меня был бы словно идол или кумир…

Студент колледжа, 18 лет (Т)

Вообще-то все люди поганые, что их копировать. Ну, если только батя. Он сильный человек, его боятся. Ему если надо, он закопает всех, но свое получит.

Студент вуза, 18 лет (Т)

Воспоминания о детстве

По мнению специалистов, «детство – это не только “прелюдия” к взрослости, не просто “подготовительный класс” перед вступлением в жизнь – детство ценно и значимо само по себе… юность, и зрелость, и старость во многом оказываются определены именно тем, как прошло детство человека»[1]. Образно об этом сказал Ж.-П. Сартр: «У каждого человека свои природные координаты: уровень высоты не определяется ни притязаниями, ни достоинствами – все решает детство»[2].

Респондентов просили рассказать о счастливых и огорчительных эпизодах своего детства, а также оценить детство в целом, ответив на вопрос, какие моменты – счастливые или не очень – в нем преобладали. Большинство опрошенных, независимо от их модернизма / традиционализма, оценивают свое детство как счастливое. О том, что в детстве им пришлось увидеть больше плохого, говорили немногие, преимущественно дети алкоголезависимых родителей. Стоит подчеркнуть, что даже юноши и девушки из малообеспеченных семей вспоминают свое детство с радостью. Вероятно, переживание ситуации экономической депривации по своим последствиям менее травматично для психики ребенка, чем ощущения психологического дискомфорта и недостатка эмоционального тепла.

Я всегда вспоминаю то время как сказку. Я даже не помню, какие там были огорчительные моменты. Сплошной восторг и счастье!

Студентка вуза, 18 лет (М)

А огорчительных было намного больше, потому что ни один праздник не обходился без родительской ссоры, драки и так далее. <…> У меня отец любитель выпить.

Студентка вуза, 18 лет (Т)

Из счастливых эпизодов участники интервью чаще всего называли радость от полученных подарков или от общения с родными и друзьями. Горечь вызывали воспоминания о сломанных любимых игрушках и наказаниях за шалости. Несколько «модернистов» назвали «счастливыми» ощущения от преодоления трудностей, связанных с освоением какой-нибудь нового дела. Это кажется близким мировосприятию современного человека, стремящегося к улучшению своих знаний и мастерства.

Сейчас почему-то вспомнилось, я очень хотела поступить в музыкальную школу и очень просила родителей. У меня мама училась в музыкальной

---

[1] *Безрогов В.* Архив воспоминаний о детстве университета Российской академии образования // Развитие личности. – М., 2003. – № 1. – Режим доступа: http://rl-online.ru/articles/1-03/66.html

[2] Цит. по: там же.

школе, но она ее не закончила и говорила мне: «Я знаю, что это такое, это тяжело». Но я ее не слушала и просила «хочу-хочу». Меня отвели. Я прошла вступительное испытание, ну, прослушивание. Сказали, что меня берут, и это было счастье. Маленькое детское счастье!

Студентка вуза, 19 лет (М)

Воспоминания этой же респондентки об огорчительном моменте детства также имеют модернистскую «окраску».

Мне очень огорчительно всегда было, когда что-то не так сделала в игре на фортепиано, сфальшивила, например. Помню, мы как-то выступали, и я на одну ноту ошиблась. Потом очень плакала от этого, хотя меня не ругали, но я сама себя ругала. Я сама себе «неудовлетворительно» поставила.

Студентка вуза, 19 лет (М)

Школьные годы

Человек не может развиваться оторванным от общества – еще будучи ребенком, он вовлечен во взаимодействия с различными социальными институтами и организациями. В ходе интервью респондентов спрашивали об их школьных годах, взаимоотношениях с одноклассниками и учителями. Примечательно, что, говоря о конфликтах, с которыми им пришлось столкнуться в школе, многие «модернисты» вспоминали о противостояниях с учителями, тогда как «традиционалисты» чаще рассказывали о «битвах» (иногда в прямом смысле) с одноклассниками. Если учесть, что успеваемость «модернистов» выше, чем «традиционалистов», такой парадокс кажется труднообъяснимым. В то же время анализ «модернистских» конфликтных ситуаций обнаруживает их нестандартность: это не классические случаи проявления нерадивости в учебе и хулиганства. Зачастую причина конфликтов с учителями кроется в желании «модернистов» «сметь свое суждение иметь», т.е. в самом *модернизме* (!) опрошенных.

– У меня были стычки с моим завучем. Просто у нас была форма, а я не хотела ходить в форме. И она все время меня по этому поводу…
– А почему ты не хотела ходить в форме? Это был какой-то сознательный протест?
– Просто у нас была форма… – белый верх, темный низ. Ну, я просто не любила. Нет, я, конечно, приходила как надо. Но иногда… Просто я не любила таких радикальных мер – идти, например, домой и переодеваться. И я ей говорила: «Я же хорошо учусь, нормально себя веду, что вы там?»

Студентка колледжа, 18 лет (М)

У нас была злющая химичка, и все от нее плакали. Прям зверь! На каждом уроке истерики. Все подстраивались, а я на нее даже к завучу ходила жа-

ловаться. Хорошо, она потом сама ушла. У нее оказался какой-то психический диагноз.

Студентка вуза, 18 лет (М)

Интересно сравнить отношение к образованию «модернистов» и «традиционалистов» разноресурсных социальных групп. По воспоминаниям сильно- и слаборесурсных «модернистов», учеба в школе никогда не доставляла им хлопот, многие признавались, что получают удовольствие от самого процесса обучения. Один юноша, например, в 15 лет экстерном окончил школу и поступил на бюджетное отделение государственного университета. Все «модернисты», учащиеся в колледжах, говорили о своих планах поступить в вуз.

Да, я хочу в Питер уехать учиться. Если у меня будет «красный диплом», я сразу на 4-й курс поступлю, без потери года. Вроде так можно.

Студентка колледжа, 18 лет (М)

Мнения «традиционалистов» о важности и ценности образования разделились. Все сильноресурсные «традиционалисты», с которыми мы беседовали, получают высшее образование и считают необходимым достойно закончить вуз. Стали студентами и те, кто, по собственному признанию, в школе *«забивал на учебу»*. Если принять во внимание, что многие традиционно настроенные студенты вузов учатся за плату (среди «модернистов», напротив, студентов-«контрактников» единицы), то можно сделать вывод, что помогают им в этом ресурсы родительской семьи.

Я теперь по-другому ко всему этому отношусь. Я учусь за плату. И так уже не забиваю на учебу. Институт надо по-любому закончить.

Студент вуза, 17 лет (Т)

Что до слаборесурсных «традиционалистов», то получение высшего образования в их планы, как правило, не входит. На их взгляд, главное – быть мастером своего дела.

Девяностые и нулевые глазами молодых

Трудно не согласиться с В.В. Семеновой, считающей крайне интересным в биографическом исследовании анализ коллективного опыта «проживания» определенной социальной ситуации»[1]. По ее мнению, сравнительный анализ аналогичных случаев дает пищу «для описания социальной проблемы, которая вырисовывается за сходными обстоятельствами

[1] *Ядов В.А.* Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001. – С. 402. – В сотр. с Семеновой В.В.

и действиями, за общей социальной практикой людей»[1]. Часть вопросов интервью была посвящена восприятию респондентами политических событий, современниками которых в той или иной мере они были. Стоит отметить, что если 1990-е годы юноши и девушки знают прежде всего из рассказов родителей и учителей, то «эпоха нулевых» для них – время собственных осознанных воспоминаний.

Ну, я был совсем маленький и не чувствовал этого всего. Знаю, что в стране был бардак, и родители часто рассказывают, что в тот момент, когда у некоторых не было еды, кто-то барыжил на чужом горе. А они зашли в магазин поесть купить, деньги были, а прилавки пусты. В итоге сидели, давились дешевыми на тот момент морепродуктами – раками, крабами. Больше купить было нечего.

Студент вуза, 18 лет (М)

Насколько участники интервью внутренне дистанцированы от последнего десятилетия XX в., можно судить по тому, с какой неуверенностью и / или шаблонностью они перечисляют основные политические события тех времен. Распад СССР, октябрьский путч 93-го, чеченская война, дефолт 98-го – кажется, для постсоветской молодежи эти события находятся где-то на задворках памяти, между Куликовской битвой и восстанием декабристов. Говоря о реалиях 1990-х, некоторые путались в определениях. Например, один студент колледжа (18 лет, М) перепутал слова «фраер» и «рэкетир».

Кстати, о рэкете как неотъемлемом атрибуте 1990-х вспоминали многие. Причем для части респондентов – прежде всего традиционалистски ориентированной – деятельность рэкетиров полна блатной романтики.

Было круто, парни ездили на байках и грабили ларьки или участвовали в разборках. Смелые ребята! В советское время «крутых» не было, они появились в 90-е.

Студент колледжа, 17 лет (Т)

– А вообще мне нравятся 90-е, я бы очень хотела бы жить в эти года. Был бы сейчас свой, так сказать, бизнес.
– Рэкетиршей, что ли, хотела бы стать?
– Да. (Смеется.) Хоть это и плохо, наверное, но меня привлекает вся эта бандитская романтика.

Студентка колледжа, 18 лет (Т)

Тем не менее большинство «модернистов» и «традиционалистов» оценивают 1990-е годы как негативные для нашей страны. Основная при-

[1] *Ядов В.А.* Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001. – С. 402. – В сотр. с Семеновой В.В.

чина общеизвестна – экономическая нестабильность, породившая голод, разруху, рост преступности. Что касается демократических завоеваний, то отношение к ним участников интервью довольно настороженное. Даже «модернисты» полагают, что дарованные стране свободы принесли много вреда.

Негативные, развал экономики, бурный рост преступности. Нищета, всем приходилось вертеться, кто как мог.

Студент вуза, 17 лет (М)

У нас такой народ, такая молодежь, она не очень-то сама принимает решения, а больше активно все это впитывает. И цензура, она действительно нужна. Государство должно отфильтровывать, что нужно показывать, что – нет. Раньше люди не видели всей этой чернухи, сейчас это буквально на каждом углу.

Студентка колледжа, 18 лет (М)

Общая оценка 2000-х годов в целом более позитивна. Многие «модернисты» и «традиционалисты» убеждены, что этот период дал россиянам долгожданное спокойствие, материальный достаток, различные доступные *«радости жизни»* в виде Интернета, технических новинок, путешествий за границу и др. Конечно, как говорили в Советском Союзе, присутствуют «отдельные недостатки», но они ничто по сравнению с тем хаосом, который царил в годы правления Ельцина.

Позитивные, устаканились бурные девяностые, у людей появилась возможность спокойно жить, появился Интернет и прочие радости жизни. Прекрасное время.

Студент вуза, 17 лет (М)

В принципе меня все устраивает в нашей стране, ничего негативного нет.

Студент вуза, 17 лет (М)

2000-е годы… Кризис. Все, что вспомнила негативного. А все остальное хорошо: купить можно, что хочешь, очередей нет.

Студентка колледжа, 18 лет (Т)

В то же время некоторые участники интервью – с современными и традиционными взглядами – давали негативную оценку «стабильным» нулевым. Прежде всего, их беспокоит низкий уровень культуры и нравственности российской молодежи, многие отмечали, что их *«пугают те, кто моложе»*, поскольку в этой когорте «*деградация полная*».

Еще меня пугают те, кто моложе, там, мне кажется, деградация полная уже. Они ничего не читают, ничем не интересуются, только тусуются. Я знаю, как некоторые в 14 лет уже систематически напиваются. Прогулял школу, потому что с похмелья! Это нормально разве?

Студентка вуза, 18 лет (М)

Мне кажется, мы немного распустились за последнее время. В принципе, может быть, это и нормально для нашего времени. Но все равно кажется, что та молодежь, которой сейчас лет по 15–14… слишком развязна. Не знаю, как сказать, но мне, например, противно на это смотреть. Это не то, что бабушки на лавочке кости перемывают: «Вон она идет с сигаретой». Просто даже если по Контакту полазить, фотки какие-нибудь посмотреть у них, это просто кошмар! Это просто некрасиво! <…> Россия вроде процветает, стремится вверх потихоньку. Но то, что сейчас нравственно происходит, как-то нехорошо.

Студентка вуза, 18 лет (Т)

У части «модернистов» сложилось впечатление, что по последствиям для страны 2000-е годы нельзя назвать ни позитивными, ни негативными, потому что они *«никакие»*, они, как *«серый скучный сон»*, по выражению одной респондентки.

Даже не столько негативные, сколько никакие. Вот уже прошло 10 лет с путинского времени. И не изменилось фактически ничего. Вот хотя бы даже взять послевоенное время. Мы страну восстановили за два года. Большее количество заводов, фабрик, домов были построены. <…> А… Путин за 10 лет… не сделал практически ничего. И у нас вся продукция ввозится из-за рубежа. У нас есть нефть и газ, и все, которые через несколько лет закончатся. Мы не производим ничего. <…> Надо что-то делать, но никто не чешется. Что-то он сделал, конечно, но…

Студентка колледжа, 18 лет (М)

…И позитивное сейчас есть, и негативное. А что перевешивает, не знаю. С нынешними ценами на нефть мы могли бы о-го-го сколько сделать. А мы не сделали. И поэтому это время не кажется таким уж распрекрасным, слишком много упущено. И эти годы какие-то однообразные, как серый скучный сон, который никогда не кончится. Люди устали ждать, у них нет надежды.

Студентка вуза, 18 лет (М)

Интерес к политике

Согласно концепции Инкелеса, современной личности свойствен интерес к жизни общества, в том числе и к политической. Человек же традиционный, не веря в возможность простых людей повлиять на общест-

венные события, более ориентирован на проблемы личного характера, т.е. подвержен «астеническому синдрому», по терминологии Ю. Левады. Результаты нашего исследования в целом подтвердили этот факт: в семьях «модернистов» принято интересоваться тем, что происходит в стране и за рубежом, обсуждать политические новости, в семьях «традиционалистов» такая практика распространена в меньшей степени[1]. Отметим, что интерес к политике некоторых «традиционалистов» обусловлен их национализмом: из всего спектра политической информации они увлеченно отслеживают лишь новости о мигрантах. Индифферентное отношение к политике особенно характерно для девушек-«традиционалисток», живущих с мужем или молодым человеком отдельно от родителей. Видимо, это связано с их вовлеченностью в заботы о собственной семье.

Мы частенько обсуждаем политику.

Студентка колледжа, 17 лет (М)

Я очень интересуюсь политикой и в основном всегда завожу разговоры на эту тему, мои родные меня поддерживают, а если они против, то я все равно внушаю им, и, в конце концов, они принимают. Но в последнее время они и так со мной согласны. <…> …раньше они были против моих националистических настроев, но теперь – «за».

Студентка колледжа, 18 лет (Т)

Я совсем не интересуюсь. Я около года не могла привыкнуть к тому, что у нас президент-то сменился. Моему молодому человеку это тоже по барабану.

Студентка колледжа, 18 лет (Т)

Дискуссий я никогда не слышал, возможно… что родители между собой это обсуждают, а так, как я вижу, только отец смотрит новости.

Студент колледжа, 18 лет (Т)

Хотя и многие «модернисты» признавались, что их не слишком волнует политика, а к просмотру и обсуждению новостей они подключаются с подачи старших родственников.

---

[1] Известно, что при разработке опросного инструментария с особым тщанием следует подходить к формулировке вопросов. Первоначально мы собирались выяснить, существует ли какая-либо связь между модернистскими или традиционалистскими аттитюдами респондентов и политическими пристрастиями их родителей. Однако при апробации методики оказалось, что вопрос о политических взглядах родителей многие юноши и девушки воспринимают как «опасный» и дают на него уклончивые ответы. Поэтому пришлось изменить формулировку вопроса, сделав его менее личным: респондентов стали спрашивать о том, принято ли в их семье обсуждать политические события, происходящие в России и за рубежом.

Обсуждают, конечно, и стараются меня как-то приобщить к этому делу. (Смеется.) Я не такая поклонница политики прям, но новости смотрю. Бабушка, когда смотрит новости, всегда меня зовет: «Иди, послушай. Ты – гражданин свой страны, должна жить ее проблемами, ты должна знать, что творится в мире».

Студентка вуза, 19 лет (М)

Выводы

Проведенное исследование позволило выделить общее и особенное в индивидуальных биографиях «модернистов» и «традиционалистов» постсоветского поколения. Так, обнаружилось, что в группе «традиционалистов» больше выходцев из экономически депривированных и неблагополучных семей. Как мы и предполагали, при усвоении индивидом новых и традиционных ценностей огромную роль играет социальное окружение. «Модернисты» стремятся брать пример со своих современно ориентированных близких, а в окружении «традиционалистов» «значимых других» либо не существует, либо их представляют люди с традиционным стилем мышления. В семьях «модернистов» принято следить за жизнью общества и политическими новостями, тогда как в семьях «традиционалистов» такая практика не столь распространена. «Модернисты» и «традиционалисты» схожи в своих воспоминаниях о детстве, за редким исключением носящих позитивный характер. Все модерно и традиционно ориентированные представители сильноресурсной подвыборки, желая в будущем занять достойное место в системе социальной стратификации, стремятся повысить уровень своего образования (поступили в вузы), в чем им нередко помогают ресурсы родительской семьи. «Модернисты» слаборесурсной группы также нацелены на получение высшего образования, и лишь низкоресурсные «традиционалисты» готовы ограничиться образованием, полученным в колледже. Отношение респондентов к постсоветскому периоду развития российского общества основано преимущественно на тиражируемых в отечественных СМИ штампах о «лихих» девяностых и «спокойных» нулевых. Примечательно, что для многих опрошенных ценность демократических свобод не кажется очевидной; по крайней мере, материальное благополучие они ценят куда выше.

Я.В. Евсеева

КОНЦЕПЦИИ УСПЕШНОГО СТАРЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ

Вопросы успешного старения принадлежат к ключевым как в социальной геронтологии, так и в различных социально-политических практиках, имеющих отношение к пожилым людям.

В отечественной геронтологии не сложилось отдельной социогеронтологической области, поскольку в силу идеологической специфики социальные проблемы старения всегда рассматривались наряду с биологическими и медицинскими вопросами, и в таковой дисциплине фактически не было необходимости. Когда в отечественной науке встает вопрос о социальной геронтологии, речь идет прежде всего о зарубежных и переводных работах. В представлении российских геронтологов социальная геронтология часто сводится к геронтогигиене, т.е. области медицины, изучающей влияние условий жизни и труда на здоровье пожилых людей и разрабатывающей меры профилактики заболеваний людей этого возраста. Например, В.Н. Анисимов и М.В. Соловьев в своей книге «Эволюция концепций в геронтологии» в качестве составляющих междисциплинарной геронтологической области называют следующие: «биология старения, клиническая геронтология (гериатрия), геронтопсихология и социальная геронтология (геронтогигиена)»[1]. Лишь в последние годы в России начали появляться исследователи, идентифицирующие себя именно как социальных геронтологов[2].

Напротив, на Западе геронтология изначально представляла собой чисто естественно-научную область, не занимавшуюся социальными вопросами. Это, в частности, позволило постмарксистским авторам – таким, как Кэрролл Эстес, – в 1970-е годы подвергнуть геронтологию критике за биологизацию старения и невнимание к социальным аспектам (а именно

---

[1] *Анисимов В.Н., Соловьев М.В.* Эволюция концепций в геронтологии. – СПб.: Эскулап, 1999.

[2] См., например: *Елютина М.Э., Чеканова Э.Е.* Социальная геронтология. – М.: Инфра-М, 2004.

классовым различиям пожилых людей)[1]. Социальные же исследования, прежде всего в англоязычных странах, уже в послевоенный период выделились в отдельную область, получившую название «социальная геронтология»; в одной из первых значительных социогеронтологических работ, «Personal adjustment in old age», под редакцией Рут Каван, Роберта Хэвигхерста и др. (1949)[2], рассматриваемая область обозначена именно таким образом. Как пишет в середине 1950-х годов один из популяризаторов социальной геронтологии американский исследователь Кларк Тиббиттс, данная сфера геронтологии призвана изучать влияние социальных и социокультурных условий на процесс старения и социальные последствия этого процесса[3].

Первые социогеронтологические теории появились в США. Они развивались в рамках структурного функционализма, который был основным направлением в американской социологии в 1940–1960-е годы XX в. Основатель структурного функционализма Толкотт Парсонс рассматривал все составляющие общества в качестве отдельных функций, каждая из которых должна работать максимально эффективно и поддерживать всю общественную систему. Функционалистские теории были теориями нормативными, т.е. они демонстрировали, как *должно* функционировать общество – либо та или иная его часть. В частности, отдельные индивиды должны вести себя таким образом, чтобы не нарушался баланс связей и отношений в обществе в целом. Тем самым акцент был сделан на оптимальных, общественно приемлемых сценариях старения.

Данный подход нашел свое яркое отражение в первой социогеронтологической теории – теории (социальной) активности («activity theory»). Ключ к эффективному старению виделся ее создателям в общественной активности индивидов. Активность изначально оценивалась как положительное качество, а ее отсутствие – как недостаток. Начала теории были изложены в упоминавшейся выше книге «Personal adjustment in old age».

Основной способ реализации социальной активности, обозначенный в данной работе, – это адаптация, «adjustment». «Adjustment» представляет собой не просто приспособление, это те поправки, которые человек должен осознанно вносить в свой образ жизни по мере изменения жизненных обстоятельств. Теория активности требует от личности самостоятельных действий по формированию собственной жизни. Выходя на пенсию, человек теряет часть прежних социальных связей, прежде всего с коллегами по работе. Потерянные связи человеку необходимо заменить новыми, для чего он может, например, найти для себя какое-нибудь хобби, заняться

---

[1] *Estes C.L.* The aging enterprise. – San Francisco (CA): Jossey–Bass, 1979.

[2] Personal adjustment in old age / Cavan R., Burgess E.W., Havighurst R.J., Goldhammer H. – Chicago (IL): Science research associates, 1949.

[3] *Tibbitts C.* Social gerontology: Origin, scope and trends // Handbook of social gerontology: Societal aspects of aging / Ed. by C. Tibbitts. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1960. – P. 3–36.

общественной работой либо принять на себя роль прародителя. Ситуация, когда человеку не удается адаптироваться к новой обстановке, получила название «maladjustment», т.е. неприспособленность.

Установка на индивидуальную ответственность, активность в качестве жизненной позиции и продуктивный образ жизни относятся к признанным ценностям американской культуры. Кроме того, теория активности явилась отражением того частного культурного контекста, в котором она развивалась. С начала XX в. теоретиками утверждалось преимущество молодых работников, способных обеспечивать большую по сравнению со старшими производительность, в ситуации, когда именно производительность стала основным показателем качества труда. Окончательно излишним труд пожилых людей стал в эпоху Великой депрессии, когда работой не были обеспечены и молодые. Однако на рубеже 1940–1950-х годов, в послевоенный период, потребность в рабочей силе в Западной Европе и Северной Америке оказалась необычно высока. В связи с этим впервые со времен Великой депрессии официальные власти предлагали как можно шире использовать опыт и профессиональные навыки пожилых работников. В книге английского геронтолога Криса Филлипсона «Capitalism and the construction of old age» приводятся фрагменты постановлений Министерства труда Великобритании. В документе 1951 г. рекомендуется привлекать к работе пенсионеров везде, где это возможно, в документе 1953 г. утверждается «надежность работников старшего возраста» («reliability of older workers»), т.е. осуществляется своего рода эмансипация пожилого возраста в сфере занятости[1].

Кроме того, в 1950-е годы, прежде всего в США, возраст старше 65 лет все чаще стал обозначаться как «золотой» («golden age»). В 1950 г. появились первые клубы для людей старшего возраста, так называемые «golden age clubs». Развивалась пенсионная система, а вместе с ней – рынок товаров и услуг для пожилых людей[2]. Представлялось, что пожилые становятся все более активными и успешными членами общества.

Продолжила линию социальной активности вышедшая в 1953 г. книга Роберта Хэвигхерста и Рут Альбрехт «Older people»[3]. В итоге все 1950-е годы прошли в социальной геронтологии под знаком теории активности. В послевоенные годы в геронтологии в целом наряду с дальнейшей научной специализацией знания нарастала социально ориентированная тенденция, в соответствии с которой старость рассматривалась как важное и позитивное явление. Геронтология сама делала свой собственный объект значимым и популярным. Теория активности в полной мере соответствовала этой тенденции.

---

[1] *Phillipson Ch.* Capitalism and the construction of old age. – L.: Macmillan, 1982.

[2] О развитии культуры потребления в среде пожилых американцев см. в статье Мередит Минклер: *Minkler M.* Gold in gray: Reflections on business' discovery of the elderly market // The Gerontologist. – Oxford, 1989. – Vol. 29, N 1. – P. 17–23.

[3] *Havighurst R.J., Albrecht R.E.* Older people. – N.Y.: Longmans, Green & co., 1953.

В дальнейшем на основе теории активности были созданы многочисленные концепции успешного старения («successful aging»), т.е. старения как социального успеха. Частным вариантом данного подхода стала концепция продуктивного старения («productive aging»)[1], в рамках которой успешная старость ассоциировалась с как можно более длительной оплачиваемой занятостью.

Первая такая концепция была разработана самим Робертом Хэвигхерстом в одноименной статье «Successful aging» 1961 г. Согласно Хэвигхерсту, человек стареет успешно, если он доволен своим прошлым и настоящим и если прожитым годам соответствует удовлетворительное содержание (в определении автора – «adding life to the years»[2]).

Позже, в 1980–1990-е годы идеи Р. Хэвигхерста и его коллег вновь были приняты на вооружение. В частности, получили известность исследования американских геронтологов Джона Роу и Роберта Кана[3]. В этих работах взгляду на старость как на период болезней и угасания было противопоставлено отношение к старости как к возрасту, открывающему перспективы для деятельного времяпрепровождения. Авторы возлагают ответственность за свое самочувствие на самих пожилых людей: чем физически и социально активнее те будут, тем лучше будут их здоровье и эмоциональное состояние. Работы Роу и Кана стали знаком так называемой «новой геронтологии» («new gerontology»)[4], характеризующейся позитивным отношением к пожилому возрасту и его возможностям. С одной стороны, эта «новая геронтология» отражает текущее состояние культуры потребления и подразумевает возможности для досуга, неизвестные в 1950-е годы, однако, с другой стороны, своей ориентацией на деятельность и индивидуальное приспособление она восходит к теории активности.

Свои теории успешного старения были разработаны в различных геронтологических областях, в частности в психогеронтологии. Одна из них принадлежит американскому психологу, специалисту по вопросам старения Полу Болтесу и получила известность как модель SOC (т.е. selection – optimization – compensation). В статье «Savoir vivre in old age»[5], написанной совместно с Маргарет Болтес, утверждается, что третий возраст предоставляет все возможности для успешного старения. Сложности возни-

---

[1] Productive aging: Enhancing vitality in later life / Ed. by R.N. Butler, H.P. Gleason. – N.Y.: Springer, 1985.

[2] *Havighurst R.J.* Successful aging // The Gerontologist. – Oxford, 1961. – Vol. 1, N 1. – P. 8–13.

[3] См., например: *Rowe J.W., Kahn R.L.* Human aging: Usual and successful // Science. – N.Y., 1987. – Vol. 237. – P. 143–149; Rowe J.W., Kahn R.L. Successful aging // The Gerontologist. – Oxford, 1997. – Vol. 37. – P. 433–440.

[4] *Holstein M.B., Minkler M.* Self, society and the «new gerontology» // The Gerontologist. – Oxford, 2003. – Vol. 43, N 6. – P. 787–796.

[5] *Baltes P.B., Baltes M.M.* Savoir vivre in old age: How to master the shifting balance between gains and losses // National forum. – Baton Rouge (LA), 1998. – Vol. 78, N 2. – P. 13–18.

кают в четвертом возрасте, но даже и после 80 лет можно быть активным и социально успешным. Для этого необходимо использовать такие приемы, как селекция (сосредоточение на самых важных целях), оптимизация (совершенствование способов достижения этих целей) и компенсация (применение заместительных средств вместо тех, что уже недоступны). В качестве примера авторы приводят длительно активного пианиста Артура Рубинштейна (1888–1982), который с возрастом выступал реже (селекция), репетировал чаще (оптимизация) и практиковал смены темпа, чтобы создать впечатление высокой скорости игры, которую в действительности больше не был способен поддерживать (компенсация).

Влияние теории активности и ее поздних вариаций обнаруживается и в программах ООН и ее специализированных учреждений, в частности ВОЗ, которая разрабатывает комплекс программ под общим названием «активное старение» («active ageing»). Любопытно отметить, что программа ВОЗ по активному старению 1982 г. носит название «Add life to the years», тем самым непосредственно отсылая к работам Р. Хэвигхерста и идейному контексту, который они собой воплощают.

Программы ООН и ее специализированных учреждений – таких, как ВОЗ, ЮНЕСКО и др., – сочетают в себе основные аспекты теории активности и своеобразный демифологизирующий дискурс биогеронтологии. Последняя утверждает, что в то время как средняя продолжительность жизни растет, развиваются технологии, направленные на борьбу со старением, и качество жизни пожилых людей повышается, в обществе сохраняются негативные представления о старости. Проводниками отрицательных образов пожилых людей, в частности, выступают массмедиа. Геронтологи, в свою очередь, называют негативные представления о пожилом возрасте не иначе, как «мифами», поскольку эти представления не соответствуют тем «научным» данным о старении, которыми они обладают. Концепции вроде адаптационно-регуляторной теории В.В. Фролькиса демонстрируют, что старение представляет собой не неуклонное увядание, а взаимодействие разрушения и компенсации[1]. Одним из первых отрицательные представления о старости в своей книге «A good age» (1976)[2] демифологизировал английский геронтолог и историк геронтологии Алекс Комфорт. И если тогда этот «мифический» дискурс ограничивался научной литературой, то сейчас он является неотъемлемой составляющей университетских курсов по геронтологии[3]. За их позитивный настрой итальянский философ Норберто Боббио назвал современных геронтологов «счастливыми геронтологами» («happy gerontologists»)[4].

---

[1] *Фролькис В.В.* Старение и увеличение продолжительности жизни. – М.: Наука, 1988.

[2] *Comfort A.* A good age. – N.Y.: Crown, 1976.

[3] Таков, например, курс геронтологии, читаемый в университете Тринити (Сан-Антонио, США). См.: http://www.trinity.edu/~mkearl/geron.html

[4] *Bobbio N.* De senectute e altri scritti autobiografici. – Torino: Einaudi, 1996.

В итоге специалисты учреждений ООН стремятся вслед за геронтологами преодолеть существующие в обществе, но более не актуальные представления о пожилых людях, сделав достоянием общества те моменты, которые, с их точки зрения, являются реальными фактами жизни пожилых людей. В соответствии с программным в этом вопросе документом «Exploding the myths: Ageing»[1] пожилые люди по всему миру значительно отличаются друг от друга и, следовательно, не могут описываться в одних и тех же категориях (в частности, далеко не все они физически слабы). Утверждается также, что пожилые люди отнюдь не являются бременем, которое несет на себе общество, – напротив, своим каждодневным, как оплачиваемым, так и большей частью неоплачиваемым трудом они вносят вклад в экономику своих стран. Тем самым официальные организации ставят себе задачу формирования в представлении остального общества рационального и позитивного восприятия пожилых людей. Первый аспект реализуется за счет указания на их репрезентативность и общественную значимость, второй – посредством отрицания таких атрибутов пожилого возраста, как «болезнь», «пассивность», «неспособность к труду», «исключенность из социальной жизни».

Возвращаясь к направлениям социальной геронтологии, нужно отметить следующее. В русле моделей эффективного старения развивался и ряд других течений американской социальной геронтологии[2], поскольку, с одной стороны, теория активности представляла собой исключительно влиятельное направление мысли, а с другой стороны, у истоков данных направлений в социальной геронтологии стояли одни и те же исследователи, а именно Роберт Хэвигхерст и Рут Каван. К таковым течениям относятся, в частности, теория развития («development theory») и теория символического интеракционизма («symbolic interactionism»).

По первой специальности Р. Хэвигхерст – психолог, и теория развития была привнесена им из психологической области. Пожилой возраст рассматривается здесь в рамках индивидуального жизненного цикла («life course development»).

Пример настоящего подхода можно обнаружить, например, в книге «Age-sex roles and personality in middle age» (1958)[3], написанной сотрудницей Хэвигхерста Бернис Ньюгартен вместе с коллегой Дэвидом Гутманом.

---

[1] Exploding the myths: Ageird. – Mode of access: http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/who_hsc_ahe_99.1.pdf

[2] При том что уже в 1950-е годы британский геронтолог Питер Таунсенд проводил исследования бедности среди своих пожилых соотечественников, социальная геронтология Великобритании выйдет на ведущие позиции лишь с развитием постмарксистского направления, а вплоть до 1980-х годов социогеронтологическая область представлена работами, прежде всего, американских авторов.

[3] *Neugarten B.L., Gutmann D.L.* Age-sex roles and personality in middle age: A thematic apperception study // Psychological monographs: General a. applied. – Wash., 1958. – Vol. 72, N 17. – P. 1–33.

В данной работе, в частности в главах «The older man» («Мужчина старшего возраста») и «The older woman» («Женщина старшего возраста»), Ньюгартен и Гутман анализируют развитие личностных характеристик от среднего к пожилому возрасту. Авторами были опрошены мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет, которым предъявлялась картина, изображающая двух мужчин – пожилого и молодого, – и двух женщин с аналогичной разницей в возрасте. По результатам проведенного исследования Ньюгартен и Гутман обнаружили, что большинство респондентов отводят пожилому мужчине на картине скорее приспособительную («adjustive») роль, в то время как пожилая женщина видится доминирующей фигурой. Пожилые люди обоего пола отмечают в людях своего возраста – в сравнении с теми, кто моложе, – бóльшую приверженность семейным ценностям. По тому, как легко пожилые мужчины признают свое смирение с нарастающей ролью жены, а женщины – свое доминирующую позицию в семье, авторы делают вывод, что с возрастом женщины начинают терпимее относиться к проявлениям собственного властного поведения, а мужчины спокойнее воспринимают свою эмоциональную привязанность к семье. И это являет собой модель возрастной адаптации.

Теория активности аналогично ориентирована на жизненный цикл и смену жизненных стадий. В книге «Personal adjustment in old age» Р. Каван и Р. Хэвигхерст с коллегами пишут, что, поскольку условия жизни меняются от этапа к этапу, приспособленность не обеспечивается человеку раз и навсегда и важно прилагать усилия к приспособлению всякий раз, когда это необходимо. Человек, хорошо адаптированный в среднем возрасте, в пожилом возрасте может оказаться неприспособленным – например, если он не смирится с необходимостью выхода на пенсию.

На вопросы успешной адаптации в пожилом возрасте ориентирована в рамках социальной геронтологии и теория символического интеракционизма. В соответствии с этой теорией, восходящей к исследованиям Джорджа Герберта Мида, все окружающие нас объекты мы воспринимаем как символы, иными словами, как нечто, что для нас что-то означает. Ключевую роль в связи с этим играет общение, поскольку именно в процессе общения человек узнает значения объектов и обменивается этим знанием с другими. Аналогичным образом каждый человек что-то означает для окружающих. Представления о человеке, которыми обладают окружающие его люди, Мид назвал «the Me» (в отличие от «the I», субъективной части «я»). На разных этапах жизни и в разных жизненных ситуациях человек принимает различные социальные роли, в зависимости от чего у него формируется некий образ себя, та или иная «Я»-концепция («self-conception»). Этот образ себя поддерживается определенной социальной группой, в среде которой человек самореализуется[1].

[1] *Mead G.H.* Mind, self and society. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1934.

В сборнике 1965 г. «Human behavior and social processes: An interactionist approach»[1] геронтологическая проблематика разрабатывается Рут Каван в статье «Self and role adjustment during old age» (т.е. «личность и ролевое приспособление в течение пожилого возраста»). Не только название статьи, но и концепция, формулируемая Каван, несет на себе отпечаток теории активности. В данной статье Каван рассматривает несколько ролей, типичных для пожилого человека. Это пенсионер, вдовец (вдова), прародитель. Как указывает автор, важно, чтобы социальная группа, поддерживающая в представлении человека тот или иной образ себя, помогла ему наилучшим образом приспособиться к жизненным изменениям, которые являются спутниками пожилого возраста. В случае с пенсионерами такой группой могут быть друзья по досугу, в случае с вдовцами – коллеги по общественной работе или церковная община, в случае с прародителями – семья. В ситуации совмещения ролей возможно наличие нескольких различных по степени важности групп поддержки. Тем самым в настоящей статье продолжает звучать тема эффективного приспособления.

Иной по своему характеру вариант адаптации в пожилом возрасте был представлен в следующем направлении социальной геронтологии, а именно в теории разобщения («disengagement theory»). Ее авторы – Элейн Камминг и Уильям Генри – в 1961 г. выпустили книгу под названием «Growing old: The process of disengagement», где изложили основные аспекты своей концепции[2]. Современный канадский геронтолог Стивен Катц пишет, что теория разобщения стала первой истинно социогеронтологической концепцией, подразумевая психологические корни теории активности[3]. Тем не менее означенная теория была также теорией функционалистской и являла собой, по крайней мере с точки зрения своих создателей, модель успешного старения.

Рассматриваемую теорию отличало иное, нежели теорию активности, настроение. С точки зрения Камминг и Генри, наиболее оптимальный и в то же время наиболее «естественный» сценарий развития отношений пожилого индивида и общества – это постепенное взаимное отторжение, т.е. разобщение, «disengagement». В опровержение теории активности авторы теории разобщения утверждали, что далеко не все активные индивиды обязательно удовлетворены своей жизнью, и наоборот. В соответствии с данной теорией, человек, старея, все больше отходит от общества, погружается в свой внутренний мир, а социум – начиная с семьи и кончая властными институтами – уделяет человеку все меньше внимания, предает

---

[1] *Cavan R.S.* Self and role adjustment during old age // Human behavior and social process: An interactionist approach // Ed. by A. Rose. – Boston: Houghton Mifflin, 1962. – P. 526–536.

[2] *Cumming E., Henry W.E.* Growing old: The process of disengagement. – N.Y.: Basic books, 1961.

[3] *Katz S.* Disciplining old age: The formation of gerontological knowledge. – Charlottesville: Univ. press of Virginia, 1996.

его забвению. В итоге для пожилого человека наступает финальный этап разобщения – смерть. Камминг и Генри признавали, что существуют люди, не желающие мириться с перспективой разобщения, однако в силу нормативного характера своей теории подобных людей они называли «impingers», т.е. агрессорами, покушающимися на «нормальный» ход вещей.

С одной стороны, достаточно мрачное настроение теории разобщения стало во многом закономерной реакцией на чрезвычайную позитивность и оптимизм теории активности. С другой стороны, это были уже 1960-е годы, в это время начали появляться прогнозы о том, что молодых и пожилых людей в связи с ростом населения в скором будущем ожидает острая конкуренция за рабочие места, за материальные и нематериальные ресурсы.

В 1970-е годы общественное неприятие пожилых работников привело к появлению формулы «too old to work (too young to die)» (т.е. «слишком стары, чтобы работать (слишком молоды, чтобы умереть)»). В первой половине XX в. большинство работало до конца жизни. В послевоенный период с развитием пенсионной системы, с одной стороны, и увеличением продолжительности жизни – с другой, сначала образовался, а затем стал все больше удлиняться отрезок между окончанием работы и концом жизни. Однако помимо первой части, отражающей негативное отношение к труду в старшем возрасте, у данной формулы есть и вторая часть. Последняя свидетельствует как о дальнейшей медикализации старости (медицинским работникам принадлежит экспертное мнение, когда кому пора умирать), так и о развитии индустрии пожилого досуга: пожилые люди имеют право потратить последнюю часть своей жизни не на работу, а на отдых и развлечения.

Теория разобщения была сразу же подвергнута критике – как внутри академического сообщества, так и широкой общественностью. Помимо конструктивной критики, к которой относится, например, утверждение представителя социоконтекстуальной теории в социальной геронтологии Джейбера Габриума об ограниченности данной теории, поскольку старшее поколение вынуждено отдаляться от общественной жизни лишь в западной культуре[1], налицо было и общее, нерационализованное неприятие. Успешное старение в представлении большинства ассоциировалось с положительными характеристиками, и в негативистской теории позитивную социальную модель видеть не желали. Авторы теории разобщения остались в меньшинстве, и последователей у них практически не было.

Тем не менее на рубеже 1990–2000-х годов, когда увидели свет работы Ларса Торнстама[2], произошло своеобразное возрождение маргиналь-

---

[1] *Gubrium J.F.* The myth of the golden years: A socio-environmental theory of aging. – Springfield (IL): Thomas, 1973.

[2] *Tornstam L.* Late-life transcendence: A new developmental perspective on aging // Religion, belief, and spirituality in late life / Ed. by L.E. Thomas, S.A. Eisenhandler. – N.Y.: Springer, 1999. – P. 178–202; *Tornstam L.* Gerotranscendence: A developmental theory of positive aging. – N.Y.: Springer, 2005.

ной теории. Шведский геронтолог, по его словам, после изучения данного вопроса, бесед с коллегами и опросов пожилых респондентов задумался, не «выплеснули ли мы ребенка вместе с грязной водой» («thrown the baby out with the bath water»)[1]. То есть, возможно, в теории разобщения существовало свое рациональное зерно. Несмотря на все ее потенциальные недостатки. Разобщение приняло в теории Торнстама вид «геротрансценденции» (gerotranscendence), т.е. происходящего в пожилом возрасте перехода в иное жизненное состояние. Это новое состояние характеризуется ослаблением интереса к вещному миру, отказом от достижительских целей, сосредоточением на самом главном, ограничением круга общения. Поскольку на смену материальному приходит духовное начало, человек получает возможность для саморазвития, творчества и пр. Согласно Торнстаму, для большинства пожилых людей геротрансценденция представляет собой осознанный и желанный выбор.

Теория разобщения явила собой первую критическую реакцию на теорию активности и близкие ей социогеронтологические направления и представила крайне нестандартную модель успешного старения. Тем самым было положено начало критике не только теории активности, но концепций успешного старения. Основная проблематизация и критика данных течений в настоящее время осуществляются по следующим направлениям. С одной стороны, у многих исследователей вызывает протест идея обязательной, «суетливой» занятости[2]. Представитель фукианского крыла постмодернистской геронтологии Стивен Катц рассматривает подобную навязываемую извне активность в качестве стратегий нормализации, подкрепленных медицинским и официальным дискурсом и обуславливающих ответные стратегии сопротивления со стороны пожилых людей[3].

С другой стороны, наряду с общекультурной критикой приводятся доводы и практического характера, имеющее отношение к повседневной работе с людьми старшего возраста. Так, биогеронтология утверждает, что рост продолжительности жизни будет означать и рост проблем со здоровьем. Жизнь так называемых «молодых пожилых» («young old»), т.е. людей не старше 75–80 лет, действительно отличается высоким качеством, но этого нельзя утверждать в отношении «старых пожилых» («old old»). Например, если среди 65-летних в развитых странах деменцией страдают единицы, то после 90 – уже практически каждый второй[4]. Как быть с людьми, стареющими «неуспешно»? Ведь есть немало пожилых людей,

---

[1] *Tornstam L.* Gerotranscendence. – P. 34.

[2] См., например: *Ekerdt D.J.* The busy ethic: Moral continuity between work and retirement // The Gerontologist. – Oxford, 1986. – Vol. 26, N 3. – P. 239–244.

[3] *Katz S.* Busy bodies: Activity, aging and the management of everyday life // J. of aging studies. – Amsterdam, 2000. – Vol. 14, N 2. – P. 135–152.

[4] *Baltes P.B., Smith J.* New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age // Gerontology. – Basel, 2003. – Vol. 49, N 2. – P. 123–135.

которые под воздействием жизненных обстоятельств лишились шансов на успешное старение. Представляющая феминистскую геронтологию американская исследовательница Тони Каласанти видит в пропаганде антивозрастной терапии не что иное, как проявление эйджизма, и критикует своих коллег за то, что им подчас трудно принять нездоровый, внешне непривлекательный пожилой возраст[1].

Теория активности и концепции успешного старения являются основой программ ООН и ее специализированных учреждений в отношении пожилых людей. Язык документов ООН – это язык социального оптимизма, а идеи, воплощенные в теории разобщения, не только несут в себе выраженный негативный посыл, они просто неполиткорректны, в соответствии с современными этико-политическими стандартами. ООН постулирует отказ от «молодого» образа общества в пользу модели «общества для всех возрастов»[2] и помещает пожилую возрастную группу в авангард самых актуальных культурных тенденций. Тем не менее благодаря тому, что с ООН сотрудничают действующие ученые, в данном случае геронтологи, программы организации имеют возможность стать не столь жесткономативными и обрести большую реалистичность. В частности, профессор социальной политики и социальной геронтологии Шеффилдского университета Алан Уокер, работающий в русле постмарксистского направления британской геронтологии и являющийся соавтором ряда современных программ ВОЗ по активному старению, заявляет, что теория активности в своем оригинальном варианте приравнивает пожилых людей скорее к энергичным людям среднего возраста. Все пожилые люди в равной мере рассматриваются как потенциально активные, в то время как, согласно Уокеру, нужно учитывать фактор здоровья и тем самым не исключать из рассмотрения тех пожилых людей, которые в силу своего физического состояния уже значительно менее активны; при разработке социальной политики внимание должно быть уделено профилактическим мерам[3].

Наряду с тем, что достижение успешного и активного старения остается принципиальной позицией организаций в составе ООН, этот подход разделяют и многие официальные организации, в первую очередь, в западных странах. Для них активное, здоровое, социально эффективное старение означает потенциальное сокращение расходов на пенсионное обеспечение и содержание социальных служб государства всеобщего благоденствия. Реализация моделей «успешного старения» и «активной жизни на пенсии» становится обязательным пунктом большинства современных программ в области социальной политики в отношении пожилых

---

[1] *Calasanti T.* Ageism, gravity, and gender: Experiences of aging bodies // Generations. – San Francisco (CA), 2005. – Vol. 29, N 3. – P. 8–12.

[2] The Madrid international plan of action on ageing. – Mode of access: http://www.un.org/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf

[3] *Walker A.C.* A strategy for active ageing // International social security rev. – Geneva, 2002. – Vol. 55, N 1. – P. 121–139.

людей[1]. Концепции успешного старения, выстроенные, прежде всего, на основе теории активности, являются наиболее востребованным продуктом социальной геронтологии. Внутри самой социогеронтологической области они, будучи по-прежнему влиятельными, тем не менее давно подвергаются проблематизации и критике. С нарастанием актуальных для современного мира процессов – таких, как старение населения, глобализация и пр., – эта тенденция может усилиться, и на смену успешному старению придут иные модели жизненной самореализации пожилой возрастной группы[2].

[1] *Evans S.* «That lot up there and we down here»: Social interaction and a sense of community in a mixed tenure UK retirement village // Ageing & society. – Cambridge, 2009. – Vol. 29, N 2. – P. 199–216.

[2] Например, движение эмпауэрмента. См.: *Nusberg Ch., Prather J., Thursz D.* Empowering older people: An international approach. – Westport (CT): Auburn house, 1995.

РЕФЕРАТЫ

Е.В. Якимова, Я.В. Евсеева

СОЦИОЛОГИЯ ДЕТСТВА В ДЕСЯТИ СТРАНАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(Реферативный обзор спецвыпуска журнала «Current sociology»)

Дорис Бюлер-Нидербергер (профессор социологии Университета г. Вупперталь, ФРГ) (1) в предисловии к специальному выпуску журнала «Current sociology», посвященному «новой социологии детства», констатирует концептуальную новизну данной области социального знания на фоне недостаточного внимания к ее теоретическим и эмпирическим наблюдениям со стороны магистральной социологической науки и социоструктурного анализа в целом. Являясь относительно молодым направлением западной социологии, новая социология детства уже располагает солидной теоретической базой и методологическим арсеналом, влияние которых на смежные области европейского гуманитарного знания, а также на стратегии социальной политики сегодня вполне очевидны. Тем не менее в социологической литературе по-прежнему сохраняется тенденция «к игнорированию детей в качестве самостоятельных социальных акторов, составляющих вполне определенную социальную категорию» (1, с. 156). Такое положение дел обусловлено в первую очередь традицией осмысления детства исключительно в терминах теории социализации, традицией, которая берет начало в трудах Дюркгейма и, позднее, Парсонса. С этой же традицией связан и другой преимущественный фокус социологического анализа детства – изучение его «в рамках научных дискурсов, касающихся семьи и образования». Иными словами, замечает Бюлер-Нидербергер, традиционная проблематика детей и детства в социологии до сих пор ограничивалась задачей превращения «несмышленых дикарей» (Дюркгейм) и «маленьких варваров» (Парсонс), необузданных и непредсказуемых в своих желаниях и поступках, в надежных, полноценных социальных акторов – здравомыслящих агентов социального действия; лозунгом социологии был и остается призыв: «От изначального хаоса природного существа – к социокультурной упорядоченности цивилизованных членов общества» (1, с. 156).

В противовес этой позиции, новый концептуальный подход ставит во главу угла мир детства как таковой, т.е. детство во всей совокупности его внутренних и внешних проблем, вертикальных и горизонтальных интеракций, специфических способов социокультурной адаптации, а также в качестве значимого элемента социальной структуры и субъекта макро- и микропроцессов социоэкономического и культурного распределения (в масштабах семьи и общества в целом). Кроме того, здесь, как и в феминистской теории, большое внимание уделяется теме социального неравенства, или асимметрии (в данном случае – в терминах отношений между поколениями). Под сомнение ставится исходное положение традиционной социологии (и позиция «здравого смысла», подкрепленная ценностями западного среднего класса) о неравнозначности взрослого и детского миров и маргинальности последнего, значение которого исчерпывается его потенциалом в качестве «времени и места» конституирования будущих членов социума.

В демонстрации и конкретизации перечисленных установок новой социологии детства (на примере десяти европейских стран) и состоит замысел тематического выпуска «Current sociology», подчеркивает Бюлер-Нидербергер. Во-первых, содержание этого выпуска позволяет судить о теоретическом состоянии данной дисциплины в той или иной стране либо языковом ареале (степень разработанности темы, основные публикации, наличие специальных журналов и университетских курсов). Во-вторых, речь идет о характере корреляции парадигм детства, присутствующих в научном дискурсе, с общепринятыми представлениями о социальной роли детей и детства; и о реализации того и другого в национальной социальной политике – в-третьих. Таким образом, выбор в пользу «национально-географической» логики освещения новой социологии детства обусловлен намерением редакции журнала «реконструировать становление социальных исследований детства в контексте их взаимосвязи с позицией и значением, закрепленными за детьми и детством в том или ином конкретном обществе… Сравнительный анализ позволяет прояснить характер отношений между социологическим анализом и социальными обстоятельствами “осуществления детства” в самих разных условиях» (1, с. 157). К сожалению, замечает автор предисловия, данный обзор не включает страны азиатского и африканского регионов, поскольку критерием отбора материалов являлась степень развития национальной социологии детства, включая традиционные подходы.

Анализируя концептуальное содержание новой социологической дисциплины, Бюлер-Нидербергер отмечает ее разрыв с сомнительным представлением о существовании «универсальной природы ребенка», которое до сих пор остается доминирующим компонентом научных и обыденных суждений о мире детства. Главными проводниками этой идеи автор считает психологию, педагогику и науки о высшей нервной деятельности. Генерируемое этими науками знание, несмотря на изменчивость его со-

держания и противоречивость рекомендаций, тесно переплетается с установками здравого смысла, формируя абстрактно-нормативный, внеисторический образ «правильного», или «надлежащего», детства. Этот образ не смогли поколебать даже данные сравнительно-культурных исследований, которые убедительно демонстрируют историческую изменчивость мира детства и связанных с ним социальных представлений.

Таким образом, резюмирует свои выводы Бюлер-Нидербергер, западное общество и обществознание, сосредоточившись на задаче трансформации универсальной детской природы по законам социума, «изъяли детей из сферы публичной жизни и, тем самым, из социологии» (1, с. 158). Чтобы вернуть их «обратно», потребовалась смена аналитического фокуса применительно к институту семьи, т.е. понимание ее не как социальной ячейки, а в качестве совокупности частных индивидов. На фоне растущего интереса западных социологов к индивидуализации частной жизни бóльшую отчетливость приобрели также проблемы детей и детства в современной Европе. Увеличение числа разводов, неполных семей и работающих матерей, а также пауперизация населения в маргинальных секторах общества демонстрируют иллюзорность представлений о «надлежащем» детстве и требуют решительной «смены парадигмы».

Именно эту цель ставят перед собой сторонники новой социологии детства, подчеркивает Бюлер-Нидербергер. Отказавшись от прежних социальных и социологических мифов, связанных с детством, они сформулировали два главных концептуальных положения новой аналитической перспективы: а) представление о ребенке как об актуальном социальном акторе; б) идею генерационного (поколенного) порядка как одного из способов социального структурирования. Первое положение связано с переносом «временны́х» акцентов в трактовке социальной роли детей. Там, где традиционная социология видит только «становящихся акторов» или будущих проводников социального действия, которых еще предстоит встроить во взрослый социальный порядок, адепты «нового взгляда» усматривают акторов состоявшихся, или творцов и участников социальных интеракций, созидающих реальность здесь и теперь. Упор делается не на подготовку детей к будущему, а на их способность к качественному и значимому взаимодействию в настоящем. Предшественниками новой социологии детства в этом отношении можно считать этнометодологию, занимавшуюся, в том числе, микроанализом интеракционной компетентности детей в повседневной жизни, и культурную социологию, описывающую игры, обычаи и устойчивые социальные ритмы, характерные для отношений внутри различных возрастных групп детей в разных социальных контекстах.

Понятие генерационного порядка дает ключ к новому прочтению отношений между поколениями, или вертикальных поколенческих интеракций. Эти отношения предстают как «социальное соглашение между взрослыми и детьми, или как социальное установление, регламентирую-

щее права и обязанности возрастных категорий в соответствующих обществах; данное соглашение рассматривается при этом в качестве элемента социальной структуры, тесно связанного с прочими типами (неравного) распределения социальных ресурсов (класс, гендер, раса, культура)» (1, с. 159–160). До сих пор отношения между поколениями считались следствием требований социализации и, одновременно, условием ее осуществления; тем самым асимметрия генерационного порядка оправдывалась ссылками на человеческую природу. Теперь отправным пунктом для анализа этой асимметрии становится природа социальной структуры, а также тезис о социальной сконструированности того или иного типа генерационного порядка. Последний тезис является также основанием для критики адептами новой социологии детства традиционных и современных разновидностей теории социализации как «внеисторических», «сфокусированных на интересах взрослых», оправдывающих социальное неравенство в терминах отношений поколений. Отстаивая новый взгляд на детство, социологи этой ориентации выступают активными защитниками «прав ребенка» как представителя новых социальных меньшинств – его прав на полноценное и социально признанное участие в публичной и частной сферах общественной жизни в качестве легитимного социального актора, заключает Бюлер-Нидербергер.

Проблемы, обозначенные во введении к тематическому выпуску журнала, обсуждаются в десяти статьях, представляющих опыт социологического изучения детства в Финляндии, Великобритании, Бразилии, Австралии, Франции, Италии, Германии, Румынии, США и Нидерландах. Две основные темы, которые стремятся отразить авторы статей, – это, во-первых, положение детей в данной стране (в том числе – в историческом аспекте) и, во-вторых, история и современное состояние локальных исследований детства.

Подборку открывает статья *Харриет Стрэнделл* (Хельсинкский университет) (2), посвященная финской перспективе. Считается, что детство в качестве независимого объекта исследований ввел в научный оборот в 1960-е годы Филипп Арьес[1]. Что же касается современных собственно социологических исследований детства, то здесь в авангарде находились ученые из стран Северной Европы (Nordic countries). В 1980-е годы в работах таких исследователей, как Йенс Квортруп (Дания) и Лена Аланен (Финляндия), наметился отказ от господствовавшего в тот момент взгляда на детство исключительно как на период социализации (прежде всего, школьной)[2]. В связи с этим скандинавских и финских исследователей в значительно большей степени интересовали внешкольные, точнее внеобразовательные, контексты. Более того, они стали рассматривать дет-

[1] *Ariès Ph.* L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime. – P.: Plon, 1960.

[2] *Qvortrup J.* Introduction to the sociology of childhood // International j. of sociology. – Armonk (NY), 1987. – Vol. 17, N 3. – P. 3–37; *Alanen L.* Rethinking childhood // Acta sociologica. – L., 1988. – Vol. 31, N 1. – P. 53–67.

ство как надындивидуальную структурную социальную категорию, подобную классу и гендеру. Тем самым обозначилось размежевание как с педагогикой, так и с психологией и наметился переход от «социологии детей», которые изучались в рамках самых разных областей (социологии образования, социологии семьи и брака и пр.), к «социологии детства» как самостоятельной научной дисциплине[1].

Причины подобного успеха североевропейских и, в частности, финских исследований детства Харриет Стрэнделл видит в традиционном статусе детей в этих странах, с одной стороны, и в богатых традициях иных, прежде всего этнографических, исследований данного материала – с другой.

Еще в 1950-е годы Рафаэл Хеланко проводил исследования городского подросткового фольклора[2]. Его работы, а также последующие исследования Л. Виртанен, С. Кнутилы и У. Липпонен содействовали формированию в научном сообществе представления об автономном и самодостаточном мире детства со своими собственными играми, шутками, страшными историями и проч., – мире, где источником смысла является общение со сверстниками. К концу 1980-х годов в роли социальных акторов не отказывали уже и младенцам.

Таким образом, взгляд на детство сквозь призму психологии развития сменился синхронной перспективой, что способствовало становлению социологии детства, объектом изучения которой стали интеракции в детских сообществах. 1980-е годы явились периодом разработки теории в рассматриваемой дисциплине. Социологии детства было необходимо найти свое место, в том числе в рамках социологической науки. Был организован ряд международных проектов, объединивших ведущих скандинавских и финских исследователей, – например проект «Детство как социальный феномен» (1987–1992), проводившийся под эгидой Европейского центра социальной политики и исследований. В проекте, которым руководил Й. Квортруп, принимали участие видные североевропейские социологи, в частности Л. Аланен и М. Барди. В 1990–2000-е годы богатый материал для исследований дало изучение взаимодействий между детьми в детских садах и иных учреждениях дневного пребывания (day care institutions)[3].

Базовым основанием более раннего по сравнению с другими регионами становления современных социологических исследований детства в Финляндии и Скандинавских странах автор считает своеобразие североевропейских обществ, в частности отсутствие стойких патриархальных традиций и относительная религиозная свобода. В результате положение де-

---

[1] *Alanen L.* Explorations in generational analysis // Conceptualizing child–adult relations / Ed. by L. Alanen, B. Mayall. – L.: Routledge–Falmer, 2001. – P. 11–22.

[2] *Helanko R.* Turun poikasakit. – Turku: Turun yliopiston julkaisuja, 1953.

[3] *Strandell H.* Sociala mötesplatser för barn. – Helsinki: Gaudeamus, 1994; *Lappalainen S.* Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. – Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

тей здесь никогда не было исключительно зависимым и подчиненным – напротив, дети пользовались определенными правами. В 1910–1920-е годы началась разработка законодательства, направленного на укрепление и юридическую фиксацию равноправного положения детей в обществе. Новая волна соответствующего законотворчества пришлась на 1980-е годы. В частности, был официально оформлен запрет на телесные наказания. В 1980 г. в Норвегии – впервые в мире – был учрежден пост омбудсмена по делам детей.

Наряду с этим автор статьи отмечает и такую особенность развития стран данного региона, как поздняя модернизация, что особенно характерно именно для Финляндии. В результате вплоть до недавнего времени в обществе сохранялись живые воспоминания об аграрном прошлом страны, а значит, и образ рано становящегося самостоятельным ребенка. Тем не менее в последние годы под влиянием мирового опыта, ускорения процессов глобализации, роста миграции в страны Северной Европы акцент смещается в сторону социальной политики и в фокусе внимания оказываются прежде всего проблемные дети, усиливается контроль. Предоставленные самим себе дети работающих матерей начинают вызывать беспокойство, чего не было раньше.

В исследованиях также превалирует социально-политический аспект. По мнению автора, проводится мало качественных исследований – в частности, недостаточно изучается взаимодействие детей с такими социальными феноменами, как потребление, медиа, Интернет. Вместе с тем именно такие исследования, по мнению Х. Стрэнделл, являются наиболее востребованными в постсовременном социуме, тогда как исследования, посвященные вопросам социальной политики, могут таить в себе возвращение к модернистской перспективе формирования молодого поколения в соответствии с потребностями взрослых (что означает отказ от представления о детстве как о самодостаточном феномене). В связи с этим автор призывает развивать в исследованиях детства междисциплинарные подходы.

В заключение Х. Стрэнделл приводит показатели, характеризующие состояние финской социологии детства. В Финляндии отсутствуют специальные журналы по социологии детства, однако статьи, относящиеся к данной области исследований, регулярно публикуются в основных социологических журналах, таких как «Sosiologia» и др. По вопросам социологии детства осуществляются исследовательские проекты, проводятся конференции; в ряде университетов читаются соответствующие курсы.

В Великобритании у истоков исследований детства также стояли этнографы и антропологи. Внимания, в частности, заслуживают работы Ионы (Iona) и Питера Опи[1]. Тем не менее становление социологии детства, и прежде всего ее теоретического компонента, происходило под влиянием скандинавских и финских исследований, отмечает *Джо Моран-Эллис*

[1] *Opie I., Opie P.* Children's games in street and playground. – Oxford: Oxford univ. press, 1969.

(Университет Сюррея) (3), автор статьи, посвященной британскому опыту в данной области.

На рубеже 1980–1990-х годов исследования финских социологов, в частности Л. Аланен, заставили их британских коллег по-новому посмотреть на детей и детство. В 1990 г. вышел в свет сборник под редакцией Элисон Джеймс и Алана Праута, где утверждался статус ребенка как актора, действующего здесь и сейчас; детство же как феномен было представлено в качестве исторически изменчивого социального конструкта[1]. Тем не менее взгляд на детство сквозь призму процессов социализации трудно поддавался пересмотру в британской социологии, что, по мнению автора, обусловлено местными общественными и академическими традициями.

По словам Дж. Моран-Эллис, в Великобритании исторически превалируют два типа отношения к детям – как к тем, кто представляет угрозу для окружающих, и тем, для кого окружающие сами представляют угрозу. В обоих случаях дети не кажутся самостоятельными, равноправными членами общества, и их поведение необходимо контролировать, будь то с целью защиты или усмирения. Подобное отношение, признаки которого автор обнаруживает еще в документах XVIII в., стало наиболее очевидно в следующем столетии, когда, с одной стороны, появились законы, ограничивающие эксплуатацию детского труда, и развивалась филантропическая деятельность по отношению к детям, а с другой – складывалось законодательство, направленное на борьбу с малолетними преступниками.

В XX в. дети стали объектами теории и практики во вновь возникших дисциплинах – педиатрии и психологии развития. Наряду с педагогикой эти дисциплины в той или иной мере видели в ребенке становящегося индивида. После Второй мировой войны Великобритания, подобно другим странам Запада, пережила подъем семейных ценностей, и акцент на детях как членах семьи, а не самодостаточных субъектах, по-прежнему характеризует британскую социальную политику. С точки зрения автора, в британской социологии не сложилось необходимых условий для формирования социологии детства как отдельной научной дисциплины: все возникавшие вопросы решались в рамках образовательной социологии, социологии девиантности или социологии семьи. Изучение молодежных субкультур также оставалось достаточно замкнутой исследовательской областью. Таким образом, влияние финской социологии оказалось исключительно важным, и в 1990-е годы в Великобритании постепенно начали появляться значимые отечественные исследования.

Между 1995 и 2001 гг. под патронажем Совета по экономическим и социальным исследованиям (главного источника независимого государственного финансирования в области общественных наук в Великобритании) было организовано более 20 проектов, цель которых состояла в «получении нового знания о детях как социальных акторах и о развитии

[1] Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood / Ed. by A. James, A. Prout. – L.: Falmer, 1990.

теоретических, методологических и междисциплинарных исследований детства»[1]. Среди основных тем данных проектов и более поздних исследований – отношения между поколениями, права детей, жизнь детей после развода родителей, а также представления самих детей о том, что значит быть ребенком. В 2000 г. было начато серьезное лонгитюдное количественное исследование, в котором задействованы более 18 тыс. детей по всей стране, родившихся в том же году. Данные снимаются каждые несколько лет (последний раз – в 2008 г.). Исследователи стремились сделать выборку максимально репрезентативной, включив в нее детей из бедных районов, а также представителей этнических меньшинств, чтобы отразить картину «разных детств» (3, с. 193) и позволить зазвучать голосам тех, кого до сих пор не было слышно.

Подводя итог, автор отмечает, что в британских социологических исследованиях детства по-прежнему неопределенным остается статус самой дисциплины – как в академическом сообществе в целом, так и в социологической области в частности. Кроме того, автор считает, что представители других социологических направлений – таких, как социология труда, социология сексуальности, социологические исследования класса и гендера, – уделяют недостаточно внимания детям. Требует критического осмысления и текущая социальная политика, тем более что в последнее время можно наблюдать тенденции усиления контроля над детьми. С одной стороны, разрабатываются меры по борьбе с педофилией и по охране психического здоровья детей, с другой – ужесточилось законодательство в отношении подростков, которые могут представлять потенциальную угрозу для своих районов. С точки зрения Дж. Моран-Эллис, нельзя забывать и о том, что британские дети все еще пользуются крайне ограниченными правами, в том числе – по сравнению с их сверстниками в ряде европейских стран. Например, в 2004 г. в Англии и Уэльсе вышел закон, регулирующий зоны и силу шлепков, которыми родители пользуются в воспитательных мерах, однако полный запрет на телесные наказания введен не был.

Статистические характеристики социологии детства в Великобритании таковы. Издательство «Routledge» выпускает книжную серию «The future of childhood» под редакцией Алана Праута. Публикуются два журнала – «Childhood» и «Children & society». В других крупных журналах также регулярно выходят статьи, посвященные детям. Действуют постоянные исследовательские проекты; в британских университетах можно получить степень бакалавра и магистра в области социологии детства.

Авторы статьи, посвященной бразильской перспективе, *Лусия Рабеллу ди Кастру* (Университет Рио-де-Жанейро) и *Этель Космински* (Государственный университет Сан-Паулу) (4), включают в категорию «дети» индивидов до 14 лет. На территории всей Южной Америки их насчитывается около 140 млн., в связи с чем данная возрастная группа должна, по

[1] *Prout A.* Researching children as social actors: An introduction to the children 5–16 programme // Children a. society. – Oxford, 2002. – Vol. 16, N 2. – P. 67.

мнению авторов, привлекать особое внимание южноамериканских исследователей. В самой Бразилии дети составляют почти 30% населения, при этом среди них распространены высокая смертность, нищета, проституция; многие не посещают школу.

Бразилии, которая, по словам авторов, располагается на периферии западного мира, необходимо найти свою нишу в социологических исследованиях детства, учитывая европейский и североамериканский опыт. Авторы относят возникновение соответствующих исследований к началу XX столетия, а именно к социальным идеям наиболее просвещенных людей того времени – врачей и адвокатов. Такие авторы, как Раймунду Нина Родригес и Артур Монкорву Филью, опираясь на работы Герберта Спенсера, призывали лечить общество как человеческий организм; Нина Родригес проводил параллель между биологической природой и склонностью к преступной деятельности, что проявляется в самом раннем возрасте[1]. В 1920–1930-е годы врач и педагог Мануэл Бонфин указывал на важность образования в деле ликвидации культурного отставания Бразилии от развитых стран, в частности США.

В 1930-е годы появились и первые качественные исследования детства. В своем обширном социально-историческом труде Жилберту Фрейре проследил, как в ходе повседневного общения детей из богатых семей с нянями-рабынями формировались язык, а также привычки в еде и одежде молодого поколения правящего класса[2]. Следующее столь же значимое исследование осуществил уже в 1960-е годы Флорестан Фернандес, собиравший городской фольклор Сан-Паулу и описавший, как дети иммигрантов учат своих родителей местным песням. Это явление он назвал «обратной социализацией»[3].

Тем не менее со времени институционализации социологии в Бразилии в конце 1950-х годов и вплоть до 1980-х превалировали макросоциальные исследования. Среди центральных тем – становление социальных классов, миграция, урбанизация. Дети редко попадали в фокус внимания ученых, а если это и случалось, их положение рассматривали с точки зрения принятой методологии. Так, в детской беспризорности видели результат неудачной модернизации, которая не обеспечила необходимого количества школ, жилых домов и рабочих мест. При этом образ обездоленного ребенка закрепился в общественном сознании в качестве типичного бразильского ребенка. На рубеже 1970–1980-х годов Заиде Машаду Нету изу-

---

[1] *Moncorvo Filho A.* História de proteção à infância no Brasil, 1500–1922. – Rio de Janeiro: Empresa gráfica, 1926; *Nina Rodrigues R.* As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. – Salvador: Progresso, 1957. – 1ra ed. 1938.

[2] *Freyre G.* Casa-grande e senzala: Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarchal. – São Paulo: Global, 2005. – 1 ra ed. 1933.

[3] *Fernandes F.* Folclore e mudança social na cidade de São Paulo. – São Paulo: Anhambi, 1961.

чала детский труд с позиций неомарксизма[1]. На 1970–1980-е годы пришлось увеличение объема публикаций и в педагогических науках. В итоге к середине 1980-х годов сформировались две основные категории детей, «видимых» представителям общественных наук: обездоленные дети как объект социальной политики и «обычные» дети в системе образования.

В настоящее время в Бразилии наряду с усилением движений за права детей отмечается подъем исследований детства, многие из которых носят социально-политическую направленность и проводятся под патронажем ООН, ЮНЕСКО, МОТ и различных неправительственных организаций. Собственные исследования в рамках проектов в области образования и организации детского досуга заказывают крупные банки, государственные и частные предприятия. По словам авторов, наибольшую активность в сфере инициатив, посвященных детям, проявляют адвокаты, психологи, социальные работники. В последние годы наблюдается также становление антропологических исследований детства[2]. Что же касается собственно социологических работ, то они пока немногочисленны. Основной источник развития социологии детства авторы видят в социологии образования. При этом, с точки зрения Л. Рабеллу ди Кастру и Э. Космински, именно социологии детства предстоит сформировать реальный, не фантазийный образ бразильского ребенка, а также содействовать большей самореализации детей в обществе.

На данный момент специальная университетская программа по социологии детства в Бразилии отсутствует, однако в ряде университетов курсы по исследованиям детства читаются аспирантам, готовящим диссертации в области педагогики, психологии, социальной работы и здравоохранения. В 1989 г. Бразильский институт географии и статистики издал книжную серию по социальным индикаторам детства и подросткового возраста. С тех пор подобные серии выходят регулярно. С 2005 г. в структуре Бразильской социологической ассоциации существует рабочая группа по социологии детей и молодежи.

В своей статье об австралийской социологии детства *Роберт ван Крикен* (Сиднейский университет) (5) прежде всего отдает дань европейскому влиянию. Социологическим исследованиям детства в Австралии предстоит еще длинный путь. В Австралийской социологической ассоциации в настоящий момент отсутствует исследовательский комитет по социологии детства. Многие темы австралийские исследователи делят со своими европейскими коллегами (дети в опасности, дети и развод, меняющийся школьный опыт). Тем не менее существуют категории детей, являющиеся отражением типично австралийского опыта: дети-аборигены и дети-беженцы.

---

[1] *Machado Neto Z.* As meninas: Sobre o trabalho da criança e do adolescente na família proletária // Ciência e cultura. – Campinas, 1980. – Vol. 32, N 6. – P. 671–683.

[2] См., например: Crianças indígenas – ensaios antropológicos / Ed. por A. Lopes Silva, A. Macedo, A. Nunes. – São Paulo: Global, 2002.

Положение детей-аборигенов – одна из ключевых тем австралийской социологии детства. На протяжении большей части XX столетия с целью формирования в Австралии гомогенного общества детей коренного населения забирали у родителей и помещали в интернаты, где им прививали современную европейскую культуру. В итоге шестая часть всех аборигенов подверглась подобной насильственной аккультурации, и этот опыт, с точки зрения автора, до сих пор определяет самосознание многих взрослых австралийцев-аборигенов, порождая высокий уровень алкоголизма и насилия среди коренного населения[1].

В Австралии социальные вопросы детства традиционно рассматривались в области социальной политики, медицинских исследований и криминологии. И до сих пор «здоровье» и «безопасность» остаются опознавательными факторами, на которые ориентируются большинство ученых и которые увеличивают вероятность финансирования со стороны Австралийского совета по исследованиям. В 2005 г. Австралийское бюро статистики идентифицировало четыре основных направления исследований детства в стране: раннее детство и материнское здоровье, предотвращение жестокого обращения, экономические различия и образование.

Отдельный вопрос, которому уделяет внимание Р. ван Крикен, – это этический аспект исследований детства, поскольку дети являются одной из самых уязвимых категорий потенциальных респондентов. В частности, звучат призывы проводить не «исследования детей», а «исследования вместе с детьми», т.е. видеть в детях равноправных партеров по диалогу и информировать их о содержании исследовательского процесса, его задачах и результатах.

Что касается перспектив социологических исследований детства, то, с точки зрения автора, концептуализации требуют новые тенденции в положении детей в обществе. В частности, отношения между родителями и детьми становятся менее близкими и эмоциональными, более значимую роль в них начинают играть посредники – различные институты и медиа; складывается феномен «нового отцовства»: отец играет роль менеджера семейных инвестиций в образование[2].

Завершая свое исследование, Р. ван Крикен указывает, что специального журнала по социологии детства в Австралии пока нет, однако статьи о детях и детстве публикуются в таких крупных местных изданиях, как «Journal of sociology» и «Australian journal of social issues». Кроме того, Институтом семейных исследований в Мельбурне издается журнал «Fam-

---

[1] *Van Krieken R.* When is child welfare cultural genocide? On the politics of the organised «improvement» of children's lives // Political socialisation, participation and education: Change of epoch – processes of democratisation / Ed. by H. Sünker, R. Farnen, G. Szell. – Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2003. – P. 87–112.

[2] *Connell R.* The neoliberal parent: Mothers and fathers in the new market society // Mütter / Väter: Elternschaft zwischen medialen Inszenierungen and alltäglicher Praxis / Hrsg. von P.-I. Villa, B. Thiessen. – Münster: Westfälisches Dampfboot, 2009. – S. 35.

ily matters», большинство материалов которого составляют именно социологические исследования детства. Три австралийских университета предоставляют своим слушателям курсы по социологии детства, еще шесть – по социологии молодежи. Существует также несколько проектов и исследовательских сетей соответствующего интереса.

Как признает *Режина Сирота* (Парижский университет) (6), хотя именно француз Эмиль Дюркгейм в соавторстве подготовил для педагогического словаря первую статью под названием «Детство»[1], а другой француз, Филипп Арьес, представил детство в качестве самостоятельного объекта исследований, французские социологи вплоть до недавнего времени не проявляли большого интереса к данной возрастной категории. Тем не менее в последнее десятилетие этот интерес значительно повысился.

В первую очередь автор отмечает крайне фрагментированный характер соответствующих исследований. В 1994 г. Сюзанна Молло впервые предприняла попытку представить цельную картину данной области социологии во Франции[2]. В 1998 г. в работе, опубликованной в журнале по социологии образования «Éducation et sociétés», автор настоящей статьи Р. Сирота предложила расширить понимание процесса обучения детей и вынести его за пределы школьной системы[3]. В целом автору видится развитие исследований детства на протяжении 1990-х годов как движение от демографии к антропологии. В рамках последней были подготовлены обширные труды исторической направленности[4]. В современной Франции антропологи изучают новые формы детства, родительства, продолжения рода[5]. В 2000-е годы исследования детства появились и в области политической философии, что ознаменовалось выходом в 2004 г. специального номера журнала интеллектуальных исследований «Débat», посвященного ребенку как проблеме («l'enfant problème»).

Что касается институционализации, то основной организацией, где концентрируются усилия французских социологов, занимающихся вопросами детства, является исследовательский комитет по социологии детства в рамках Международной ассоциации франкоговорящих социологов. Помимо социологов из Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады в работе комитета, проводящего ежегодные Дни социологии детства, принимают участие также ученые из Румынии, Бразилии, Италии, Португалии и

---

[1] *Durkheim E., Buisson F.* Enfance // Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'éducation primaire / Sous la dir. de E. Durkheim, F. Buisson. – P.: Hachette, 1911. – P. 552–553.

[2] *Mollo S.* Présentation // Revue de l'Institut de sociologie. – Bruxelles, 1994. – N 1–2. – P. 11–13.

[3] *Sirota R.* L'emergence d'une sociologie de l'enfance: Évolution de l'objet, évolution du regard // Éducation et sociétés. – Bruxelles, 1998. – N 2. – P. 9–34.

[4] См., например: *Crubellier M.* L'enfance et la jeunesse dans la société française, (1800–1950). – P.: Colin, 1975.

[5] *Cadoret A.* L'apport des familles homoparentales dans le débat actuel sur la construction de la parenté // L'Homme. – P., 2007. – N 183. – P. 55–76.

Германии. Языковой принцип, лежащий в основе подобной организации, имеет и свою оборотную сторону: по признанию автора, французские социологи мало знакомы с работами, написанными не только на немецком или испанском, но даже на английском языке.

На национальном уровне исследовательские программы часто учреждаются теми или иными министерствами. Например, Министерство культуры недавно организовало исследования культурных практик и досуговой активности детей. Министерство науки провело исследование стратегий детей как потребителей. Крупный лонгитюдный проект осуществляется в настоящее время министерствами образования и здравоохранения совместно с Национальным институтом демографических исследований и Национальным институтом статистических и экономических исследований. В рамках данного проекта планируется собрать и проанализировать данные о 20 тыс. детей от их рождения до совершеннолетия.

Автор отмечает несколько важных, с ее точки зрения, проблемных аспектов в современных французских исследованиях детства. Это вопрос о границах детства и о соотношении детства и молодости в соответствующих исследованиях; взгляд на ребенка как на субъекта актуальных дискурсов и постмодернистской рефлексии; взаимодействие между концептами «ребенок-король», «ребенок-проблема» и «ребенок-желание»[1]. В публичных дискуссиях превалируют темы ущемления прав детей, жестокого обращения с ними, выбора между политикой защиты и наказания (что побудило некоторых исследователей говорить о возвращении биовласти).

В заключение автор намечает задачи и перспективы развития социологии детства во Франции. На ее взгляд, во-первых, существенным представляется вопрос о методологическом статусе данной области в рамках социологической дисциплины, в частности о том, какие подходы (конструктивистские, интеракционистские, индивидуалистские) являются наиболее актуальными. Во-вторых, она считает необходимым с социологической точки зрения обратиться к проблеме ребенка как «другого», а также пересмотреть концепцию социализации, дополнив ее такими феноменами, как рынок и массмедиа. В будущем автор ожидает развития междисциплинарных исследований, поскольку, в частности, наиболее эвристические вопросы поднимаются политической философией, а без учета экономических подходов невозможно изучать проблемы детской бедности. Автор призывает также повысить этическую культуру исследований, заботясь о соблюдении прав детей. Наконец, она советует коллегам уделять внимание «обычному» детству и оставаться на критических позициях, проводя различие между публичными дискуссиями и научными исследованиями, а также видеть глобальную картину и использовать мировой опыт.

Завершает свое исследование Р. Сирота указанием на то, что в шести (включая три парижских) университетах Франции на факультетах со-

[1] *Hermange M.-Th.* L'enfant soi-disant Roi. – P.: Michel, 1999; *Gauchet M.* L'enfant du désir // Le débat. – P., 2004. – N 132. – P. 98–121.

циологии, антропологии и педагогики в настоящее время читаются курсы по социологии детства.

Клаудио Баральди (Университет г. Модена и Реджо-Эмилия) (7) посвящает свою статью вопросам участия детей в гражданском обществе как основному направлению инициатив с участием детей в Италии. Автор отмечает, что в 1970–1980-е годы исследований, касающихся детей моложе подросткового возраста, в Италии практически не проводилось, в то время как подростки изучались в рамках социологии молодежи[1]. Социологические исследования молодежи, по мнению Баральди, были обусловлены обеспокоенностью старшего поколения тем, что молодое поколение может отвергнуть существующие социальные нормы. Данные исследования испытали сильное влияние социальной психологии, и потому подростковый возраст рассматривался здесь как период становления идентичности человека, а значит, как время психологических кризисов и конфликтов.

Наряду с этим в рамках итальянской педагогической школы во второй половине XX столетия сложилось особое направление, получившее мировую известность как «подход Реджо Эмилии» (по названию местности, где он впервые начал применяться на практике). Специфика данного подхода состоит в том, что дети младшего школьного возраста – а именно они являются субъектами настоящей практики – учатся не только у учителей, но и у всех, кто их окружает (родители, одноклассники, соседи), а также у окружающей природы. В основе рассматриваемого подхода лежит уважение к ребенку и уверенность в том, что он способен не просто выучить заданное, но понять то, чему он обучается. Дети, таким образом, становятся активными участниками образовательного процесса и уже в раннем возрасте ответственно строят свои взаимоотношения с окружающими людьми.

В Италии существуют и другие традиции участия детей в общественной жизни. В 1991 г. в городе Фано была начата программа, получившая название «Город детей» («La città dei bambini»). Это был первый проект в ряду многочисленных начинаний, осуществленных в последующие годы в разных регионах Италии и направленных на повышение роли детей в развитии городов и принятии общественно важных решений. Основными направлениями данных инициатив стали детское представительство в органах власти и участие детей в городском планировании. Кроме того, реализовывались проекты по обеспечению большей автономии и мобильности детей в их передвижениях по городу, для чего, в частности, ограничивалось движение транспорта, особенно в зонах наиболее частого присутствия детей.

Одновременно с этим итальянские социологи приняли участие в ряде международных проектов, где получили возможность познакомиться с современными течениями в финских и скандинавских исследованиях дет-

[1] См., например: *Ricolfi L., Sciolla L.* Senza padri né maestri. – Bari: De Donato, 1980.

ства. В итоге в Италии появились работы, в которых детство рассматривалось как отдельная социальная категория, независимая от вектора развития в направлении взрослого возраста[1]. В 1995 г. в Университете г. Урбино была образована рабочая группа по изучению детей и подростков, а в 1997 г. во Флоренции был создан Национальный центр документации и анализа по проблемам детства и подросткового возраста.

В 1990-е годы популярностью у исследователей пользовалась тема взаимоотношений детей и подростков со сверстниками; изучался опыт участия детей в общественной жизни, публиковалось немало качественных исследований. Однако в следующем десятилетии акцент как общественных дискуссий, так и научных разработок сменился. Пришедшее в новом тысячелетии к власти правительство не было заинтересовано в продолжении проектов по активизации участия детей в гражданском обществе, в результате чего многие инициативы сошли на нет. Кроме того, на первый план вышли проблемы миграции и положения цыганского населения. Тем не менее автор считает, что, обладая столь богатыми традициями, итальянская социология должна развивать исследования детства. Необходимо анализировать детский опыт в новой мультикультурной среде, актуальным остается и изучение участия детей в гражданском обществе.

В заключение К. Баральди приводит данные о состоянии социологии детства в Италии. Единственный итальянский журнал в данной области, «Childhood & society / Infanzia e società», издается в США, но на итальянском языке и на средства итальянских научно-издательских фондов. Существующие университетские курсы включают в себя программы по педагогике и социальной работе. Из действующих проектов следует отметить проект CAMINA, учрежденный Национальной ассоциацией муниципалитетов и содействующий развитию городов, «дружелюбных» по отношению к детям и подросткам. Под патронажем CAMINA организуются конференции и семинары с целью повышения интереса к детям в обществе, издается книжная серия, в которой отмечаются успехи итальянских городов в соответствующей деятельности и периодически публикуются статьи по различным направлениям исследований детства.

Хельга Цайер (Институт Макса Планка, Берлин) (8) соотносит становление социологии детства в Германии с широким местным социологическим контекстом.

Особое направление немецкой социологии традиционно составляют исследования поколений. После Первой мировой войны различия между поколениями отцов и детей стали очевидны – с этим связывают возникновение социологии молодежи, которая была призвана отразить социальный опыт молодых. В 1920-е годы один из ведущих представителей социологии знания Карл Манхейм сформулировал понятие «поколение» («Genera-

[1] *Maggioni G., Baraldi C.* Children's rights and contemporary sociological perspectives of childhood // 60 maal recht en 1 maal wijn: Sociology of law, social problems and legal policy / Ed. by F. van Loon, K. van Aeken. – Leuven: ACCO, 1999.

tion»), обозначив так группу людей, которые обладают сходными представлениями о социальной реальности благодаря тому, что родились в одно время и разделили единый опыт в молодости[1].

В 1980-е годы с поколений молодежи смысловой акцент переместился на «поколения детей». Первые исследования такого рода были посвящены «поколению детей Второй мировой войны»[2], где сопоставлялось детство этих людей с опытом последующих поколений. Тем самым, по мысли автора, интерес представляла уже не последовательная смена поколений в историческом времени, а своеобразие определенного детства как социальной структуры в обществе того или иного времени. В этом автор видит одно из главных оснований формирования немецкой социологии детства. Отдельный аспект поколенческих исследований касается межпоколенческих отношений современников, в частности вопроса передачи социального и культурного капитала от прародителей к детям и внукам[3].

В 1970-е – начале 1980-х годов как следствие студенческих волнений конца 1960-х в немецкой системе образования произошли значительные изменения. В педагогической теории, а также в социологии образования дети стали рассматриваться в качестве более автономных и самодостаточных субъектов, что также способствовало пониманию детства как потенциально независимого объекта исследований. В итоге в 1980 г. 15 социологов из секции по социологии образования Социологической ассоциации Германии объединились для изучения актуальных «трансформаций феномена детства». В 1994 г. это объединение получило официальный статус рабочей группы, а с 1997 г. в Социологической ассоциации Германии существует секция по социологии детства.

Со времени первой институционализации с целью развития теории немецкие социологи стремились изучать детский опыт в чистых контекстах – вне семьи и школьных уроков, а именно в общении с ровесниками, при проведении досуга, на факультативных занятиях в школе. Среди методов выделялись биографические исследования, интервью, дискурсивный анализ[4]. Вместе с тем было отмечено, что на экзистенциальном уровне по-

---

[1] *Mannheim M.* Das Problem der Generationen // Kölner Viertelsjahreshefte für Soziologie. – B., 1928. – Jg. 7, H. 2. – S. 157–184.

[2] Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder: Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg / Preuß-Lausitz U., Büchner P., Fischer-Kowalski M., Geulen D., Karsten M.E., Kulke Ch., Rabe-Kleberg U., Rolff H.-G., Thunemeyer B., Schütze Y., Seidl P., Zeiher H., Zimmermann P. – Weinheim; Basel: Beltz, 1983.

[3] *Büchner P.* The transmission of social and cultural capital between family generations // Childhood in generational perspective / Ed. by B. Mayall, H. Zeiher. – L.: Univ. of London press, 2003. – P. 71–86.

[4] *Behnken I., du Bois-Reymond M., Zinnecker J.* Stadtgeschichte als Kindheitsgeschichte. – Opladen: Leske + Budrich, 1989; Was tun Kinder am Nachmittag? Ergebnisse einer empirischen Studie zur mittleren Kindheit / Hrsg. von Deutsches Jugendinstitut. – Weinheim; Munich: Juventa, 1992; *Breidenstein G., Kelle H.* Geschlechteralltag in der Schulklasse: Ethnographische Studien zur Gleichaltrigenkultur. – Weinheim; Munich: Juventa, 1998.

добные исследования в наибольшей мере отражают современную ситуацию, поскольку дети превращаются во все более самостоятельных социальных акторов[1]. Сверстники становятся важнее родителей, досуг и медиа – важнее школьных занятий. Физическая дистанция между детьми и взрослыми увеличивается, поскольку дети проводят все меньше времени с родителями, но сокращается дистанция нематериальная, так как по возможностям социальной самореализации молодое поколение приближается к своим старшим современникам. Нивелируется и разница в знаниях о наиболее важных тенденциях в современном мире. При этом такая ситуация чревата для современных детей повседневными рисками, каких не знали их ровесники в прошлом. В последние годы популярностью пользуются также исследования детства в меняющемся государстве всеобщего благосостояния[2].

Как отмечает в заключение Х. Цайер, социологические исследования детства в Германии возникли в недрах социологии образования, и при том, что вскоре эти исследования обрели самостоятельность, взаимопроникновение концепций между этими двумя дисциплинами продолжается. Вместе с тем, по мнению автора, в ближайшее время социология детства станет более видимой и в структуре социологической области в целом.

Специальный журнал по социологии детства в Германии на данный момент отсутствует – в качестве наиболее близкого к таковому Х. Цайер называет журнал по социологии образования и социализации «Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation»: именно здесь публикуются актуальные статьи в рассматриваемой сфере. Книжные серии соответствующего направления выпускаются издательствами «Juventa» и «VS» – Verlag für Sozialwissenschaften. В Техническом университете Магдебурга читается курс по общим исследованиям детства, а в Свободном университете Берлина и Университете Вупперталя можно получить магистерскую степень по правам ребенка и социальным услугам детям и молодежи.

Единственная страна Восточной Европы, представленная в настоящем обзоре, – Румыния. Как отмечает автор статьи *Элизабета Станчиулеску* (Университет им. А.И. Кузы, г. Яссы) (9), у Румынии накоплен богатый опыт в концептуализации детства. Еще в конце XIX столетия румынские социалисты сформулировали ряд принципов в отношении воспитания и образования детей. В соответствии с этими принципами (впоследствии воспринятыми коммунистической идеологией), дети олицетворяют собой будущее страны, в связи с чем государство имеет право не только контролировать выполнение гражданами своих родительских обязанностей, но и принимать на себя функции учителя и воспитателя под-

---

[1] *Zeiher H.* Children's islands in space and time: The impact on spatial differentiation on children's ways of shaping social life // Childhood in Europe / Ed. by M. du Bois-Reymond, H. Sünker, H.-H. Krüger. – N.Y.: Peter Lang, 2001.

[2] Kindheit im Wohlfahrtsstaat: Gesellschaftliche und politische Herausforderungen / Hrsg. von R. Kränzl-Nagl, Th. Olk, J. Mierendorff. – Frankfurt a. M.; N.Y.: Campus, 2003.

растающего поколения. Дети представлялись воском, из которого можно слепить именно таких людей, которые понадобятся в обществе будущего[1].

На этом фоне в 1930–1940-е годы в рамках Бухарестской социологической школы сформировалось оригинальное направление исследований детства, получившее наименование «социология ребенка». Основываясь на принципе «социального единства», разработанном французским социологом Фредериком Ле Пле, бухарестские исследователи изучали локальные, прежде всего деревенские, сообщества во всех их основных аспектах – космологическом, биологическом, психологическом и историческом. В подобной нераздельности исследовались и детские сообщества. В итоге был сделан вывод, звучащий, с точки зрения автора, крайне современно: в детских играх можно проследить такие же взаимоотношения, институты и иерархические структуры, как и во взрослых обществах. По словам одного из ведущих представителей рассматриваемой школы Анри Шталя, считавшего детские сообщества наиболее устойчивыми из всех традиционных культур, каждый ребенок последовательно переходит из одной возрастной группы в другую, при том что сами группы не меняются[2]. Вступая в новое сообщество, ребенок усваивает новые нормы, ритуалы, игры. Игры, в которые он играет, те же, в которые играли его родители. Однако не они его им научили – он их знает просто в силу своего статуса ребенка определенного возраста. Свои исследования Шталь называл «социальной археологией».

В середине XX в. социология в Румынии была заклеймена как «буржуазная» наука, и в социологических исследованиях детства наступил спад. Возрождение социологии во второй половине 1960-х годов не повлекло за собой возврата к качественным социокультурным исследованиям, которые велись в 1930–1940-е годы. Теперь местных социологов интересовали иные темы – модернизация, индустриализация, урбанизация, – и те или иные процессы в жизни детей стали рассматриваться в зависимости от макросоциальных показателей.

В настоящее время, несмотря на посткоммунистическое изобилие специальной литературы и отсутствие трудностей в доступе к актуальным зарубежным исследованиям, отечественных трудов в области социологии детства в Румынии выходит немного, в том числе по сравнению с числом работ о детях в области психологии, педагогики, теории социальной работы и медицины. Особенно мало инновационных исследований. Такое положение дел автор связывает с длительной идейной монополией марксизма, в результате чего исследователи потеряли вкус к оригинальным теоретическим разработкам, так что сейчас им проще эксплуатировать

[1] Evolutia ideilor despre educatie si invatamint in gindirea scriitorilor romani din cele mai vechi timpuri pina la infaptuirea statului national unitar / Ed. de M. Iordanescu. – Bucharest: Eminescu, 1984.

[2] Nerej: Un village d'une région archaïque: Monographie sociologique / Sous la dir. de H.H. Stahl. – Bucharest: Institut de sciences sociales de Roumanie, 1939. – Vol. 2: Les manifestations spirituelles.

существующие западные теории. Кроме того, под влиянием различных неправительственных международных организаций акцент делается на социально и политически ущемленные категории населения – это касается и детей; в итоге из поля зрения уходят «нормальные» дети – основной источник развития теории в социологии детства. Приоритет отдается также количественным исследованиям, поскольку их результаты выражаются в измеряемых показателях. Качественные исследования, напротив, достаточно редки. Одно из них было проведено автором статьи, собравшей жизненные истории детей и молодежи (от 9 до 22 лет) и сопоставившей их с историями их родителей[1].

Большой потенциал для развития в Румынии социологических исследований детства автор видит в новом открытии наследия Бухарестской школы социологии и содержащихся в нем идей о роли детей в обществе. Среди этих идей – как традиционные, так и современные; к первым относится представление о ребенке как о центральном элементе домохозяйства и главной причине заключения брака; в рамках последних дети видятся социальными акторами, интерпретирующими и преобразующими социальный мир.

В данное время социология детства в румынской социологии остается крайне обособленной исследовательской областью. В своем финальном обзоре Э. Станчиулеску указывает, что работы, посвященные детям, чаще можно встретить в журналах, освещающих вопросы социальной политики, нежели в журналах по общей социологии, таких как «Sociologie romaneasca». Университетские курсы и действующие на постоянной основе исследовательские проекты в настоящий момент отсутствуют.

Как указывает *Лоретта Бейсс* (Университет штата Оклахома, г. Норман) (10), автор статьи, представляющей американскую перспективу в настоящих исследованиях, на раннем этапе своего развития социология детства в США во многом ориентировалась на работы европейских, прежде всего финских, скандинавских и британских социологов. С тех пор американские социологические исследования детства значительно продвинулись как в содержательном, так и в институциональном плане. В 1992 г. в структуре Американской социологической ассоциации появилась секция по социологии детства («Sociology of children» section).

Автор обозначает три основных направления американской социологии детства – конструктивистское, структурное и демографическое. Начало конструктивистскому направлению, в рамках которого исследуется сконструированность жизненного опыта, положили работы Уильяма Корсаро, анализировавшего (на рубеже 1980–1990-х годов) процесс формирования детских представлений под влиянием общественных норм, ценно-

[1] *Stanciulescu E.* Tel enfant, tels parents: De la redéfinition et de la construction de l'enfance et de la parentalité // Enfances: Perspectives sociales et pluriculturelles / Sous la dir. de R.B. Dandurand, R. Hurtubise, C. le Bourdais. – Sainte-Foy: Institut québécois de recherche sur la culture, 1996. – P. 237–258.

стей, повседневных взаимодействий и их обратного влияния на указанные социальные факторы[1]. Патриция и Питер Адлер изучали, как дети среднего школьного возраста стратифицируют свой мир; позже Барри Торн провела аналогичное исследование, основываясь на опыте детей младшего школьного возраста[2]. Как было подмечено в последние годы, уже в возрасте двух лет дети демонстрируют предпочтения в пользу определенного пола и расы при организации своих социальных контактов[3].

Сторонники структурного направления видят в возрасте (в данном случае – детском) устойчивую структуру, подобную классу или гендеру. Патриция Пассут наблюдала, как 5–10-летние определяют себя и друг друга как «маленьких» и «больших» детей, соответственно[4]. А Аннет Ларо, объединив в своей работе категорию детства с другими базовыми социальными категориями, исследовала, как американские семьи, принадлежащие к различным расам и классам, обеспечивают то или иное детство своим детям[5].

В социально-демографических исследованиях, которые также имеют место в США, сопоставлению подлежат такие факторы, как профессиональная занятость родителей и их доход, вовлеченность в систему медицинского страхования, стабильность семьи, с одной стороны, и благополучие детей – с другой. Интерес, например, представляют данные, характеризующие положение детей после развода родителей. В соответствии с одними работами, развод производит исключительно негативное воздействие, тогда как согласно результатам других исследований, дети разведенных родителей более самостоятельны по сравнению со сверстниками, живущими в полных семьях[6]. Кроме того, с разводом стихают конфликты, что также может оказывать положительный эффект на субъективное благополучие детей.

В 2000 г. секция по социологии детства в рамках Американской социологической ассоциации изменила свое название на секцию по «социологии детей и молодежи», что, как представляется, более адекватно отображает исследования, осуществляемые в отношении старших подростков. В методологическом отношении большинство американских исследователей детства придерживаются подхода, в соответствии с которым

---

[1] *Corsaro W.* Routines in the peer culture of American and Italian nursery school children // Sociology of education. – L., 1988. – Vol. 61, N 1. – P. 1–14.

[2] *Adler P., Adler P.* Peer power: Preadolescent culture and identity. – New Brunswick (NJ): Rutgers univ. press, 1988; *Thorne B.* Gender play: Girls and boys in school. – New Brunswick (NJ): Rutgers univ. press, 1993.

[3] *Thompson M., Grace C., Cohen L.* Best friends, worst enemies: Understanding the social lives of children. – N.Y.: Ballantine books, 2001.

[4] *Passuth P.M.* Age hierarchies within children's groups // Sociological studies of child development. – Bingley, 1987. – Vol. 2. – P. 185–203.

[5] *Lareau A.* Unequal childhoods: Class, race and family life. – Berkeley: Univ. of California press, 2002.

[6] *Smart C., Neale B., Wade A.* The changing experience of childhood: Families and divorce. – Cambridge: Polity, 2001.

ставка делается на междисциплинарность, тем не менее ученые предпочитают оставаться в рамках своих дисциплин, будь то социология, антропология или психология. При этом существуют и более радикальные позиции – например, та, согласно которой исследования детства (childhood studies) представляют собой отдельную научную область, организованную на основании объекта исследований, а не дисциплинарных границ[1].

Среди актуальных и перспективных направлений социологии детства автор статьи выделяет социальную политику и права детей, в том числе – с точки зрения борьбы с бедностью, с одной стороны, и развития эмпауэрмента – с другой. Автор призывает углублять эмпирические исследования и совершенствовать тем самым наше знание о детстве.

В заключение Л. Бейсс указывает, что в настоящее время в США выходят три книжные серии – «Childhood studies», «Children at risk» и «Sociological studies of children and youth». Колорадским университетом издается журнал «Children, youth & environment». В трех университетах существуют образовательные программы по исследованиям детства.

Статья *Ринеке ван Дален* (Амстердамский университет) (11) дает представление о состоянии социологических исследований детства в Нидерландах. По оценке автора, социология детства в этой стране по сравнению со странами, охарактеризованными выше, находится еще на самой ранней ступени своего развития. Во второй половине XX столетия в Нидерландах сформировались такие дисциплины, как социология образования и социология семьи. Большинство исследований до сих пор осуществляются в этих рамках, но практически никакие из них нельзя отнести к социологии детства (и сами они не идентифицируют себя соответствующим образом), поскольку детство не рассматривается здесь ни как социальная категория, ни как единица анализа. Автор с сожалением отмечает также, что ученые, изучающие детство, – социологи, педагоги, антропологи, психологи, историки, – рассеяны по стране и фактически не знакомы с работами друг друга.

Традиционное положение детей в голландском обществе, с точки зрения автора, не способствовало выделению детства в качестве самостоятельного объекта исследований. Идеал семьи в Голландии – это семья патриархальная, в которой дети находятся на попечении матери, и этот идеальный образ, по признанию автора, до сих владеет умами голландцев. Забота о ребенке и решение каких бы то ни было связанных с ним проблем (за исключением тех случаев, когда ребенок, по мнению властей, начал представлять угрозу для общества) считались внутренним делом семьи. До 1970-х годов в публичном дискурсе отсутствовала фраза «жестокое обращение с детьми». В 1960–1970-е годы замужние женщины и даже матери маленьких детей стали выходить на работу. Семейная идиллия была поколеблена, забота семьи о детях престала носить всеобъемлющий ха-

[1] *Boocock S., Scott K.A.* Kids in context: The sociological study of children and childhoods. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2005.

рактер. Тем не менее адекватной государственной системы дневных детских учреждений создано не было. В итоге многие родители прибегают к неформальной помощи, чаще всего – членов семьи. Начиная с 1970-х годов матери объединялись, чтобы по очереди следить за детьми во время обеденного перерыва в школе; затем для этой работы стали нанимать няню – сейчас данная функция переходит к школе, однако популярностью подобные меры не пользуются. Тем самым, по словам автора, в современной Голландии забота о детях представляет собой смесь коммерциализации и неформальности, озабоченности и небрежения, а дети пребывают во взвешенном состоянии между частной и публичной сферами.

В соответствии с данными ЮНИСЕФ, голландские дети признаны самыми счастливыми в мире[1]. Автор подвергает сомнению данные выводы, тем более что существуют категории детей, чье положение радикально отличается от остальных. Так, дети нелегальных мигрантов не обладают никакими правами, включая доступ к медицинской помощи и образованию.

В Голландии исследования в области социологии, которая, согласно автору, не имеет здесь обширных университетских традиций, во многом зависят от направления общественных дискуссий. Ученым, чьи проекты выходят за привычные рамки, труднее получить финансирование. Исследования, посвященные детям, крайне ограниченны. Периодически эта категория населения оказывается в фокусе отчетов, которые институт независимых исследований «Sociaal en culturteel planbureau» представляет парламенту и правительству. Регулярный характер носит отчет о положении молодежи; в 2007 г. был подготовлен отчет о детской бедности. Среди научных работ наиболее интересными на данный момент автору представляются этнографические и антропологические работы. Она, в частности, выделяет исследование Сюзанны Кёйк о притеснениях в школе и их воздействии на детскую самоидентификацию, работу Элли Сингер и Жанетт Дорненбал, собравших детские рассказы о дружбе и предательстве, диссертацию Кристин Деддинг, где анализируются различия в рассказах детей и их родителей о «жизни с диабетом»[2]. Отмечает автор и серию историко-социологических исследований, в которых сопоставляются особенности социальных контактов детей в 1950-е годы и в начале XIX столетия[3]. Ни о каких исследовательских сетях или соответствующих университетских курсах, по-видимому, за их отсутствием на данный момент, Р. ван Дален не упоминает.

---

[1] Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries. – Florence: UNICEF Innocenti research centre, 2007.

[2] *Kuik S.* Mag ik op je rug? Van de kinderen en hun dagen met vriendschap en ruzie. – Amsterdam: Spinhuis, 1996; *Singer E., Doornenbal J.* Learning morality in peer conflict: A study of schoolchildren's narratives about being betrayed by a friend // Childhood. – L., 2006. – Vol. 13, N 3. – P. 225–245; *Dedding Ch.* Delen in macht en onmacht. – Amsterdam: Univ. van Amsterdam, 2009.

[3] *Bouw C., Karsten L.* Stadskinderen. – Amsterdam: Aksant, 2004.

Обзор новой социологии детства завершает статья *Д. Бюлер-Нидербергер* (12), где анализируется общее и особенное в подходах к феномену детства в десяти национально-культурных контекстах, а также акцентируются теоретические и методологические аспекты этой субдисциплины, которые «выходят за рамки прикладного, или частного, исследования» и могут быть полезны в качестве «весьма ценных перспектив социологического знания в целом» (12, с. 369).

В первую очередь Бюлер-Нидербергер отмечает неравномерность развития новой социологии детства в вышеназванных странах, связывая этот факт с наличием / отсутствием интереса к данной теме в национальном обществознании. Так, в Финляндии социология обратилась к феномену детства еще в 50-е годы прошлого века; с тех пор в этой стране были разработаны солидные исследовательские программы, которые подготовили возникновение современной социологии детства как влиятельной отрасли национальной науки об обществе. В Нидерландах, напротив, социология детства как таковая еще не сложилась, налицо лишь разрозненные публикации, касающиеся положения и роли ребенка в семье и обществе. В Румынии традиция изучения детства как социального феномена, заложенная Бухарестской школой социологии, была на долгие годы прервана коммунистическим режимом. Во Франции, несмотря на классические труды Ф. Арьеса, социология детства начала складываться относительно недавно; ее отличительные особенности связаны с попытками использовать наследие М. Фуко (концепцию власти-знания), а также увидеть в ребенке не только объект социально-педагогического воздействия, но и субъекта социального действия. В Германии, где детство так и не стало предметом специального социологического анализа, его изучение протекает на стыке педагогической науки и социологии образования; педагогический уклон имеет и итальянская социология детства. В Великобритании новая социология детства зародилась и успешно развивается в лоне социального конструкционизма; она характеризуется тематическим разнообразием и стремлением привлечь детей в качестве «социальных аналитиков» в ходе включенного наблюдения. В Австралии преобладает критический фокус изучения детства – преимущественно проблем аборигенов и социальных маргиналов на фоне европейской культурной экспансии. Бразильские исследователи опираются на традиции культурной и социальной антропологии, но в целом социология детства делает там еще первые шаги. Наибольшим международным влиянием пользуются сегодня работы ученых из США, однако в изучении детства здесь традиционно превалируют междисциплинарный, или комплексный, подход, а также очевидная прагматическая ориентация (проблемы благосостояния, образования, здравоохранения, защиты прав ребенка и т.п.). Собственно социологический анализ мира детства в США оказывается встроенным в более общие дискуссии о социальном неравенстве в самых разных его проявлениях, констатирует Бюлер-Нидербергер.

Национальная специфика социологии детства тем не менее не является препятствием для ее конституирования в виде целостной социальной субдисциплины. Об этом, в частности, свидетельствуют те методологические уроки, которые может и должна извлечь магистральная социологическая наука из опыта изучения детства в разных странах. Социологический анализ детства, в особенности в его новых формах, дает ключ к более глубокому пониманию современного западного общества. Это своего рода «магический кристалл» или «рентгеновский луч», высвечивающий латентные проблемы и процессы социальной реальности в ее «взрослом варианте», утверждает автор (12, с. 370). С одной стороны, мир детства в специфической форме воспроизводит структурообразующие факторы социального мира и нормы социального общежития, транслируя в сферу детских интеракций отношения социального неравенства (классовые, гендерные, расовые, статусные и т.д.). С другой стороны, в условиях резких социальных и политических сдвигов дети – посредством семьи – становятся соучастниками переопределения социальной реальности в новых категориях.

Сопоставление эмпирических исследований детства в десяти странах, а также итоговых выводов социологов, представляющих национальные разновидности новой социологии детства, позволяет выявить ряд общих тенденций в трактовке проблемы «дети и общество». В первую очередь обращает на себя внимание тот факт (противоречащий исходным установкам этой субдисциплины), что «дети рассматриваются как более или менее маргинальная социальная группа», независимо от уровня развития страны и направления ее социальной политики (12, с. 373). Сказанное означает, что ни общество, ни его аналитики «не признают за детьми права быть значимыми социальными акторами, участвующими в публичном дискурсе, даже если речь идет о них самих» (12, с. 373). Эта тенденция, которая лишает детей права голоса, влечет за собой другую – трактовку данной социально-возрастной группы в терминах социального утилитаризма, т.е. как «человеческий капитал», который может быть использован в будущем. Такой подход предполагает строгий контроль и репрессивные меры по отношению к любым поведенческим отклонениям от норм взрослого социального общежития. При этом государство и общество, руководствуясь принципами неолиберализма, стремятся переложить ответственность за воспитание адекватных субъектов социального порядка на семью и само подрастающее поколение.

Подход к детству как к «резервуару» или «накопителю» человеческого капитала обусловливает повышенное внимание аналитиков к его неблагополучным сегментам (дети-сироты, иммигранты, маргиналы, девианты), тогда как проблемы «нормального детства» в современном западном обществе остаются в тени. Подобный перекос исследовательского (и общественного) внимания характерен не только для стран, где детская преступность составляет реальную проблему (Бразилия, Румыния), но и для вполне благополучных в этом отношении государств (Великобрита-

ния, ФРГ, Нидерланды). В результате «мир детства рассматривается по преимуществу в качестве социальной угрозы», причем и в повседневном, и в научном дискурсах постепенно стирается различие между ребенком-правонарушителем и ребенком – жертвой социального порядка.

Несмотря на то что адепты новой социологии детства настаивают на деконструкции его стереотипных трактовок как социальной периферии, их собственные исследования нередко остаются в плену расхожих представлений и социально-политических установок, подчеркивает Бюлер-Нидербергер. Материалы настоящего обзора показывают, что «в большинстве стран анализ детства в его новых формах еще не стал приоритетным или хотя бы авторитетным направлением» социального анализа (12, с. 374). Прогнозируя будущее развитие этой субдисциплины, автор настаивает на сбалансированности горизонтального и вертикального ее измерений: анализ «различий между детьми и между национальными вариантами детства» должен быть дополнен самым тщательным исследованием «различий между детьми и взрослыми». Изучение генерационного порядка современных обществ в качестве их собственной социальной конструкции составляет один из краеугольных камней нового подхода к детству как к социальному феномену; другим базовым основанием такого подхода является исследование сферы социальной компетенции детей как акторов. Для реализации этих установок социологам могут быть полезны такие теоретические переменные, как различие социальных представлений о детском и взрослом сегментах повседневной жизни, несовпадение генерационных измерений социальной реальности, специфика отношений между индивидом и коллективом в детском и взрослом сообществах.

В заключение Бюлер-Нидербергер обращается к теме сбалансированности критической рефлексии и пропагандистской направленности новой социологии детства. Исходная социально-критическая позиция этой субдисциплины создала предпосылки для ее плодотворного научного и практического сотрудничества с прочими отраслями знания, так или иначе касающимися феномена детства (социальная работа, педагогика, здравоохранение, междисциплинарные исследования в русле «childhood studies»). Это сотрудничество обеспечило широкое распространение основных понятий новой социологии детства, но в то же время способствовало размыванию их собственно социологического содержания. Ребенок как актор все чаще трактуется только в терминах его «соучастия» в исследовательских, образовательных, оздоровительных и прочих «взрослых» проектах; специфика собственных социальных функций детства постепенно отодвигается на второй план. Этому способствуют и преимущественные контакты новой социологии детства с другими отраслевыми сферами социологического знания (социология права, медицины, образования, молодежи и т.д.). В результате в фокусе внимания оказывается специфическая группообразующая идентичность детей, которых при этом причисляют к разряду новых социальных меньшинств, нуждающихся в апологии и соци-

альной защите. Тем самым проблема генерационной асимметрии, характерной для современных обществ, и дискриминационный характер социального распределения и обмена между «миром детей» и «миром взрослых» оказываются вне поля зрения социологов. Вместо продуктивной социальной критики налицо попытка косметического ремонта отношений социального неравенства в терминах поколений – путем создания для детей «новых рекреационных пространств», являющихся модернизированным вариантом прежних социальных конструкций. Новая социология детства должна отказаться от своего увлечения социальной категоризацией применительно к миру детства и наладить диалог с социальной теорией и общей социологией.

В целом авторы большинства статей, составивших настоящий выпуск журнала «Current sociology», отмечают, что становление теории и методологии в их дисциплине пришлось на 1980-е (Финляндия и Скандинавские страны) и 1990-е годы. В настоящее время в социологии детства наблюдается усиление политических и социально-политических тенденций; акцент смещается в сторону потенциально опасных детей либо детей, нуждающихся в защите, что не способствует развитию теоретических исследований в этой сфере социального знания. При этом в ряде национальных социологических школ пока не вполне определен статус данной исследовательской области, так что у социологии детства впереди еще длительный путь развития.

Литература

Current sociology. – L., 2010. – Vol. 58, N 2: Special issue.

Contents:

1. *Bühler-Niederberger D.* Introduction: Childhood sociology: Defining the state of art and ensuring reflection. – P. 155–164.
2. *Strandell H.* From structure–action to politics of childhood: Sociological childhood research in Finland. – P. 165–185.
3. *Moran-Ellis J.* Reflections on the sociology of childhood in the UK. – P. 186–205.
4. *Rabello de Castro L., Kosminsky E.V.* Childhood and its regimes of visibility in Brazil: An analysis of the contribution of the social sciences. – P. 206–231.
5. *Van Krieken R.* Childhood in Australian sociology and society. – P. 232–249.
6. *Sirota R.* French childhood sociology: An unusual, minor topic or well-defined field? – P. 250–271.
7. *Baraldi C.* Children's citizenships: Limitations and possibilities of childhood sociology in Italy. – P. 272–291.
8. *Zeiher H.* Childhood in German sociology and society. – P. 292–308.
9. *Stanciulescu E.* Children and childhood in Romanian society and social research: Ideological and market biases and some notable contributions. – P. 309–334.
10. *Bass L.E.* Childhood in sociology and society: The US perspective. – P. 335–350.
11. *Van Daalen R.* Children and childhood in Dutch society and Dutch sociology. – P. 351–368.
12. *Bühler-Niederberger D.* Childhood sociology in ten countries: Current outcomes and future directions. – P. 369–384.

Блатерер Г.

МЕНЯЮЩАЯСЯ СЕМАНТИКА ЮНОСТИ И ВЗРОСЛОСТИ

Blatterer H.

The changing semantics of youth and adulthood // Cultural sociology. – L., 2010. – Vol. 4, N 1. – P. 63–79.

Австралийский социолог Гарри Блатерер (Университет Маккуори, г. Сидней) анализирует проблему определения и самоопределения взрослых людей, возникающую в связи с растущей популярностью образа жизни, свойственного именно молодым людям. Эта проблема отражает возникшее в современном обществе непонимание значения понятия «взрослость». Автор рассматривает нормативный образец «стандартной взрослость» (standard adulthood) с позиции теоретической перспективы социального признания и описывает изменения в семантическом определении молодости или юности, которые ставят под сомнение валидность эмпирического исследования этой модели. В связи с этим анализируются современный рынок труда и товарный рынок, которые «освобождают» представление о юности и молодости от биологических характеристик, возрастных ограничений и избирательно устанавливают желательные (приносящие выгоду) черты юности как необходимые для максимизации индивидуальных жизненных шансов. Автор делает попытку показать, что нормативные основания современного понятия о взрослости являются двусмысленными, поскольку рыночная экономика адаптирует и продает обществу мечту о вечной юности (с. 63).

Автор утверждает, что понятие «взрослость» в социальных науках недостаточно глубоко исследовано. Можно заметить, что большая часть литературы посвящена изучению стадий жизни, которые протекают до и после взрослости. Исследуются в основном детство и пожилой возраст, при этом особенно активно развивается социальная геронтология. Понятие «взрослость» применяется преимущественно для обозначения конечного пункта юношеского периода или юношеского перехода, а также используется для сравнения разных переходных этапов жизни в зависимости от

начальных условий и возможностей[1]. При этом сегодня переходные этапы жизненного пути – от школы к работе, от родительского дома к личному домохозяйству, от единоличного хозяйства к семейному – характеризуются не поступательным движением от стадии к стадии, а подразумевают остановки, возвращение к предыдущим стадиям, параллельные линии развития. Как утверждает Г. Блатерер, многие исследователи считают данные изменения предвестниками появления новой жизненной стадии – «зарождающейся взрослости» (emerging adulthood), находящейся между подростковым периодом и статусом полноценного взрослого. В этой ситуации можно придерживаться концепций перехода, но, с точки зрения автора, было бы конструктивно начать обсуждать и переосмыслить значение и нормативные предположения относительно взрослости как социального сценария, который следует за «переходным юношеским периодом» (с. 64).

Далее автор обращается к рассмотрению широко распространенного среди исследователей представления о том, что молодые люди все чаще и чаще отказываются принимать на себя ответственность и обязательства, которые приходят с независимостью. Это представление имеет долгую историю в социальных науках и связано с появлением таких понятий, как «постпубертатный [период]» (post-adolescence) в работах П. Блоса[2], «структурированная безответственность» (structured irresponsibility) у Т. Парсонса[3], «продленный подростковый [возраст]» (prolonged adolescence) у Э.Г. Эриксона[4]. Автор указывает на существование «нормативного лага», который демонстрирует, как представление о том, что молодые люди должны «остепениться», противоречит реалиям современной жизни, когда структурные и культурные условия требуют от них высокой мобильности и гибкости. Другими словами, традиционные нормы относительно поведения взрослого индивида еще действуют, но среда практиче-

---

[1] *Pollock G.* Youth transitions: Debates over the social context of becoming an adult // Sociology compass. – Malden (MA), 2008. – Vol. 2, N 2. – P. 1–17.

[2] П. Блос занимался психоаналитическим исследованием подросткового периода жизни, но, в отличие от З. Фрейда, определял не только начальную и конечную стадии полового созревания, но также и промежуточные ступени, выделяя постпубертатный период как конечную стадию. См: *Blos P.* The adolescent personality: A study of individual behavior for the commission on secondary school curriculum of the Progressive education association. – N.Y.: Appleton, 1941. – *Прим. реф.*

[3] Т. Парсонс определял «структурированную безответственность» как характеристику стадии молодости, являющуюся промежуточным этапом между детством и взрослостью. См.: *Parsons T.* Age and sex in the social structure of the United States // Parsons T. Essays in sociological theory. – N.Y.: Free press, 1942. – P. 89–102. – *Прим. реф.*

[4] Э.Г. Эриксон утверждал, что каждый жизненный цикл индивида условно делится на восемь стадий, где каждая стадия развития характеризуется внутренним конфликтом, разрешение которого знаменует переход на следующую стадию. Подростковый возраст является при этом одной из ключевых стадий, протекание и завершение которой существенным образом влияет на протекание юности и взрослости, которые следуют за ним. См.: *Erikson E.H.* Identity: Youth and crisis. – N.Y.: Norton, 1968. – *Прим. реф.*

ской реализации данных норм меняется. По словам автора, среда изменилась до такой степени, что мы фактически можем засвидетельствовать переход от *взрослости как цели* к *юности как ценности* (с. 64).

Чтобы показать аргументы в пользу такого предположения, автор отслеживает историческое развитие существующей нормативной модели взрослости и анализирует ее с точки зрения концепции социального признания. Основным положением этого подхода является то, что достижение статуса взрослости зависит главным образом от социального признания индивида таковым. Представители поколения конца 1970-х годов должны были строить свою взрослую жизнь в быстро меняющихся условиях, в то время как нормативная модель стандартной взрослости (standard adulthood) практически не менялась. В результате они столкнулись с «дефицитом признания». Кроме того, автор подчеркивает изменения в семантическом значении юности, которые подрывают эмпирическую валидность модели стандартной взрослости и, таким образом, становятся культурным двигателем нормативных изменений. Одним из последствий таких изменений является то, что «постоянство» или «стабильность» как характеристики взрослости стали «проклятием» успешной жизни: лиминальность (или переходное состояние), когда-то считавшаяся характеристикой молодости, становится характерной чертой современной взрослости. Кроме того, автор предполагает, что данный процесс приводит к новой семантической дифференциации молодых людей, поскольку юность или молодость становится жизненным стилем всех возрастных этапов (с. 64–65).

Стандарты, изменение социальных ролей и «признание взрослым». Как подчеркивает автор, образы взрослости, или, иначе говоря, значение выражения «вырасти» (grow up), укоренились в представлениях общества. Понятие «стандартная взрослость» появилось сразу после Второй мировой войны и было тесно связано со стабильностью. Затем значение зрелости (maturity) как полноценной и отдельной стадии биологического развития, которая ассоциируется с процессом самореализации, стало синонимично «классическим маркерам взрослости»: замужеству, отцовству, независимой жизни и оплачиваемой работе. По мнению автора, термин «взрослость» (adulthood), использующийся для обозначения процесса достижения зрелости (maturity), стал полностью отражать социальную реальность и служил способом проведения различий и оценки именно тогда, когда был достигнут высокий уровень экономического и политического развития. В той социальной среде, в которой укрепилась стандартная взрослость, были экономическая стабильность, действенная политика рынка труда, направленная на обеспечение защищенности работников, высокая степень согласия относительно гендерных ролей, сексуальности и формирования семьи. Согласно автору, рост благосостояния, мобильность и стабильный рынок труда способствовали ясному социальному определению критериев развития. Классические маркеры взрослости стали ключевыми

элементами культурного определения того, что значит быть зрелым мужчиной или зрелой женщиной. Это способствовало установлению институциональных критериев жизненного пути, где взрослость была центральным понятием (с. 65–66).

Взрослость, признание и социальные изменения. Согласно подходу, рассматривающему общество как «институционализированный порядок социального признания» (institutionalized recognition order)[1], достижение статуса взрослости зависит от социального признания. Автор добавляет к этому, что индивиды не только должны получить признание, но и сами, следуя предписанным практикам, должны выражать признание институционального и культурного порядка. Такие практики, как раннее замужество и создание семьи, полная занятость в долгосрочном периоде (для мужчин) и независимая жизнь, стали социальными критериями признания взрослым не только потому, что они выражали основные ценности, но и потому, что одновременно были практическими достижимыми. Таким образом, к середине XX в. произошел синтез идеалов и жизненной реальности взрослости. В результате этот нормативный статус закрепился в коллективном сознании как основной критерий социального признания. Но сегодня, по мысли автора, нормативный идеал взрослости находится в процессе переопределения, который происходит из-за большого числа практик, подкрепляющих тезис об отложенном взрослении (delayed adulthood) (с. 66).

Далее автор указывает на тот факт, что все вышеперечисленное сказывается на научном понимании социальных тенденций. Исследователи отмечают, что молодые люди, родившиеся после 1970-х годов, взрослели иначе, что привело к созданию ими «новой взрослости». Г. Блатерер демонстрирует это утверждение на трех наиболее ярких, с его точки зрения, примерах изменений в сфере интимности, трудовых отношений и потребления. Во-первых, «трансформации интимных отношений», по Э. Гидденсу[2], знаменуют переход от традиционных к более открытым и широко определяемым гендерным отношениям. Во-вторых, автор указывает на гибкость современного рынка труда, который поощряет способных к быстрым изменениям людей и в котором наблюдается тенденция к дискриминации тех, кто нацелен на стабильность, предсказуемый ступенчатый карьерный рост. В-третьих, рынок потребительских товаров размывает границы между тем, что является приемлемым, а что нет, для данной возрастной категории; становится невозможно провести границу между категориями «взрослый» и «молодой» (с. 67).

---

[1] *Fraser N., Honneth A.* Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. – N.Y.: Verso, 2003.

[2] *Giddens A.* The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies. – Oxford; Cambridge: Polity, 1992.

По мнению автора, такие изменения указывают на необходимость рассмотрения субъективных ориентаций, или «жизненного руководства»[1] (life conduct), вслед за понятием М. Вебера о жизненных шансах, когда шанс быть признанным взрослым становится возможным при условии «ситуационного существования» (situational living). Это понятие было введено Х. Розой и означает стиль жизни, которую больше нельзя планировать в континууме перехода из прошлого в будущее, а только как жизнь, в которой «решения принимаются время от времени, согласно ситуационным и контекстуальным потребностям»[2]. Чем больше идея «постоянства» противоречит структурным требованиям и культурному утверждению ситуационной жизни, тем сильнее становится процесс интериоризации гибкости и мобильности как нормы, что дает акторам возможность приспособиться к современным социальным условиям и получить признание. Переопределение понятия взрослости в современном обществе может быть описано как «освящение мобильности на всех культурных уровнях»[3]. Таким образом, нормативное представление о взрослости меняется: индивиды в возрасте 20–30 лет сталкиваются с «нормативным лагом». С одной стороны, от них требуют мобильности и умения совладать с рисками, в особенности на рынке труда. С другой стороны, удовлетворение этого требования приводит к неправильному распознаванию (misrecognition) их статуса как взрослых людей, т.е. они не достигают полноценной взрослости и зрелости. Это возможно осмыслить через изучение семантического значения юности (с. 67–68).

От взрослости как цели к юности как ценности. Культурное представление о юности как симбиозе красоты, силы и энергии, а также способности к обучению восходит еще к античности, но оно также является символом и синонимом современности, поскольку с середины XX в. западноевропейские общества ассоциируются с юностью, ее мобильностью и неутомимостью, а не с мудростью и стабильностью старших возрастов. По мнению автора, это ослабление нормативного представления о взрослости стало экономически выгодным. Рыночные отношения навязывают жизненный стиль молодости всем старшим возрастным группам. Семантически определение юности или молодости крайне избирательно и противоречиво, т.е. свойственные подростковому возрасту характеристики (безответственность, непокорность, иррациональность, непредсказуемость, эгоцентризм) исключаются, а идеалом становится молодость, со-

---

[1] *Abel T., Cockerham W.C.* Lifestyle or Lebensführung: Critical remarks on the mistranslation of Weber's *Class, status, party* // Sociological quart. – Malden (MA), 1993. – Vol. 34, N 3. – P. 551–556.

[2] *Rosa H.* Social acceleration: Ethical and political consequences of a de-synchronized high-speed society // Constellations: International j. of critical & democratic theory. – Malden (MA), 2003. – Vol. 10, N 1. – P. 4–33.

[3] *Gauchet M.* A new age of personality: An essay on the psychology of our times // Thesis Eleven. – L., 2000. – Vol. 60, N 1. – P. 23–41.

вмещенная с чертами взрослости. Такое представление подразумевает способность к изменениям и одновременно ответственность, желание жить сегодняшним днем и при этом – инвестиции в стабильное будущее, способность к импровизации и твердое осознание своих целей и желаний. Сегодня мечты о приключениях и различного рода свершениях, которые П. Бергер противопоставлял нормативной модели взрослости[1], стали ее неотъемлемым атрибутом, поставив, таким образом, под вопрос статус понятия юности как промежуточной стадии для достижения статуса взрослого (с. 68–69).

Лиминальность без границ. Социальные и культурные императивы современной взрослости автор раскрывает с помощью понятия лиминальности, которое означает промежуточную стадию между «откреплением» личности от занимаемого в социальной структуре положения и принятием нового социального статуса. В. Тернер относил юность к «лиминальной стадии», когда индивид уже не считается ребенком, но еще не достиг статуса взрослого[2]. Лиминальность юности также означает, что в мире, где долгосрочные проекты, направленные в будущее, исключены, молодые люди усваивают установку планировать лишь настоящее и ближайшее будущее. Сходство между структурными условиями и культурными идеалами личностного роста радикально меняют значение лиминальности. Понятие личностного роста сегодня становится одним из основных понятий культуры. Результаты исследований, показывающие, что большинство молодых людей всех национальностей, любого пола и статуса предрасположены к движению вперед, могут свидетельствовать об интернализации представления о неограниченных возможностях, которые рассматриваются как предмет индивидуальных и только индивидуальных стремлений. Это говорит о том, что молодые люди все меньше связывают свою личную судьбу с социальными силами, ее формирующими: личностный рост становится образом жизни. Данный феномен был назван «эпистемологическим заблуждением позднего модерна» (epistemological fallacy of late modernity)[3]. Но когда идея личностного роста становится ценностью, побуждающей к действию, во время принятия важных решений индивиды начинают думать, что они уже реализовались и достигли полного расцвета. Автор разделяет мысль З. Баумана о том, что такая позиция является не заблуждением, а скорее *«рациональным ответом»* на неопределенность, вызванную структурным культурным контекстом[4] (с. 69–70).

---

[1] *Berger P.* An invitation to sociology: A humanistic perspective. – Harmondsworth: Penguin, 1966.

[2] *Turner V.* Dramas, fields and metaphors: Symbolic action in human society. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 1974.

[3] *Furlong A., Cartmel F.* Young people and social change: Individualization and risk in late modernity. – Philadelphia (PA): Open univ. press, 1997.

[4] *Bauman Z.* The individualized society. – Cambridge: Polity, 2001.

Быть молодым означает, что будущее является открытым. В результате юность как лиминальная стадия принимает значение, выходящее за пределы переходных черт подросткового периода как биологической стадии. Когда к открытому будущему и большому количеству возможностей прибавляется стремление к самореализации, взрослость более не может рассматриваться как конечная стадия, она заменяется юностью как ценностью. Другими словами, лиминальность, ранее относившаяся к молодости, становится атрибутом современной взрослости. Но такая лиминальность, по словам автора, не рассматривается как промежуточная стадия, она не ограничена предшествующей и последующей стадиями. Таким образом, это лиминальность без границ. В итоге, несмотря на то что стандартная взрослость остается нормативной моделью, современные социальные практики показывают, что взрослость является неограниченным лиминальным периодом. Это согласуется с динамикой социального признания в эпоху рыночной экономики (с. 70–71).

Молодость, признание и рынок. Рыночные агенты, как утверждает автор, не только используют творческий потенциал молодых людей, но также извлекают выгоду из увеличившегося благосостояния населения и спроса на товары, которые ориентированы на молодых людей. Культурная индустрия, транслируя определенное модное направление или стиль жизни, определяет то, что́ значит «быть молодым»; идет семантическая экспансия молодежного стиля жизни. Ведущие корпорации представляют и пропагандируют энергичность, мобильность, стремление к изменениям, склонность к экспериментированию, стремление жить сегодняшним днем и другие характеристики как желаемые или даже обязательные. Музыкальные вкусы, пристрастие к электронным новинкам и способы проведения досуга более не отражают дихотомию молодости / взрослости, поскольку склонности молодых теперь также являются и вкусами более взрослого населения. В качестве примеров автор приводит уже немолодых рок-звезд, которые ведут образ жизни, соответствующий молодости. Автор подчеркивает, что такой нормативный лаг между идеалом и реальностью требует более глубокого анализа (с. 71).

Новая дифференциация молодежи. Поскольку юность становится духом жизни как таковой, культурные различия между взрослыми и подростками нивелируются, что приводит к новой дифференциации индивидов. Автор иллюстрирует данное явление на примере индустрии музыки, которая отражает эти межгенерационные процессы. Ремиксы хитов прошлых десятилетий одновременно вызывают ностальгические чувства у тех, кто был подростком во времена популярности оригинальной записи, и в то же время отвечают культурным требованиям последующих поколений. Еще одним примером являются рок-звезды (например, Мик Джаггер), которые, несмотря на их биологический возраст, исполняют роль молодых. По мысли автора, скорее всего отказ звезд покинуть сцену сопряжен

с нежеланием фанатов, взрослевших вместе со своими звездами, покинуть «сцену» молодости (с. 73).

Автору представляется, что сегодня семантика юности характеризуется двумя существенными особенностями: с одной стороны, она является сильной идеологией, которая отражает требования рынка к мобильности и гибкости, таким образом обеспечивая спрос на «молодые» человеческие ресурсы, а с другой стороны, параметры социального признания становятся открытыми к изменению и включению новых представлений о приемлемых для определенного возраста практиках потребления. Семантически это означает, что молодежь глубоко интегрируется в индустриальную экономику, т.е. процесс гомогенизации, характерный для современного рынка, «размывает» границы между пониманием детства, юности и взрослости. Идеология молодости особенно выгодна представителям поколения конца 1970-х годов, которые усвоили образ жизни, наиболее благоприятствующий современным рыночным отношениям. Это обеспечивает им достаточный уровень социального признания, но при этом постоянно возникающая неудовлетворенность обусловливает бесконечный поиск социального признания. Таким образом подтверждается утверждение Д. Лендзена о том, что «молодость… становится характерной чертой всей культурной системы»[1], т.е. изменяется основной механизм социального признания взрослости, он семантически связан с юностью, а именно с мобильностью во всех сферах жизни. Поэтому понятие взрослости становится фундаментально неопределенным, нормативный базис взрослости разрушается. Молодые взрослые вступают в борьбу за признание, характеризующуюся противостоянием новых социальных практик и сохранившихся нормативных идеалов. Это не просто коллективная борьба за социальное признание, а противостояние существующим представлениям о взрослости со стороны тех, кто *откладывает* и *отказывается* от взросления (с. 75).

О.А. Симонова,
Ю.С. Королёва

[1] *Lenzen D.* Moderne Jugendforschung und postmoderne Jugend: Was leistet noch das Identitätskonzept? // Jugend zwischen Moderne und Postmoderne / Hrsg. von W. Helsper – Opladen: Leske + Budrich, 1991. – P. 41–56.

СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ.
(Сводный реферат)

1. Cornwell B., Laumann E.O., Schumm L.P. The social connectedness of older adults: A national profile // American sociological rev. – Wash., 2008. – Vol. 73, N 2. – P. 185–203.

2. Evans S. «That lot up there and we down here»: Social interaction and a sense of community in a mixed tenure UK retirement village // Ageing a. society. – Cambridge, 2009. – Vol. 29, N 2. – P. 199–216.

В современном мире пожилые люди становятся все более многочисленной и значимой социально-возрастной группой и, соответственно, объектом исследования в рамках самых разных научных дисциплин. В общественных науках особый интерес вызывает проблема общения пожилых людей с их окружением. В статьях, нашедших отражение в настоящем реферате, представлены некоторые теоретические и практические аспекты трансформации социальных связей в пожилом возрасте. В первой из них типы социальных связей, в наибольшей мере характерные для пожилых людей, анализируются преимущественно с привлечением эмпирических данных, полученных в США; во второй такие связи рассматриваются на примере английского поселка для пенсионеров.

Бенджамин Корнуэлл, Эдвард Лауманн и Филип Шумм (Чикагский университет, США) (1) исследуют разнообразие социальных связей в пожилом возрасте и их значение для благополучия и хорошего самочувствия пожилых людей.

В 1961 г. была опубликована ставшая впоследствии знаменитой книга Э. Камминг и У. Генри «Старение: Процесс разобщения»[1], где старение было представлено как постепенное отдаление человека и общества друг от друга. С тех пор эта позиция неоднократно подвергалась критике, с которой солидарны и авторы реферируемой статьи. По их мнению, поддержание социальных связей в пожилом возрасте однозначно является положительным фактором, подтверждением чему может служить, в част-

[1] *Cumming E., Henry W.E.* Growing old: The process of disengagement. – N.Y.: Basic books, 1961.

ности, работа Дж. Роу и Р. Кана, в которой ключом к успешному старению выступает именно интеграция[1]. Концепцию успешного старения (successful aging) разработал в начале 1960-х годов один из основоположников теории активности Роберт Хэвигхерст[2]. Под успешным старением он понимал удовлетворенность стареющего человека своей жизнью в прошлом и настоящем. Впоследствии разные авторы связывали успешное старение с такими понятиями, как «здоровое старение» (healthy aging), «продуктивное старение» (productive aging) и проч.

Основные теории в данной области авторы условно разделяют на два типа. С одной стороны, это теории, акцентирующие обособление пожилых людей от окружающего их общества. Так, теории модернизации обращают внимание на упадок традиционной (многопоколенной) семьи и последовавшее за этим снижение роли пожилых людей в семье и обществе. Ряд исследователей (например, британец П. Таунсенд) расширяют эту позицию, утверждая, что современная социальная политика в развитых странах – и прежде всего поощрение раннего выхода на пенсию – также снижает статус пожилых в глазах окружающих[3]. Наконец, существует упомянутая выше теория разобщения. С другой стороны, существуют теории, которые акцентируют не то, что разделяет, а, напротив, то, что объединяет пожилых людей с их социальным окружением. Так, сторонники теории активности (activity theory)[4] утверждают, что пожилые, сохранившие социальную активность, чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто находится в изоляции. Представители теории непрерывности жизненного цикла (continuity theory) отмечают, что, привыкая на протяжении жизни к определенным занятиям и социальным ролям, люди стремятся сохранить их и в старшем возрасте[5].

Итак, заключают на основании проведенного анализа авторы, многие исследователи связывают успешное старение с исполнением определенных социальных ролей и осуществлением некоторых социально значимых видов деятельности. Другие рассматривают социальную интеграцию более узко – как укорененность в тех или иных социальных сетях[6]. Согласно

---

[1] *Rowe J.W., Kahn R.L.* Successful aging. – N.Y.: Pantheon, 1998.

[2] *Havighurst R.J.* Successful aging // Gerontologist. – Oxford, 1961. – Vol. 1, N 1. – P. 8–13; *Havighurst R.J.* Successful aging // Processes of aging / Ed. by R.H. Williams, C. Tibbitts, W. Donahue. – N.Y.: Atherton press, 1963. – P. 299–320.

[3] *Townsend P.* The structured dependency of the elderly: A creation of the social policy in the twentieth century // Aging a. society. – Cambridge, 1981. – Vol. 1, N 1. – P. 5–28.

[4] Personal adjustment in old age / Cavan R., Burgess E.W., Havighurst R.J., Goldhammer H. – Chicago (IL): Science research associates, 1949.

[5] *Atchley R.C.* The continuity theory of normal aging // The Gerontologist. – Oxford, 1989. – Vol. 29, N 2. – P. 183–190.

[6] *Antonucci T.C., Akiyama H.* Convoys of social relations: Family and friendships within a life span context // Handbook of aging and the family / Ed. by R. Blieszner, V.H. Bedford. – Westport (CT): Greenwood, 1995.

Дж. Коулмену, социальные сети являются основой успешного старения, поскольку они содержат в себе системы норм, контроля и доверия[1].

Наиболее распространенным и знакомым каждому человеку видом социальных сетей выступают межличностные сети. По мнению Корнуэлла и его коллег, законы функционирования межличностных сетей в их связи с успешным старением сводятся к следующему. Во-первых, чем больше сеть, тем больше у человека источников поддержки; как свидетельствуют эмпирические данные, участники больших сетей отличаются хорошим здоровьем[2]. Во-вторых, чем плотнее сеть (т.е. чем лучше ее члены знают друг друга), тем более регулярны и менее формальны контакты их обитателей. Следовательно, они имеют возможность обмениваться самой разной информацией, распределять обязанности по уходу за нуждающимися и оказывать друг другу иные повседневные услуги. В-третьих, чем искреннее взаимоотношения внутри сети, тем крепче у людей чувство общности, тем выше их самооценка и лучше самочувствие. В этой связи неоценимым источником безусловной любви и поддержки служат родственные отношения[3].

Одной из разновидностей социальных сетей выступают сообщества, в том числе сообщества соседей (по степени близости человеку соседи являются следующими после родственников); сюда же можно отнести и волонтерские организации. Сообщества вступают с межличностными сетями в определенные взаимоотношения. Так, чем больше межличностная сеть человека, тем выше вероятность того, что он является (в том числе) членом какой-нибудь волонтерской организации. Кроме того, членство в сообществе может помешать человеку уделять достаточно внимания межличностным отношениям, тем более что участие в деятельности тех или иных организаций порой требует большей самоотверженности, чем поддержание межличностных контактов.

Связь между возрастом и участием в сообществах неоднозначна. По статистике наиболее активное участие в деятельности сообществ принимают именно пожилые люди; в особенности это касается сообществ религиозных, которые в США действуют в каждом районе и являются самой распространенной формой локальных сообществ[4]. Вместе с тем подмечено, что с возрастом люди предпочитают отказываться от поверхностных

---

[1] *Coleman J.S.* Social capital in the creation of human capital // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1988. – Vol. 94, Suppl. 1. – P. 95–120.

[2] *Berkman L., Syme L.* Social networks, host resistance, and mortality: A nine-year follow-up study of Alameda county residents // American j. of epidemiology. – Malden (MA), 1979. – Vol. 109, N 2. – P. 186–204.

[3] *Hurlbert J.S., Haines V.A., Beggs J.J.* Core networks and tie activation: What kinds of routine networks allocate resources in non-routine situations? // American sociological rev. – Wash., 2000. – Vol. 65, N 4. – P. 598–618.

[4] *Beyerlein K., Hipp J.R.* From pews to participation: The effect of congregation activity and context on bridging civic engagement // Social problems. – Berkeley (CA), 2006. – Vol. 53, N 1. – P. 97–117.

контактов в пользу более близких взаимоотношений. Потеря супруга, часто имеющая место в пожилом возрасте, лишает человека важного источника позитивных эмоций. Одни пытаются компенсировать эту потерю большей вовлеченностью в деятельность сообщества, другие (чаще это происходит с мужчинами), наоборот, перестают поддерживать имеющиеся контакты. Свою роль в сужении социальной сети может сыграть и ухудшающееся здоровье.

Предметом настоящей статьи выступает срез социальных связей пожилых неинституциализированных американцев, полученный на основе анализа их межличностных сетей и участия в деятельности сообществ. Эмпирическим материалом для авторов послужили данные национального проекта «Общественная жизнь, здоровье и старение» (NSHAP), осуществленного в США в 2005–2006 гг. Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) Чикагского университета. В проекте приняли участие 3005 американцев в возрасте от 57 до 85 лет[1]. Основные сведения были получены в ходе двухчасовых интервью у респондентов дома и посредством анкетирования. Прежде всего у пожилых людей выясняли, с кем они разговаривают на самые важные для них темы. Вопросы интервьюеров касались также сексуального поведения респондентов, их отношений с партнером, физического и психического здоровья, медицинских практик.

Полученные результаты подтвердили гипотезу о том, что с возрастом размеры межличностных сетей последовательно уменьшаются. Наименьшие по объему сети оказались характерны для таких категорий населения, как мужчины, одинокие и цветные, в то время как наибольшими сетями располагали люди с высшим образованием, имеющие детей. Ближе к 60 годам, когда люди начинают выходить на пенсию, объем контактов падает, а к 70, когда, как считают авторы статьи, человек уже адаптирован к жизненным переменам, показатели стабилизируются и вновь начинают расти. В итоге в 85 лет люди в среднем общаются больше, чем когда-либо раньше. Наиболее интенсивные контакты были зафиксированы у женщин, афроамериканцев, латиноамериканцев, людей с низким уровнем образования и у тех, кто продолжал работать. Вдовцы и люди с плохим здоровьем также сообщали о большом количестве контактов, что, с точки зрения авторов, может быть следствием повышенного внимания к ним со стороны окружающих.

Что касается степени близости респондентов с другими членами их сетей, то самые пожилые участники проекта показали в данном вопросе самые низкие результаты. Наивысшие показатели оказались у женщин и у людей обоего пола, совместно проживающих с большим числом родственников. При этом авторы выяснили, что с возрастом степень межличностной близости все в большей мере зависит от уровня интенсивности кон-

[1] Более подробную информацию можно найти на сайте в Интернете. National social life, bealth and aging project. – Mode of access: http://www. norc.org/NSHAP

тактов: частые контакты свидетельствуют об эмоциональной близости, и наоборот. Тем самым косвенное подтверждение находит тезис о том, что пожилые люди предпочитают общаться с теми, кто им действительно дорог. Кроме того, если люди 50–60 лет многие вопросы предпочитают обсуждать с друзьями и коллегами, то в более старшем возрасте за советом чаще всего обращаются к ближайшим родственникам – супругу(е) и детям.

Анализ материалов общенационального проекта подтвердил, что пожилые люди действительно являются самыми активными членами своих сообществ. Недостаток контактов с родственниками компенсируется более близкими взаимоотношениями с соседями. С возрастом люди начинают все более активно участвовать и в жизни местных религиозных сообществ (за 10 лет количество церковных служб, посещаемых стареющим человеком, увеличивается на 40%; чаще других службы посещают женщины и афроамериканцы). То же касается участия пожилых в деятельности иных сообществ, в том числе волонтерских организаций: 85-летние (прежде всего – женщины, афроамериканцы, люди с высшим образованием и бездетные) посвящают этому больше времени, чем все остальные. При этом авторы статьи согласны с теми исследователями, которые рассматривают общественную деятельность пожилых не столько как проявление их гражданской позиции, сколько как результат потребности осуществлять контроль за своим социальным окружением[1]. Дальнейшее исследование социальных сетей применительно к пожилым людям, пишут в заключение Б. Корнуэлл, Э. Лауманн и Ф. Шумм, связано с выявлением более четкой связи между этими сетями и такими жизненными факторами, как выход на пенсию, потеря близких и изменения в состоянии здоровья пожилых людей.

Пример развития связей в пожилом возрасте представлен в статье Саймона Эванса из Университета Западной Англии в Бристоле, Великобритания (2). Его работа посвящена проблемам общения и коллективной идентичности в одном из британских сообществ с компактным проживанием людей старшего возраста. В англоязычной практике подобные сообщества носят название retirement communities, т.е. «сообщества, или коммуны, пенсионеров» либо retirement villages, «поселки (для) пенсионеров». Эти обозначения подразумевают, что свободные от трудовых обязанностей пожилые люди переезжают в места, как правило, за городом, где они намерены проживать и проводить досуг в кругу своих сверстников. По крайней мере, определен минимальный возраст, позволяющий стать членом такого сообщества: претенденты не должны быть моложе 50 лет. Вместе с тем разница в возрасте резидентов может оказаться весьма значительной. В частности, в поселке, о котором пойдет речь в данной статье, средний возраст членов на момент исследования составлял 82 года, при этом самому молодому было 53, а самому старшему – 96 лет, т.е. фактиче-

[1] *Baltes M.M., Carstensen L.L.* The process of successful aging // Aging a. society. – Cambridge, 1996. – Vol. 16, N 4. – P. 397–422.

ски их разделяли два поколения. Таким образом, вступление в подобное сообщество означает принятие идентичности пожилого человека, единой с людьми, которые могут быть старше на 40 и более лет.

В начале статьи дается краткий обзор истории данных сообществ. В ряде стран (США, Австралия, Новая Зеландия) они существуют уже более 60 лет. Например, в аналогичных поселках проживают около 4% американцев старше 60 лет, а дома, построенные специально для компактного проживания пожилых людей, составляют в США порядка 11% от всего нового жилищного фонда. В других, в том числе англоязычных, странах эти сообщества по различным причинам не пользуются популярностью. Например, на большей части территории Канады строительство и распределение жилья по возрастному принципу считается нарушением прав человека и запрещено законодательством.

В Великобритании такие поселки появились в 1950-е годы и первоначально представляли собой несколько стоящих рядом частных домов, находящихся в собственности относительно здоровых пожилых людей, которые были в состоянии вести независимый образ жизни. Сейчас поселки для компактного проживания пожилых людей строятся специально. В зависимости от здоровья их резидентов они делятся на такие, где: а) специальное обслуживание резидентов не предусмотрено, б) им предоставляются дополнительные услуги, в) им гарантирован постоянный уход.

С точки зрения Эванса, организаторы подобных сообществ стремятся сделать так, чтобы компактное проживание пожилых людей соответствовало образу «успешного старения» и «активной жизни на пенсии», реализация которого является обязательным пунктом большинства современных программ в области социальной политики в отношении пожилых. Такие поселки по замыслу их организаторов обеспечивают пожилым людям необходимый баланс частной и публичной жизни, а также чувство защищенности. В то же время неомарксистские геронтологи[1] критикуют подобные сообщества с той точки зрения, что пожилые люди, которые сами способны решать, где и с кем жить, и те из них, кто такой возможности не имеет и вынужден стариться дома, в одиночестве и практически без помощи, оказываются в неравном положении. Тем самым подобные социально-возрастные образования остаются прерогативой тех, кто может за них заплатить. Однако в последние годы под эгидой правительства Великобритании создаются поселки смешанного типа, где дома, находящиеся в частном владении, соседствует с жильем, которое сдается в аренду, а для резидентов характерна различная степень зависимости от медицинской помощи. Как утверждают разработчики проекта, такое разнообразие должно способствовать преодолению возможного разобщения пожилых людей. Эванс, однако, считает это предположение спорным, тем более что

[1] *Phillipson C.* The «elected» and the «excluded»: Sociological perspectives on the experience of place and community in old age // Ageing a. society. – Cambridge, 2007. – Vol. 27, N 3. – P. 321–342.

достаточных исследований для его проверки осуществлено не было. Обзор существующей британской и голландской литературы по данной теме, замечает автор, свидетельствует о справедливости обратного вывода. В частности, как выяснил в своем исследовании Эванс, у жителей подобных поселков чувство единства отнюдь не всегда стоит на первом месте; в целом же общение не носит тесного характера, а в случае инвалидности оно особенно затруднено.

Настоящее исследование, проведенное на материале поселка смешанного типа Беррифилд (Berryfield) на юго-западе Англии, призвано предоставить новые данные для анализа проблемы сообществ пожилых людей. Автор поставил перед собой задачу выяснить, ощущают ли сами жители себя членами единого сообщества и насколько тесные связи они способны поддерживать друг с другом, учитывая разницу в их происхождении, уровне дохода и состоянии здоровья.

Прежде всего, Эванс обращается к анализу ключевого понятия «сообщество», подчеркивая, что данный феномен крайне трудно поддается определению. Разные авторы вкладывают в это понятие различные смыслы и выделяют в нем различные компоненты; одни делают акцент на близости идентичности, другие – на близости территории. При этом последний аспект в настоящее время многим представляется наиболее спорным, в частности, на фоне интенсивного развития сообществ в Интернете. Многие исследователи отмечают, что современный человек может принадлежать к большому количеству никак не связанных друг с другом сообществ. Ряд авторов рассматривают сообщество исключительно как символическую конструкцию, существующую, прежде всего, в человеческом сознании[1]. Понятое в таком ключе, сообщество выступает как инструмент, позволяющий людям структурировать и тем самым контролировать свою повседневную жизнь. В представлении других аналитиков сообщество связано также с социальным капиталом. Под социальным капиталом автор данного понятия Роберт Патнэм понимает социальные сети, которые позволяют людям более эффективно добиваться общих с окружающими целей.

Несмотря на трудность его определения, сообщество становится все более употребительным понятием в социальных дисциплинах и официальном дискурсе. Так, в документах британского Департамента местного самоуправления сообщество выступает как объединительный институт, предоставляющий его членам «безопасное, здоровое и стабильное окружение». Многие социологи, однако, оспаривают правомерность взгляда на сообщество как на исключительно гармоничное образование. Еще в 1967 г. британец Р. Франкенберг акцентировал в рамках сообщества не единство, а конфликт[2]. Большое разнообразие идентичностей, интересов и связей

[1] *Pahl R.E.* Patterns of urban life. – L.: Brill, 1970.

[2] *Frankenberg R.* Communities in Britain: Social life in town and country. – L.: Penguin, 1967.

также не способствует сплоченности сообщества, уже в наши дни указывает П. Хоггет[1].

По данным экологической геронтологии, человек с возрастом оказывается все более привязанным к месту своего проживания и становится особенно чувствительным к физическим и социальным характеристикам среды обитания. Эти данные были положены в основу опубликованной в 2008 г. программы британского правительства, которая получила название «Жилищная стратегия для стареющего общества». Программа ставит во главу угла идею старения в своем районе в контексте добрососедских отношений и доступа к различным услугам и досуговым занятиям. По мнению Эванса, формально английские поселки для пенсионеров соответствуют этим параметрам: они имеют четкие территориальные границы и предоставляют своим резидентам самые разнообразные услуги и возможности. Однако каковы окажутся реальные результаты исследования?

В поселке Беррифилд существует три типа жилья: дом для престарелых, где проживают люди, нуждающиеся в постоянном уходе; дом, в котором постояльцам оказываются бытовые услуги; дома с частными квартирами, где проживают пожилые, не нуждающиеся в помощи (однако при необходимости она может им быть оказана за отдельную плату). Дом второго типа субсидируется государством. На территории поселка располагаются два ресторана, паб, библиотека, спортивный центр с бассейном и спа, боулинг, площадка для игры в крокет, два компьютерных зала и две парикмахерские. Кроме того, местный университет «третьего возраста» организует занятия для жителей (курсы обучения искусствам и иностранным языкам, дискуссионный клуб, различные виды психотерапии, концерты, церковные службы, экскурсии, игра в бинго). Территория поселка огорожена и находится под охраной.

Исследование в поселке Беррифилд проводилось в 2004–2006 гг. В качестве основного метода для сбора данных был выбран метод интервью. Приглашения принять участие в интервью были разосланы всем жителям поселка, за исключением 15 постояльцев дома для престарелых с диагнозом деменция. Согласие было получено от 37 человек, из которых 27 проживали в частных квартирах, 6 – в доме второго типа, 4 – в доме для престарелых. В дополнение к этому были использованы анкеты, в которых выяснялась потребность жителей в медицинской и социальной помощи; анкеты заполнили 90 резидентов (13, 51 и 26 человек, проживающих в каждом из трех типов домов соответственно). Информация, содержавшаяся в интервью, была распределена по темам и категориям.

Из анкет автор получил следующие сведения. 40 человек на момент проведения исследования проживали с партнером (28 и 12 человек соответственно; все постояльцы дома для престарелых были одинокими). Практически все жители, заполнившие анкету, сохранили способность к

[1] *Hoggett P.* Contested communities: Experience, struggle, policies. – Bristol: Policy press, 1997.

самообслуживанию и самостоятельность в повседневной жизни (ведение хозяйства, свободное обращение с деньгами, прием лекарств, передвижение по дому и территории поселка, самоконтроль). Только 4% подобную способность частично утратили, т.е. могли самостоятельно выполнять менее половины вышеназванных действий. Все респонденты жаловались на проблемы со здоровьем, тем не менее в целом свое самочувствие большинство из них оценили положительно: 74% указали, что удовлетворены жизнью, а 86% – что счастливы большую часть времени.

Основной вопрос, касавшийся идентичности резидентов поселка, выяснялся посредством интервью. Мнения жителей на данный счет разделились. Одни ответили, что ощущают свое единство с соседями, другие, напротив, признали, что ни с кем в поселке практически не знакомы и не чувствуют себя частью какого бы то ни было сообщества. Но, как отмечает автор, даже те респонденты, кто положительно высказался по вопросу о коллективной идентичности, ощущали себя частью лишь своего сектора поселка. Некоторые владельцы квартир называли поселком только свою часть территории, исключив из нее дома специального назначения. По словам одного из них, он общается преимущественно с людьми с его стороны улицы: они живут поблизости, у них приблизительно тот же уровень дохода и образования. Подобный коллективный дух царит, судя по ответам, и в доме со службой быта. Многие респонденты в своих ответах противопоставляли себя и своих ближайших соседей людям, живущим в других частях поселка.

Что же касается дружеских связей, то здесь все складывается очень индивидуально: кто-то общается с другими жителями, кто-то – нет. Некоторые респонденты отмечали, что в поселке завести друзей оказалось проще, чем где бы то ни было. При этом, как и следовало ожидать, с людьми, живущими в другой части поселка, резиденты контактируют от случая к случаю, их общение формально и поверхностно, тогда как более близкие отношения складываются с людьми, живущими с ними по соседству. Однако многое зависит и от собственного желания жителей. Так, по словам одной женщины из дома для престарелых, она поддерживает приятельские отношения с людьми из всех частей поселка. Некоторые занятия, клубы, встречи в пабе оказались способны объединить многих резидентов. Тем не менее ряд респондентов ссылались на недостаток поводов для общения. Сектора поселка четко очерчены, в центре его располагается крикетное поле – все это затрудняет контакты, представляя особую сложность для людей с ограниченными возможностями. Среди факторов, разделяющих жителей поселка, респонденты называли уровень дохода, возраст (он на момент проведения исследования колебался от 53 до 96 лет), состояние здоровья. При этом если часть резидентов одобряла идею возрастного ценза, другая утверждала, что сообщество без детей и молодежи не может считаться полноценным.

Подводя итог своего исследования, Эванс подчеркивает: несмотря на то что в целом респонденты высказали удовлетворенность своей жизнью, разделение поселка на сектора во многом предопределило разобщенность между его жителями[1]. Автор присоединяется к мнению М. Бернард и ее коллег[2], которые считают ошибочной идею о том, что успех пожилому сообществу обеспечивает соблюдение баланса между относительно здоровыми людьми и людьми, нуждающимися в постоянном уходе. С точки зрения С. Эванса, ключ к успеху подобного сообщества – в том, чтобы учитывать все тонкости различий между пожилыми людьми и приветствовать разнообразие, идет ли речь о социальном классе, этнической принадлежности, возрасте, сексуальной ориентации или образе жизни.

Я.В. Евсеева

[1] Об ином варианте планирования поселка для пенсионеров в Австралии см.: *Walters P., Bartlett H.* Growing old in a new estate: Establishing new social networks in retirement // Ageing a. society. – Cambridge, 2009. – Vol. 29, N 2. – P. 217–236.

[2] Housing and care for older people: Life in an English purpose-built retirement village / Bernard M., Bartlam B., Sim J., Biggs S. // Ageing a. society. – Cambridge, 2007. – Vol. 27, N 4. – P. 558–578.

ПОЖИЛЫЕ РАБОТНИКИ – РЕСУРС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ? (Сводный реферат)

1. Schrep B. Hoffnung trotz Jugendwahn: Essay // Aus Politik und Zeitgeschichte. – Bonn, 2008. – N 18–19. – S. 3–6.

2. Schmid G., Hartlapp M. Aktives Altern in Europa // Ibid. – S. 6–15.

3. Conrads R., Kistler E., Staudinger T. Alternde Belegschaften und Innovationskraft der Wirtschaft // Ibid. – S. 40–46.

Настоящий номер немецкого социально-политического журнала «Aus Politik und Zeitgeschichte» (APuZ) посвящен вопросам труда в пожилом возрасте. В занятости пожилых людей авторы видят потенциал для общественного развития – как в Германии, так и в других странах Европы. Данный номер журнала носит междисциплинарный характер: составившие его статьи принадлежат самым разным областям – социологии труда, экономической социологии, исследованиям социальной политики и др.

Общий культурный контекст обрисовывает эссе, которым открывается номер (1). В этом эссе его автор, сотрудник журнала «Шпигель» Бруно Шреп, недоумевает, почему в ситуации постоянного роста количества людей старшего возраста (скажем, по его данным, к 2050 г. каждый второй житель Германии будет старше 50 лет) в западных обществах продолжает господствовать культ молодости.

Именно таким, пронизанным негативным отношением к старости и ее атрибутам, видится Б. Шрепу современное немецкое общество. И в семье, и на предприятии пожилые люди ассоциируются с непродуктивностью, повышенным риском болезни и инвалидности. Ментальные характеристики находят свое отражение в языке. Чтобы высмеять человека, достаточно сказать, что он старо выглядит («alt aussehen zu lassen»; цит. по: 1, с. 4): в современном немецком разговорном языке выглядеть старо и выглядеть смешно – синонимичные конструкции. С годами люди сами все больше стесняются своего возраста и стремятся как можно дольше оставаться молодыми (или, по крайней мере, выглядеть молодо).

Конфликт поколений и стремление молодежи по-своему обустроить мир – явления не новые. Ключевыми для понимания современной ситуа-

ции автору представляются события конца 1960-х годов, когда на волне молодежных выступлений произошли важные изменения в культуре западных обществ. Многочисленному послевоенному поколению удалось добиться радикальных преобразований в системе образования и управлении предприятиями и в итоге отстранить старших от власти. Именно это поколение определило лицо современной культуры. Оно принесло с собой, с одной стороны, культ молодости, а с другой – неприятие старости.

Тем не менее подобное отношение к пожилому возрасту представляется автору не только несправедливым, но и контрпродуктивным. Нельзя бесконечно отовсюду вытеснять пожилой возраст и пожилых людей. Это значит лишь маскировать проблему. Будущее, по мнению Б. Шрепа, – за теми работодателями, которые в полной мере смогут использовать потенциал пожилых людей. В качестве примера он приводит политику, проводимую его собственным журналом: тот целенаправленно набирает авторов старшего возраста. В итоге Б. Шреп надеется (а именно это чувство, надежду, он и выносит в заглавие своего эссе), что в дальнейшем ситуация изменится к лучшему и что общество наконец повернется лицом к пожилым людям. В следующих статьях журнала анализируются как текущее положение пожилых людей на рынке труда в Германии и в Европе в целом, так и непосредственно возможности для реализации потенциала пожилых работников. Наиболее общие тенденции и самые важные моменты отражены в двух из этих статей.

Авторы первой статьи – Гюнтер Шмид (д-р политических наук, завотделом социальной политики в области трудовых отношений Центра социальных исследований, Берлин, ФРГ) и Мириам Хартлапп (д-р политических наук, руководитель комиссии ЕС по созданию новых рабочих мест, действующей при том же центре) (2). Исследователи положили в основу своей статьи популярную ныне концепцию активного старения, ссылки на которую можно встретить и в официальном, и в научном дискурсе. Идеи активного старения стоят в одном ряду с такими концепциями, как здоровое старение, успешное старение, продуктивное старение. В понимании авторов реферируемой статьи активное старение – это сочетание длительной профессиональной занятости и интересного, приносящего удовлетворение досуга. Именно таким авторы хотели бы видеть положение пожилых работников в будущем.

Статья Г. Шмида и М. Хартлапп посвящена работникам двух возрастов – так называемого предпенсионного возраста, т.е. 55–64 лет, и старше 65. В соответствии с достигнутыми договоренностями, к 2010 г. все государства Евросоюза должны обеспечить 50%-ную квоту для работников в возрасте 55–64 лет. Тем не менее в 2007 г. указанного результата достигли только некоторые из стран ЕС, а именно Швеция, Финляндия, Дания, Эстония и Литва. Германия не принадлежит к числу стран, находящихся в авангарде этого движения. Так, если в Швеции занято 82% вы-

сококвалифицированных специалистов старшего возраста, то в Германии таковых лишь 68%.

На сегодняшний момент, отмечают Г. Шмид и М. Хартлапп, недостаточно используется даже труд работников предпенсионного возраста, не говоря уже о тех, кто старше. Действительно, с возрастом способность работника быть занятым на физически тяжелом производстве, скажем на угольной шахте, постепенно снижается. Однако пожилые люди могут быть востребованы в сферах, не требующих особой физической силы, – таких, как образование, здравоохранение, социальная работа. Их опыт и умения могут пригодиться в работе общественных организаций, а также в домашнем хозяйстве.

Если работник по какой-либо причине больше не может работать по своей основной специальности и желает сменить род деятельности, но знаний для новой работы ему не хватает, то в соответствии с пропагандируемым различными официальными (начиная с ЮНЕСКО) и общественными организациями принципом обучения в течение всей жизни ему должна быть предоставлена возможность пройти курс повышения квалификации или переподготовки. На практике, согласно приводимым авторами данным, страны Евросоюза, особенно некоторые из них, еще очень далеки от реализации этого принципа. Например, в то время как в Швеции на момент написания настоящей статьи из нуждающихся в подобных программах могли в действительности ими воспользоваться 43% работников, в Италии, Испании, Португалии и Венгрии не более 4% располагали подобной возможностью.

Кроме того, некоторые работники, например по причине инвалидности, могут нуждаться в особых условиях работы, и таковые должны быть им предоставлены. Вообще говоря, по мнению авторов, не работник должен приспосабливаться к рабочему месту, а, наоборот, рабочее место должно быть приспособлено к особенностям и потребностям работника. Ему должны быть обеспечены комфортные условия работы и оптимальный рабочий ритм. За свою работу он должен получать достойную зарплату, а в перспективе его должна ожидать заслуженная пенсия. Именно эти факторы – комфортная рабочая обстановка и достойное вознаграждение – и определяют удовлетворенность работника, влияя в конечном счете на его решение продолжить работать, а не уйти на пенсию. Авторы считают, что к обозначенным целям нужно стремиться, какими бы труднодостижимыми они ни казались. Результат будет стоить потраченных усилий: пожилые люди останутся в составе рабочей силы, и общество не потеряет ценные трудовые ресурсы, тем более что те навыки, которые пожилые люди уже имеют и используют, молодым работникам только предстоит приобретать.

Идеи активного старения носят выраженный практически ориентированный характер. Они непосредственно связаны с осуществлением текущей социальной политики и оттого не могут оставаться исключительно

теоретическими. Так что, подобно другим авторам, осуществляющим исследования соответствующего интереса, Г. Шмид и М. Хартлапп намечают ряд стратегий внедрения политики активного старения. По их мнению, в настоящее время наиболее важным является совершенствование систем социальной защиты и страхования (Versicherung). Отсюда авторы видят выход в самый широкий спектр вопросов, связанных с положением пожилых работников. В итоге четыре стратегии, которые они выделяют, принимают следующий вид.

Следуя первой стратегии, необходимо расширять круг страховых обязательств. Пособие должны получать не только те, кто непосредственно лишился работы, но и те, у кого возникает перерыв в трудовом стаже в связи с учебой, переподготовкой или переходом на другую работу. В качестве положительного примера авторы приводят Данию и Австрию, где подобная практика страхования временных перерывов в работе уже находит применение: большинство работников в этих странах после перерыва возвращаются к тем же работодателям. Кроме того, полагают авторы, – и эта мысль связана с тем, о чем шла речь выше, – для пожилых работников нужно создавать больше новых рабочих мест, причем именно таких, в которых они нуждаются. Тогда они не будут вынуждены уходить на пенсию, если будут больше не в состоянии выполнять привычную работу, а действительно смогут найти себя в новом виде деятельности.

Вторая стратегия предполагает справедливое деление страховых рисков (Risikoteilung), что означает пропорциональную ответственность государства, работодателя и работника. Государство (а речь идет о социальном государстве, Sozialstaat, вариантом которого является государство всеобщего благоденствия) должно гарантировать работнику, независимо от его пола, возраста и этнической принадлежности, основные социальные права. К таковым, помимо права на труд, относятся право на общее и профессиональное образование, право на законодательно установленное рабочее время, право на семейную жизнь и заботу о больных членах семьи, а также право на повышение квалификации или переподготовку в случае невозможности продолжения работы по первоначальной специальности. Следуя современной культуре потребления, авторы добавляют еще одно неформальное право: с их точки зрения, пожилые работники должны иметь возможность свободно переходить от институциональной занятости к активному досугу и от него – вновь к работе. Тем не менее описываемая стратегия сопряжена с большей ответственностью и для самого человека и предполагает индивидуальное планирование рисков. В Бельгии, например, работник имеет право взять внеочередной отпуск (Karierurlaub / career leave) и получать при этом пособие по безработице. В ответ на это авторы предлагают собственный вариант: работники могли бы «обменивать» свои льготы как потенциальных безработных в будущем на надбавки к зарплате и ваучеры для оплаты дальнейшего образования сейчас.

Третья стратегия во многом является продолжением предыдущей. Она описывает взаимодействие между системой социальной защиты и личной жизнью работника, тем, как он выстраивает свою трудовую деятельность в зависимости от собственных жизненных приоритетов. От того, насколько адекватно организована система социальной защиты, будет зависеть, смогут ли люди не только работать, но и уделять внимание семье и местной общине.

Описываемая стратегия в представлении авторов распадается на четыре подпункта. Во-первых, работники должны иметь возможность осуществлять уход за теми членами семьи, кому он требуется. Особенно актуально это для представителей среднего поколения (получившего в западной литературе наименование «sandwich generation»), которые, с одной стороны, заботятся о несовершеннолетних детях, а с другой – оказывают помощь (разного рода, вплоть до ухода при необходимости) своим родителям и прародителям. В Швеции (не в первый раз упоминаемой авторами, что неудивительно с ее традициями социального государства) каждый работник имеет право на 60 оплаченных дней в году для ухода за нуждающимися родственниками. Во-вторых, большое значение для работника и его семьи имеет размер будущей пенсии. Людей можно стимулировать к продолжению работы по достижении пенсионного возраста, если с каждым последующим годом повышать сумму пенсионных выплат. Так, в Эстонии каждый год работы сверх официального пенсионного возраста приносит прибавку к пенсии, равную 11%, в Чехии и Венгрии – 6%. В-третьих, людям старшего возраста могут быть предоставлены различные варианты работы с гибким графиком, в том числе дистанционная работа, которую можно выполнять дома («Flexjobs»). В-четвертых, в духе популярной в общественных науках концепции жизненного цикла авторы призывают ориентироваться на биографическую перспективу (Lebenslaufperspektive). По их мнению, при расчете размера пенсии принимать во внимание нужно не столько зарплату на последнем перед пенсией месте работы, сколько суммарный доход за весь трудовой стаж работника.

Наконец, четвертая стратегия служит своего рода результирующим вектором всех вышеописанных принципов и выводит их на новый, более высокий уровень обобщения. Согласно авторам, необходимо добиваться лучшего взаимодействия между различными системами социальной защиты и страхования. Работники должны иметь возможность свободно выбирать между различными существующими в данной области программами и самим определять, каким образом выстраивать свое трудовое поведение. В Дании и Голландии, где во главу угла положен именно этот подход, подобная практика получила название flexicurity – от *flexibility* (точнее, *labour market flexibility*), гибкость рынка труда, и *security*, социальная защита.

Подводя итог своим рассуждениям, Г. Шмид и М. Хартлапп подчеркивают три ключевых момента. Во-первых, основы активного старения закладываются в детстве, и сквозь всю свою жизнь человек должен про-

нести способность и желание учиться. Во-вторых, работник должен иметь право на оплачиваемые перерывы в работе в связи с учебой, сменой рода деятельности, уходом за нуждающимися в этом членами семьи; не менее важно и сочетание работы с активным досугом. В-третьих, перспективными направлениями развития рынка и государственной политики выступают создание новых рабочих мест, улучшение условий труда и совершенствование систем социальной защиты, прежде всего, с ориентацией на работников старшего возраста.

Завершается настоящий номер «ApuZ» статьей, относящейся к области социоэкономической инноватики (3). Авторы данной статьи – Ральф Конрадс (д-р географических наук, научный сотрудник INIFES, Международного института эмпирических социально-экономических исследований), Эрнст Кистлер (д-р политических наук, директор INIFES) и Томас Штаудингер (географ, на момент написания статьи – научный сотрудник INIFES). Статья касается вопросов инновационного развития экономики в эпоху демографического старения населения. Традиционно проводником инноваций считалась молодежь, а вовсе не люди старшего возраста. Однако в ситуации стремительного постарения рабочей силы эту точку зрения необходимо по крайней мере проблематизировать, полагают авторы. Демографический прогноз, который они приводят, еще резче очерчивает проблему, нежели тот, что дан в эссе Б. Шрепа. Согласно их данным, к 2025 г. в некоторых регионах Германии количество людей старше 55 лет достигнет 75%, т.е. работники предпенсионного возраста будут составлять большинство местной рабочей силы.

В связи с этим авторы считают нужным поставить ряд вопросов. Во-первых, смогут ли предприятия трудоустроить такое количество работников старшего возраста? Во-вторых, смогут ли все эти работники остаться в составе рабочей силы как минимум вплоть до пенсии (иными словами, не помешают ли им продолжить работу проблемы со здоровьем, недостаток актуальных знаний, отсутствие мотивации)? В-третьих, принимают ли предприятия уже сейчас все необходимые меры для того, чтобы в будущем эта перспектива стала реальностью? (К таким мерам относятся борьба с возрастной дискриминацией, содействие дальнейшему образованию, внедрение программ по профилактике заболеваний.) И, наконец, в-четвертых, будет ли предприятие с таким числом пожилых работников продуктивно и сможет ли оно демонстрировать необходимый уровень инноваций?

Авторов интересует прежде всего ответ на последний вопрос. Если обратиться к существующим исследованиям, можно обнаружить довольно противоречивые мнения. Многие авторы скептически настроены по отношению к инновационному потенциалу пожилых работников. Ссылаются, в частности, на классическое исследование Дж. Гилфорда[1], где пиком достижений назван 35-летний возраст. Тем не менее выясняется, что по ста-

[1] *Guilford J.P.* The nature of human intelligence. – N.Y.: McGraw-Hill, 1967.

тистике средний возраст работника, генерирующего инновационные идеи, выше среднего возраста работников типичного предприятия[1]. Это явление интерпретируют следующим образом. Работник старшего возраста уже освоил базовые процессы и выполняет их автоматически; он приобрел необходимый опыт, чтобы чувствовать себя достаточно свободным и желать попробовать что-то за пределами привычных действий. Вот он, потенциал для инноваций. По данным, приводимым авторами реферируемой статьи, период наивысшей творческой активности длится дольше, до 50 лет, и лишь затем начинается постепенное снижение результатов. При этом авторы подчеркивают, что как такового «пожилого работника» не существует. Есть отдельные работающие мужчины и женщины. Многое зависит от личных качеств работников, а также от условий труда на их предприятиях. В отношении инновационного развития, в частности, важно, созданы ли на том или ином предприятии необходимые условия для разработки и воплощения инноваций. В более широком смысле – ориентировано ли на инновации общество в целом.

Основным способом поддержания способности к творчеству и инновациям является продолжение образования. И у пожилых людей есть необходимые предпосылки к тому, чтобы добиться успеха в этой деятельности. В то время как некоторые интеллектуальные показатели с возрастом действительно снижаются, другие остаются на прежнем уровне либо даже могут повышаться.

По мере старения падает скорость усвоения нового материала, что объясняется исходя из представлений о двух типах интеллекта[2]. Функция так называемого протекающего (*fluid)* интеллекта, включающего в себя восприятие, скорость обработки информации, способность к абстракции и ассоциативную память, с возрастом постепенно снижается. Напротив, функция кристаллизованного (*crystallized*) интеллекта – под ним понимают эрудицию, словарный запас, понимание речи – возрастает вплоть до 60 лет, затем в течение длительного времени сохраняется в неизменном виде и лишь после 80 лет начинает снижаться. Данный вид интеллекта имеет двоякое значение для обучения в старшем возрасте. С одной стороны, поскольку этот вид интеллекта определяется в большей мере культурными, нежели биологическими факторами, обучение способно задержать и даже обратить вспять его деградацию. С другой стороны, именно на него (скажем, в форме различных лингвистических техник) в процессе обучения и можно сделать ставку. Известно также, что неиспользуемые знания забываются, так что память – и прежде всего память кратковременную, ухудшающуюся с возрастом, но при этом играющую ключевую роль в процессе обучения, – необходимо упражнять. Другие важные факторы –

---

[1] *Fröhner K.-D.* Zusammenfassung // Altern und Arbeit: Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft / Hrsg. von C. von Rothkirch. – B.: Sigma, 2000. – S. 222.

[2] См., например: *Baltes P.B., Lindenberger U., Staudinger U.M.* Die zwei Gesichter der Intelligenz im Alter // Spektrum der Wissenschaft. – Heidelberg, 1995. – Jg. 18, H. 10. – S. 52–61.

такие, как мотивация, настроенность на учебу, гибкость (например, в принятии решений), зависят скорее не от возраста, а от индивидуальных особенностей и склонностей человека.

Образовательные программы для взрослых могут воплощаться в самых различных формах – от чтения специальной литературы до инструктажа на рабочем месте. Обучение в старшем возрасте должно учитывать уже имеющиеся у учащихся знания и опыт. С возрастом обучение обычно принимает все более неформальный вид. Однако на определенном этапе, отмечают авторы, так можно перейти институциональную границу, за которой подобную практику уже нелегко будет квалифицировать как обучение. А это, видимо, может повлечь за собой проблемы с финансированием и пр. Так что этот момент тоже следует учитывать.

Авторы с сожалением отмечают, что в Германии программы повышения квалификации и переподготовки до сих пор не получили должного развития. Между 1999 и 2005 гг. по отдельным показателям наблюдается даже некоторый спад. В частности, на 22% сократилось количество предприятий, где работникам предлагается пройти соответствующее обучение (с 92% в 1999 г. до 70% в 2005 г.). Кроме того, большинство работников, принимающих участие в этих программах, – это высококвалифицированный персонал среднего возраста. Остальные работники, в том числе люди старшего возраста, оказываются вовлеченными в этот процесс в значительно меньшей степени. Когда у работодателей выясняют причины столь невысокого уровня развития профессиональных образовательных программ, они отвечают, что, во-первых, работники и так достаточно загружены, чтобы еще проходить какое бы то ни было обучение, и во-вторых, их квалификация является достаточной для осуществления той работы, на которую они были наняты. В связи с этим авторы задаются вопросом, правильно ли в Германии вообще понимается значение слова «квалификация» и действительно ли оценивается вся важность инноваций для общественного развития в современном мире. Тем более что, как указывают авторы, количество людей с докторской степенью в Германии меньше, чем во многих других странах.

Резюмируют проведенный анализ Ральф Конрадс, Эрнст Кистлер и Томас Штаудингер следующим образом. Как продемонстрировало настоящее исследование, старение рабочей силы не является основным препятствием на пути разработки и внедрения инноваций. Скорее таким препятствием являются те, от кого зависит создание условий для инновационного развития, – государственные структуры и работодатели. И пока последние еще не приняли окончательного решения в пользу целенаправленного повышения квалификации пожилых работников, другие страны, где этот вопрос уже решен положительно, вырвутся вперед в своем развитии, а все мы еще немного постареем.

Я.В. Евсеева

Динель К.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СРАВНЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙНОГО ПОПЕЧЕНИЯ

Dienel C.

Die Betreuung älterer Familienmitglieder im europäischen Vergleich: Perspektiven einer europäischen Politik für familiäre Pflege // Berliner J. für Soziologie. – Wiesbaden, 2007. – Jg. 17, H. 1. – S. 281–300.

Кристиана Динель, профессор европейской политики и общества в Высшей школе Магдебурга-Стендаля (Германия), обращается к проблеме ответственности за достойное содержание пожилых людей, острота которой особенно усиливается в связи происходящими в европейских странах демографическими изменениями. В своей статье она предлагает сравнительную характеристику обслуживания пенсионеров в разных странах Европейского союза и показывает соотношение в них заботы со стороны семьи и услуг, предоставляемых «государством всеобщего благосостояния» и коммерческими структурами.

Динель констатирует, что и в научных исследованиях, и в социальной политике стран ЕС зарегистрирован поворот к реализации стремления большинства пенсионеров оставаться в привычной для них среде. Этот поворот свидетельствует прежде всего об улучшении качества жизни нуждающихся в уходе людей, а также способствует увеличению числа рабочих мест в сфере амбулаторных услуг. Вместе с тем снижение роли стационарного обслуживания подчеркивает ответственность семьи за поддержку ее пожилых членов, что особенно важно в условиях, когда ассигнования из государственного бюджета на покрытие убытков в данной сфере сокращаются. В этом случае все более проблематичным становится разграничение между социальной защитой государства и услугами органов здравоохранения, между средствами фондов страхования на случай болезни и дотационной помощью различных внебюджетных организаций.

То, что члены семьи – это важная часть порядка попечительства, долгое время казалось само собой разумеющимся. Согласно полученным данным, около 80% всех услуг по оказанию помощи выполняются в Европе неформально и оплачиваются чаще всего домочадцами. Это еще раз подчеркивает актуальность изучения динамики распределения ответственности за жизнь старшего поколения между государством и семьей. Оно неминуемо изменяется в условиях наблюдаемого три десятилетия подряд спроса на деятельность социальных служб во всех странах ЕС и снижения потенциала семьи ввиду ее нестабильности, а также таких процессов, как старение населения и повышение уровня доходов у женщин. Между тем, подчеркивает автор, организация долговременного ухода за стариками в каждом из этих секторов значительно отличается. Так, по статистическим прогнозам занятая в госбюджетных учреждениях часть населения Европы вырастет к 2010 г. в среднем на 10%, причем в Нидерландах и Ирландии она увеличится на 19–24%, а в Испании, Португалии и Швеции – лишь на 4%. Различается здесь и число одиноких пенсионеров: при среднем количестве по ЕС 45% их численность в Испании и Португалии составляет менее 32%, а в Швеции и Дании – более 60% (с. 283).

Динель отмечает, что в таких странах, как Дания, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Швеция и Великобритания, службы ухода на дому за больными и стариками работают намного лучше, чем в Австрии, Греции, Италии и Испании. Более того, велики различия отдельных стран по уровню координации в работе таких вспомогательных служб и занятости населения в них. Их ориентация либо на систему здравоохранения, либо на социальные гарантии государства предполагает разные источники финансирования. Так, уход за больными на дому оплачивается, как правило, из фондов системы здравоохранения (в том числе частных клиник), а обслуживанием пенсионеров в целом часто управляют местные органы власти (касается это и работы добровольцев).

В государствах всеобщего благосостояния (согласно определению, предложенному Бисмарком) ключевой задачей выступает содействие социальной поддержке и здравоохранению. При этом доля государственного финансирования в сфере ухода за здоровьем достигает во Франции и Германии 84%, в Италии – около 72, а в Великобритании – только 23%. Снижение государственного финансирования означает рост материальной ответственности семьи, распределяющейся весьма неравномерно. Например, в странах скандинавской модели государство сохраняет ключевую роль в качестве носителя социальных услуг. Именно здесь соцзащита делает индивида независимым от семейной поддержки, в то время как в средиземноморских странах на государственную поддержку могут рассчитывать лишь одинокие старики.

Нуждающиеся в уходе и живущие дома люди, разумеется, могут использовать либо оплаченную, либо неформальную помощь третьих лиц. Опираясь на сравнение европейских данных в этой области, Динель показывает, что примерно 20% группы старше 65 лет и от 30 до 60% группы старше 75 лет получают регулярную внебюджетную поддержку. Везде, где спрос на нее не удовлетворяется, альтернативой выступает как обслуживание на сером рынке и помощь соседей, так и расширение прав муниципалитетов. Активность «третьего сектора» экономики, конечно, возросла в Европе повсеместно и составляет на рынке занятости до 6,6%. Тем не менее пробелы в системе попечительства привычно закрываются семьями, о чем свидетельствуют данные опросов, в ходе которых 9/10 всех европейцев высказывались в поддержку содержания своих родителей взрослыми работающими детьми[1].

Оценка населением переноса ответственности за уход за пожилыми людьми на родственников варьируется от страны к стране. Например, граждане северных стран реже других соглашались с точкой зрения на приоритет обязательств семьи, в то время как на юге ЕС она преобладала. Этой неравномерности соответствует и практика в рассматриваемой области. Так, число мест в обслуживающих стариков пансионатах Италии и Испании составляет менее 1/10 среднего значения по ЕС. Большинство жителей стран Восточной и Южной Европы придерживаются мнения, что забота о старшем поколении в значительной мере относится к сфере ответственности родных и близких.

Таким образом, выявляется взаимосвязь между существующей практикой социальной поддержки со стороны государства и восприятием ответственности за старых родителей конкретным индивидом. Если государственная сеть социального обеспечения отличается прочностью, то обязанности индивида сокращаются. Если же государство может позволить себе лишь рудиментарный набор предложений по социальной поддержке пожилых, то готовность индивида к реализации функций опекуна должна возрастать. Помимо этих двух направлений заботы о старшем поколении, значимым фактором также является зависимость положения стариков от существующих типов родственных отношений. Скажем, характеристики модели многочисленной семьи в Испании связаны с наличием немалого количества «прочих родственников» как потенциальных членов попечительских сообществ. Соседская модель в Великобритании выявляет множество друзей и доброжелателей, а модель малочисленной семьи в Германии демонстрирует самое большое число опекающих друг друга супругов и сокращающееся число заботящихся о них детей.

Используя данные статистического обзора, Динель делает вывод о том, что уход в стационарах не выступает альтернативой поддержки в

[1] См., например: Die soziale Lage in der Europäischen Union. – Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2003.

частном домохозяйстве даже при наличии широкой системы соцстрахования. Весьма востребованными со стороны представителей старшего поколения и их ближайших родственников являются такие модели заботы об инвалидах и стариках, в которых значительную роль играют неофициальные структуры. Свое выражение это нашло в появлении множества фирм по обслуживанию людей старшего поколения на дому (с. 286–287).

Далее автор статьи анализирует содействие со стороны государства развитию частных услуг содержания пенсионеров. Она отмечает, что в странах ЕС внедрено страхование этих услуг, и они чаще всего оплачиваются из бюджета системы здравоохранения либо из бюджета специализированных государственных служб. Некоторые страны финансируют данную работу из общих налогов, другие – из специальных фондов, пополняемых как добровольными взносами, так и средствами региональных администраций. Принятая сегодня выплата пособий как нуждающимся в уходе, так и выполняющим функции ухода членам семьи придает их отношениям монетарный вид. Она стирает различия между рынком и частной сферой, между формальными и неформальными сообществами по уходу, между оплачиваемой и благотворительной работой. Поднимается лишь вопрос о том, кто является адресатом дотаций, – пенсионер или опекун (с. 289).

Расширение сети социального страхования обеспеченного существования пенсионеров выступает признаком не столько упрочения государства всеобщего благосостояния, сколько финансового кризиса коммерческих структур социальной защиты, многие из которых бесконтрольно завышают размеры оплаты. Поэтому основную роль начинают играть услуги муниципальных институтов, которые оказались не только дешевле, но и допускают перерыв в трудовой деятельности для обслуживания престарелых на дому и начисления платежей за выполненную работу. Так, в Бельгии, Нидерландах и Скандинавских странах есть «отпуска для ухода», правда при чрезвычайных условиях (например, для заботы о смертельно больных), а в Германии введение таковых обсуждается в рамках реформы страхования (с. 292).

Автор анализирует три примера соотношения государственной, домашней и коммерческой опеки. Так, в Финляндии как государстве скандинавского типа семья отличается равноправием при распределении функций между полами. Вклад финских женщин в производство очень высок, а показатели их неполной занятости малы. Система здравоохранения здесь полностью финансируется за счет налогов, предоставление медицинских услуг возлагается на коммуны, а частный сервис играет незначительную роль. С принятием Закона 1972 г. услуги здравоохранения концентрировались в центрах, деятельность которых комбинируется с решением задач социальной защиты. В этом же законе ответственность за лечебную профилактику была передана коммунам, предлагаю-

щим соответствующие услуги в оздоровительных центрах. 75% расходов на здравоохранение финансируются на государственном уровне, частное же страхование на случай болезни составляет лишь 1,7% издержек в данной сфере (с. 293).

Большое количество пансионатов для пожилых людей типично для северных стран. Однако, по признанию автора, в начале 1990-х годов кризис привел к изменению структуры социальной защиты, в частности к сокращению количества пансионатов примерно на 20%. Снизилась на 30% также численность мест в домах для престарелых. Вместо этого были созданы «сервисные фирмы» – специальные жилые дома для пожилых и инвалидов с дополнительной помощью. Число этих учреждений возросло на 170%, в то время как количество мест в оздоровительных центрах – лишь на 15%. Приоритет был отдан обслуживанию на дому, которое находится в сфере компетенции муниципалитетов и финансируется из фондов страхования на случай утраты трудоспособности. В условиях экономического спада также внедрялось добровольное страхование нуждающихся в опеке. Но и при его отсутствии в Финляндии выплачивается пособие опекунам престарелых, введенное как часть национальной системы пенсионного обеспечения. Кроме того, опекунам на период ухода за престарелыми родственниками предоставляется возможность сохранять должность на производстве.

Другим рассмотренным автором примером является политика в отношении престарелых во Франции. С начала 1960-х годов наметилась ее реорганизация, связанная с осознанием преимуществ домашнего ухода за пожилыми и инвалидами. В 1975 г. было введено пособие для содержания инвалидов на дому, а уже с 1986 г. началось страхование опеки в целом. При этом разворачивались дискуссии о различных монетарных формах поддержки опеки престарелых, а также о предоставлении прямых услуг со стороны государства. После учреждения в 2002 г. специального пособия для нуждающихся в уходе его размеры варьируются в зависимости от потребностей и могут использоваться для оплаты труда членов семьи (исключая супругов). Сохраняется право выбора как между стационарным или домашним обслуживанием, так и между оплатой конкретного исполнителя или сервисной фирмы. Родные могут получать деньги, если они не заняты работой в другом месте. Хотя юридически дети не обязаны поддерживать своих родителей, а платежи не покрывают их издержек, стимулом к обслуживанию стариков в семье служит вероятность компенсации расходов из будущего наследства (с. 295).

Эмпирический анализ практики попечительства во Франции показал, что большинство нуждающихся в уходе и около 25% членов семьи выбирают «третье лицо». При этом реализуется установка присмотра и ухода за престарелыми на дому и одновременно создаются новые рабочие места. Однако одним из следствий распространения этой практики

стало быстрое увеличение количества официальных домработниц. Хотя речь в данном случае идет об ограниченной занятости (максимум 8 часов в неделю), происходит явная экспансия этого сектора на рынке труда. На эти рабочие места, как правило, претендуют женщины с низкой трудовой квалификацией и мигранты, а основная роль в найме персонала отводится посредническим агентствам, которые освобождены от многих выплат и пользуются рядом налоговых льгот. Оказалось, что почти 70% средств на опеку нуждающихся в обслуживании уходило именно на оплату деятельности посредников, 22 – на дотации родственникам и менее 10% – на оплату труда компаньонок.

Наряду с мерами финансовой поддержки французское правительство предлагает членам семьи, готовым заботиться о престарелых родственниках, и социальный статус опекуна (с. 296). Правда, опросы населения говорят о том, что многие женщины готовы ограничивать свою работу на производстве ради заботы о детях, но не ради ухода за родителями, требующего больших затрат времени и инвестиций. В отличие от финского опыта социальной опеки, здесь наблюдается смещение центра тяжести на домашние сообщества по уходу за престарелыми. Они насчитывают несколько типов, но доминирующей является комбинация родственной заботы и привлечения коммерческих служб, которым делегируют наиболее сложную часть работы. Во всяком случае, проведенные опросы свидетельствуют, что забота о стариках признается обязанностью семьи, тогда как обращение к вспомогательным службам рассматривается как решение, обусловленное конкретными обстоятельствами (с. 297).

Иная ситуация в Италии, где реформа здравоохранения 1978 г. отменила существование многочисленных больничных касс и создала единый порядок социальной защиты. Ее также постиг кризис финансирования, и в 1999 г. акцент был сделан на региональные системы здравоохранения. Доля нуждающихся в пансионатах в Италии крайне низка: от 1,5% населения старше 65 лет до 3,6% старше 75 лет. Большинство пожилых людей находятся на попечении семейных кланов, чему способствуют малая региональная мобильность и практика соседства родственников. Опрос 1997 г. показал, что 78,1% состоящих в браке детей посещали своих родителей ежедневно или чаще, чем раз в неделю. Поэтому услуги бытового обслуживания старшего поколения являются проблемой прежде всего одиноких пенсионеров. В Италии не было выступлений за сокращение издержек на стационарный уход или перемещение пожилых пациентов больниц в хосписы. Данные проблемы были решены в середине 1980-х годов путем создания домов для престарелых для хронически больных, где они окружались круглосуточной заботой (с. 297).

Развитие сервисных служб обязано, скорее, усилиям регионов, стремящихся укрепить собственную автономию. «Союзы общего блага» в Италии – это самый важный сегодня продавец услуг по уходу за оди-

нокими и малоимущими стариками. Национальный план здравоохранения предусматривает координацию действий опекунских служб, причем социальные услуги должны финансироваться за счет коммунальных бюджетов, а медицинские – на национальном уровне (с. 298). Данные опросов в рамках изучения социальной защиты (хотя и опосредовано) показали постепенное размывание представлений о незыблемости попечительского долга, так как на передний план здесь выступает желание самих нуждающихся в уходе. Итальянцы чаще других говорят о психических нагрузках, которыми сопровождаются забота о пожилых родственниках и сосуществование с ними. Обусловлено это тем, что многие итальянцы живут вместе с родителями, но такое совместное проживание часто оказывается вынужденным, связанным с отсутствием альтернативных вариантов.

Обобщая данные сравнительного анализа, Динель резюмирует, что обслуживание пожилых людей в семье испытывает сегодня давление с двух сторон. Во-первых, оно зависит от смещающегося баланса численности стариков и людей трудоспособного возраста. Во-вторых, образ жизни последних оставляет все меньше возможностей для ежедневного участия в опекунской деятельности. Прямое участие государства в обеспечении достойной старости лиц пожилого возраста сталкивается с не меньшими трудностями, чем попытки делегирования этой ответственности членам семьи пожилого человека. Очевидна необходимость преобразований, векторы которых не совпадают. Три рассмотренные в статье страны находятся на разных позициях, обусловленных конкретным подходом к решению поставленных проблем и специфическими условиями каждой страны.

Если говорить об ответственности за обслуживание престарелых, отраженной в практике домашнего присмотра, то Италия стоит на первом месте, далее идет Франция, а затем Финляндия. Если обратиться к оценке успехов семейных объединений по попечительству, то на первом месте стоит Франция как страна, где это направление деятельности пользуется серьезной финансовой поддержкой. Наконец, наиболее полно принцип доступности социальных услуг для пожилых людей реализован в Финляндии.

По мнению автора, о перспективах интеграции столь различных подходов следует говорить с большой осторожностью. Фактором конвергенции выступает общий для всех стран ЕС демографический прессинг. Черты общности проявляются также в том, что семья начинает играть роль менеджера попечения, но утрачивает некоторые более привычные функции.

Актуальные демографические тенденции в странах ЕС не позволяют рассчитывать на радикальное повышение вклада молодых поколений в обеспечение пенсионеров. Остаются без ответа вопросы, от каких факторов зависит благополучие семьи: нужно ли здесь дополнительное уча-

стие государственных или скорее коммерческих институтов, как должны складываться пропорции между ними и семьей и в какой мере родственное попечительство стабилизируется рамочными жизненными условиями (с. 299)? В Европе сформировались разные модели распределения ответственности, однако их сравнение показывает необходимость разработки более прочных технологий поддержки семей, в которых осуществляется попечение престарелых. На фоне гендерных преобразований, быстрого роста бездетности среди лиц, рожденных с конца 1950-х годов, а также старения общества в целом все острее встает проблема определения в попечительском менеджменте функций различных составляющих социальных сетей. Их практическая роль в решении задач обслуживания представителей старших возрастных групп заслуживает более тщательного научного изучения.

С.Г. Ким

IV. СОЦИОЛОГИЯ ТЕХНИКИ

СТАТЬИ

В.Г. Горохов

СОЦИОЛОГИЯ ТЕХНИКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ[1]

1. Социология техники: Техника как предмет социологического анализа

Предметом социологии техники является техника. Сказать так – значит не сказать ничего, поскольку сразу же возникает второй вопрос: а что же такое сама техника с социологической точки зрения? Чтобы разорвать этот замкнутый круг, попытаемся сначала обратиться к предметной области социологии. Как известно, сам термин «социология» и ее понимание как «позитивной» науки о человеческом обществе на основе систематического наблюдения, эксперимента и сравнительного исторического анализа ввел в научный оборот французский философ Огюст Конт. Эмиль Дюркгейм считал, что социология как наука «могла родиться только в тот день, когда появилось предчувствие, что социальные явления, не будучи материальными, все же представляют собой реальные вещи, допускающие исследование», поэтому ее «можно определить как науку об институтах, их генезисе и функционировании»[2]. В концепции немецкого социолога Никласа Лумана именно коммуникация становится основной структурой общества, причем никакая коммуникация невозможна без общества, а никакое общество – без коммуникации. Коммуникативные акты ничего не говорят о мире, который не отражается коммуникацией, а, скорее, классифицируется с ее помощью. Социальное – это не что иное, как коммуникация. Тогда окружающая среда – лишь стимул, но не реальный источник информации. Управляемые коммуникационными средствами коммуникативные процессы связывают партнеров, *каждый* из которых реализует свои *собственные* селективные достижения и знает о том, что то же самое делает и другой. В связи с этим становится важным различение знания и информации: знание создает способность действия, в то время как инфор-

[1] Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Технонаука как фактор социокультурных изменений: Глобальный контекст и российский опыт» № 10-06-00193

[2] *Дюркгейм Э.* Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 405–406.

мация представляет собой знание, обработанное для целей использования, поэтому знание отражает статический структурный аспект, а информация – процессуальный аспект коммуникации. Таким образом, предметом социологии техники может быть техника как социальная деятельность, социальный институт, но также и как социальная коммуникация.

В современном значении слово «техника» употребляется в двух смыслах. В общем и широком смысле каждый вид человеческой деятельности имеет свою технику (техника живописца, музыканта, оратора, исследователя и т.д.). В узком же смысле она означает деятельность техника по профессии как человека, достигающего практических целей. Это различение вполне отчетливо проводил еще П.К. Энгельмейер – основоположник социальных исследований техники в России. По его словам, «это-то промышленно-хозяйственную, утилитарную деятельность и разумеют все тогда, когда употребляют слово “техника” без всякого придаточного слова»[1]. Чтобы определить технику, нужно прежде всего выяснить ее цели и средства. Техника всегда решает определенные задачи, которые родятся из потребностей человека. Но не всякая осознанная потребность образует техническую задачу. «Технические задачи, – пишет Энгельмейер, – возникают либо из замеченного неудобства, либо из предчувствуемого преимущества. Известная потребность ищет удовлетворения»[2]. В то же время одна потребность может привести к нескольким техническим задачам. Когда же техническая задача решена, то говорят о техническом эффекте данной технической системы (скажем, технический эффект ножниц – разрезание надвое твердых тел). «Техника есть искусство вызывать намеченные полезные явления природы, пользуясь известными нам свойствами природных тел». Техника, таким образом, принадлежит к искусствам, т.е. к объективирующей деятельности, и в то же время к «числу установленных естествознанием»[3]. Важно, однако, отличать техника от ремесленника, который «вырабатывает свои произведения исключительно путем усвоения раз навсегда выработанной рутины»[4]. Но еще более важно провести различие между техником и инженером: «На долю инженера выпадает деятельность творческая и направляющая, на долю техника – исполнение»[5]. Инженер, как и ученый-естествоиспытатель, имеет дело с идеализированными объектами и схемами.

Техника с социологической точки зрения становится социологическим фактом: техника возникает как продукт социального процесса, в ее предметной форме фиксированы социальные структуры, а в процессе об-

---

[1] *Энгельмейер П.К.* Техника как искусство // Научное обозрение. – СПб., 1900. – № 6. – С. 1022.

[2] Там же. – С. 1024.

[3] Там же. – С. 1376.

[4] Там же. – С. 1022.

[5] *Энгельмейер П.К.* Технический итог XIX века. – М.: Тип. К.А. Казначеева, 1898. – Вып. 2. – С. 49.

ращения с техникой, в свою очередь, возникают следствия для социальных изменений. Производство техники, как и ее применение, являются социальными действиями. В принципе социология техники способна выделить «техническое» в любом социальном действии, причем как в диахроническом, так и в синхроническом планах. В первом случае возникает необходимость в историческом исследовании генезиса техники, а во втором – в изучении ее роли и места в современном обществе, которое в своих социальных структурах постоянно порождает новую технику и социализирует ее, т.е. делает достоянием общества, нашей повседневной социальной реальности. Исторический анализ генезиса технического может быть представлен двояко: как выявление этапов социализации и институционализации технической деятельности или как процесс отдифференциации технической деятельности от других областей и видов социальной деятельности. Кроме того, генезис техники следует отличать от ее функционирования в обществе. В первом случае техническая деятельность выступает как сложная социальная структура, задачей которой становится целенаправленная разработка и внедрение новой техники, а во втором речь идет о формировании в обществе специальных подсистем, обеспечивающих надежное функционирование техники, поддержание в рабочем состоянии, ремонт и обслуживание, а также уничтожение побочных продуктов этого функционирования и самой вышедшей из употребления техники.

Однако, как представляется, социологию техники в первую очередь должны интересовать социальные структуры, предупреждающие общество о тех негативных последствиях, которые может иметь применение новой техники и технологии. Современная техника всегда ориентируется на будущее, поскольку ее развитие сопровождается постоянной генерацией и внедрением в обществе инноваций. Тем не менее в современном обществе должен быть разработан механизм проведения оценки их возможных последствий (как позитивных, так и негативных). Современное общество больше не может эффективно функционировать без наблюдения за ним, например, со стороны средств массовой информации. Н. Луман назвал этот феномен наблюдателем второго порядка. Такую функцию в демократическом обществе также выполняет социальная оценка техники, которая призвана не только оценивать социальные последствия уже состоявшихся технических нововведений, но и определять с точки зрения интересов общества пути и возможные сценарии технического развития, или, иначе говоря, осуществлять социальное проектирование техники. Согласно немецкому исследователю В. Раммерту, «социология техники является такой социологической субдисциплиной, которая специально связана с социальной динамикой технического развития. В ней речь идет как о следствиях, которые привносят технические нововведения в человеческую деятельность и социальные отношения, так и о социальных правилах, конституирующих различные виды техники. Предметная область социологии техни-

ки, таким образом, распространяется на взаимосвязи в процессе возникновения и применения техники. Главным образом в ней изучаются социальные условия изобретения, конструирования и развития техники (*генезис техники*) и социальные влияния ее распространения, институционализации и овладения ей (*социальная оценка последствий техники*)»[1].

2. Социальная инженерия как социотехническое проектирование

В рамках предметной области социологии техники есть несколько направлений, имеющих (по крайней мере, потенциально) общесоциологическое значение. К их числу, несомненно, относится проблематика социотехнического проектирования.

Выход проектирования в сферу социотехнических и социально-экономических разработок привел к выделению проектирования из инженерной деятельности, к его превращению в самостоятельную область деятельности – системное проектирование. Системное проектирование – область современной проектной деятельности, направленная на разработку проектов сложных систем в различных сферах современного общества и связанная с развитием новых форм проектной культуры, системных и методологических ориентаций с использованием гуманитарных методов познания и освоения действительности. Обычно различают «внутреннее» и «внешнее» проектирование: первое связано с созданием рабочих чертежей, которые служат основными документами для изготовления технической системы на производстве; второе направлено на проработку общей идеи системы, ее исследование с помощью теоретических средств, разработанных в соответствующей технической науке. Для проектировочной деятельности исходным является социальный заказ, т.е. потребность в создании определенных объектов, вызванная либо разрывами в практике их изготовления, либо конкуренцией, либо потребностями развивающейся социальной практики (например, необходимостью упорядочения движения транспорта в связи с ростом городов) и т.д. Проектирование необходимо отличать от конструирования, результат которого должен быть обязательно материализован в виде опытного образца, что позволяет уточнить расчеты, приводимые в проекте, и конструктивно-технические характеристики проектируемой технической системы. Продукт проектировочной деятельности в отличие от конструкторской выражается лишь в особой знаковой форме – в виде текстов, чертежей, графиков, расчетов, моделей в памяти ЭВМ и т.д. Выход проектирования в сферу социально-технических и социально-экономических разработок привел к его обособлению в самостоятельную область деятельности и трансформации в системное проектирование, направленное на реорганизацию человеческой (например, управленческой) деятельности. Если традиционное инженер-

[1] *Rammert W.* Technik aus soziologischer Perspektive: Forschungsstand, Theorieansätze, Fallbeispiele: Ein Überblick. – Opladen: Westdeutscher Verl., 1993. – S. 9.

ное проектирование входит составной частью в инженерную деятельность, то системное проектирование, наоборот, может включать (если речь идет о создании новых машинных компонентов) или не включать в себя инженерную деятельность. Сфера приложения системного проектирования распространяется практически на все сферы социальной практики (обслуживание, потребление, обучение, управление и т.д.), а не только на промышленное производство. В рамках системного проектирования наряду с *системотехническим проектированием* формируется *социотехническое проектирование* (например, градостроительное, эргономическое, организационное и т.п.), задачей которого становится целенаправленное изменение социально-организационных структур, фактически – проектирование систем деятельности, и главное внимание должно уделяться не машинным компонентам, а социальным и психологическим аспектам.

Инновационно ориентированные наука и техника не могут ограничиваться описательным подходом, а должны играть активную роль в инновационных процессах, что означает участие в проектировании. Имеется в виду, что под проектированием понимается не конкретный вид инженерного проектирования, а некоторая проектная функция, обязательно присущая современным научно-техническим дисциплинам наряду с исследовательской, аналитической функцией. Когда сегодня специалист по водной химии говорит об очистке сточных вод в бассейне конкретной реки, например Волги, то он неизбежно выходит за рамки своей узкой научной области в социокультурную сферу, поскольку ни вода, ни тем более река не являются объектом исследования химика. Он работает, таким образом, в рамках определенного проекта, направленного на решение поставленных обществом и важных для общества проблем – обеспечения населения достаточными запасами чистой воды. Это и есть разновидность проблемно и проектно ориентированного исследования[1].

Роль системотехнического проектирования значительно возрастает в современных условиях, когда достоянием рынка становятся не только готовые продукты, но и знания, ноу-хау. По сути дела, основной целью системотехнического проектирования является устранение разрыва между получением нового научного знания, инженерными разработками и формированием хозяйственных структур, реализующих знание и инженерные разработки в социальной практике.

Системотехника представляет собой особую деятельность по созданию сложных технических систем и в этом смысле является прежде всего современным видом инженерной, технической деятельности, но в то же время включает в себя и научную деятельность, производство нового знания. Таким образом, в системотехнике научное знание проходит полный цикл функционирования от его получения до использования в инженерной практике. Инженер-системотехник должен сочетать в себе талант ученого,

[1] См.: *Фриммель Ф.* Основы устойчивого водного хозяйства // Российско-Германский колледж: Ежегодник 2001/2002 / Под ред. В.Г. Горохова. – Карлсруэ: Shaker, 2003.

конструктора и менеджера, объединять специалистов различного профиля для совместной работы. Для этого ему необходимо разбираться во многих специальных вопросах. Однако главное для него – научиться применять все полученные знания для решения двух основных системотехнических задач: обеспечения интеграции частей сложной системы в единое целое и управления процессом создания системы. Поэтому в списке нужных ему знаний внушительное место уделяется системным и кибернетическим дисциплинам, позволяющим ему овладеть общими методами исследования и проектирования сложных технических систем, независимо от их конкретной реализации и материальной формы.

Для современного этапа развития системотехники характерно противопоставление *системного* проектирования системотехническому проектированию, развитие представления о социотехнических системах в отличие от предметных систем (артефактов), противопоставление социотехнического проектирования системотехническому проектированию. Можно констатировать смещение акцентов в системном анализе и проектировании: теперь приоритетом становятся разработка программных компонентов сложных систем и проектирование информационных потоков в сложных системах, в которых ключевую роль играет человеческий фактор. Однако «человеческая составляющая» более не рассматривается только как *элемент* человеко-машинной системы, поскольку в этом случае теряется решающий социальный аспект. С чисто инженерной точки зрения именно проектирование технического обеспечения является центральной задачей, а деятельность оператора играет сугубо вспомогательную роль. В сложных технических системах роль оператора существенно изменяется и усложняется, и возникает особая системотехническая и эргономическая задача проектирования интерфейса между машинными компонентами сложных технических систем и человеком-оператором, пользователем или даже организациями. В последнем случае мы имеем дело с социотехническими системами и проектированием процедур деятельности[1]. Речь идет о проектировании, а фактически – об организации и реорганизации социотехнических систем, где акценты смещаются на исследование и организацию систем человеческой деятельности, в которых машинные, технические компоненты играют второстепенную роль, и на первый план выходит системный менеджмент и проектирование организационных структур.

3. Социотехническое и социальное проектирование

Осознание важности социальной составляющей научно-технического прогресса привело к формированию концепции *социального проектирования*, которая развивалась в двух основных направлениях. Первое

[1] См.: *Singleton W.T.* The mind at work: Psychological ergonomics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989. – P. 4–5, 7–8.

направление было связано с проблематикой планирования социального развития, теория и практика которого опирались на опыт создания комплексных планов экономического и социального развития трудовых коллективов, городов, регионов, т.е. уже существующих социальных институтов. Применительно к строящимся и планируемым объектам был предложен специфический вид плановой деятельности – социальное проектирование, предполагающее общее обоснование и разработку контуров будущего социального объекта. Второе направление было более прагматическим, направленным на решение локальных задач. Оно может быть названо социотехническим проектированием, поскольку основное внимание в его рамках уделяется не машинным компонентам, а человеческой деятельности, ее социальным и психологическим аспектам. Рассмотрим сначала особенности второго направления на примерах эргономического проектирования, дизайна систем (художественного конструирования), градостроительного и организационного проектирования (оргпроектирования).

Примеры эргономического и инженерно-психологического проектирования демонстрируют, что в этих случаях осуществляется проектирование именно человеческой деятельности (в человеко-машинных системах). Оно представляет собой комплексный вид деятельности, методологической основой которой служит системный подход. Задачей эргономики является разработка методов учета человеческих факторов при модернизации действующей и создании новой техники и технологии, а также соответствующих условий деятельности. Весьма близким к эргономическому проектированию и по генезису, и по объекту, и по структуре, и по методам оказывается инженерно-психологическое проектирование. Первоначально в инженерно-психологическом проектировании человеческие факторы рассматривались лишь наряду с машинными компонентами и даже как подчиненные им. Иначе говоря, этот вид проектирования был сначала лишь частью системотехнического проектирования. На современном этапе его развития речь идет уже о проектировании человеческой деятельности, в которую включены машинные средства.

В инженерно-психологическом проектировании можно выделить три основные установки – системотехническую, инженерно-психологическую и социотехническую. В первом случае сугубо технический подход превалирует над гуманитарным. Согласно системотехнической точке зрения машинное функционирование, индивидуальная деятельность человека и деятельность коллектива людей могут быть адекватно описаны с помощью одних и тех же схем и методов, которые создавались для описания функционирования машины. Сторонники этой точки зрения рассматривают инженерно-психологическое проектирование как составную часть системотехнического проектирования. Напротив, в социотехническом проектировании объектом проектирования становится коллективная человеческая деятельность, и следовательно, социальная проблематика играет опреде-

ляющую роль. Объектная же область инженерно-психологического проектирования ограничивается индивидуальными аспектами деятельности. Инженерно-психологическое проектирование составляет промежуточный вариант между системотехническим и социотехническим проектированием. Эргономическое проектирование по самой своей сути является социотехническим, поскольку наряду с психологией, физиологией, анатомией, гигиеной труда в нем большое внимание уделяется социальным, социально-психологическим, экономическим и другим факторам. Если системотехника ориентирована на максимально возможную и разумную автоматизацию человеческой деятельности как в плане объекта системотехники (автоматизация функционирования сложных систем), так и самой системотехнической деятельности (автоматизация проектирования и конструирования), то в эргономике такой подход в принципе неприемлем. В ней анализируются специфические черты деятельности сложной человеко-машинной системы, а технические средства рассматриваются как включенные в нее.

В так называемом художественном конструировании также присутствует четкое противопоставление «штучного дизайна» (проектирования единичных промышленных изделий) и дизайна систем. Дизайн не должен лишь дополнять инженерное конструирование. Он является более развитой формой проектирования. Особенностью дизайна систем служит четкое осознание его связи с предшествующей художественной культурой. Дизайнер часто обращается за поиском образов, образцов, концептуальных схем к культурному наследию человечества. Например, в контексте дизайна систем классицизм и романтизм осмысливаются не столько как исторические явления, сколько как фундаментальные типы и модели художественного сознания, которые программируют подходы и творческие методы. Дизайн, будучи органичной частью современной культуры, рельефно подчеркивает ее проектный характер. Дизайнер выполняет сразу несколько профессиональных ролей. Во-первых, он выступает как исследователь и тогда действует в соответствии с нормами научно-теоретической деятельности. Во-вторых, ему приходится выполнять функции инженера-проектировщика и методиста и рассматривать продукт своей деятельности как особого рода проект. В-третьих, он – художник, наследующий и эстетически преобразующий все достижения предшествующей художественной культуры в целях создания нового произведения искусства. Однако, не отождествляя себя полностью со всеми перечисленными ролями, он вынужден также осознавать себя как дизайнера в рамках вполне определенного профессионального сообщества. Он должен охватывать объект и процесс собственной деятельности как единое целое, благодаря чему его мышление приучается к внутренней диалогичности и рефлексии, стирая грани между исследованием и проектированием, собственно получением знаний и их использованием, между знанием и деятельностью. Главное своеобразие дизайна систем по сравнению с дизайном вещей состоит в

том, что сама организационная ситуация становится предметом осмысления, моделирования и программирования, неотъемлемой частью объекта проектирования.

В градостроительном проектировании особенно остро стоит задача внедрения, с которой тесно связана идея «перманентного проектирования», когда отдельные стадии реализации проектов уточняются на основе опыта функционирования уже выполненных на предыдущих стадиях блоков проектируемой системы. В связи с этим возникает сложная проблема организации и реорганизации самой проектной деятельности, процесса проектирования. Данную функцию выполняет методология проектирования (поскольку социотехническая деятельность вынуждена ориентироваться на целый комплекс наук, а не на какую-либо одну социальную и тем более – техническую дисциплину). Методология проектирования практически и обеспечивает связь проектирования с другими сферами (например, производством и потреблением), учитывая динамику каждой из этих сфер. Проникновение конкретно-методологических рекомендаций в канву проектировочной деятельности вообще характерно для всех видов социотехнического проектирования. Продукт социотехнической деятельности – сложную систему – нельзя пощупать как объект исследования классической технической науки или штучное изделие – продукт традиционной инженерной деятельности. В градостроительном проектировании жизненное пространство района или квартала, людские потоки и размещение элементов бытового обслуживания остаются вне поля зрения заказчика в момент сдачи объекта в эксплуатацию. Заказчик видит только совокупность зданий, которые должны отвечать более или менее четким техническим и эстетическим требованиям, асфальтированные дороги и зеленые насаждения. Однако это не значит, что вторые существуют реально, а первые – нет. Напротив, недочеты авторов проекта самым реальным образом ощущаются жителями, влияют на их работоспособность и самочувствие. Но принадлежат они к иным социальным и психологическим реалиям, не регистрируемым с точки зрения традиционной инженерной позиции, основывающейся лишь на естественно-научных знаниях и представлениях.

Оргпроектирование ориентировано на совершенствование, развитие и перестройку организационных систем управления. Оно неразрывно связано с системным анализом как средством рационализации управленческой деятельности. Даже традиционные работы по научной организации труда осознаются сегодня как оргпроектирование. Одним из современных направлений оргпроектирования является также проектирование организационных нововведений. Методы оргпроектирования вторгаются и в сферу системотехнической деятельности. Во-первых, объектом проектирования становятся сами проектные организации; во-вторых, проектирование сложных человеко-машинных систем, прежде всего автоматизированных систем управления экономикой, все чаще рассматривается как

организационное проектирование. Речь идет о проектировании социотехнических систем, в которых параллельно сосуществуют хозяйственные структуры и системы информационно-вычислительной техники, т.е. о радикальном изменении организационных структур, а не простом оснащении их информационно-вычислительной техникой.

Из приведенных примеров видно, что социотехническое проектирование как вид социального проектирования существенно отличается от традиционной инженерной деятельности, поскольку выходит за пределы традиционной схемы «наука – инженерия – производство» и замыкается на самые разнообразные виды социальной практики (например, на обучение, обслуживание и т.д.), где классическая инженерная установка перестает действовать, а иногда имеет и отрицательное значение. Все это ведет к изменению самого содержания проектной деятельности, которое преодолевает ставшие для него узкими рамки инженерной деятельности и становится самостоятельной сферой современной культуры. Социотехническая установка современного проектирования оказывает влияние на все сферы инженерной деятельности и области техники. Это выражается, прежде всего, в гуманитаризации социотехнического проектирования, в осознании высокой степени социальной ответственности инженера и проектировщика. Проектирование само становится источником формирования проектной тематики, вторгаясь тем самым в сферу социальной деятельности. Кроме того, в качестве объекта проектирования выступает и сама сфера проектной деятельности («проектирование проектирования»). Поэтому в нем формируется особый методический слой, направленный на выработку норм и предписаний для проектных процедур, и теоретический слой, обеспечивающий методистов знаниями об этих процедурах. Социотехническое проектирование можно охарактеризовать как особое проектное движение, в котором проектирование тесно переплетается с планированием, управлением, программированием, прогнозированием и организационной деятельностью. Вовлеченные в проектное движение, они не только трансформируются сами, но и существенно модифицируют проектирование как таковое.

В советское время социальное проектирование в смысле планирования социального развития рассматривалось в более широком контексте политического консультирования руководящих органов и лиц, принимающих решения. Речь, правда, тогда шла главным образом об оптимальном размещении предприятий и целых городов с точки зрения разумного обеспечения их рабочей силой и сбалансированного развития социальной сферы. В значительно меньшей степени такое планирование учитывало экологические проблемы. Фактически речь шла о социальном сопровождении проектов и планов реконструкции гигантских территориально-производственных комплексов, состоящих из городских агломераций и связанных между собой предприятий, которые тогда создавались в различных регионах Советского Союза.

Сама постановка такого рода задач актуализировала ряд спорных проблем: о принципиальной возможности социального проектирования и его соотношения с социальным планированием, о характере взаимоотношений научных консультантов с региональными органами власти и лицами, принимающими решения «на самом верху», и т.п. В специализированной литературе того времени социальное проектирование рассматривалось как «один их видов социального планирования, которое является средством регулирования общественных отношений, социальных процессов и улучшения условий жизни населения»[1]. Его особенность виделась в следующем: «Социальное планирование есть планирование социального развития уже существующих объектов. Но по отношению к тем объектам, которые еще не существуют или должны коренным образом измениться, трудно применить термин “развитие”. Их развитие начинается только после их создания. Социальное проектирование есть проектирование не социального *развития*, а исходного начального социального *состояния* новых объектов, с которого потом начинается их социальное развитие. Именно в силу этого социальное проектирование является одним из видов социального планирования»[2]. Естественно, что такая широкая и сложная сфера социального планирования требовала целостного, системного подхода в сфере проектирования, а также экспертной поддержки в области комплексного, системного анализа и междисциплинарной социальной оценки.

Социальное проектирование в смысле планирования социального развития можно в известном смысле считать прообразом социальной оценки научно-технического и хозяйственного развития. Социальная оценка техники, или оценка последствий техники, является междисциплинарной задачей и требует подготовки специалистов широкого профиля, имеющих не только научно-технические и естественно-научные, но и социально-гуманитарные познания.

4. Социальная оценка и системный анализ последствий развития техники как социальное проектирование

Развитие науки и техники необходимо рассматривать как целостный процесс, не только обусловленный собственно научными или техническими факторами, но также отражающий социальные взаимодействия. Исследование социальных последствий научно-технического развития и инновационной политики является новой областью научно-технического и социального знания. В отличие от «классической» научно-технической дисциплины, имеющей в качестве объекта исследования технику или ее отдельные аспекты, оценка техники ориентирована на изучение общест-

[1] *Тощенко Ж.Т., Аитов Н.А., Лапин Н.И.* Социальное проектирование. – М.: Мысль, 1982. – С. 20.

[2] Там же.

венной роли техники и возникающих благодаря ее внедрению социальных, экологических и т.п. конфликтов. Вместе с тем оценка техники ориентирована на процесс принятия решений по предотвращению подобных конфликтов и определению путей дальнейшего развития техники в обществе. Оценка техники имеет проектную направленность, представляет собой проблемно-ориентированное исследование и носит междисциплинарный характер.

Рассматривая проблематику междисциплинарной оценки научно-технического развития, мы опираемся на целую серию публикаций в этой области, вышедших преимущественно в Германии за последние пять-шесть лет[1]. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что анализ немецкого и европейского опыта оценки техники позволяет сформулировать ряд рекомендаций, актуальных для нынешнего этапа социально-экономического развития России.

Современное общество и развитые государства не могут существовать без нововведений, поэтому инновационная политика становится одной из важнейших составных частей научно-технической и социально-экономической политики в современном мире. Однако на этом пути общество подстерегают многочисленные опасности. Прежде всего, неясно, что, собственно говоря, считать инновациями. Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Тому существует бесчисленное множество примеров в истории науки, а многие технические нововведения переоткрываются многократно в различные эпохи заново. Стремление открывать новое и давать этому «новому» свое имя – характерная черта современной цивилизации, начиная с эпохи Возрождения. В канонической культуре, предшествовавшей современной проектной культуре, авторы стремились скрыть нововведения под покровом их божественного происхождения или существования от века или же приписывали их древним авторитетам. Изобретатели тогда преследовались, а инновации рассматривались как дьяволь-

[1] Rationale Technikfolgenbeurteilung: Konzepte und methodische Grundlagen / Hrsg. von A. Grunwald. – B.: Springer, 1999; Handbuch Technikfolgenabschätzung. – B.: Sigma, 1999; Vision assessment: Shaping technology in 21 st century society: Towards a repertoire for technology assessment / Ed. by J. Green, A. Grunwald. – B.: Springer, 2000; Technikfolgensabschätzung im Spiegel ihrer Institutionen: Eine Dokumentation über deutsche Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Technikfolgenabschätzung / Hrsg. von R. Coenen, B. Fürniß, Ch. Kupsch. – Karlsruhe: FZK–ITAS, 2001; Interdisciplinarity in technology assessment: Implementation and its chances and limits / Ed. by M. Decker. – B.: Springer, 2001; *Grunwald A.* Technikfolgenabschätzung: Eine Einführung. – B.: Sigma, 2002; Technik – System – Verantwortung / Hrsg. von K. Kornwachs. – Münster: LIT, 2004; Bridges between science, society and policy: Technology assessment: Methods and impacts / Ed. by M. Decker, M. Ladikas. – B.: Springer, 2004; Technikfolgenabschätzung: Theorie u. Praxis. – Karlsruhe, 2004. – Jg. 13, H. 1: Schwerpunktthema: Systemanalyse und Technikfolgenabschätzung als Politikberatung in Deutschland; H. 3: Schwerpunktthema: Wissenspolitik als neues Forschungs- und Handlungsfeld?; Technikfolgenabschätzung: Theorie u. Praxis. – Karlsruhe, 2005. – Jg. 14, H. 1. – Schwerpunktthema: Nationale Politiken unter der Bedingungen der Globalisierung.

ское наваждение, могущее привести к разрушению установленного Богом порядка вещей. Это, конечно, не означает, что инноваций не было, но традиционалистское общество эволюционировало медленно и незаметно для одного поколения. Ритуальное воспроизведение и буквально заученное повторение выбракованных вековым опытом технических процедур ощущалось как гарантия, защищающая не только отдельного человека, но и род, и все общество от катастроф или даже уничтожения. Положение меняется с развитием экспериментального естествознания. Все образованные люди, а не только ученые, оказались заражены духом экспериментирования (даже если это могло им стоить собственной жизни) и поиска нового. Люди стали свято верить в то, что инновации являются ценнейшим общественным благом, причем эта вера была перенесена и в сферу социальных нововведений.

С ускорением научно-технического и социально-экономического развития инновации вошли в повседневную жизнь миллионов людей. Отрыв от прошлого, стремление к обновлению становится нормой жизни и создает иллюзию ускоряющегося прогресса. Однако эта иллюзия рушится под воздействием сопутствующих инновациям последствий, в том числе негативных, которые часто невозможно предусмотреть или минимизировать. Тем не менее современное общество вынуждено стимулировать нововведения, а государственные институты – принимать решения в поддержку многих инновационных проектов в условиях полной или частичной неопределенности, отсутствия или недостатка знаний о сопутствующих этим инновациям негативных последствиях. Поэтому органы власти экономически развитых стран вынуждены заказывать научные исследования, которые смогли бы хотя бы в общих чертах прояснить возникающие проблемы. Эти исследования последствий научно-технического развития имеют особый характер, служат определенным, заранее сформулированным целям и характеризуются нестандартной структурой и особенностями функционирования.

Социальная оценка техники основывается в значительной степени на методическом инструментарии системного анализа как совокупности приемов решения проблем целенаправленной деятельности в условиях неопределенности. Понятие «системный анализ» было впервые использовано сотрудниками американской *RAND corporation* для описания широкого спектра систем военного, космического и промышленного применения при проектировании портов, школ, госпиталей, транспортных узлов и решения проблем местной и региональной администрации. Руководящим методологическим принципом системного анализа является требование всестороннего учета всех (существенных) обстоятельств, т.е. политических, социально-экономических, технических, юридических и других факторов, влияющих на решение проблемы или имеющих к ней отношение. Под системным анализом, таким образом, понимается методика и техника решения проблем построения и управления функционированием промыш-

ленных, транспортных, оборонных и т.п. систем. В названии «системный *анализ*» подчеркивается преимущественно исследовательская ориентация, но это не значит, что в самом анализе не реализуется проектная установка, поскольку он ориентирован на знание, выступающее на уровне методических указаний, нормативных предписаний, оценок. Системный анализ тесно связан с организационным проектированием, направленным на совершенствование, развитие, перестройку организационных систем управления, построение структур управления организациями, внедрение организационных нововведений и т.п. Поэтому системный анализ в таком понимании вполне можно отнести к ареалу социально-инженерных разработок.

В рамках системного анализа в последнее время консолидировались два уровня или направления исследований. Первое из них относится к внутрифирменному планированию, моделированию, проектированию и организации деятельности предприятия, а второе связано с проблематикой планирования развития целых отраслей промышленности, науки и техники или даже национальной экономики, народного хозяйства страны или сообщества стран в целом и даже глобального прогнозирования и моделирования мировой динамики. Первое направление системного анализа самым тесным образом смыкается с развитием системотехники (системотехническим проектированием), второе – с социальной оценкой развития техники и технологии, научно-технической политикой (социальным проектированием).

В последние годы разработка проблематики системного анализа связывается с исследованием социальных, экономических, экологических и других последствий техники, поскольку сегодня мы находимся в принципиально иной ситуации, когда непринятие во внимание последствий внедрения новой техники и технологии может привести к необратимым негативным результатам для всего человечества и окружающей среды. В современных условиях такие последствия возможно и необходимо прогнозировать и хотя бы частично минимизировать уже на ранних стадиях разработки новой техники и технологии. Этой задаче и призван служить системный анализ последствий научно-технического развития. Такие последствия развития атомной энергетики, как катастрофы на атомных электростанциях, не всегда возможно предсказать. Но необходимо хотя бы пытаться это делать по отношению к новым проектам, проводить соответствующие исследования, выслушивать мнения оппонентов еще до принятия окончательного решения, создавать правовые механизмы, регулирующие все эти вопросы.

Социальная оценка техники, как и системный анализ, представляет собой планомерное, систематически организованное исследование состояния техники и возможностей ее развития, определение непосредственных и опосредованных технических, хозяйственных, санитарных, экологических, социальных и других последствий внедрения новой техники и тех-

нологии. В рамках оценки техники также анализируются возможные альтернативы развития того или иного вида техники или технологии. Вместе с тем социальная оценка техники предполагает не только исследование последствий технического развития и нормативную *оценку*, но также и разработку рекомендаций по «оформлению» техники (shaping of technology, Technikgestaltung), приданию ей новой конфигурации, ее (пере)структурированию исходя, например, из экологических требований. Фактически в данном случае речь идет о социальном проектировании техники, в котором принимают участие не только инженеры-профессионалы, но и пользователи, клиенты, политики и даже общество в целом, т.е. о социальной инженерии. Задача такого рода исследования и «проектирования» техники формулируется в первую очередь не с внутринаучной точки зрения, а основывается на социальных ожиданиях. Имеется в виду определенный социальный заказ, который может поступать от различных институтов социального и политического управления. Согласно ведущему немецкому специалисту по данной проблематике А. Грунвальду, «оценка техники связывается… с процессами формирования мнения, деятельностями, решениями или подготовкой решений относительно техники и с социальной стороной техники, а также с самой техникой в связи с этой социальной стороной»[1].

Междисциплинарное исследование последствий техники призвано ответить на следующие вопросы: «Как возникает техника?», «Как она применяется?», «Как эти процессы применения могут *повлиять на оформление техники*?». Инновационно ориентированная социальная оценка техники «не ограничивается описательным подходом, а должна играть активную роль в техническом инновационном процессе», что означает «переход от анализа к структурированию новой техники», т.е. к участию в ее проектировании в плане оценки сценариев проектирования на микроуровне отдельного рабочего места, на мезоуровне – отдельного предприятия или организации и на макроуровне – общего социального контекста, создания рамочных условий научно-технической политики[2]. Социальная оценка техники, таким образом, приобретает форму проектной организации, поскольку ее конечным продуктом должны быть предписания к деятельности.

Предпосылкой и исходным пунктом оценки техники является сама возможность социального управления техническим развитием, внешнего влияния на него со стороны институтов общества, а основанием для реализации такой возможности становится комплексное исследование процессов появления и процессов проектирования техники. Необходимо подчеркнуть, что под проектированием понимается не конкретный вид инженерного проектирования, а некоторая проектная функция, присущая

---

[1] *Grunwald A.* Technikfolgenabschätzung: Eine Einführung. – B.: Sigma, 2002. – S. 54.

[2] *Hartmann E.A.* Umsetzung von TA in die Wissenschaft // Handbuch Technikfolgenabschätzung. – B.: Sigma, 1999. – S. 327, 323–324.

современным научно-техническим дисциплинам наряду с исследовательской, аналитической функцией. Конструктивистская позиция ориентирована на пересмотр традиционного подхода, когда научно-техническое развитие и его эффекты, содержание научно-технической деятельности и формирование представлений об этой деятельности в обществе рассматриваются раздельно друг от друга. Она также предлагает переориентацию от раннего предупреждения и анализа воздействия техники как внешнего фактора к непосредственному управлению научно-техническими изменениями, основными принципами которого должны быть предвосхищение последствий, рефлексивность и социальное обучение[1]. Придание объекту проектирования индивидуальных черт в сочетании с типовым характером проектирования (учет особенности местности, экономического района и т.д. уже на стадии проектирования) является характерной чертой современного проектирования. Включение самого проектировщика в создаваемое им целое, разрушение иллюзии его отстраненности от своего творения, воспитанной классическим естественно-научным подходом, создает совершенно особое «субъект-объектное» отношение в проектировочной деятельности, когда проектирующий субъект становится частью проектируемого им объекта. Скажем, проектировщик города нередко сам и живет в нем, каждодневно ощущая все недостатки своего проекта.

Оценка техники как социальное проектирование означает смещение акцентов на исследование и организацию систем человеческой деятельности, в которых машинные, технические компоненты играют второстепенную роль и на первый план выходит системный менеджмент и проектирование организационных структур. Быстро нарастающие изменения окружающей среды, вызванные неконтролируемым промышленным развитием, невозможно взять под контроль без использования политических средств. С развитием современных технологий возникают новые виды рисков и опасностей, которые ставят перед обществом и государством задачи не столько компенсаторные, связанные с устранением уже нанесенного ущерба, сколько превентивные. Становится необходимым долгосрочное планирование, которое должно относиться как к предвосхищению новых технических возможностей, так и к расчету и устранению рисков[2]. Иными словами, оценка техники превращается в разновидность социального, организационного или – более широко – системного проектирования.

---

[1] Подробнее см.: *Грунвальд А.* Техника и общество: Западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития. – М.: Логос, 2010.

[2] Подробнее см.: *Бехманн Г.* Современное общество: Общество риска, информационное общество, общество знаний. – М.: Логос, 2010.

5. Проблема технонауки как социотехнического проектирования – новая форма связи общества, науки и современных технологий

Отношения общества и науки претерпели значительные изменения в течение последних десятилетий. Начиная со второй половины XX столетия появляются новые формы организации научного знания, характеризующиеся объединением специалистов из различных областей науки, техники и практики, в задачу которых входит решение комплексных и практически ориентированных проблем. В первую очередь к таким дисциплинам относятся сформировавшиеся в лоне системного движения кибернетика, системотехника, системный анализ и т.п., а также возникшие несколько позже биотехнология и нанотехнология.

Классическая ориентация науки исключительно на познание и объяснение лишь отчасти соответствует современному положению дел. Сегодня наука зачастую вынуждена включаться в процесс принятия политических решений и связанный с ним процесс формирования общественного мнения. Кроме того, наука представляет собой один из крупнейших социальных институтов, требующих все возрастающих затрат и, соответственно, новых способов оценки ее функционирования и потенциала, а также полезности для общества. Непосредственная интеграция науки в процесс принятия экономических и политических решений повышает значимость научного исследования для развития экономики (как разработчика инноваций) и решения политических проблем (как поставщика тем, проблем и знаний, необходимых для принятия решений). В этом смысле наука увеличивает деятельностный потенциал современного общества, поставляя ему не только объяснения, но и модели структурирования реальности и альтернативные варианты для принятия решений.

Фокус современного научного ландшафта сходится все более и более на развитии наукоемких технологий. Поэтому не случайно слово «технология» включено в само название таких новых областей научного знания, как биотехнология и нанотехнология, где фундаментальные и прикладные установки сочетаются самым причудливым образом, а наряду с научными публикациями важнейшую роль в качестве продуктов и фундаментальных исследований начинают играть патенты. Но патенты еще не являются конечным звеном внедрения научных инноваций в современное общество. Поэтому необходимо разрабатывать механизмы, позволяющие облегчить диффузию научных знаний в социальную и экономическую сферы, стимулировать коммуникацию науки и общества, способствовать совместимости постановок проблем в области науки и техники, с одной стороны, и в политической и экономической сферах – с другой. Например, нанотехнология признана ключевой и приоритетной научной сферой не только потому, что она ведет к изменению всего современного научно-технического ландшафта, но прежде всего потому, что обществом в ближайшем будущем от нее ожидаются позитивные экономические, экологические и социальные результаты.

В настоящее время поддержка инновационной деятельности зачастую понимается как поддержка технологических инноваций, тогда как исследованию социальных инноваций уделяется недостаточно внимания. Например, использование огромного потенциала экономии энергии в области строительства зданий по энергосбрегающим проектам в действительности не является технологическим вызовом. Это скорее коммуникативный и социокультурный вызов[1].

Французский социолог науки Бруно Латур говорит об «осознании скрытых технологических возможностей исследовательской деятельности, в результате которых меняются функции лаборатории». Лаборатория становится обителью науки, ориентированной на создание и совершенствование технологий, и, тем самым, начинает играть важнейшую роль в современном научно-техническом развитии[2]. Это особенно рельефно проявляется в нанонауке, которую чаще именуют нанотехнологией или нанотехнонаукой. В рамках нанонауки экспериментальные установки часто выполняют функции нанофабрикации, хотя самим ученым еще не совсем ясны природа исследуемых ими явлений и – главное – последствия внедрения полученных ими результатов. Однако знания, полученные учеными-естествоиспытателями в содружестве с инженерами, которые чаще всего недостаточно компетентны в социальных науках, могут быть нерелевантны общественным условиям и задачам[3], а «вещи» (т.е. объекты исследования и технического воздействия), по образному выражению Бруно Латура, в подобных случаях «могут давать сдачу»[4]. В конечном счете и само общество превращается в огромную лабораторию. Но социальные эксперименты отнюдь не тождественны естественно-научным. Экспериментальные объекты и процессы, воплощаясь в новых технологиях и хозяйственных структурах, становятся частью социальной реальности и в этом качестве – объектами исследования социально-гуманитарных, а не естественных и технических наук. Немецкие исследователи И. Шульц-Шеффер, Р. Верле и Й. Вейер в связи с этим отмечают: «Социальные науки с самого начала предназначались для формирования или даже изменения общества. В последние десятилетия многие социологи привлекались к обсуждению таких социальных и политических вопросов, как, например, дебаты по атомной энергетике, генетике или климатическим изменениям. Они действовали в качестве экспертов, консультантов, аналитиков, имеющих отношение к данной проблематике ученых, а иногда даже как толкователи времени или пророки. Однако социологи должны становиться

---

[1] См.: *Schneidewind U.* Nachhaltige Wissenschaft. – Marburg: Metropolis, 2009.

[2] *Латур Б.* Дайте мне лабораторию, и я переверну мир. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/622695

[3] *Rieu A.-M.* The epistemological and philosophical situation of mind techno-science. – Mode of access: http://www.stanford.edu/group/SHR/4-2/text/rieu.html

[4] *Латур Б.* Когда вещи дают сдачи // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. – М., 2003. – № 3. – С. 20–39.

практиками совсем в другом отношении: они организуют и управляют процессом участия граждан в принятии решений, в ходе которых эксперты и дилетанты – а также и сами специалисты в области общественных наук – обсуждают такие спорные вопросы, как, например, высвобождение генетически модифицированных организмов или разработка сценариев будущих технологий, как в случае с нанотехнологией»[1].

В последние десятилетия возник интересный тренд в социальных исследованиях техники и науки, связанный со школой так называемого «нового экспериментализма», подчеркивающей важность для прогресса науки не столько теоретических утверждений, сколько развития экспериментальной техники и инструментов. Х. Ленк следующим образом характеризует данную тенденцию: «Особое значение в этом контексте имеет утверждение Хокинга, что именно с помощью экспериментальных приборов и измерительных устройств ученый вступает в квазинепосредственное эпистемологическое отношение с реальностью. Хокинг приводит пример с электроном, который является теоретической сущностью до тех пор, пока его самого или электронный луч не начинают использовать в измерительных инструментах для исследования других частиц, например кварков или бозонов. Технически опосредованная экспериментальная деятельность позволяет рассматривать электрон как “реальный”, изменяя его статус и делая технологически эффективной или научно-технической реальной сущностью»[2]. Однако можно пойти еще дальше, и если рассматривать ядерную цепную реакцию как часть не только экспериментального оборудования, но и атомной электростанции, то эти теоретические сущности становятся частью не только научно-технической, но уже и социальной реальности. Точно так же происходит и с наночастицами. До тех пор пока фуллерены не получены лабораторным способом – это теоретические модели. После того как их стали использовать для получения сверхпроводников или же инкорпорировать в нанотрубки, они становятся научно-технической реальностью. Если же их начинают использовать для транспортировки и целевой доставки лекарств в кровеносной системе человека (для лечения больного органа), они становятся частью нашей социальной реальности, а для определения позитивных и негативных следствий их использования уже недостаточно одних только естественно-научных и технических знаний. Здесь становятся необходимыми социально-гуманитарные исследования, в связи с чем также возрастает роль социально-гуманитарного образования ученых и инженеров.

* * *

---

[1] *Schulz-Schaeffer I., Werle R., Weyer J.* The new role (s) of social sciences: Editorial // Science, technology a. innovation studies. – Dortmund, 2009. – Vol. 5, N 1. – P. 3.

[2] См.: *Lenk H.* Towards a technology- and action-oriented methodology of constructive realism // After cognitivism: A reassessment of cognitive science and philosophy / Ed. by K. Leidmeier. – Dordrecht; Heidelberg; L., N.Y.: Springer + Business media, 2009. – P. 3–22.

Техника как предпосылка и в то же время результат научного исследования в сочетании с поддерживающими их хозяйственными и государственными структурами превратилась сегодня в мировую силу, основывающуюся на принципе *делаемости* всех вещей благодаря практически безграничным возможностям раскрытия потенциала научного знания. Такого рода научно-технический прогресс оборачивается в конечном счете экологическим регрессом, ведет к разрушению защитных сил окружающей среды и самого человеческого организма. Этот процесс можно сравнить с открытием ящика Пандоры, приносящего человечеству одновременно с благодатным даром Прометея неисчислимые бедствия и болезни. Атомная техника, химическая технология и генная инженерия, основывающиеся соответственно на достижениях ядерной физики, синтетической химии и молекулярной биологии, особенно глубоко внедряются в природные процессы и структуры, манипулируя уже не непосредственно ощутимыми феноменами, а именно этой «вторичной» научной реальностью, создавая новые комбинации чуждых «первичной» природе материалов, элементов и организмов. При этом абсолютно непредсказуемыми, непросматриваемыми и часто необратимыми оказываются последствия такого рода искусственного вторжения в естественную сферу. Альтернативой подобному техническому действию становится создание новой парадигмы в науке и технике, ориентированной на учет переносимости природой таких вторжений на базе равноправных партнерских взаимоотношений общества с окружающей человека средой. В системотехнике эта проблематика выражается в смещении акцентов на учет рисков и повышение надежности функционирования современной техники и технологии, на организацию внедрения и эксплуатации сложных систем, позволяющую избежать конфликта с социальной и природной средой. При этом упор делается на создание компонентов и систем, работа и вывод из эксплуатации которых должны быть, во-первых, заранее предусмотрены и просчитаны в исходном проекте и, во-вторых, будут осуществляться с минимальным ущербом для человека и окружающей среды.

Современный этап развития науки и техники наглядно показал те границы, за которыми наука и техника, сегодняшняя или будущая, сталкивается с неразрешимыми для нее, или, лучше сказать, самою ею созданными научными и техническими проблемами. Развитие представления о научно-техническом прогрессе связано с идеей делаемости или проектируемости всего и вся, т.е. принципиальной возможности и даже необходимости реализовать, осуществить, исполнить то, что задумано, замышлено, запроектировано в научных разработках и что по умолчанию является благом для человечества. Это связано с иллюзией способности науки раньше или позже с достаточной степенью точности предсказать, предусмотреть, предвидеть и по крайней мере свести к минимуму негативные последствия таких проектов. «Тотальное» проектирование всего и везде первоначально способствовало «безграничному» расширению содержания

проектирования, доводящему идею проектной культуры едва ли не до абсурда. На современной стадии научно-технического развития выяснилось, однако, что человеческое знание не способно все предвидеть, что можно лишь предусмотреть определенную степень риска новых научных технологий. Проектная деятельность захватывает сегодня и сферу биологических организмов и их подсистем, а также, как было показано выше, и область социальных процессов. Распространение «естественно-научного» взгляда на социальное и организационное проектирование как создание социотехнических систем (локальных и глобальных социальных структур) способствовало осознанию пределов проектной активности. Сначала обнаружилось, что социотехнические системы нельзя проектировать, исходя лишь из технических требований и методов, а затем – что их вообще нельзя проектировать в традиционном смысле этого слова, и необходимо переосмыслить само понятие «проектирование». На этом этапе происходит переход к исследованию и созданию «человекоразмерных» систем, когда «поиск истины оказывается связанным с определением стратегии и возможных направлений преобразования» такой системы, что непосредственно задается гуманистическими ценностями. «С системами такого рода нельзя свободно экспериментировать. В процессе их исследования и практического освоения особую роль начинают играть знания запретов на некоторые стратегии взаимодействия, потенциально содержащие в себе катастрофические последствия»[1]. Речь идет о выработке новой парадигмы научно-технического развития.

[1] *Степин В.С.* Философская антропология и философия науки. – М.: Высшая школа, 1992. – С. 186.

Д.В. Ефременко, Я.В. Евсеева

СОЦИОЛОГИЯ ТЕХНИКИ И ПРОБЛЕМА КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ[1]

Рассмотрение актуальных тенденций в развитии социологии техники предполагает решение двух взаимосвязанных задач: определение места данной субдисциплины в дисциплинарной матрице социологической науки и осмысление ее роли в решении проблем современного общества. Причем осмысление общественной миссии социологии техники не может ограничиться констатацией возрастающей значимости социологического знания в современном мире. Речь идет об особых характеристиках техногенной цивилизации, для углубленного анализа которых социология техники (в ином варианте – социальные исследования техники) становится незаменимым инструментом. Однако и анализом дело не ограничивается, поскольку требуются не просто новые знания о социотехнической реальности, но адекватные инструменты управления этой реальностью.

Как ни странно, дисциплинарный статус социологии техники до конца не определен. Орудийная, техническая деятельность есть ключевой фактор антропо- и социогенеза. Неотъемлемой составляющей цивилизационной динамики, перехода от одного уровня развития общества к другому является изменение характера техники, а важнейшей предпосылкой эпохи модерна становится великая конвергенция – соединение научного знания и технической деятельности. Соответственно, проблематика «техника и общество» неизбежно оказывается в фокусе внимания любой социальной теории, претендующей на универсальность. Тем не менее социологии техники все еще приходится доказывать свое право на автономный статус в рамках социологической науки, причем в настоящее время еще рано делать выводы о том, что такая автономия будет оптимальным реше-

[1] Статья отражает результаты работы по проекту «Социальные последствия конвергенции технологий: Междисциплинарный анализ, этические и политико-правовые проблемы», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект РГНФ 11-03-00512 а).

нием как на прагматическом уровне, так и с точки зрения теоретической рефлексии.

Социологический анализ техники, технической деятельности, взаимосвязей технического и социального возможен в рамках нескольких дисциплинарных или междисциплинарных программ. Социология техники – лишь одна из них. На уровне национальных и международных институтов социологического сообщества преобладает ориентация на комплексный анализ всей совокупности научно-технических реалий в рамках социологии науки и техники. Другие программы – «наука, техника и общество», «социальные исследования науки и техники», «социальная история науки и техники» и т.д. – не ограничиваются рамками социологии и ориентируются на более широкий междисциплинарный синтез.

При рассмотрении современных дискуссий о технике можно также выявить определенные национальные и региональные предпочтения. В значительной мере они обусловлены исторически сложившимися различиями между немецкой, французской и англосаксонской школами социальных исследований техники. В настоящее время происходит неизбежное размывание границ между ними, но тем не менее и сегодня некоторые специфические особенности проявляются достаточно отчетливо. В частности, именно в Германии и немецкоговорящих странах социология техники «чувствует» себя вполне уверенно в статусе полноценной субдисциплины социологической науки. Характерно, что статью «Социология техники» сегодня можно найти только в немецкой версии Википедии[1].

Заслуга в становлении и развитии социологии техники в Германии, разумеется, принадлежит нескольким конкретным исследователям, среди которых в первую очередь следует назвать Вернера Раммерта. Рассматривая технику как социологический факт, Раммерт формулирует свою позицию следующим образом: «Техника возникает как продукт социального процесса, вписанный в своей предметной форме в социальные структуры, а использование техники вновь индуцирует социальные изменения. Создание, равно как и применение техники следует считать социальной деятельностью. “Состояние техники” есть такой же социальный институт, как господствующая система права. Совокупность техник в том или ином обществе отражает не только его технологический уровень; форма и направление его технического развития дает возможность взглянуть глазами социолога на особенности социальной структуры, находящие свое выражение в культурных ценностях»[2].

Для институционализации научного направления очень важно формирование исследовательского сообщества, готового развивать соответствующую научную программу. В случае Германии вполне уверенно можно говорить о существовании сообщества исследователей, ориентированных

[1] Mode of access: http://de.wikipedia.org/wiki/Techniksoziologie

[2] *Rammert W.* Technik aus soziologischer Perspektive: Forschungsstand, Theorieansätze, Fallbeispiele: Ein Überblick. – Opladen: Westdeutscher Verl., 1993. – S. 3.

на развитие социологии техники. Для англосаксонского мира, напротив, характерна ориентация на мультидисциплинарные программы социальных исследований техники. В России ситуация отличается известной нечеткостью, поскольку довольно узок круг специалистов, анализирующих технику с позиций социальных наук. При этом наибольшее развитие в нашей стране получили философия и история техники, и часто именно представители данных исследовательских направлений вносят весомый вклад и в социологический анализ проблематики «человек и техника».

Наряду с вполне понятными издержками, незавершенность становления социологии техники в качестве институционализированной субдисциплины социологической науки сохраняет и «окно возможностей». Во всяком случае, российские исследователи и университетские преподаватели могут взвесить преимущества и недостатки немецкой и англосаксонской моделей как с точки зрения их адекватности новейшим вызовам научно-технического развития, так и с точки зрения соответствия нуждам потребителей – лиц, принимающих решения, заинтересованных представителей общественности, бизнеса, а также (в случае преподавания) – студенческой аудитории.

Развитие науки и техники продолжает ставить новые проблемы перед социально-гуманитарным знанием. Предлагаемые решения этих проблем, по всей видимости, могут стать вехами либо развилками в эволюции многих отраслей социально-гуманитарного знания, включая и социологию. Такие решения пополнят также запас аргументов в пользу специализации, целенаправленного развития исследовательской программы социологии техники либо в пользу интеграции и междисциплинарного синтеза.

К числу проблем, являющихся потенциально значимыми для социологии и других социально-гуманитарных дисциплин, относится феномен конвергенции технологий и, в частности, ожидаемая в XXI в. конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (NBIC). Прежние конвергенции, начиная с объединения научного знания с технической деятельностью в начале индустриальной революции и заканчивая важнейшей технологической конвергенцией XX в. – возникновением информационно-коммуникационных технологий, – породили ожидание чуда, прорыва, имеющего неисчислимые социальные последствия. Прогнозы последствий NBIC-конвергенции также звучат многообещающе, хотя горький опыт техногенных катастроф последних десятилетий дает пищу и для апокалипсических сценариев. В конечном счете итогом NBIC-конвергенции может стать технологическое преобразование человечества в единый глобальный разум, способный как на лучшее, так и на худшее. NBIC-конвергенция при таком понимании приведет к почти мгновенному в историческом масштабе высвобождению потенциала человека – потенциала как разрушительного, так и созидательного.

Весьма вероятно, что фактическое развитие событий, связанных с NBIC-конвергенцией, будет существенно отличаться от обсуждаемых ны-

не сценариев. Сегодня же внимания социологов заслуживают дискурсы нанотехнологий и NBIC-конвергенции, акторы этого дискурсивного процесса. Несомненно, что здесь нужно будет говорить и о персонах, задававших и задающих тон дискуссиям об этих проблемах. Причем в центре внимания окажутся не столько фигуры масштаба Ричарда Фейнмана, который еще в 1959 г. говорил о возможности манипуляций с материей на молекулярном уровне[1], сколько удачливые популяризаторы, в числе которых на первом месте стоит Эрик Дрекслер с его книгой «Механизмы творения»[2]. Опубликовав свою книгу всего лишь через пять лет после того, как швейцарские исследователи Генрих Рорер и Герд Бинниг создали сканирующий туннельный микроскоп, способный показывать отдельные атомы, поднимать их и переставлять с места на место, Дрекслер не только поведал о небывалых перспективах применения нанотехнологий, но и предостерег от возможных катастрофических последствий. Описанный им сценарий нанотехнологического конца света, когда вырвавшиеся из-под человеческого контроля самореплицирующиеся нанороботы (ассемблеры) преобразуют всю биомассу планеты в «серую слизь», до сих пор остается предметом дискуссий. И хотя в силу своей гипотетичности сценарий «серой слизи» не произвел на заинтересованную публику такого оглушительного эффекта, какой в начале 1960-х имела «Безмолвная весна» Рэчел Карсон, все же начало дискуссиям было положено. Последующее участие в дебатах таких крупных фигур, как нобелевский лауреат по химии Р. Смолли[3], Дж. Уайтсайдс, Р. Курцвейл и др., привлекло к ним внимание как представителей общественности, так и политических деятелей и представителей бизнес-структур. Модальность дискуссий о нанотехнологиях воспроизводится и в дебатах о NBIC-конвергенции. Помимо восходящих к книге Дрекслера споров о шансах и рисках создания и применения нанороботов, активно обсуждаются перспективы развития молекулярной электроники, нанобиологии, алгоритмизации человеческого разума и т.д.

Сегодня в дебатах о нанотехнологиях и NBIC-конвергенции можно вполне уверенно идентифицировать позиции различных групп интересов. Прежде всего, это часть научного сообщества, ученые, ведущие исследования в соответствующих областях знания, заинтересованные в устойчивом финансировании их работ. Внутри этого кластера можно выявить различные группы, ориентированные на ту или иную стратегию исследований, а также на тех или иных заказчиков их разработок. Что касается заказчиков и потребителей, то здесь чаще всего можно выявить влияние различных альянсов, в которых тесно переплетены интересы политики и бизнеса.

---

[1] *Фейнман Р.Ф.* Внизу полным-полно места: Приглашение в новый мир физики (с сокращениями) // Российский химический журнал. – М., 2002. – Т. 46, № 5. – С. 4–6.

[2] *Drexler K.E.* Engines of creation: The coming era of nanotechnology. – N.Y.: Anchor books, 1986. Русский перевод: http://e-drexler.com/d/06/00/EOC_Russian/eoc.html

[3] См.: Drexler–Smalley debate on molecular nanotechnology. – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/Drexler%E2%80%93Smalley_debate_on_molecular_nanotechnology

Создание государственной корпорации «Роснано» является весьма показательным примером, поскольку в данном случае произошла смена профиля деятельности одной из наиболее влиятельных российских политико-финансовых групп, благодаря чему были аккумулированы весьма значительные средства, организационный и лоббистский потенциалы. Другие альянсы, заинтересованные в определенных направлениях развития нанотехнологий и конвергентных технологий, включают в себя также представителей военного истеблишмента и служб безопасности, хотя интересы и влияние этих акторов по понятным причинам не афишируются.

Но нельзя забывать и об акторах, которые, не будучи заказчиками и потребителями нанотехнологической или NBIC-продукции, являются заинтересованными сторонами в качестве потенциальных потребителей рисков этих технологий. Здесь можно вспомнить, что именно голос общественности оказал и продолжает оказывать существенное влияние в странах Запада на принятие политических решений в областях биотехнологий и атомной энергетики. Вполне естественно, что заинтересованной стороной дебатов является и церковь, поскольку возможные плоды NBIC-конвергенции способны привести к ревизии ключевых религиозных догматов.

Особого внимания заслуживают группы, которые как раз и объявляют своей целью преодоление естественных ограничений человеческой природы. Представители этих групп заявляют, что природа слишком часто «ошибается», чтобы на нее можно было безоговорочно полагаться. Отголоски подобного подхода можно обнаружить и во вполне респектабельных исследованиях технологической конвергенции: например, один из отчетов Национального научного фонда США на эту тему назывался не иначе, как «Конвергентные технологии для улучшения человеческих показателей»[1]. Его авторы предполагают, что использование соответствующих технологий будет способствовать преодолению языковых и культурных барьеров и установлению мира на планете, а также развитию плодотворного сотрудничества между людьми и машинами.

Наиболее откровенно и решительно идеи технологического исправления изъянов биологической и социальной организации человеческого рода сформулированы последователями трансгуманизма – движения, существующего с конца 1990-х годов и постулирующего необходимость превращения несовершенного на данный момент человечества в киберчеловечество будущего. Трансгуманисты обещают миру бессмертие, которого они намереваются достичь, сохраняя и передавая информационное содержание человеческого мозга с помощью компьютера. Неудивительно, что у трансгуманистов более чем напряженные отношения с традиционными религиозными общинами.

[1] Converging technologies for improving human performance. – Mode of access: http://wtec. org/ConvergingTechnologies

В известном смысле проекты трансгуманистов представляют собой расписку в нежелании или в неспособности решать проблемы цивилизации конвенциональными средствами, оставаясь в рамках фундаментальных для человеческих общностей моральных и социальных норм. Если при всех усилиях и триллионных вложениях программы образования и здравоохранения не дают радикального улучшения, то согласно логике трансгуманизма лучше всего использовать новейшие технологические возможности для «исправления» человека как такового. По сути дела, такие радикальные декларации свидетельствуют о слабости, хотя по форме они могут быть более или менее удачно «технологизированным» повтором ницшеанской идеи Сверхчеловека. Такого рода установки представляют собой технократический соблазн, возникающий благодаря иллюзии легкого решения, якобы позволяющего уйти от сложности современного общества[1].

Всемирная трансгуманистическая ассоциация (World transhumanism association) была основана в 1998 г. философами Ником Бостромом и Дэвидом Пирсом. Довольно быстро идеи трансгуманизма были подхвачены и в России, где неизбежно обрели свою специфику, связанную с традициями русского космизма, иммортализма, а также ноосферным дискурсом[2]. Заявленная цель организаций трансгуманистов состоит в содействии совершенствованию человека, чтобы он мог в большей мере соответствовать меняющимся условиям существования в современном мире. Трансгуманисты привлекают на свою сторону актуальное знание из самых разных областей – молекулярной биологии, робототехники, наномедицины, философии, социологии. В итоге в их текстах кибербудущее человечества выглядит как историческая и антропологическая необходимость.

При этом обнаруживается такая особенность сегодняшнего положения науки в обществе, как своего рода лингвистические двойные стандарты, двоякий язык, который ученые используют для общения с неспециалистами: один дискурс у науки существует для внутреннего использования, другой – для широкой общественности. Как отмечает Ж.-П. Дюпюи, при обнародовании результатов применения новых технологий ученые оказываются неожиданно скромными[3]. Молекула ДНК – это всего лишь молекула, генетически модифицированные продукты существуют с незапамятных времен, а нанобиотехнологии – это не что иное, как продукт естественного развития науки. Так ученые снимают с себя часть ответственности за последствия своей деятельности.

---

[1] См.: *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. – М.: Традиция, 1997. – С. 241.

[2] Подробнее об истории трансгуманизма в России см. на сайте Российского трансгуманистического движения: http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/29/110/

[3] *Dupuy J.-P.* Quand les technologies convergeront // Futuribles. – P., 2004. – N 300. – P. 5–18.

Канадская исследовательница феномена трансгуманизма М. Робитай обращает внимание на то, что адепты этого движения используют в своих работах тот же неспецифический научно-технический язык, каким пользуются профессиональные ученые при написании статей, отчетов, научно-популярных материалов[1]. В таком стиле они якобы нейтрально описывают то, что произойдет с миром через энное количество лет. Тем самым трансгуманисты ставят научный дискурс и саму науку себе на службу. Им необходимо создать впечатление, что они говорят от лица науки. Они утверждают, что общество зависит от ученых, в чьих руках сейчас находятся судьбы мира: именно ученые ведут человечество по пути к лучшему будущему, они способны преобразовать природу и трансформировать тело человека вплоть до молекулярного уровня. Апелляция осуществляется одновременно и к мистике, и к рациональности: ученые именуются не иначе, как «рациональные ясновидящие».

Трансгуманисты постоянно используют позитивные характеристики: «больше», «лучше» и пр. Одной из ведущих особенностей научного знания становится прогресс, который носит перманентный характер и «который не остановить». Тем самым развитие науки изображается как объективный процесс, как поступательное движение, линейное и предсказуемое. В подтверждение приводятся данные вроде закона Мура, сформулированного в 1965 г. одним из основателей компании «Intel» Гордоном Муром и повествующего о том, что каждые 1,5 года количество транзисторов на один кристалл удваивается (впрочем, сам Мур в 2007 г. заявил, что закон, очевидно, скоро перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света). Также «объективны» и конвергентные технологии. Тем не менее они настолько меняют нашу жизнь, что представляются в качестве революции («робототехнической», «нанобиоинформационной», «квантовой»), и к этим изменениям – предупреждают трансгуманисты – нужно готовиться, ведь они неизбежны.

Следует отметить, что сторонники трансгуманизма апеллируют к все менее релевантным представлениям о научной рациональности, объективности и социальной неангажированности. По сути дела, трансгуманисты и представители близких к ним течений стоят на позициях технологического детерминизма, отрицая сколько-нибудь существенную роль социального контекста научно-технической деятельности. Они практически игнорируют достижения социологии науки и техники последних четырех десятилетий, хотя НИОКР в сферах нанотехнологий и конвергентных технологий вполне соответствуют основным характеристикам постнормальной науки, когда производство научного знания рассматривается не столько как поиск основополагающих законов природы, сколько

[1] *Robitaille M.* Le transhumanisme comme idéologie technoprophétique // Futuribles. – P., 2011. – N 370. – P. 57–70.

как процесс, увязанный с контекстом применения этого знания, с представлениями о социальных потребностях и потенциальных потребителях[1].

В дискурсе трансгуманизма и – отчасти – социальных воздействий NBIC-конвергенции элементы научного прогнозирования зачастую переплетаются с научной фантастикой и социальной утопией. В этом есть немало плюсов, поскольку эвристический потенциал научной фантастики и социальной утопии (а также и антиутопии) весьма высок. Однако проблема, на которую указывает М. Робитай, состоит в том, что многие тексты трансгуманистов представляют собой самосбывающиеся предсказания, т.е. утверждения, которые сами порождают собственную валидность. В результате подобного круга в доказательстве и изначально ложная концепция становится истинной[2].

Сами трансгуманисты склонны отрицать фантастический характер своего творчества. Они заявляют, что вся полнота технологических возможностей просто находится за пределами человеческого понимания. Они даже утверждают, при этом частично противореча самим себе, что если это не похоже на научную фантастику, то это, вероятно, неправда. Приводимые при этом примеры призваны поразить воображение: электронные приборы, обучающиеся у своих пользователей, и технологии, позволяющие проникать сквозь любые материальные и нематериальные преграды; отец, передающий своей дочери хромосому № 47, версия 2.0, и апельсиновый сок, содержащий в себе 3 млн. частиц для чистки артерий. И наконец, разум, «освобожденный» от мозга. Для М. Робитай все это демонстрация того, насколько человек может дать волю своей фантазии. Если в реальности большинство нанопроектов еще находятся на экспериментальной стадии, то в интерпретации трансгуманизма конвергентные технологии уже сейчас являются ответом на все вопросы и решением всех социальных проблем.

Научная фантастика и социальная фантастика, не пытающиеся маскироваться под серьезную науку, но обращенные к обществу, могут выступить в необходимой роли «свежей головы», способной сказать о том, о чем постараются умолчать квазинаука или даже постнормальная наука. Как однажды заметил Мартин Хайдеггер, «наука не мыслит»[3]. Он имел в виду трудности осмысления учеными собственных идей и результатов

---

[1] См.: *Funtowicz S.O., Ravetz J.* Science for the post-normal age // Futures. – Amsterdam, 1993. – Vol. 25, N 7. – C. 735–755; *Weingart P.* Neue Formen der Wissensproduktion: Fakt, Fiktion und Mode // TA-Datenbank-Nachrichten. – Karlsruhe, 1999. – № 3–4. – S. 48–57; *Ефременко Д.В.* Эколого-политические дискурсы: Возникновение и эволюция. – М.: ИНИОН РАН, 2006. – С. 45–52.

[2] *Robitaille M.* Le transhumanisme comme idéologie technoprophétique // Futuribles. – P., 2011. – N 370. – P. 65.

[3] См. интервью М. Хайдеггера в журнале «Экспресс»: Heidegger M., de Towarnicki F., Palmier J.-M. Entretien avec Heidegger // L'Express. – P., 1969. – N 954. – P. 79–85. – P. 79–85. – Mode of access: http://www.heidegger.ru/tovarnitski.php

своей деятельности, хотя, согласно Хайдеггеру, в этом и заключается преимущество науки, прогресс которой не тормозится чрезмерной рефлексией о его сути и последствиях. Но именно поэтому так значимы публичные дебаты по поводу актуальных тенденций в науке, каковыми в настоящее время являются и конвергентные технологии. Подобные дебаты тем более важны, что риски от применения новых технологий уже сейчас представляются значительными, а в будущем могут многократно возрасти. Трудно не согласиться с теми, кто предупреждает об опасности принципа laissez faire применительно к современной науке, когда ученый из исследователя превращается в инженера[1], а возможно, весьма скоро – также и в инженера человеческих тел.

Публичная дискуссия о будущем человеческого рода в единстве его психических и физических характеристик не может быть полноценной без участия социологов. Социологию в большей степени должны интересовать не радикальные, а промежуточные сценарии, вероятность осуществления которых в ближайшие десятилетия довольно высока. Скажем, пищу для осмысления иммортализтской перспективы дают многие произведения научной и социальной фантастики, причем окончательный вердикт, как в романе Жозе Сарамаго «Перебои в смерти»[2], может быть беспощадным: «Если мы не начнем умирать, то лишимся будущего». Социологу и в этом случае есть о чем задуматься, но действительно актуальным и одновременно весьма захватывающим с точки зрения анализа социальных последствий для него будет сценарий скачкообразного увеличения средней продолжительности жизни на 15–20 лет по сравнению с сегодняшним уровнем. Уже сейчас решение этой задачи является в большей степени вопросом политической воли и инвестиций, чем научно-технического поиска. Однако социальный и политический стресс, который вызовет такой скачок продолжительности жизни, даже в индустриально развитых странах мог бы привести к демонтажу всей системы государства всеобщего благосостояния (впрочем, западное государство всеобщего благосостояния и без этого трещит по швам под напором глобального кризиса). Стоит отметить, что и устойчивость системы социального обеспечения в современной России в немалой степени привязана к нынешнему уровню продолжительности жизни, и даже простое его приближение к среднеевропейскому уровню (не говоря уже о действительно радикальном скачке) может спровоцировать серьезные экономические и политические потрясения.

Не менее значимой является и проблема гибридных констелляций, т.е. новых форм человеко-машинного взаимодействия, следствием которых становится усиливающаяся технизация человеческого тела. Проблема гибридных констелляций в настоящее время является одной из основных

---

[1] *Dupuy J.-P.* Quand les technologies convergeront // Futuribles. – P., 2004. – N 300. – P. 17.

[2] *Сарамаго Ж.* Перебои в смерти. – М.: ЭКСМО, 2006.

тем дискуссий среди специалистов по социологии техники, в частности в Германии[1]. В известном смысле термин «гибридная констелляция» представляет собой более мягкий аналог термина «киборгизация», но такое смягчение лишь подчеркивает актуальность проблемы нарастающей релятивности различий между техническим и телесным. Наиболее заметна гибридизация технического и телесного в современной авиации, где действия пилотов дополняются работой технических систем, которые не только вмешиваются в управление, но и могут принимать его на себя полностью. Фактически в таких случаях происходит распределение задач и ответственности между человеком и техническими системами.

Значительный интерес для исследователей представляет вопрос о том, на каком уровне следует изучать гибридные человеко-машинные констелляции. Раньше не возникало сомнений в том, что в подобных случаях речь идет о микроуровне социального исследования. Однако пример кризиса на мировых финансовых рынках, функционирование которых обеспечивается сетевым человеко-машинным взаимодействием, показывает, что теперь можно говорить о гибридном человеко-машинном взаимодействии и на макроуровне[2].

Рассуждения о техническом «расширении человека» и о технологиях, способствующих снятию «телесных ограничений», продолжают линию дебатов о прямом техническом вмешательстве в человеческое тело, у истоков которой стоял еще Э. Капп с его идеей органопроекции. Новизна современной ситуации состоит в том, что развитие техники выходит далеко за пределы представлений о ее инструментальном характере, порождая новые гибридные формы деятельности, для анализа которых необходимо обновление теоретико-методологических стратегий. Например, необходимо понять, какие побочные воздействия на организационные структуры общества могут оказывать новые техники репродукции человека или замедления процесса старения с помощью искусственных органов. Одной из самых сложных здесь становится проблема размывания границ между представлениями об обычном человеке, тело которого не испытало никакого технического вмешательства, и человеке, некоторые органы которого заменены высокотехнологичными протезами, причем наличие этих протезов не делает их носителя инвалидом, но, напротив, обеспечивает ему значительные преимущества перед обычными людьми. Пусть на гипотетическом уровне, но уже можно представить людей, которые при помощи

---

[1] См.: Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Technik- und Innovationsforschung: Klausurtagung der Sektion Wissenschafts- und Technikforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie / Dolata U., Hampel J., Schrape F., Schulz S. – Stuttgart, 8–9. Juli 2010 // Technikfolgenabschätzung: Theorie u. Praxis. – Karlsruhe, 2010. – Jg. 19, H. 3. – S. 124–128.

[2] Подробнее см.: *Nierling L., Pfersdorf S., Schleisek A.* 100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Soziologie: Selbstreflexionen eines Fachs und aktuelle Perspektiven der Transnationalisierung: Bericht vom 35. Kongress der DGS. – Frankfurt a. M., 11–15. Oktober 2010 // Technikfolgenabschätzung – Theorie u. Praxis. – Karlsruhe, 2010. – Jg. 19, H. 3. – S. 110–114.

NBIC-технологий смогут сутками обходиться без сна, а их работоспособность при этом нисколько не снизится. Но каковы в таком случае будут социальные отношения, какие новые водоразделы и конфликты возникнут в смешанном обществе людей и киборгов? Могут ли люди, чье тело (а быть может – и разум) подверглось техническому «улучшению», обладать равными с обычными людьми политическими правами? Как будет оплачиваться их труд? Смогут ли они рассчитывать на полноценный доступ к системе социального обеспечения, если в результате какого-нибудь технического сбоя они испытают потребность в обращении за общественным пособием?

Даже сейчас, когда конвергентные технологии еще остаются чем-то на грани обещания и реальности, социальные науки и социология в частности должны начать обсуждать эти вопросы всерьез. Необходимо выявить конфликтный потенциал и осмыслить возможные социальные последствия развития и внедрения NBIC-технологий. Но учитывая социальную значимость этих проблем, необходимо использовать существующие и создавать новые механизмы общественной экспертизы, привлечения к дискуссиям по проблемам конвергентных технологий не только специалистов в тех или иных областях знания, но и представителей гражданского общества. Поскольку в случае социальных последствий NBIC-конвергенции лица, принимающие политические решения, имеют дело с высоким уровнем неопределенности, привлечение к дискуссиям представителей общественности является одной из стратегий оптимизации рисков и снижения конфликтного потенциала.

Потребность в социальной экспертизе во многом обусловлена теми недостатками традиционной экспертной деятельности, которые обнаруживают себя в случаях, подобных последствиям конвергентных технологий. Особенность таких ситуаций состоит в том, что позиции научного сообщества ослабляются именно в связи с результатами экспертной деятельности. Здесь наука сталкивается с луманoвским парадоксом: «Чем больше знаешь, тем больше знаешь, чего не знаешь, и тем скорее формируется сознание риска»[1]. Иначе говоря, наука в экспертизе риска не только оперирует достоверными данными, но одновременно показывает масштабы неопределенности и, следовательно, ограниченность экспертного знания.

В таких условиях эксперты нередко стремятся компенсировать дефицит достоверного знания использованием различных методов статистического анализа риска, построением моделей, применением гипотетического подхода и т.д. Происходит «экспансия гипотетического», когда политические решения принимаются на основе гипотетических соображений[2]. Уязвимость гипотетических построений отражается в учащении конфликтов между экспертами, что способствует подрыву авторитета нау-

[1] *Луман Н.* Понятие риска // THESIS. – М., 1994. – № 5 – С. 152.

[2] *Marquard O.* Apologie des Zufälligen: Philosophische Studien. – Stuttgart: Reclam, 1986.

ки. Любые научно обоснованные политические решения могут быть опровергнуты при помощи научного же анализа. Подрыв доверия к экспертизе не только ведет к снижению политического спроса на экспертное знание, особенно драматичному в сравнении с масштабами аккумуляции нового знания, но и создает благоприятные условия для возникновения политических конфликтов.

Однако если рассматривать риск как феномен социальной коммуникации, то именно взаимодействие экспертов и неспециалистов является предпосылкой рационального выбора и социальной акцептации (позитивного восприятия) риска решений, принимаемых в условиях повышенной неопределенности. Объединение научной и обыденной рациональности становится характерной особенностью существования в современном технизированном обществе. Оно также призвано восполнить дефицит легитимности принимаемых решений, возникающий по причине инверсии неполитического в политическое в рамках коммуникации риска. Между тем конвергентные технологии обладают очень серьезным потенциалом такой инверсии.

В свете сказанного уместно вернуться к вопросу о социальной функции социологии техники. На протяжении второй половины XX в. особенно отчетливо проявилась тенденция к сопряжению цивилизационной динамики с достижением новых рубежей научно-технического развития. Сформировалось целое семейство социальных теорий, увязывающих модернизационные скачки с аккумуляцией и радикализацией качественных изменений в научно-технической сфере – теории постиндустриального общества, информационного общества, общества знания. Чуть позднее – в 1980-е годы – появились теории социальных трансформаций с «обратным знаком», которые, однако, также ставили в центр теоретической рефлексии научно-технические изменения и их комплексные социальные последствия. К ним прежде всего относится концепция «общества риска» У. Бека. Однако фактически речь идет о двух сторонах одной и той же медали, поскольку предпосылки возникновения общества риска непосредственно связаны с ростом научного знания и расширением возможностей научно-технической деятельности как важнейшего фактора социальных трансформаций[1].

Технизированный мир, мир знания – это не мир социальной статики и благодушия. Н. Штер, один из ведущих современных теоретиков общества знания, подчеркивает: «Современные общества суть образования, которые отличаются, прежде всего, тем, что “сами производят” свои структуры, сами определяют свое будущее, – а стало быть, обладают способностью к саморазрушению»[2]. Стоит отметить, что это суждение в

---

[1] См. подробнее: *Ефременко Д.В.* Концепция общества знания как теория социальных трансформаций: Достижения и проблемы // Вопросы философии. – М., 2010. – № 1. – С. 49–61.

[2] *Штер Н.* Мир из знания // Социологический журнал. – М., 2002. – № 2. – С. 33.

полной мере применимо и к перспективам NBIC-конвергенции. Во всяком случае, движение к обществу знания – это процесс, отличающийся принципиальной непредрешенностью и проблематичностью трансформаций, а джокер конвергентных технологий способен эту проблематичность многократно усилить.

Одной из заслуживающих внимания попыток модификации представлений об обществе знания с учетом рисков и проблематичности трансформаций, индуцированных научно-техническим развитием, является концепция *обучающегося общества*. Изначально внимание авторов, внесших существенный вклад в разработку этой концепции, было сосредоточено на вопросах образования для всех на протяжении всей жизни. Д. Шён, в частности, показал, что социальные институты, стремящиеся быть адекватными современным трансформациям, должны строиться по модели «обучающейся системы». В опубликованных в 1960–1970-е годы работах Р. Хатчинса и Т. Хусена выражение «обучающееся общество» (learning society) относится к новому типу общества, где приобретение знаний не ограничивается стенами образовательных учреждений. В то же самое время один из создателей концепции общества знания Питер Дракер отнес к фундаментальным характеристикам такого общества способность «научиться учиться».

Идея обучения обучению в обществе знания обретает новое звучание в контексте осознания глобальных рисков научно-технического развития. Сегодня вполне уместно ставить задачу реинтерпретации концепции общества знания, позволяющей преодолеть ряд серьезных недостатков ее первоначальных версий. Ключевым элементом такого рода реинтерпретации является установка на устойчивое саморазвитие социума через овладение инструментами саморефлексии, самоуправления, коммуникации. В то же время научное знание не только сохранит свой прежний социальный статус, но выступит в качестве основного механизма овладения этими технологиями. И здесь на переднем плане должны оказаться те научные направления, которые «схватывают» многообразные и изменчивые взаимосвязи между социальным и техническим. Таким образом, социальные исследования техники имеют все основания стать одним из инструментов саморефлексии современного обучающегося общества. Социологический анализ будет также востребован, но можно предположить, что новая общественная миссия изучения взаимосвязей технического и социального приведет к усилению междисциплинарности и трансдисциплинарности в этом направлении исследований. Эти тенденции в социальных исследованиях техники, модификация их экспертной функции, учитывающая не только потребности лиц, принимающих решения, но и широкого круга социальных акторов, будут стимулировать синтез социологических подходов, философской и этической рефлексии, коммуникативной рациональности и т.д. Несомненно, что и проблематика социальных последствий NBIC-конвергенции также требует подобного синтеза.

В связи с этим стоит сказать о ситуации в нашей стране, где в последние десятилетия сформировалась школа социальных исследований техники (прежде всего, философии техники). По всей видимости, нам сейчас едва ли стоит следовать ленинскому завету «сначала размежеваться, а потом объединиться». Несмотря на достижения, работающих в этой сфере социального знания российских исследователей все же не настолько много, чтобы идти по пути самостоятельного развития социологии техники. Отмеченные выше общие тенденции и ограниченность собственных ресурсов (кадровый и организационный потенциалы, финансирование, связи с институтами управления и гражданским обществом) служат аргументами в пользу развития в России комплексных социальных исследований техники, осуществления на базе этой исследовательской программы экспертной деятельности и преподавания дисциплины «наука, техника и общество» в качестве базового курса, по крайней мере, в ведущих российских университетах.

РЕФЕРАТЫ

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ ТЕХНИКИ В ГЕРМАНИИ (Сводный реферат)[1]

1. Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Technik- und Innovationsforschung: Klausurtagung der Sektion Wissenschafts- und Technikforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie / Dolata U., Hampel J., Schrape F., Schulz S. // Technikfolgenabschätzung – Theorie u. Praxis. – Eggenstein-Leopoldshafen, 2010. – Jg. 19, H. 3. – S. 124–128.

2. Nierling L., Pfersdorf S., Schleisek A. 100 Jahre Deutscher Gesellschaft für Soziologie – Selbstreflexionen eines Fachs und aktuelle Perspektiven der Transnationalisierung: Bericht vom 35. Kongress der DGS. – Frankfurt a. M., 11–15. Oktober 2010.

В фокусе внимания участников заседания секции «Исследование науки и техники» Немецкого общества социологии (Штутгартский университет, 8–9 июля 2010 г.) находились актуальные направления социологического анализа техники и инноваций. Участники дискуссии предприняли попытку выявить наиболее перспективные темы, подходы и методы в современной социологии техники. В обмене мнениями о состоянии данного исследовательского поля и основных шагах, необходимых для его разработки в будущем, участвовали 35 представителей разных научных специальностей. Отчет о ходе дебатов был подготовлен сотрудниками кафедры организационной и инновационной социологии Штутгартского университета Ульрихом Долатой, Юргеном Хампелем, Феликсом Шрапе и Штефани Шульц (1).

Дискуссия разворачивалась вокруг следующих тематических направлений:

– формы и общее направление социотехнических изменений, структурные и институциональные модификации, обусловленные развитием

[1] Реферат подготовлен в рамках проекта РГНФ 11-03-00512 а «Социальные последствия конвергенции технологий: Междисциплинарный анализ, этические и политико-правовые проблемы».

новых технологий, акторы, выступающие носителями этих трансформаций;

– проблемы организации и управления инновационными процессами, включая новые формы социального управления;

– гибридные констелляции, в частности новые формы человеко-машинного взаимодействия, усиливающаяся технизация человеческого тела;

– трансформации трудовых процессов и повседневной жизни в связи с распространением новых технологий (прежде всего, информационно-коммуникационных), их внедрением в организацию производства и инфраструктурное обеспечение;

– исследования Интернета, сфокусированные на оценке новых механизмов социальной интеграции, их эмпирическом анализе и теоретическом осмыслении.

Значительное внимание участники дискуссии уделили рассмотрению различных уровней социальных взаимодействий в инновационных процессах. Если проблематика социальных оснований и институциональных рамок техногенеза и инновационных процессов пользуется вниманием исследователей, то пока остается в тени обратное воздействие новых технологий на системные, организационные и институциональные изменения в современном обществе. Эти трансформации представляют собой не столько радикальную ломку старого, сколько синтез многообразных технических, организационных и структурных изменений на протяжении длительного времени. Выявление условий, при которых происходит формирование и стабилизация новых структур как результат соответствующих изменений, является актуальной исследовательской задачей. Кроме того, пока не в полной мере прояснено взаимовлияние региональных, секторальных и национальных инновационных систем. Наконец, внимание социологов техники должно быть привлечено к акторам технических изменений, включая и тех, кто в силу различных причин скептически относится к инновациям (традиционалисты, зеленые и др.) или же игнорирует рыночные механизмы их распространения (распространители бесплатного программного обеспечения, энтузиасты свободного файлообмена и т.д.).

Управление инновационными процессами в настоящее время получает новую интерпретацию, в рамках которой происходит смещение акцентов с количественных показателей инновационной активности и ее рыночной эффективности к способности инноваций вносить вклад в решение социальных проблем. На решение сходных задач направлены и попытки упреждения сопутствующих техническому прогрессу социальных конфликтов (например, в связи с развитием генной инженерии или нанотехнологий). Эти усилия предполагают поиски консенсуса в процессе предвосхищающего дискурсивного управления (antizipierende diskursive Governance), участниками которого должен быть как можно более широкий круг акторов гражданского общества. На уровне теоретической рефлексии дан-

ный подход ориентирован не только на изучение технических артефактов, но также и на анализ связанных с ними социальных представлений и ожиданий.

Участники дискуссии в Штутгартском университете были весьма осторожны в отношении оптимистических оценок новых способов управления техническими инновациями. Хотя традиционные формы принятия решений в сфере технической политики выглядят устаревшими, новые модели управления инновационными процессами пока не могут гарантировать большей эффективности или сбалансированного распределения влияния заинтересованных акторов на принятие соответствующих решений.

Другое перспективное направление дебатов в социологии техники – взаимосвязь между техникой и человеческим телом – опирается на богатую исследовательскую традицию, восходящую еще к Мартину Хайдеггеру. Однако если прежде технические приспособления однозначно характеризовались как инструменты, то в условиях становления гибридных констелляций речь идет о равноценном соучастии в техническом действии, в рамках которого релятивизируются различия между техникой и телом. Наиболее заметна эта гибридизация в современной авиации, где действия пилотов дополняются работой технических систем, которые не только вмешиваются в управление, но и могут принимать его на себя полностью. Фактически в таких случаях происходит распределение задач и ответственности между человеком и техническими системами. Значительный интерес для исследователей представляет вопрос о том, на каком уровне следует изучать гибридные человеко-машинные констелляции. Раньше не возникало сомнений в том, что в подобных случаях речь идет о микроуровне социального исследования. Однако пример кризиса на мировых финансовых рынках, функционирование которых обеспечивается сетевым человеко-машинным взаимодействием, показывает, что мы теперь имеем дело и с человеко-машинным взаимодействием на макроуровне.

В то же время рассуждения о техническом «расширении человека» и о технологиях, способствующих снятию «телесных ограничений», продолжают линию дебатов о прямом техническом вмешательстве в человеческое тело. Еще в 1950-е годы философ Арнольд Гелен писал о человеке как о существе, компенсирующем свои недостатки с помощью технических приспособлений. Однако развитие современных технологий выходит далеко за пределы представлений об их инструментальном характере, порождая новые гибридные формы деятельности, для анализа которых необходимо обновление теоретико-методологических стратегий. Например, необходимо понять, какие побочные воздействия на организационные структуры общества могут оказывать новые техники репродукции человека или замедления процесса старения с помощью искусственных органов. Поскольку многие из технических нововведений еще находятся в фазе зарождения, а общественные трансформации имеют долгосрочный гори-

зонт, важнейшей целью социологии становится выявление конфликтного потенциала и осмысление социальных последствий этих технологий.

Как отмечают авторы обзора штутгартской дискуссии, еще в 1980-е годы центром тяжести социальных исследований техники стала проблема ее воздействия на повседневный мир человека и на трудовые отношения. Дальнейший экспоненциальный рост значимости технических и электронных систем в обыденной жизни способствовал обновлению подходов к изучению темы «техника и повседневность». Появление таких устройств, как смартфоны или ноутбуки, и социально-сетевых ресурсов наподобие «Фейсбука» или «Твиттера» обеспечивает значительно бóльшую гибкость коммуникации и занятости в информационной сфере, способствует постепенному стиранию некогда четких границ между трудом и частной жизнью. Поэтому вопрос о сути этих перемен становится одним из центральных в социологическом исследовании воздействия технического прогресса на общество.

Развитие новых технологий способствует трансформации трудовых процессов. Интернет полон предложений таких форм профессиональной занятости, которые связаны с производством его пользователями нестандартных товаров и их реализацией объединениями разработчиков. Возрастает также предложение программных продуктов, не предназначенных для коммерческого использования (open source). Соответственно, встают вопросы о том, как эти новые формы занятости и производства благ структурированы во Всемирной паутине, какую роль играет в инновационном процессе интерактивное участие пользователей, и, наконец, как эти явления связаны с классическими видами трудовой деятельности. Наряду с этими процессами, социологам техники необходимо обратить внимание и на то, как внедрение новейших технологий (помимо Интернета) трансформирует устоявшиеся формы промышленного производства, способствуя радикальному повышению производительности труда.

Одной из центральных тем обсуждения в Штутгартском университете были исследования Интернета – прежде всего, развитие социальных сетей и отношения между пользователями этих сервисов. В теоретическом отношении исследование сетевых сообществ ставит вопросы о новых формах социальности, формирующихся в Интернете, об их специфике и сопоставимости с социальным взаимодействием в офлайновом мире, о воздействии сетевой коммуникации на процессы в публичной сфере. В этом контексте также обсуждается проблема материального измерения сетевых коммуникаций. За набором разнообразных интернет-сервисов стоит разветвленная инфраструктура, объединяющая множество центров обработки данных и других материальных компонентов, которые могут играть значимую роль в экономике тех или иных регионов.

Некоторые из тематических приоритетов штутгартского заседания секции «Исследование науки и техники» Немецкого общества социологии получили дальнейшее развитие в ходе 35-го (юбилейного) конгресса этого

научного общества, который проходил во Франкфурте-на-Майне 11–15 октября 2010 г. Обзор ряда докладов и презентаций на этом Конгрессе был подготовлен сотрудниками Института оценки техники и системного анализа (Технологический институт г. Карлсруэ) Линдой Нирлинг, Симоном Пферсдором и Анной Шляйсек (2).

Доклад профессора Университета г. Констанц К. Кнорр-Цетины был посвящен феномену глобальных микроструктур. В качестве примера такого рода микроструктур Кнорр-Цетина проанализировала функционирование бирж, брокеры которых находятся в разных частях мира, но при этом связаны друг с другом при помощи технических средств электронной коммуникации. Таким образом, мировые финансовые рынки поддерживаются функционированием подобных глобальных микроструктур. При этом электронные медиа, используемые для осуществления биржевой торговли, представляют собой взаимосвязанную совокупность технических устройств, программного обеспечения и информационного содержания, становясь, таким образом, порождающим элементом глобальных микроструктур. Следствием технически обусловленной интеграции глобальных микроструктур может стать возникновение параллельного социального мира, установки и ценности которого будут оторваны от установок и ценностей традиционных социальных структур. В этой опасной автономизации глобальных микроструктур может заключаться одна из дополнительных причин нестабильности и даже краха финансовых рынков. По мнению К. Кнорр-Цетины, дальнейшее изучение бирж и им подобных глобальных микроструктур представляется важным направлением социологического анализа.

Функционирование глобальных микроструктур, опирающееся на развитие технических возможностей коммуникации, является важным фактором становления транснационального сообщества (Vergemeinschaftung). Этим же процессам способствует социальная динамика, связанная с развитием нового поколения сетевой коммуникации (Web 2.0). Так, в докладе А. Мёлленкампа (Лейпцигский университет) рассматривалась структура мотиваций авторов, вносящих вклад в развитие проекта Википедии. Проанализировав биографии десяти участников проекта, Мёлленкамп идентифицировал три типа мотиваций. Первый основан на устойчивой идентификации с «сообществом открытого контента», когда индивидуальный вклад в проект Википедии рассматривается как участие в деятельности, имеющей большое значение для гражданского общества. Второй тип мотивации сфокусирован на образовательных задачах, причем подготовка материалов для написания статьи на ту или иную тему открывает для ее автора возможность повысить свой собственный образовательный уровень. Третий тип связан с элементами игры и конкуренции, сопутствующими развитию данного проекта.

В ряде докладов на Франкфуртском конгрессе рассматривались проблемы развития социальных сетей, особенностями которых являются как

самопрезентация пользователя, так и возможности его интеграции в те или иные онлайновые сообщества. Интерес для исследователей представляет идеология некоторых из подобных сообществ. Так, социолог из Штутгарта С. Гайкен проследил идеологические истоки таких направлений сетевой активности, как создание в политических целях сайтов-двойников или разглашение конфиденциальной информации на платформе Wikileaks. По его оценке, идеология такого рода активности восходит к установкам группы студентов-хакеров из Массачусетского технологического института, которые вели борьбу с руководством университета под лозунгами свободы информации и недоверия авторитетам. В настоящее время эта идеология поддерживается пробелами в правовом регулировании и отсутствием этических кодексов сетевой коммуникации.

Н. Тауберт (Университет г. Билефельда) в своем докладе проанализировал динамику движения за открытый доступ к информации на примере научных публикаций. Одним из стимулов этого движения стал кризис библиотечного дела, выявившийся в 1980-е годы. Прямым следствием кризиса стало появление в 1992 г. первого электронного журнала. Вслед за этим развернулось обсуждение необходимости свободного доступа к электронным публикациям, а первые предложения соответствующих сервисов и программного обеспечения появились в 2005 г. Н. Тауберт полагает, что в настоящее время движение открытого доступа (Open-Access-Bewegung) можно характеризовать как социальное движение. Кроме того, как показала дискуссия на Франкфуртском конгрессе, онлайновые сообщества уместно рассматривать не только в качестве сообществ, но и как формы коллективного производства знания.

По оценке авторов обзора материалов Франкфуртского конгресса, новые тенденции в развитии социологии науки и техники в Германии указывают на целесообразность комбинированного использования различных социологических подходов, сочетания микросоциологического анализа с рефлексией глобальных процессов, обусловленных научно-техническим развитием.

Д.В. Ефременко,
С.Г. Ким

Пассот Я.-Х.

АКТАНТЫ, АССОЦИАЦИИ, МЕДИАТОРЫ: КАК АКТОРНО-СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ РЕИНТЕРПРЕТИРУЕТ ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО

Passoth J.-H.

Aktanten, Assoziationen, Mediatoren: Wie die ANT das Soziale neu zusammenbaut // Dimensionen und Konzeptionen von Sozialität / Hrsg. von G. Albert, R Greshaff, R. Schutzeichel. – Wiesbaden: VS, 2010. – S. 309–317.

Ян-Хендрик Пассот (факультет социологии, Билефельдский университет, ФРГ) рассматривает идейные истоки, понятийный каркас и исследовательские перспективы проекта «Новая социология для нового общества» Бруно Латура[1]. Внимание автора приковывает смелость поставленной французским социологом задачи переопределить состав понятия «социальное». Его акторно-сетевая теория (АСТ) обещает, по словам А. Бари и Д. Слетера, гораздо больше, чем просто еще один подход в социологии науки и техники (цит. по: с. 309). Латур предлагает отказаться от воззрения на общество как на самодовлеющую, отделенную от природы и от техники область сущего и попытаться преодолеть разрывы между ними в одном аналитическом измерении.

Эмпирическое изучение деятельности лабораторий, канцелярий, бирж, больниц и пр., проводимые в последние три десятилетия Б. Латуром, а также другими учеными – Дж. Лоу, А. Мол, Д. Макензи, М. Каллоном, – сопровождалось целым рядом заметных обновлений базовых понятий социологической теории. Накопленный исследовательский опыт подвел к мысли о том, что настало время перенести проблематику, обсуждаемую в узких лабораторных рамках науковедения (science studies), в открытое поле социально-теоретических дискуссий, хотя такой перенос означает лишь первый шаг на пути ее осмысления.

[1] *Latour B.* Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007.

Разговор о перекомпановке представлений о социальности автор начинает с краткой предыстории АСТ (социологии ассоциаций), подчеркивая, что эта теория является продуктом междисциплинарной работы. Ее истоки возводят обычно к социальному исследованию техники, а также к семиотической и постструктуралистской теориям[1]. Утверждение, что социологию ассоциаций можно вывести из генеалогии социальных исследований науки и техники, автор считает явным преувеличением. В истории этого исследовательского поля АСТ – довольно новое направление, создатели которого стремились прервать длительную «концептуальную агонию». Данное поле формирования теории неизменно воспроизводит в разных вариациях два доминирующих подхода. Один опирается на позицию техницизма, идеально-типическим выражением которого являются труды Т. Веблена, Ж. Эллюля, М. Маклюэна; другой, противоположный, исходит из логики социокультурного развития, к его последовательным сторонникам можно отнести Л. Мэмфорда, Г. Маркузе и уже в 1990-е годы – В. Бийкера, Т. Хьюза, Т. Пинча (с. 310).

Параллельно этому с 1960-х годов появляются альтернативные (текстологические и менталистские) теории объяснения артефактов в семиотике, структурализме, затем в постструктурализме. Так, представители последнего сосредоточивают внимание на полисемии артефактов, подчеркивая необходимость анализа материально-семиотических переплетений. Они фокусируют внимание на непрерывно сдвигающихся, причудливых взаимных переходах материального в знак, семиотического – в артефакты (с. 311). В результате с 1980-х годов в рамках программы АСТ начинается детальное изучение последствий подобных взаимных переходов техницистских и культуралистских интерпретаций, которые сказываются на выборе научных фактов и технического аппарата.

В основу акторно-сетевой теории положен принцип симметрии Д. Блура, нацеливающий на обобщения. В соответствии с ним, исследование социальных процессов производства научного знания должно в равной мере (симметрично) анализировать не только успехи, но и ошибки научной работы. Как показали этнографические наблюдения деятельности научных лабораторий, осуществленные в 1980-е годы Б. Латуром, С. Вулгаром, К. Кнорр-Цетиной, помимо обсуждений ложных и истинных показаний, необходимо также учитывать и другие составляющие жизни лабораторий, например бесчисленное множество данных (чисел, диаграмм, дат), выдаваемых различными приборами. Из осознания факта особого и весомого вклада в производство знания наряду с человеком также «нечеловеческих» акторов и родилась идея АСТ. Затем был сделан вывод о необходимости генерализации принципа симметрии, распространении его на акторов – «человеческих» (собственно акторов) и «не-человеческих»

[1] *Star S., Griesemer J.* Institutional ecology «translations» and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of vertebrate zoology, 1907–1939 // Social studies of science. – L., 1989. – Vol. 19, N 3. – P. 387–420.

(актантов), – участвующих в коллективных процессах. Соответственно, возможность говорить о балансе вкладов разных акторов появляется лишь в том случае, если понятие актор / актант не подразумевает однозначно интенционально действующего индивида. «Актор» как составная часть термина «акторно-сетевая теория» является «не причиной действия, но подвижной целью множественных усилий существ, которые к ней стремятся»[1]. Актор (или актант) определяется не априори, а лишь по той роли, которую он играет в коллективных связях. Даже если на первый взгляд кажется, будто «симметричная антропология» приписывает техническим актантам характер человеческой активности, на самом деле утверждается обратное. Не технические артефакты уподобляются живым существам, но человек рассматривается в качестве аналога технического актанта. Другими словами, и те и другие становятся предметом конкретных исследований с точки зрения их участия в том, что нечто происходит, и в том, как это происходит.

В качестве иллюстрации к своей концепции действия Латур приводит пример гостиничного администрирования. Как известно, постояльцы отелей при отъезде часто забывают вернуть ключи. Существуют разные способы предупредить подобную неприятность, самый простой – повесить на ключ нестандартную, объемную бирку. Таким образом, в действие «возвращение ключа» вносят различный, но сопоставимый вклад и портье, и гость, и ключ, и бирка, поскольку все они образуют разные актантные сети взаимных отношений.

Это объединение усилий, производящих действие, отражено в понятии «сеть» – второй составной части термина «акторно-сетевая теория». Сети / коллективы / гетерогенные ансамбли (Assemblagen) обеспечивают относительно и ситуативно долговременные формы активности, т.е. стабильность. Актант всегда является продуктом такой стабилизации. Сложившаяся сеть может в качестве актора / актанта вызвать другое действие, например «уборку номера». Сети, в которые включена техника, производящая посредством своей материальности особый род «закалки», становятся наиболее стабильными (с. 312). Однако чем они стабильнее, тем чаще забывается, не прослеживается история их возникновения и сохранения. Именно здесь проходит проблемный стык социального исследования техники с акторно-сетевой теорией. Она открывает «черный ящик» социотехнической сети действий и делает явными многослойные процессы их формирования, «дескрипцию инскрипции» (цит по: с. 312).

Понятийные связки актор / актант и сеть / коллектив / гетерогенный ансамбль неотделимы друг от друга. Нечто является актантом лишь в цепочке вкладов и потому соединено в коллектив, без которого остается бессодержательным.

---

[1] *Latour B.* Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007. – S. 81.

Понятие «сеть» в рамках этой теории может показаться излишне широким и недостаточно определенным, но именно оно, по мнению автора, представляется конкретным и замкнутым по сравнению с другими толкованиями. Согласно АСТ, ни один элемент сети не является промежуточным или вспомогательным. Медиатор выступает здесь в самостоятельной роли – и как креативная сущность, и как транслятор (с. 313). В то же время в качестве медиатора – это проясняется уже в ходе оценки вклада акторов и актантов в сеть – может выступать все что угодно: тексты, машины, тела и даже такие крупные коллекторы действия, как экономика, политика, наука.

Кроме того, АСТ выдвигает требование создания симметричного словаря. Речь идет не только о введении «вещной доминанты в социальные структуры», но и о том, *что*, в какой ситуации, как и почему принимает роль медиатора, соединяющего и трансформирующего актанта. Согласно Латуру, «кажущееся очевидным разделение на материальное и социальное» затемняет исследование того, «как возможно коллективное действие»[1]. Все актанты, будь то социологически известные или редко принимаемые в расчет, поначалу вызывают сомнения.

Таким образом, теоретическая стратегия реконструкции понятия «действие» в рамках АСТ движется от восприятия действия как единичного события к рассмотрению его как подвижной, изменчивой сети; от структурированных определенным образом феноменов – к неустанной и непрерывной стабилизации неустойчивых сетей действия. По мнению Пассота, это движение радикально по своим социально-теоретическим последствиям. На некоторые из них он хочет специально указать в заключение своей статьи.

Первое из последствий касается так называемой проблемы структуры / действия. Современные дебаты социологов о допустимости описания социальных феноменов (каузальных связей) на уровне индивидуального акта свидетельствуют о том, что, несмотря на 30-летние попытки ее устранить или разрешить, данная проблема по-прежнему актуальна[2]. АСТ предлагает отказаться от дальнейших поисков выхода из нее, выдвигая вместо этого эвристическую модель, в которой ни индивидуальные акты, ни структурные свойства сетей эмпирически не определяются.

Вторым следствием можно считать то, что индивидуальные интенциональные действия (в традиционном понимании) и непреднамеренные сопутствующие им эффекты больше не различаются, во всяком случае принципиально. Цель действия становится не исходным, но вероятным конечным пунктом анализа. Этот логический пассаж с очевидностью указывает на постструктуралистскую основу АСТ. Возможность стать действующим актором (в смысле классической социальной теории) является результатом участия в действии гетерономных элементов.

---

[1] *Latour B.* Eine neue Gesellschaft. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007. – S. 129.
[2] *Sawyer R.K.* Social emergence. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2005.

Третье следствие проследить сложнее. При использовании симметрических понятий пропадает явное отличие микро- и макрофеноменов внутри самого социального. Этот кажущийся положительным эффект актуализирует старую теоретическую проблему. Когда нечто проявляется как тип социальности – интеракция, организация, движение, семья и пр., – АСТ возвращается к банальным вопросам: какими средствами (нарративами) достигается типологизация (плотность и сопоставимость) и на какие теории и техники при этом опираются? Подобную исследовательскую программу использует уже Н. Луман, описывая и делая сравнимыми любые социальные образования в контексте различения системы / среды. Однако Латур, в отличие от Лумана, не погружается в классификацию типов или форм сетей акторов. Все они рассматриваются как коллекторы, которые ассоциируют усилия участников сетевого действия.

Общий вывод автора сводится к следующему: принимая установки акторно-сетевой теории, необходимо стремиться к их более глубокому и критическому осмыслению. Так, развивая понятие сетевого действия, следовало бы задуматься о различии креативного и рутинизированного усилий, его порождающих. В отношении концепции актора возникает аналогичный вопрос о степени инновативности вклада акторов в действие. Нуждается в уточнении, в различении типов соотношений (Relationierungen) и само понятие «сеть». Наконец, Пассоту представляется перспективным дальнейшее обсуждение резервов симметричного словаря.

Л.В. Гирко

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Л.М. Баскин
Вожаки в группах животных и человека

В группах животных и людей имеются особи, от поведения которых зависит поведение остальных членов группы (вожаки). Представлены примеры вожаков-сторожей, вожаков-лидеров, вожаков-доминантов и вожаков-руководителей. Дан краткий анализ эволюции взглядов социобиологов на альтруистическое поведение, каким является поведение вожаков.

Ключевые слова: вожаки, лидерство, альтруистическое поведение.

L.M. Baskin
Leaders in animal and human groups

Leaders determine behavior of human and animal groups. Leaders-guards, leaders-guides, leaders-dominants and leaders-managers are described. A review of sociobiological ideas on leaders' behavior as a form of altruistic behavior is presented.

Keywords: leaders, leadership, altruistic behavior.

О.А. Симонова
Современная социология эмоций и проблема социальной солидарности: Основные направления исследований

В статье исследуется одна из главных проблем социологической теории – проблема социального порядка и связанное с ней понятие социальной солидарности в контексте социологии эмоций. Эмоции сегодня рассматриваются как неотъемлемая часть человеческого поведения, выполняющая определенную роль в поддержании социального порядка и социальной солидарности. Концептуализация эмоций позволяет связать микро- и макроуровни социальной структуры, поскольку эмоции способствуют согласованным социальным взаимодействиям и коррекции нормативного поведения. На основе анализа корпуса работ по социологии эмоций автор приходит к выводу, что в изучении причин и последствий социальной солидарности социологи склонны рассматривать конкретные,

так называемые «моральные эмоции» как обладающие наиболее ощутимым воздействием на поведение отдельных индивидов, социальных групп и организаций. Моральные эмоции, с точки зрения автора, в силу своих особенностей являются частью поведенческих комплексов, формирующих эмоциональные режимы общества, и тем самым поддерживают социальную солидарность.

Ключевые слова: социология эмоций, социальная солидарность, дюркгеймовская традиция в социологии эмоций, эволюционные теории эмоций, теория ритуалов взаимодействия Р. Коллинза, эмоциональная культура и идеология, моральные эмоции, идентичность, социологические теории моральных эмоций, эмоциональные режимы.

O.A. Simonova

Contemporary sociology of emotions and the problem of social solidarity: Main fields of research

In the article one of the main sociological problems – the issue of social solidarity – is discussed in terms of the sociology of emotions. Emotions as an integral part of human behavior operate on the micro- and macrolevel of social structure and promote social consensus and make adjustments to normative behavior. On the basis of the analysis of the corpus of works on the sociology of emotions the author concludes that sociologists tend to study social solidarity through the prism of «moral emotions». Namely these emotions have considerable effect on individual and social behavior and sustain moral order and social solidarity. In the author's opinion moral emotions serve as part of emotional regimes developed in the social order and thus support social solidarity.

Keywords: sociology of emotions, social solidarity, Durkheimian studies in the sociology of emotions, evolutionary theories of emotions in sociology, R. Collins' interaction rituals theory, emotional culture, emotional ideology, moral emotions, sociological theories of moral emotions, self-identity, emotional regimes.

О.Н. Яницкий

Риск-солидарности в критической ситуации

В условиях кризиса и нестабильности в мире формируются риск-солидарности по социальному, религиозному или другому принципу. В статье выдвигается гипотеза, что современный капиталистический мир типологически разделен на конфликтующие между собой солидарности риск-производителей и риск-потребителей, противостояние между которыми обостряется в критических ситуациях. Диалог и сближение их позиций – стратегическая задача современности.

Ключевые слова: критический случай, общество всеобщего риска, риск-солидарности и их типы, рискогенная среда, социальный порядок.

O.N. Yanitsky

Risk-solidarities in a critical situation

In the conditons of crisis and instability in the world risk-solidarities are formed on the social, religious or other principle. The author advances a hypothesis that the modern capitalist world is typologically divided into conflicting solidarities of risk-producers and risk-consumers. Dialogue and bridging the gap between their positions is a strategic task of modernity.

Keywords: critical event, society of all-embracing risk, risk-solidarities and their types, risk-generating milieu, social order.

О.А. Усачева

Формирование гражданских сетей солидарности в условиях экологической катастрофы

Мобилизация населения России как реакция на экологические вызовы лета 2010 г. выявила возросший потенциал гражданской самоорганизации. Именно гражданские добровольческие сети оказали первую оперативную помощь пострадавшим, а также стали партнерами государственных служб при тушении лесных и торфяных пожаров.

Ключевые слова: активизм, гражданские сети, добровольчество, информационно-коммуникационные технологии, лесные пожары, мобилизация, экологические некоммерческие организации, солидарность, экологическая катастрофа, Россия.

O.A. Usacheva

Formation of civic solidarity networks in the conditions of an ecocatastrophe

The mobilization of the population of Russia as a reaction to the environmental challenges of the summer 2010 revealed the increased potential for civic self-organization. It was civic volunteer networks that provided efficient first aid and assisted state services in extinguishing forest and peat fires.

Keywords: activism, civic networks, volunteering, information and communication technologies, forest fires, mobilization, non-commercial ecological organizations, solidarity, ecocatastrophe, Russia.

Е.Л. Омельченко

От сытых нулевых – к молчаливым десятым: Поколенческие уроки российской молодежи начала XXI в.

В статье предложен анализ основных ключевых событий, связанных с изменениями в молодежных культурах и гражданских практиках современной России, произошедших за первое десятилетие XXI в. Параллельно рассматриваются дискурсивные представления о молодежи, характерные для этого периода (государственные программы, обращенные к молодеж-

ной теме, медийные проекты, активистские инициативы), а также политические ответы на рост молодежной активности, включая проекты молодежной мобилизации. Ключевое событие – финансово-экономический кризис (рецессия) 2008 г. – рассматривается в качестве перелома / рубежа нулевых, которое особым образом сказалось на переопределении молодежного вопроса в современной России в разных измерениях: политически-активистком, патриотическом, городском, субкультурном, информационном и др. В статье предлагается новый фокус рассмотрения новых форм молодежной активности через призму солидарного подхода, анализируются ключевые тренды новых молодежных солидарностей в политическом, культурном и экономическом измерениях.

Ключевые слова: молодежная культура, политический активизм, молодежный вопрос, дискурсивные репрезентации молодежи, социальная солидарность, рецессия 2008 г.

E.L. Omelchenko

From the fat 2000s to the silent 2010s: Generational lessons of the Russian youth of the beginning of the 21st century

The paper presents an analysis of the key events associated with changes in youth culture and civic activities in modern Russia, occurring during the first decade of the 21 st century. Discursive representations of youth typical for this period (government programs directed toward the youth theme, media projects, activist initiatives), as well as policy responses to the growth of youth activities, including projects of youth mobilization, are also discussed. A key event – the financial and economic crisis (recession) in 2008 – is regarded as a turning point / the turn of the century, which particularly affected the reconceptualization of the youth question in modern Russia in different dimensions: political-activist, patriotic, urban, subcultural and others. In this article we suggest a new focus of considering new forms of youth activism, through the prism of the solidarity approach. We analyze key trends in new youth solidarities in the political, cultural and economic dimensions.

Keywords: youth culture, political activism, youth question, discursive representations of youth, social solidarity, 2008 recession.

М.А. Ядова

«Модернисты» и «традиционалисты» постсоветского поколения: Особенности индивидуальных биографий

Статья посвящена анализу результатов глубинных биографических интервью с представителями постсоветской молодежи. Предполагается, что биографическое исследование поможет обнаружить и типологизировать основные факторы, влияющие на выбор молодыми людьми современных или традиционных стратегий поведения. В качестве ведущих де-

терминант, определяющих процесс взросления постсоветского поколения, рассматриваются: близкое окружение, социальные институты и организации, условия жизни, а также политические события, происходящие в стране.

Ключевые слова: исследование жизненных путей, биографическое интервью, постсоветская молодежь, современные и традиционные ценности.

M.A. Yadova
«Modernists» and «traditionalists» of the post-Soviet generation: Peculiarities of individual biographies

The article is devoted to the analysis of results of in-depth biographical interviews with representatives of post-Soviet youth. The biographical study would help disclose and typologize the main factors influencing the young people's choice of modern or traditional behavioral strategies. As basic determinants defining the process of the post-Soviet generation becoming adults the following ones are considered: nearest contact groups, social institutions and organizations, living conditions, as well as political events taking place in the country.

Keywords: life-course research, biographical interview, post-Soviet youth, modern and traditional values.

Я.В. Евсеева
Концепции успешного старения в социальной геронтологии

Статья посвящена анализу ключевых концепций успешного старения в социальной геронтологии. Сквозь призму данного направления в статье очерчено развитие социогеронтологической области и проведена связь с иными репрезентациями пожилого возраста (такими, как документы ООН). Наряду с этим представлена критика концепций успешного старения и охарактеризованы перспективы развития теории в социальной геронтологии.

Ключевые слова: успешное старение, социальная геронтология, структурный функционализм, официальный дискурс о пожилом возрасте (документы ООН).

Y.V. Evseeva
Concepts of successful ageing in social gerontology

The article is devoted to the analysis of the concepts of successful ageing which are regarded by the author as the key ones in social gerontology. Through the prism of the given trend the article describes the development of social gerontology and links the latter to other representations of old age (such as UN

documents). Along with this criticism of successful ageing concepts is presented, as well as prospects of the development of theory in social gerontology.

Keywords: successful ageing, social gerontology, structural functionalism, official discourse on old age (UN documents).

В.Г. Горохов

Социология техники и социальная инженерия

Техника рассматривается как предмет социологического анализа, а социальная инженерия – как социотехническое проектирование. Системное проектирование направлено не только на разработку машинных компонентов, но и на реорганизацию человеческой деятельности. В отличие от традиционного инженерного проектирования системное проектирование может не ограничиваться рамками инженерной деятельности. Масштабы применения системного проектирования постоянно расширяются и в настоящее время охватывают все области социальной практики. В связи с этим в статье предлагается различение системной инженерии, социотехнического и социального проектирования. Оценка техники рассматривается как комбинация системного анализа и социального проектирования. Современная технонаука сближается с социальной системной инженерией в плане анализа и проектирования комплексных социотехнических систем.

Ключевые слова: социология техники, социальная инженерия, социотехническое проектирование, системное проектирование, оценка техники, технонаука.

V.G. Gorokhov

Sociology of technology and social engineering

Technology is regarded as a subject of sociological analysis and social engineering as that of socio-technological design. Systems design is aimed at re-organizing human activity, not only at developing machine components. Whereas traditional engineering design is a constituent of engineering activity, systems design may or may not incorporate (in inventing new machine components) engineering activity. The range of systems design applications is broadening and now includes all areas of social practice – not only industrial production (servicing, consumption, training, control, etc.). That is why in this article it is proposed to differentiate between systems engineering, socio-technological and social design. Technology assessment is described as a combination of systems analysis and social design. Modern technoscience is similar to social systems engineering as the analysis and design of complex socio-technical systems.

Keywords: sociology of technology, technoscience, social systems engineering, systems analysis, technology assessment.

Д.В. Ефременко, Я.В. Евсеева

Социология техники и проблема конвергенции технологии

В статье обсуждаются актуальные тенденции в развитии социологии техники. Рассматриваются социологические и социально-философские импликации феномена конвергенции технологий. Авторы критически анализируют программные установки и дискурс трансгуманизма.

Ключевые слова: социология техники, комплексные последствия научно-технического развития, конвергенция технологий, NBIC-конвергенция, трансгуманизм.

D.V. Efremenko, Y.V. Evseeva

Sociology of technology and the problem of convergent technologies

The article discusses current tendencies in the development of the sociology of technology. Sociological and socio-philosophical implications of the phenomenon of convergent technologies are considered. The authors analyze and critically assess the program purposes and discourse of transhumanism.

Keywords: sociology of technology, complex consequences of scientific and technological development, convergent technologies, NBIC-convergence, transhumanism.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Александер Джеффри Чарльз – профессор социологии и содиректор Центра культурной социологии Йельского университета (США).

Баскин Леонид Миронович – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Буравой Майкл – профессор Университета Калифорнии, г. Беркли (США), президент Международной социологической ассоциации.

Гирко Людмила Владимировна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Горохов Виталий Георгиевич – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Гофман Александр Бенционович – доктор социологических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заведующий сектором социологии культуры Института социологии РАН.

Джеффрис Винсент – профессор социологии Калифорнийского университета, г. Нортридж, США.

Евсеева Ярослава Вячеславовна – научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Ефременко Дмитрий Валерьевич – доктор политических наук, заведующий отделом социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН.

Ким Светлана Григорьевна – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Омельченко Елена Леонидовна – доктор социологических наук, директор Центра молодежных исследований Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) и НИЦ «Регион» (Ульяновский государственный университет).

Покровский Никита Евгеньевич – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института социологии РАН, член исполнительного комитета Международной социологической ассоциации, президент Сообщества профессиональных социологов России.

Симонова Ольга Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Усачева Ольга Александровна – младший научный сотрудник Института социологии РАН.

Штомпка Петр – профессор социологии Краковского университета (Польша).

Ядова Майя Андреевна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Якимова Екатерина Витальевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Яницкий Олег Николаевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
2011
Сборник научных трудов

Художник обложки И.А. Михеев

Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова

Корректор Н.И. Кузьменко

Гигиеническое заключение
№77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 20/III – 2012 г.
Формат 70×100/16 Бум.офсетная № 1
Печать офсетная Цена свободная
Усл.печ.л. 25,5 Уч.-изд.л. 26,8
Тираж 300 экз. Заказ № 61

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский пр-кт, д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:
Тел. /Факс 8(499) 120–4514
E-mail: market@INION.ru

E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)

Напечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский пр-кт, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9